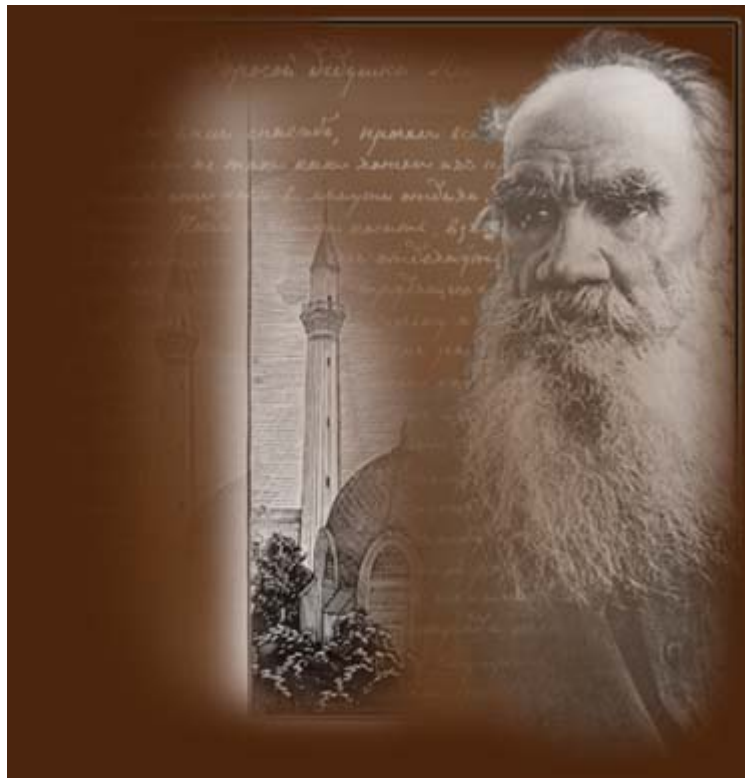


Л.Н. Большаков

Оренбургская ТОЛСТОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



По жанру и строению своему предлагаемый читателю том энциклопедией не является. Вы не найдете в нем строгого алфавита имен, названий, терминов и всего прочего, отличающего издание энциклопедического типа. Нет тут и стремления к жесткому лаконизму статей. Это не справочник, но книга для чтения. Однако по полноте охвата материалов, посвященных теме "Лев Толстой и Оренбуржье", равных ей пока не было и нет.

- К читателю
- Из летописей десяти лет
- Ильяс
- Много ли человеку земли нужно
- Две поездки Льва Толстого
- Замысел осуществлен не был
- Набатов из "Воскресения"
- Спор крестьянина Александра Шильцова с писателем Львом Толстым
- "Друг и брат Герман..."
- В последний декабрь
- Судьба Афанасии Скутиной
- "Чувашин Н." или разгадка анонима
- Мигурские: история любви
- Загадка старой книги
- "Все вас помнят и любят"
- Письма были адресованы в Орск
- "Власть тьмы" в степном захолустье
- В скорбные дни

К читателю



Эта книга являет собою составную часть триады энциклопедического проекта, посвященного великим деятелям литературы в их связях с Оренбуржье, с Южным Уралом.

Пушкин. Шевченко. И вот - Лев Толстой.

На Толстовскую энциклопедию историко-литературная наука, насколько нам известно, пока не замахивается. Даже представить себе такое издание задача из дерзновеннейших. И в десяток томов не публицистических, педагогических и различных других произведениях, всех жанрах, в которых на протяжении многих десятилетий раскрывался талант и в полной мере проявился его гений, об эстетических, нравственных, религиозных, экономических, политических взглядах великого Льва, его славе, его жизни, смерти и бессмертии, каждом из мест, в которых он бывал, каждом из его друзей, знакомых, корреспондентов. (Достаточно сказать, что в Отделе рукописей

Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве хранится более 50 тысяч писем от 9000 корреспондентов из разных мест, со всех континентов земного шара. Тридцать один том занимают в 90-томном издании сочинений писателя его собственные письма к людям разных возрастов, профессий, национальностей, сословий!)

Толстой и Оренбуржье, Толстой и Урал - тема несравненно локальнее, но и до энциклопедии региональной - персонально-краевой - в данном случае путь весьма неблизкий, многотрудный, долгий.

Но истинный патриот края, увлеченный его историей, его прошлым, стремится, жаждет иметь перед собою интересующие его материалы уже сейчас, без долгих ожиданий. Эти-

то материалы и собраны воедино в предлагаемом томе. Не в энциклопедическом алфавите имен, названий, произведений подаем мы их, не в энциклопедическом стиле - жестком, лаконичном, лишенном эмоций, - но в том виде и порядке, в котором они складывались в разные годы.

Исследовательские повести и рассказы рождались на протяжении длительного периода (начало им было положено в 1960 году). Менее всего автору хотелось повторить то, что было сделано и обнаружено другими. Желание отыскать новое, неизвестное влекло в архивы Москвы, Петербурга, Киева, Самары, Оренбурга, Уфы, Перми, в места, связанные с жизнью и деятельностью Толстого, многочисленных его корреспондентов, - от знаменитой, прославленной Ясной Поляны до безвестного хутора у отрогов Южного Урала.

Важная часть книги с биографией и творчеством прославленного писателя. Ее открывает очерк о том, как рядовая кратковременная поездка в Оренбург 1876 года сказалась на формировании новых, оставшихся неосуществленными, замыслов Льва Толстого, в частности его романа о декабристах. Читатель получает возможность сопоставить известный рассказ "За что?" с подлинным архивным делом, посвященным событиям, положенным в основу произведения. Полезны, думается, и разыскания о прототипе Набатова в "Воскресении", об истории этого образа и вызвавшей его дружбы.

Мы уже отмечали, насколько обширна и многогранна переписка, которую вел Л.Н. Толстой. Значительна в томе его часть, которая посвящена корреспондентам писателя из Оренбуржья, с просторов уральских.

Эта книга - о Толстом и народе, который он уважал и любил всю жизнь, всей душой.

"помню и люблю..." Так, или примерно так, заканчивается у Л.Н. Толстого множество писем к людям знакомым и незнакомым, обратившимся к нему за помощью, за советом. "Да как же не радоваться, живя среди такого народа, как же не ждать всего самого прекрасного от такого народа?" - восклицал он с глубокой искренностью. И радовался, и надеялся - каждый день своей большой, беспокойной жизни.

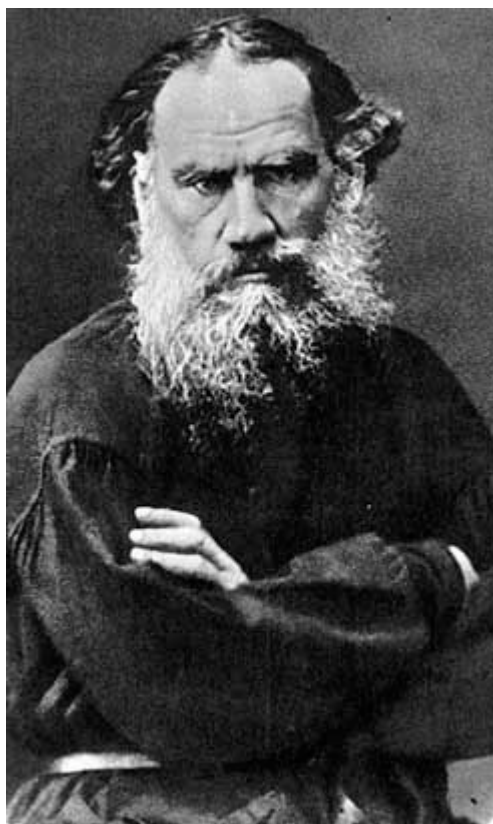
Предлагаемая книга - самая полная из всех, которые посвящались Льву Толстому в контексте оренбургского, уральского края. Наряду с публикациями исследовательского характера, мы сочли целесообразным дополнительно включить в нее "оренбургские" рассказы великого писателя и некоторые документальные, мемуарные, публицистические материалы. Включено и множество иллюстраций, большинство которых воспроизводится здесь впервые.

Перед Вами, уважаемый читатель, - результат многолетнего пристального интереса и искреннего, непреходящего уважения к тому, кто навсегда вошел в сокровищницу мировой культуры и благодарную память земляков.

Да будет он с нами всегда.

ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ ДЕСЯТИ ЛЕТ

Оренбургские страницы биографии Л.Н. Толстого



1862

Апрель-май (середина)

Физическое недомогание Т., упадок настроения, вызванный неудовлетворенностью своей жизнью и неразрешимостью основных вопросов общего мирозерцания, а также тяжестью борьбы с дворянами-крепостниками и напряженной работой по журналу. Т. "заболел более духовно, чем физически" ("Исповедь", гл. III)...

Было решено поехать в одну из степных губерний на кумыс. Т. говорил своим знакомым: "Не буду ни газет, ни писем получать, забуду, что такое книга, буду валяться на солнце брюхом вверх, пить кумыс да баранину жрать, сам в барана обращаться, - вот тогда выздоровлю!..."

Мая 12

Отъезд Т. с учениками Василием Морозовым и Егором Черновым и слугою А.С. Ореховым в самарские степи на кумыс. Выезд из Ясной поляны на лошадях в Москву...

Мая 20

Отъезд из Твери на пароходе в Самару.

На пароходе. Запись в Дневнике: "Как будто опять возрождаюсь к жизни и к сознанию ее"...

Мая 27

Отъезд Т. из Самары в башкирское кочевье Каралык - 130 верст на лошадях.

Из записок Василия Морозова

... Это была степь, ни одной деревни не было видно, ни лесочков, ни кусточков, только видны неустроенные какие-то кибитки войлочные. Здесь нам была квартира-кочевка...

Кибитка наша была не тесная, четверым нам было вполне

просторно... (Она) стояла в числе многих других кибиток, расположенных в два ряда, друг против друга...

Из письма к Т.А. Ергольской

... Живем мы в кибитке, погода прекрасная. Я нашел приятеля Столыпина атаманом в Уральске и ездил к нему и привез оттуда писаря, но диктую и пишу мало. Лень одолевает при кумысе... Меня мучает неизвестность в этой глуши и еще мысль о том, что я безобразно отстал в издании журнала...

Из воспоминаний казачьего офицера "И.А."

... Раз соседние башкиры устроили "той" (праздник), пригласили графа, боролись, бегали, пели свои песни, играли на "чебызгах" (дудках), удивляли своеобразной игрой на своем природном инструменте - горле: артист ведет длинную мелодию, соединенную из басовых и дискантовых нот, и оба голоса были слышны одновременно...

Из записок Василия Морозова

... Башкиры с ним все вскоре так сблизились, что всякий, встречаясь с ним, с радостью улыбался и кланялся ему. Даже 4-5-летние башкиренки, встречаясь с ним, кивали головой, улыбались и обзывали его:

- Князь Тул. (Это значило: "Тульский князь")...

... Еще бывало Лев Николаевич боролся с башкирами. Борьба он был большой охотник. Он был сильный богатырь, и ему не находилось противников. Только один башкир был ему равный по силе, и Льву Николаевичу не удавалось его класть на землю, но и башкиру не удавалось Льва Николаевича положить. Запыхавшись, Лев Николаевич говорил ему:

- Нет, я с тобою не могу, ты сильнее меня...

Страницы "Летописи" Н.Н. Гусева

Июля 6, 7

Обыск в Ясной Поляне, продолжавшийся два дня. Производили обыск жандармский полковник Дурмово с крапивинским исправником и становым. Были взломаны полы в конюшне; закидывали невода в пруд. Обыск был сделан также в двух толстовских школах - в селе Колпне и в селе Кривцово. Была прочитана переписка Т. Ничего "подозрительного" найдено не было...

Июля 12 (?)

Отъезд Т. из Каралыка...

Срочный отъезд был реакцией на письмо Т.А. Ергольской из Ясной Поляны, содержавшее известие об учиненном там погроме. В негодуящем письме своей петербургской родственнице А.А. Толстой он высказался вполне определенно: "... я имею злобу и отвращение, почти ненависть в тому милому правительству, которое

обыскивает у меня..."

1871

Июня 9

... Т. пишет Фету об упадке сил, ожидании смерти, отсутствии душевного спокойствия...

... Отъезд из Ясной Поляны с шурином С.А. Берсом и слугою И.В. Суворовым в самарские степи на кумыс для поправления здоровья...

Июня 15

... Приезд в село Каралык... Т. пишет жене: "Башкирцы мои все меня узнали и приняли радостно"...

Июня 15 - июля 28

... Жизнь в Каралыке. Т. ничего не пишет, читает греческих авторов, ходит и ездит по окрестным деревням, охотится, пьет кумыс, беседует с кумысниками, играет в шашки и башкирами...

Июня 23

... Т. пишет жене: "Тоска и равнодушие прошли; чувствую себя приходящим в скифское состояние, и все интересно и ново... Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа"...

Июня 23, 27, июля 8, 16-17

... Т. сообщает жене о своем намерении купить землю в Самарской губернии, о переговорах, связанных с покупкой. "Для покупки здесь именья особенно соблазняет простота и честность, наивность и ум здешнего народа"...

Июня 28, 29

... поездка с С.А. Берсом за 90 верст в г. Бузулук на ярмарку. "Поездка очень удалась". На ярмарке Т. видел представителей больше чем десяти различных народов и табуны лошадей уральских, сибирских, киргизских...

"В этой толпе Лев Николаевич расхаживал со свойственной ему любознательностью и со всеми заговаривал" (С.А. Берс)...

В Бузулуке Т. посещает старика отшельника, жившего в пещере около монастыря...

Июля 10-13

... Четырехдневная поездка Т. с С.А. Берсом и двумя молодыми купысниками по окрестностям Каралыка.

Поездка "удалась прекрасно"...

Июля 16,17

... Т. отвечает Фету (на его письмо, полученное в Каралыке - Л.Б.): "... Здесь очень хорошо и значительно все... Если бы начать описывать, то я исписал бы сто листов, описывая здешний край и моя занятия. Читаю и Геродота, который с подробностью и большой верностью описывает тех самых галакто-фигов-скифов, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и неиспорченности народа"...

Июля 20

... Т. сообщает жене, что он "затеял рисовать" - нарисовал портрет двух башкир - отца и сына...

Июля 28

... Отъезд из Каралыка...

За строками летописи его жизни этих месяцев 1871 года:

- шестинедельный курс лечения кумысом и восстановление здоровья;
- возникновение желания купить здешнюю землю и сделать ее своей вотчиной;
- оформление - уже в августе - купчей крепости на 2500 гектаров, принадлежавших флигель-адъютанту Тучкову в Бузулукском уезде на пограничье Самарской и Оренбургской губерний с хутором на реке Тананыке (пересыхающем притоке Боровки, впадающей в р. Бузулук);
- рождение желания писать о вновь увиденном и узнанном, которое впоследствии, годы спустя, реализовалось в рассказах "Ильяс", "Много ли земли человеку нужно"...

1872

Июля 7

Отъезд Т. из Ясной Поляны в самарское имение...

Июля 9

Отъезд из Москвы в Нижний Новгород с яснополянским крестьянином Тимофеем Фокановым...

Июля 10, 11

Отъезд из Нижнего Новгорода на пароходе в Самару...

Дорогой (на пароходе) Т. "целый день, вместо того чтобы любоваться берегами, мучался арифметикой" (для III книги "Азбуки")...

Июля 13

Приезд на... хутор на Тананыке...

Июля 14

Т. пишет жене: "Что здесь за воздух - это нельзя понять, не испытавши; но одному не то что скучно, а совестно вырывать из своей счастливой и полезной жизни время на пустяки"...

... **Июль, около 30**

Возвращение в Ясную Поляну ранее предложенного срока из-за печатания "Азбуки"...

Июля 30 (?)

Т. пишет Н.Н. Страхову: "Я вернулся здоровый и свежий, но начинаю слишком рано работать и хочу удержаться и не могу. Как будто подгоняет меня неведомая сила..."

Июльская поездка 1872 г. была, в значительной степени, связана с хозяйственным освоением здешней "Ясной поляны", укреплением деловых и дружеских связей с соседями. Более же всего Толстого в этот раз занимали идеи педагогические, его "Азбука". 1873

1873

... **Июня 2**

Отъезд всей семьи Толстых, с гувернером, С.А. Берсом, слугою С.П. Арбузовым и позднее - гувернанткой на кумыс в самарское имение...

... **Июня 8**

Приезд в самарский хутор...

... **Июня 22**

Т. посылает Н.Н. Страхову исправленный им для нового издания экземпляр "Войны и мира" издания 1868-1869...

... **Июль, середина-конец, до 28**

Отъезд Толстым в три стороны, по 70 верст в каждую, ближайшей к его хутору округи, чтобы лично определить размеры постигшего население голода вследствие неурожая. Описать каждого десятого двора (всего 23) в ближайшей к нему деревне Гавриловке. Т. делает опись... по следующим показателям: количество едоков, количество работников, число скотины, размер посевной площади, размер урожая, количество прошлогоднего хлеба, сумма долгов...

... **Июля 28**

Написано "Письмо к издателям" (о самарском голоде)...

Из письма о голоде

... Проехав по деревням от себя до Бузулука 70 верст, и в другую сторону от себя до Борска 70 верст, и еще до Богдановки 70 верст, и заезжая по деревням, я, всегда живший в деревне и знающий близко условия сельской жизни, был приведен в ужас тем, что я видел: поля голые там, где сеяны пшеница, овес, просо, ячмень, лен, так что нельзя узнать, что посеяно, и это в половине июля. Там, где рожь, поле убрано, или убирают пустую солому, которая не возвращает семян; где покосы, там стоят редкие стога, давно убранные, так как сена было в десять раз меньше против обычных урожаев, и желтые выгоревшие места...

По деревням, во дворах, куда я заезжал, везде одно и то же: не совершенный голод, но положение близкое к нему, все признаки приближающегося голода. Крестьян нигде нет, все уехали искать работы, дома худые бабы, с худыми и больными детьми, и старики...

... **Июля 30**

Т. отправляет А.А. Толстой копию со своего письма в "Московские ведомости" о голоде в Самарской губернии с просьбой "заинтересовать сильных и добрых мира сего"...

Августа 14

Отъезд семьи из Самарской губернии в Ясную Поляну...

Августа 17

Появление в N 207 "Московских ведомостей" "Письма к издателям" Т...

Справка

Письмо Л.Н. Толстого вызвало приток пожертвований в пользу голодающих крестьян. Всего было получено до 1867000 рублей деньгами и до 21000 пудов хлеба.

Л. Толстой: из письма 1874 г.

... Бедствие было бы ужасное, если бы тогда так дружно не помогли тамошнему народу. И я видел и узнал, что хотя и не без греха прошло это дело раздачи, все-таки помощь была действительная и в большей части случаев умная...

Нелишняя деталь:

В 1873-м году самарский губернатор предложил бузулукскому исправнику учредить негласный полицейский надзор за "отставным поручиком графом Львом Толстым". Активность народного заступника показалась ему предосудительной и в высшей мере подозрительной.

1874

... **Июля 30**

Отъезд Т. с сыном Сережей из Ясной Поляны в самарское имение...

... **Августа 3**

Приезд в Самару...

... **Август, около 12**

Возвращение в Ясную Поляну...

Мысли Л.Н. Толстого были заняты "Анной Карениной", первая часть которой находилась в типографии, будоражили идеи педагогические и другие творческие дела. В свое заволжское имение выбрался в этот раз всего на несколько дней. На месте огорчило то, что урожай, выдавшийся вокруг хорошим, его земли обошел стороной. "... Одно место, которое обошли дожди - это мое имение, а у меня большой посев и большой опять

убыток. Я приехал туда и не верил своим глазам, и чувствовал себя обиженным и безвинно поставленным в угол". (Из письма к А.А. Толстой)

1875

... **Июня 7**

Отъезд всей семьи Толстых... в самарский хутор...

... **Июня 12**

Приезд на хутор...

... **Июня 28**

Поездка Толстых на ярмарку в Бузулук...

... **Июля 4**

Письмо к Н.М. Нагорнову с просьбой купить и прислать Т. ... призы для устраиваемых им башкирских скачек: ружье и серебряные часы...

... **Июля 20**

Поездка Т. на ярмарку в Покровку. Покупка лошади для скачек...

... **Августа 6**

Башкирские скачки с призами на 25 верст, устроенные Т...

... **Августа 22**

Возвращение Толстых в Ясную Поляну...

Из воспоминаний С.Л. Толстого

... В самарском имении, по замыслу моего отца, должен был быть большой конский завод. От слияния культурных кровей английских и русских рысистых со степными - башкирскими, киргизскими и калмыцкими - должны были произойти крепкие, выносливые лошади, особенно годные для кавалерии. Условия для такого завода в самарской степи были вполне благоприятны... Во исполнение этого замысла отец купил несколько прекрасных породистых жеребцов и большое число степных кобыл...

... 29 июня в Бузулуке бывала большая ярмарка. Отец поехал туда отчасти для того, чтобы купить кобыл для закупаемого им конского завода, отчасти просто, чтобы повидать новые места. С ним поехала моя мать, Степа и мы, трое старших. От этой поездки у меня остались впечатления: плохая гостиница с клопами, коричневые овцы с смешными курдюками на задах, косяки (табуны) невыезженных лошадей, лихая выездка этих лошадей, страстный гортанный говор башкир и киргизов, всеобщее оживление и пыль, пыль, пыль. А за Бузулуком был тихий монастырь, где в скиту, в пещере, им самим вырытой, жил отшельник, простой мужик. Отец с ним много разговаривал...

Из письма А.А. Фету

... К чему занесла меня туда (в Самару) судьба - не знаю; но знаю, что я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным) и мне скучно и ничтожно было, но что там - мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом проглядеть, вслушиваясь, вглядываясь и чувствую, что все это очень важно...

Из письма Н.Н. Страхову

... Я на траве вот уже 6 недель, и вы не можете себе представить, до какой степени одурения - приятного - я дошел. Я только с трудом могу понимать и вспоминать ту жизнь, которой я живу обыкновенно, но жить ею не могу... Пью кумыс с башкирами, покупаю лошадей, делаю скачки, выбираю землю пахать, нанимаю жать, продаю пшеницу и сплю...

1876

... **Сентября 3**

Отъезд Т. с племянником Николаем Валериановичем Толстым в Самару и Оренбург для покупки лошадей...

... **Сентября 7**

Приезд в Самару. Отъезд по железной дороге в Оренбург...

... **Сентября 8**

Приезд в Оренбург...

... **Сентября 8 (?) - 14 (?)**

В Оренбурге. Свидание Т. с севастопольским товарищем, оренбургским генерал-губернатором Н.А. Крыжановским. Покупка лошадей...

... **Сентября 20**

Приезд в Ясную Поляну через Сызрань, Моршанск, Тулу...

Обо всем этом - в очерке "Две поездки Льва Толстого". Поездка 1876 г. была, по его же словам, "чудесной". Но в том, что такая оценка справедлива в полной мере, мы убедимся сами. Автор фундаментальной "Летописи жизни и творчества Льва Николаевича Толстого" с доводами автора очерка согласился в полной мере.

1878

... **Март, начало**

В самарское имение Т. поступает управляющим Алексей Алексеевич Бибилов, привлекавшийся к суду по делу Каракозова, отбывший административную ссылку и состоявший под негласным надзором полиции...

... **Марта 7**

Переговоры с бароном Р.Г. Бистромом относительно покупки у него земли в Самарской губернии - 4000 десятин по 10 руб. 50 коп. за десятину. 20000 руб. выплачиваются теперь же наличными деньгами, остальные - в течение двух лет...

... **Апреля 12**

Утверждение самарским старшим нотариусом купчей крепости на 4022 десятины 502 сажени земли в Бузулукском уезде Самарской губернии, купленной Т. у барона Р.Г. Бистрома...

... **Июня 12**

Отъезд Т. с сыновьями Ильей и Львом, гувернером Ньефом и слугою С.П. Арбузовым из Ясной Поляны в самарское имение...

... **Июня 17**

Приезд на хутор...

... **Июнь, около 25**

Приезд С.А. Толстой с детьми...

... **Июля 23**

Приезд Н.Н. Страхова...

... **Августа 1**

Отъезд семьи Толстых из самарского имения...

С покупкой земель имение стало очень большим. Центр его переместился на новое место - "хутор на Моче". "На этот раз, - вспоминал С.Л. Толстой, - мы поселились не на Сухом Тананыке, а на хуторе во вновь купленном имении, на истоках реки Мочи. Здесь Моча еще не речка: летом ее русло сухо, и только в трех или четырех местах вода стоит в небольших озерах. Хутор стоял на берегу грязного пруда, обсаженного ветлами. Дом был поместительнее, чем тананыкский, но характер местности и отдаленность от жилых мест были те же...

"Лев Николаевич с увлечением занимался своим конезаводом; в имении уже насчитывалось более 150 лошадей. Снова ездили в Бузулук, ан ярмарку. Опять устроил он степные скачки, только организовал их с еще большим размахом. И постоянные, повседневные земледельческие заботы. Вспоминал С.А. Берс: "Мы принимали непосредственное участие в уборке хлеба; сами сеяли веяли и удивлялись на тамошний первобытный способ молотбы. Он заключался в том, что из лошадей составлялся круг, причем они связывались в круг головой к хвосту; а в середине круга становился погонщик с длинным кнутом. лошади пускались рысью и вытапывали зерно из снопов, расставленных в такой же круг. Пахота никогда не паханой или крепкой земли (как ее называют местные мужики) посредством пяти или даже шести пар волов, у которых на шеях звенят басистые бубенцы в минорном тоне; игры на дудочках погонщиков-мальчишек; знойные дни и необыкновенно ясные ночи - все это имело новую прелесть для нас и, вероятно, еще и потому, что во всем этом Лев Николаевич умел находить красивые и хорошие стороны..."

То было последнее лето, когда в заволжском имении Толстого собралась вся его семья.

... Да, а ведь в 1878-м он вторично побывал в Оренбурге. Но об этой поездке - в том же очерке, что и о первой, 1876 года.

1881

... **Июля 13**

Отъезд Т. с сыном Сергеем Львовичем в самарское имение...

... **Июля 15**

Ехали по Оренбургской дороге...

Приехали на хутор...

... **Июля 16**

Запись в Дневнике: "Ходил и ездил смотреть лошадей. Несносная забота. Праздность. Стыд"...

... **Июля 17**

Запись в Дневнике: "Нынче хочу писать и работать"...

... **Июля 19**

Т. на собрании и обеде у молокан в селе Петровке Бузулукского уезда...

Знакомство... с А.С. Пругавиным. От него Т. узнает о В.К. Сютаеве и его сыне Иване Васильевиче, в 1877 г. отказавшемся от военной службы...

... **Июля 21**

Посещение сектанта-субботника в деревне Гавриловке...

Приезд молокан к Т. в его имение. Т. читает им отрывки из своего "Краткого изложения Евангелия"...

... **Июля 23, 24**

Работа над легендой "Чем люди живы"...

... **Июля 30**

Т. посетил старик пустынный, живший в лесу по Бузулукской дороге, один из тех шести мужиков, которые за 40 лет до этого основали монастырь близ Бузулука. Т. записал его историю (запись не сохранилась)...

... **Августа 10**

Поездка в село Землянки...

... **Августа 13**

Отъезд в Ясную Поляну...

В конце 70-х годов созрел перелом во взглядах Л.Н. Толстого на жизнь, ее нравственные основы и отношения между людьми. Начинает тяготить положение помещика, барина, возникает мысль о свертывании этого своего хозяйства. Ему совестно сознавать себя землевладельцем. Он испытывает чувство вины за крестьянскую нужду, будто всему причиной тому сам.

Из писем Толстого того лета:

"... Много бедности по деревням. И бедность робкая, сама себя не знающая..."

"... Нищета здесь зимой была ужасная; теперь видны следы голода..."

Уже была написана его "Исповедь", в голове созрел трактат "В чем моя вера" - хотелось как можно полнее изложить основы своего нового мирозерцания и своего понимания религиозных догматов.

"... Есть умные люди и удивительные по смелости" - откликается он на встречи и беседы с сектантами, сторонниками различных вероучений и просто окружавшими его людьми - такими, к примеру, как А.А. Бибииков и В.И. Алексеев, учитель-народник.

1883

Поездка десятая и последняя

... **Мая 21**

Отъезд из Ясной поляны в самарское имение...

... **Мая 21-24**

В пути. Встречи с переселенцами ("очень трогательное и величественное зрелище")...

... **Мая 24**

Приезд на свой хутор.

... **Мая 24 - июня 28**

В самарском имении. Кумыс, хозяйственные дела: продажа лошадей, скота, построек, сдача земли в аренду...

... **Июня 2**

Поездка к молоканам в села Патровку и Гавриловку и беседы с ними "о христианском законе"...

... **Июнь, между 2 и 8 (?)**

Знакомство у А.А. Бибиикова с революционером Е.Е. Лазаревым, привлекавшемся по делу 193-х...

... **Июня 28**

Отъезд в Ясную Поляну...

... **Июля 8**

Донесение помощника начальника Самарского губернского жандармского управления начальнику того же управления о том, что Т. 12 июня, проездом крестьянина, где "старался внушить принцип равенства, доказывая, что все должны делиться друг с другом" и что "церкви украшать глупо", "Крестьяне увидели из его беседы, что он отвергает власть и правительство, а потому по выходе с беседы заключили, что он не сектант, а социалист"...

... **Июля 11**

Донесение бузулукского исправника самарскому губернатору о том, что Т., "бывая в селе Гавриловке и разговаривая с крестьянами, внушает им, что их понятия об учении господина Иисуса Христа ложны, что напрасно они устраивают храмы, совершают богослужение и молятся вьявь; что, по учению спасителя, люди, живущие на земле, все равны между собою, никто ничего не должен считать своим, все общее".

После отъезда Л.Н. Толстого остались открытыми "Дела" и в Самарском губернном жандармском "управлении, и в канцелярии губернатора. Он это предвидел. В одном из его писем того лета сказано прямо: "Пускай доносят".

Выбор был сделан.

ИЛЬЯС

Жил в Уфимской губернии башкирец Ильяс. Остался Ильяс от отца небогатым. Отец только женил его год и сам помер. Было в то время именья у Ильяса 7 кобыл, 2 коровы и 2 десятка овец. Но Ильяс был хозяин и стал приобретать: с утра до вечера трудился с женой, раньше всех и позже всех ложился и с каждым годом все богател. Прожил так в трудах Ильяс 35 лет и нажил большое именье.

Стало у Ильяса 200 голов лошадей, 150 голов рогатого скота и 1200 овец. Работники пасли табуны и стада Ильясовы, и работницы доили кобылиц и коров и делали кумыс, масло и сыр. Всего было много у Ильяса; и в округе все завидовали Ильясовой жизни. Люди говорили: "счастливый человек Ильяс: всего у него много, ему и умирать не нужно". Стали Ильяса знать хорошие люди и с ним знакомство водить. И приезжали к нему гости издалека. И всех принимал и всех кормил и поил Ильяс. Кто бы ни пришел, всем был кумыс, всем был чай и шерба, и баранина. Приедут гости, сейчас бьют барана или двух, а много наедет гостей, бьют и кобылу.

Детей у Ильяса было два сына и дочь. Женил Ильяс сыновей и выдал дочь замуж. Когда беден был Ильяс, сыновья работали с ним и сами стерегли табуны и овец, а как стали богаты, начали сыновья баловаться, а один

стал пить. Одного, старшего, в драке убили, а у другого, меньшого, попала сноха гордая, и стал этот сын отца не слушаться, и пришлось Ильясу отделить его.

Отделил его Ильяс, дал ему дом и скотины, и убавилось богатство Ильясово. И скоро после этого напала болезнь и овец Ильясовых, и попадало много. Потом вышел голодный год - сено не родилось: покочило много скота в зиму. Потом косяк лучший киргизцы отбили, и стало Ильясово имение убывать. Стал Ильяс падать ниже и ниже. А сил стало меньше. И дошел к 70 годам Ильяс до того, что стал распродавать шубы, ковры, седла, кибитки, потом и скотину стал продавать последнюю, и сошел Ильяс на нет. И сам не видал, как ничего не осталось, и пришлось на старости лет идти с женою жить в люди. Только и осталось у Ильяса имения, что платье на теле, шуба, шапка и ичеги с башмаками, да жена, Шам-Шемаги, тоже старуха. Сын отделенный ушел в далекую землю, а дочь померла. И помочь было некому.

Пожалел стариков их сосед Мухамедшах. Сам Мухамедшах был ни беден, ни богат, а жил ровно и человек был хороший. Вспомнил он хлеб-соль Ильясову, пожалел его и сказал Ильясу: "Приходи, - говорит, - ко мне, Ильяс, жить и с старухой. Лето по силе своей мне работай на бахчах, а зимой скотину корми, а Шам-Шемаги пусть кобыл доит и кумыс делает. Кормить, одевать буду вас обоих и, чего вам нужно, вы скажите, я дам". Поблагодарил Ильяс соседа и стал с женою в работниках у Мухаметшаха. Сначала тяжело показалось, а после приобвыкли. И стали старики жить и по силе работать.

Хозяину выгодно было таких людей держать, потому что старики сами хозяева были и все порядки знали и не ленились, по силе работали; только жалко бывало Мухамедшаху смотреть, как такие высокие люди на такую низкую ступень пали.

И случилось раз, приехали к Мухамедшаху сваты, далекие гости; пришел и мулла. Велел Мухамедшах поймать барана и убить. Ильяс освежевал барана и сварил и послал гостям. Поели гости баранины, напились чаю и взялись за кумыс. Сидят гости с хозяином на пуховых подушках, на коврах, пьют из чашек кумыс и беседуют, а Ильяс убрался с делами и прошел мимо двери. Увидал его Мухамедшах и говорит гостю:

- Видишь ты, этот старик прошел мимо двери?
- Видел, - говорит гость; - а что же в нем удивительного?
- А то в нем удивительного, что это наш первый богач был - Ильясом звать, может, ты слышал?
- Как не слышать, - говорит гость; - видать не видал, а слава его далеко была.
- Так вот теперь ничего у него не осталось, и живет он у меня в работниках, и старуха его с ним же, кобыл доит.

Подивился гость, пощелкал языком, помотал головой и говорит:

- Да, видно, так счастье перелетает, как колесо; кого вверх поднимает, кого вниз опускает. Что же, - говорит гость, - тоскует, я чай, старик?
- Кто его знает, живет тихо, смирно, работает хорошо. - Гость и говорит:
- А можно поговорить с ним? Расспросить бы его про его жизнь.
- Что ж, можно! - говорит хозяин и кликнул за кибитку:
- Бабай (значит дедушка по-башкирски), заходи, выпей кумысу и старуху зови.

И вошел Ильяс с женою. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином, прочел молитву и присел на коленочки у двери; а жена прошла за занавеску и села с хозяйкой.

Подали Ильясу чашку с кумысом. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином, поклонился, отпил немного и поставил.

- А что, дедушка, - говорит ему гость, - скучно, я чай, тебе, глядя на нас, свое прежнее житье вспоминать, - как ты в счастье был и как ты теперь в горе живешь?

И усмехнулся мне тебе про счастье и несчастье, так ты не поверишь; спроси лучше бабу мою; она баба - что на сердце, то и на языке; она тебе всю правду об этом деле скажет.

И сказал гость за занавеску:

- Ну что ж, бабушка, скажи, как ты судишь про прежнее счастье и про теперешнее горе?

И сказала Шам-Шемаги из-за занавески.

- А вот как сужу: жили мы со стариком 50 лет - счастья искали и не нашли, а только вот теперь второй год, как у нас ничего не осталось и мы в работниках живем, мы настоящее счастье нашли и другого нам никакого не надо.

Удивился гость, и удивился хозяин, привстал даже, откинул занавеску, чтобы видеть старуху. А старуха стоит, сложив руки, усмехается, на старика своего смотрит, и старик усмехается. Старуха еще раз сказала:

- Правду я говорю, не шучу: полвека счастья искали и, пока богаты были, все не находили; теперь ничего не осталось, в люди пошли жить, - такое счастье нашли, что лучше не надо.

- Да в чем же ваше счастье теперь?

- А вот в чем: были мы богаты, не было у нас с стариком часа покоя; ни поговорить, ни об душе подумать, ни Богу помолиться. Сколько у нас заботы было! То гости к нам, - забота, кого чем угостить, чем подарить, чтобы не обессудили нас. То гости съедут, за работниками смотрим - они норовят отдохнуть да послаще поесть, а мы глядим, чтобы наше не пропадало - грешим. То забота, как бы волк не зарезал жеребенка или теленка, как бы воры косяка не угнали. Спать ляжешь, не спится - как бы ягнят не передавили овцы. Пойдешь, ходишь ночью; только успокоишься, - опять забота, на корму на зиму запасти. Да мало того, и согласия у нас со стариком не было. Он говорит, так надо сделать, а я говорю этак, и начнем грешить и браниться. Так жили мы из заботы в

заботу, из греха в грех и не видали счастливой жизни.

- Ну, а теперь?

- Теперь встанем мы со стариком, поговорим всегда по любви, в согласьи, спорить нам не о чем, заботиться нам не о чем, - только нам и заботы, что хозяину служить. Работаем по силам, работаем с охотой, так, чтоб хозяину не в убыток, а барыш был. Придем - обед есть, ужин есть, кумыс есть. Холодно - кизяк есть погреться и шуба есть. И есть, когда поговорить, и об душе подумать, и Богу помолиться. Пятьдесят лет счастья искали, теперь только нашли.

Засмеялись гости.

А Ильяс сказал:

- Не смейтесь, братцы, не шутка это дело, а жизнь человеческая. И мы глупы были с старухой и плакали прежде, что богатство потеряли, а теперь Бог открыл нам правду, и мы не для своей утехи, а для вашего добра ее открываем.

И мулла сказал:

- Это умная речь, и все точную правду сказал Ильяс, это и в писании написано.

И перестали смеяться гости и задумались.

МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛИ НУЖНО



Приехала из города старшая сестра к меньшей в деревню. Старшая за купцом была в городе, а меньшая за мужиком в деревне. Пьют чай сестры, разговаривают. Стала старшая сестра чваниться - свою жизнь в городе выхвалять: как она в городе просторно и чисто живет и ходит, как она детей наряжает, как она сладко ест и пьет и как на катанья, гулянья и в театры ездит.

Обидно стало меньшей сестре, и стала она купеческую жизнь унижать, а свою крестьянскую повышать.

- Не променяю я, - говорит, - своего житья на твое. Даром что серо живем, да страху не знаем. Вы и почище живете, да либо много наторгуете, либо вовсе проторгуетесь. И пословица живет: барышу наклад - большой брат. Бывает и то: нынче богат, а завтра под окнами находишься. А наше мужицкое дело вернее: у мужика живот тонок, да долог, богаты не будем, да сыты будем.

- Сытость-то какая, - со свиньями да с телятами! Ни убранства, ни обращения! Как ни трудись твой хозяин, как живете в навозе, так и

помрете, и детям то же будет.

- А что ж, - говорит меньшая, - наше дело такое. Зато твердо живем, никому не кланяемся, никого не боимся. А вы в городе все в соблазнах живете; нынче хорошо, а завтра подвернется нечистый, - глядь, и соблазнит хозяина твоего либо на карты, либо на вино, либо на кралю какую. И пойдет все прахом. Разве не бывает?

Слушал Пахом - хозяин на печи, что бабы балакают.

- Правда это, - говорит, - истинная. Как наш брат с измальства ее, землю-матушку, переворачивает, так дурь-то в голову и не пойдет. Одно горе - земли мало! А будь земли вволю, так я никого, и самого черта не боюсь!

А черт за печкой сидел, все слышал. Обрадовался он, что крестьянская жена на похвальбу мужа навела: похваляется, что, была б у него земля, его и черт не возьмет.

"Ладно, - думает, - поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму".

Жила рядом с мужиками барынька небольшая. Было у ней 120 десятин земли. И жила прежде с мужиками смирно - не обижала. Да нанялся к ней солдат отставной в приказчики и стал донимать мужиков штрафами. Как ни бережется Пахом, а либо лошадь в овсы забежит, либо корова в сад забредет, либо телята в луга уйдут, - за все штраф.

Расплачивается Пахом и домашних ругает и бьет. И много греха от этого приказчика принял за лето Пахом. Уж и рад был, что скотина на двор стала, - хоть и жалко корму, да страху нет.

Прошел зимой слух, что продает барыня землю и что ладит купить ее дворник с большой дороги. Услыхали мужики, ахнули. "Ну, - думают, - достанется земля дворнику, замучает штрафами хуже барыни. Нам без этой земли жить нельзя, мы все у ней в кругу". Пришли мужики к барыне миром, стали просить, чтоб не продавала дворнику, а им отдала. Обещали дорожке заплатить. Согласилась барыня. Стали мужики ладить миром всю землю купить; сбились и раз и два на сходки - не сошлось дело. Разбивает их нечистый, никак не могут согласиться. И порешили мужики порознь покупать, сколько кто осилит. Согласилась и на это барыня. Услыхал Пахом, что купил у барыни 20 десятин сосед и она ему половину денег на года рассрочила. Завидно стало Пахому: "раскупят, -

думает, - всю землю, останусь я ни при чем". Стал с женой советовать.

- Люди покупают, надо, - говорит, и нам купить десятин десяток. А то жить нельзя: одолел приказчик штрафами.

Обдумали, как купить. Было у них отложено сто рублей, да жеребенка продали, да пчел половину, да сына заложили в работники, да еще у свояка занял, и набралась половина денег.

Собрал Пахом деньги, облюбывал землю, 15 десятин с лесочком, и пошел к барыне торговаться. Выторговал 15 десятин, ударил по рукам и задаток дал. Поехали в город, купчую закрепили, деньги половину отдал, остальные в два года обязался выплатить.

И стал Пахом с землей. Занял Пахом семян, посеял покупную землю; родилось хорошо. В один год выплатил долг и барыне и свояку. И стал Пахом помещиком: свою землю пахал и сеял, на своей земле сено косил, со своей земли колья рубил и на своей земле скотину кормил. Выедет Пахом на свою вечную землю пахать или придет всходы и луга посмотреть, - не нарадуется. И трава-то, ему кажется, растет, и цветы-то цветут на ней совсем иные. Бывало, проезжал по этой земле - земля как земля, а теперь совсем земля особенная стала.

Живет так Пахом, радуется. Все бы хорошо, только стали мужики у Пахома хлеб и луга травить. Честью просил, все не унимаются: то пастухи упустят коров в луга, то лошади из ночного на хлеба зайдут. И сгонял Пахом и прощал, все не судился, потом наскучило, стал в волостное жаловаться. И знает, что от тесноты, а не с умыслом делают мужики, а думает: "нельзя же и спускать, этак они все вытравят. Надо поучить".

Поучил так судом раз, поучил другой, оштрафовали одного, другого. Стали мужики-соседи на Пахома сердце держать; стали другой раз и нарочно травить. Забрался какой-то ночью в лесок, десяток липок на лыки срезал. Проехал по лесу Пахом, - глядь, белеется. Подъехал - лутошки брошены лежат, и пенушки торчат. Хоть бы из куста крайние срезал, одну оставил, а то под ряд злодей все счистил. Обозлился Пахом: "Ах, - думает, - вызнать бы, кто это сделал; уж я бы ему выместил". Думал, думал, кто: "Больше некому, - думает, - как Семке". Пошел к Семке на двор искать, ничего не нашел, только поругались. И еще больше уверился Пахом, что Семен сделал. Подал прошение. Вызвали на суд. Судили, судили - оправдали мужика: улики нет. Еще пуще обиделся Пахом; с старшиной и судьями разругался. "Вы, - говорит, - воров руку тянете. Кабы сами по правде жили, не оправляли бы воров". Поссорился Пахом и с судьями и с соседями. Стали ему и красным петухом грозиться. Стало Пахому в земле жить просторней, а в миру теснее.

И прошел в то время слух, что идет народ на новые места. И думает Пахом: "Самому мне от своей земли идти не зачем, а вот кабы из наших кто пошли, у нас бы просторнее стало. Я бы их землю на себя взял, себе в круг пригнал; житье бы лучше стало. А то все теснота".

Сидит раз Пахом дома, заходит мужик прохожий. Пустили ночевать мужика, покормили, разговорились, - откуда, мол, Бог несет? Говорит мужик, что идет снизу, из-за Волги, там в работе был. Слово за слово, рассказывает мужик, как туда народ селиться идет. Рассказывает: "Поселились там ихние, приписались в общество, и нарезали им по 10 десятин на душу. А земля такая, - говорит, - что посеяли ржи, так солома - лошади не видать, а густая, что горстей пять - и сноп. Один мужик, - говорит, - совсем бедный, с одними руками пришел, а теперь шесть лошадей, две коровы".

Разгорелось у Пахома сердце. Думает: "Что ж тут в тесноте бедствовать, коли можно хорошо жить. Продам здесь и землю и двор; там я на эти деньги выстроюсь и заведение все заведу. А здесь в этой тесноте - грех один. Только самому все путем вызнать надо".

Собрался на лето, пошел. До Самары плыл по Волге вниз на пароходе, потом пеший верст 400 прошел. Дошел до места. Все так точно. Живут мужики просторно, по 10 десятин земли на душу нарезано, и принимают в общество с охотой. А коли кто с денежками, покупай, кроме надельной, сколько хочешь, купить можно!

Разузнал все Пахом, вернулся к осени домой, стал все распродавать. Продав землю с барышом, продал двор свой, продал скотину всю, выписался из общества, дождался весны и поехал с семьей на новые места.

Приехал Пахом на новые места с семейством, приписался в большое село в общество. Попоилов стариков, бумаги все выправил. Приняли Пахома, нарезали ему на 5 душ надельной земли 50 десятин в разных полях, кроме выгона. Построился Пахом, скотину завел. Земли у него одной душевой против прежнего втрое стало. И земля хлебодородная. Житье против того, что на старине было, вдесятеро лучше. И пахотной земли и кормов вволю. Скотины сколько хочешь держи.

Сначала, покуда строился да заводился, хорошо показалось Пахому, да обжился - и на этой земле тесно показалось. Посеял первый год Пахом пшеницы на душевой, - хороша уродилась. Разохотился он пшеницу сеять, а душевой земли мало. И какая есть, не годится. Пшеницу там на ковыльной или залежной земле сеют. Посеют год, два и запускают, пока опять ковылем прорастает. А на такую землю охотников много, на всех и не хватает. Тоже из-за нее споры; побогаче кто - хотят сами сеять, а бедняки отдают купцам за подати. Захотел Пахом побольше посеять. Поехал на другой год к купцу, купил земли на год. Посеял побольше - родилось хорошо; да далеко от села: верст за 15 возить надо. Видит - в округе купцы-мужики хуторами живут, богатеют. "То ли дело, - думает Пахом, - коли бы тоже в вечность землицы купить да построить хутор. Все бы в кругу было". И стал подумывать Пахом, как бы земли в вечность купить.

Прожил так Пахом три года. Снимал землю, пшеницу сеял. Года вышли хорошие, и пшеница хорошо рожалась, и деньги залежные завелись. Жить бы да жить, да скучно показалось Пахому каждый год в людях землю покупать, из-за земли воловодиться: где хорошенькая землица есть, сейчас налетят мужики, всю разберут; не поспел укупить и не на чем сеять. А то купил на 3-й год с купцом пополам выгон у мужиков; и вспахали уж, да засудились мужики, так и пропала работа. "Кабы своя земля была, - думает, - никому бы не кланялся, и греха бы

не было".

И стал Пахом разузнавать, где купить земли в вечность. И попал на мужика. Были куплены у мужика 500 десятин, да разорился он и продает за дешево. Стал Пахом ладить с ним. Толковал, толковал - сладился за 1500 руб., половину денег обождать. Совсем уж было поладили, да заезжает раз к Пахому купец проезжий на двор покормить. попили чайку, поговорили. Рассказывает купец, что едет он из дальних башкир. Там, рассказывает, купил у башкирцев земли тысяч 5 десятин. И стало всего 1000 рублей. Стал расспрашивать Пахом. Рассказал купец. "Только, - говорит, - стариков ублагодворил. халатов, ковров раздарил рублей на 100, да цыбик чаю, да попоил винцом, кто пьет. И по 20 коп. за десятину взял". Показывает купчую. "Земля, - говорит, - по речке, и степь вся ковыльная". Стал расспрашивать Пахом, как и что. "Земли, - говорит купец, - там не обойдешь и в год: все башкирская. А народ несмышленный, как бараны. Можно почти даром взять". - "Ну, - думает Пахом, что ж мне за мои 1000 руб. 500 десятин купить да еще долг на шею забрать. А тут я за 1000 рублей чем завладею!"

Расспросил Пахом, как проехать, и только проводил купца, собрался сам ехать. Оставил дом на жену, сам собрался с работником, поехал. Заехали в город, купили чаю цыбик, подарков, вина, - все, как купец сказал. Ехали, ехали, верст 500 отъехали. На седьмые сутки приехали на башкирскую кочевку. Все так, как купец говорил. Живут все в степи, над речкой, в кибитках войлочных. Сами не пашут и хлеба не едят. А в степи скотина ходит и лошади косяками. За кибитками жеребята привязаны, и к ним два раза в день маток пригоняют; кобылье молоко доят и из него кумыс делают. Бабы кумыс болтают и сыр делают, а мужики только и знают - кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют. Гладкие все, веселые, все лето празднуют. Народ совсем темный и по-русски не знают, а ласковый.

Только увидели Пахома, повышли из кибиток башкирцы, обступили гостя. Нашелся переводчик. Сказал ему Пахом, что он об земле приехал. Обрадовались башкирцы, подхватили Пахома, свели его в кибитку хорошую, посадили на ковры, подложили под него подушек пуховых, сели кругом, стали угощать чаем, кумысом. Барана зарезали и бараниной накормили. Достал Пахом из тарантаса подарки, стал башкирцам раздавать. Одарил Пахом башкирцев подарками и чай разделил. Обрадовались башкирцы. Лопотали, лопотали промеж себя, потом велели переводчику говорить.

- Велят тебе сказать, - говорит переводчик, - что они полюбили тебя и что у нас обычай такой - гостю всякое удовольствие делать и за подарки отдаривать. Ты нас одарил; теперь скажи, что тебе из нашего полюбится, чтоб тебя отдарить?

- Полюбилась мне, - говорит Пахом, - больше всего у вас земля. У нас, говорит, в земле теснота, да и земля выпаванная, а у вас земли много и земля хороша. Я такой и не видывал.

Передал переводчик. Поговорили, поговорили башкирцы. Не понимает Пахом, что они говорят, а видит, что веселы, кричат что-то, смеются. Затихли потом, смотрят на Пахома, а переводчик говорит:

"Велят, - говорит, - они тебе сказать, что за твое добро рады тебе сколько хочешь земли отдать. Только рукой покажи какую - твоя будет".

Поговорили они еще и что-то спорить стали. И спросил Пахом, о чем спорят. И сказал переводчик:

- говорят одни, что надо об земле старшину спросить, а без него нельзя. А другие говорят, и без него можно.

Спорят башкирцы, вдруг идет человек в шапке лисьей. Замолчали все и встали. И говорит переводчик: "Это старшина самый". Сейчас достал Пахом лучший халат и поднес старшине и еще чаю 5 фунтов. Принял старшина и сел на первое место. И сейчас стали говорить ему что-то башкирцы. Слушал, слушал старшина, кивнул головой, чтоб они замолчали, и стал говорить Пахому по-русски.

- Что ж, говорит, можно. Бери, где полюбится. Земли много. "Как же я возьму, сколько хочу, - думает Пахом. - Надо же как ни есть закрепить. А то скажут твоя, а потом отнимут".

- Благодарим вас, - говорит, - на добром слове. Земли ведь у вас много; а мне немножко надо. Только бы мне знать, какая моя будет. Уж как-нибудь все-таки отмерять да закрепить за мной надо. А то в смерти-животе Бог волен. Вы, добрые люди, даете, а придется - дети ваши отнимут.

- Правда твоя, - говорит старшина, - закрепить можно.

Стал Пахом говорить:

Я вот слышал, у вас купец был. Вы ему тоже землицы подарили и купчую сделали; так и мне бы тоже".

Все понял старшина.

- Это все можно, - говорит. - У нас и писарь есть, и в город поедет, и все печати приложим.

- А цена какая будет? - говорит Пахом.

- Цена у нас одна: 1000 руб. за день.

Не понял Пахом.

- Какая же эта мера - день? Сколько в ней десятин будет?

- Мы этого, - говорит, - не умеем считать. А мы за день продаем; сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню будет.

Удивился Пахом.

- Да ведь это, - говорит, - в день обойти, земли много будет.

Засмеялся старшина.

- Вся твоя! - говорит. - Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с какого возьмешься, пропали твои деньги.

- А как же, - говорит Пахом, - отметить, где я пройду?

- А мы станем на место, где ты облюбуйешь, мы стоять будем, а ты иди, делай круг; а с собой скребку возьми и, где надобно, замечай, на углах ямки рой, дернички клади, потом с ямки на ямку плугом проедем. Какой хочешь круг забирай, только до захода солнца приходи к тому месту, с какого взялся. Что обойдешь, все твое.

Обрадовался Пахом. Порешили на ране выезжать. Потолковали, попили еще кумысу, баранины поели, еще чаю напились; стало дело к ночи. Уложили Пахома спать на пуховике, и разошлись башкирцы. Обещались завтра на зорьке собраться, до солнца на место выехать.

Лег Пахом на пуховики и не спится ему, все про землю думает. "Отхвачу, - думает, - палестину большую. Верст 50 обойду в день-то. День-то нынче что год; в 50 верстах земли-то что будет. Какую похуже - продам или мужиков пушу, а любенькую отберу, сам на ней сяду. Плуга два быков заведу, человека два работников принайму; десятинок полсотни пахать буду, а на остальной скотину нагуливать стану".

Не заснул всю ночь Пахом. Перед зарей только забылся. Только забылся и видит он сон. Видит он, что лежит будто он в этой самой кибитке и слышит наружу гогочет кто-то. И будто захотелось ему посмотреть, кто такой смеется, и встал он, вышел из кибитки и видит - сидит тот самый старшина башкирский перед кибиткой, за живот ухватился обеими руками, закатывается, гогочет на что-то. Подошел он и спросил: "чему смеешься?" И видит он, будто это не старшина башкирский, а купец наемнишний, что к ним заезжал, об земле рассказывал. И только спросил у купца: "ты давно ли тут?" а это уж и не купец, а тот самый мужик, что на старине снизу заходил. И видит Пахом, что будто и не мужик это, а сам дьявол, с рогами и с копытами, сидит, хохочет, а перед ним лежит человек босиком, в рубахе и портках. И будто поглядел Пахом пристальней, что за человек такой? И видит, что человек мертвый и что это - он сам. Ужаснулся Пахом и проснулся. Проснулся. - "Чего не приснится", - думает. Огляделся; видит в открытую дверь - уж бело становится, светать начинает. "Надо, - думает, - будить народ, пора ехать". Поднялся Пахом, разбудил работника в тарантасе, велел запрягать и пошел башкирцев будить.

- Пора, - говорит, - на степь ехать, отмерять.

Повставали башкирцы, собрались все, и старшина пришел. Зачали башкирцы опять кумыс пить, хотели Пахома угостить чаем, да не стал он дожидаться.

- Коли ехать, так ехать, - говорит, - пора.

Собрались башкирцы, сели - кто верхами, кто в тарантасы, поехали. А Пахом с работником на своем тарантасике поехали и с собой скребку взяли. Приехали в степь, заря занимается. Въехали на бугорок, по-башкирски - на шихан. Вылезли из тарантасов, послезали с лошадей, сошлись в кучку. Подошел старшина к Пахому, показал рукой.

- Вот, - говорит, - вся наша, что глазом окинешь. Выбирай любую.

Разгорелись глаза у Пахома: земля вся ковыльная, ровная как ладонь, черная как мак, а где ложинка - так разнотравье, трава по груди.

Снял старшина шапку лисью, поставил на землю.

- Вот, - говорит, - метка будет. Отсюда пойдешь, сюда приходи. Что обойдешь, все твое будет.

Вынул Пахом деньги, положил на шапку, снял кафтан, в одной поддевке остался, перепоясался потуже под брюхо кушаком, подтянулся, сумочку с хлебом за пазуху положил, баклажку с водой к кушаку привязал, подтянул голенища, взял скребку у работника, собрался идти. Думал, думал, в какую сторону взять, - везде хорошо. Думает - все одно: пойду на восход солнца. Стал лицом к солнцу, размялся, ждет, чтобы показалось оно из-за края. Думает - ничего времени пропускать не стану. Холодом и идти легче. Только брызнуло из-за края солнце, вскинул Пахом скребку на плечо и пошел в степь.

Пошел Пахом не тихо, не скоро. Отошел с версту; остановился, вырыл ямку и дернички друг на дружку положил, чтоб приметней было. Пошел дальше. Стал разминаться, стал и шаг прибавлять. Отошел еще, вырыл еще другую ямку.

Оглянулся Пахом. На солнце хорошо видно шихан, и народ стоит, и у тарантасов на колесах шины блестят. Угадывает Пахом, что верст 5 прошел. Согреваться стал, снял поддевку, вскинул на плечо, пошел дальше. Отошел еще верст пять. Тепло стало. Взглянул на солнышко, - уж время об завтраке.

"Одна упряжка прошла, - думает Пахом. - А их четыре в дню, рано еще заворачивать. Дай только разуюсь". Присел, разулся, сапоги за пояс, пошел дальше. Легко идти стало. Думает: "Дай пройду еще верст пяток, тогда влево загибать стану. Место-то хорошо очень, кидать жалко. Что дальше, то лучше". Пошел еще напрямик. Оглянулся - шихан уж чуть видно и народ, как мураши, на нем чернеется и чуть блестит что-то.

"Ну, - думает Пахом, - в эту сторону довольно забрал; надо загибать. Да и разопрел - пить хочется". Остановился, вырыл ямку побольше, положил дернички, отвязал баклажку, напился и загнул круто влево. Шел он, шел, трава пришла высокая, и жарко стало.

Стал Пахом уставать; поглядел он на солнышко, видит - самый обед. "Ну, - думает, - отдохнуть надо". Остановился Пахом, присел. Поел хлебца с водой, а лечь на стал: думает - ляжешь, да и заснешь. Посидел немного, пошел дальше. Сначала легко пошел. От еды силы прибавилось. Да уж жарко очень стало, да и сон клонить стал; однако все идет, думает - час терпеть, а век жить.

Прошел еще и по этой стороне много, хотел уж загибать влево, да глядь - ложинка подошла сырая; жаль бросать. Думает, "лен тут хорош уродится". Опять пошел прямо. Захватил ложинку, выкопал ямку за ложинкой, загнул второй угол. Оглянулся Пахом на шихан: от тепла затуманилось, качается что-то в воздухе и сквозь мару чуть виднеются люди на шихане - верст 15 до них будет. "Ну, - думает Пахом, - длинны стороны взял, надо эту покороче взять". Пошел третью сторону, стал шаг прибавлять. Посмотрел на солнце - уж оно к полднику

подходит, а по третьей стороне всего версты две прошел. И до места все те же верст 15. "Нет, - думает, - хоть кривая дача будет, а надо прямиком поспевать. Не забрать бы лишнего. А земли и так уж много". Вырыл Пахом поскорее ямку и повернул прямиком к шихану.

Идет Пахом прямо на шихан, и тяжело уж ему стало. Разопрел и ноги босиком изрезал и отбил, да и подкашиваться стали. Отдохнуть хочется, а нельзя, - не успеешь дойти до заката. Солнце не ждет, все спускается да спускается. "Ах, думает, не ошибся ли, не много ил забрал? Что, как не успеешь?" Взглянет вперед на шихан, взглянет на солнце: до места далеко, а солнце уж недалеко от края.

Идет так Пахом, трудно ему, а все прибавляет да прибавляет шагу. Шел, шел - все еще далеко; побежал рысью. Бросил поддевку, сапоги, баклажку, шапку бросил, только скребку держит, ей попирается. "Ах, - думает, - позарился я, все дело погубил, не добегу до заката". И еще хуже ему от страха дух захватывает. Бежит Пахом, рубаха и портки от пота к телу липнут, во рту пересохло. В груди как мехи кузнечные раздуваются, а в сердце молотком бьет, и ноги как не свои - подламываются. Жутко стало Пахому: думает, "как бы не помереть с натуги".

Помереть боится, а остановиться не может. "Столько, - думает пробежал, а теперь остановиться, - дураком назовут". Бежал, бежал, подбегает уж близко и слышит: визжат, гайкают на него башкирцы, и от крика ихнего у него еще пуще сердце разгорается. Бежит Пахом из последних сил, а солнце уж к краю подходит. Вот-вот закатываться станет. Солнце близко, да и до места уж вовсе ее далеко. Видит уж Пахом, и народ на шихане на него руками махает, его подгоняют. Видит шапку лисью на земле и деньги на ней видит; видит и старшину, как он на земле сидит, руками за пузо держится. И вспомнился Пахому сон. "Земли, - думает, - много, да приведет ли Бог на ней жить. Ох, погубил я себя, - думает, не добегу".

Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло, уж краюшком заходить стало и дугой к краю вырезалось. Наддал из последних сил Пахом, навалился наперед телом, насилу ноги поспевают подставляться, чтоб не упасть. Подбежал Пахом к шихану, вдруг темно стало. Оглянулся, - уж зашло солнце. Ахнул Пахом. "Пропали, - думает, - мои труды". Хотел уж остановиться, да слышит, гайкают все башкирцы, и вспомнил он, что снизу ему кажется, что зашло, а с шихана не зашло еще солнце. Надулся Пахом, взбежал на шихан. Еа шихане еще светло. Взбежал Пахом, видит - шапка. Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул, подкосились ноги, и упал он вперед, руками до шапки достал.

- Ай, молодец! - закричал старшина. - Много земли завладел!

Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит.

Пошелкали языками башкирцы, пожалели.

Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил - три аршина, и закопал его.

ДВЕ ПОЕЗДКИ ЛЬВА ТОЛСТОГО



В сентябре 1876 года Оренбург посетили два графа Толстых.

Пребывание одного из них "Оренбургские губернские ведомости" и "Оренбургский листок" осветили подробнее: и где изволил побывать, и какие тосты провозглашал во время завтраков, обедов, ужинов, и насколько великодушно просил отправить не съеденные на приеме фрукты и лакомства в женскую гимназию.

Приводились в отчетах лестные слова, сказанные гостем в адрес хозяев города, и тут же, еще более пышные: хозяев - гостю.

Городской голова Н.А. Середа, например, с восхищением отзывался о литературных трудах графа, известных и почитаемых, по его словам, всем культурным обществом.

Что касается пребывания в Оренбурге другого графа Толстого, то ни в местном официозе, ни в частной газете оно не оставило никаких следов. Будто этот человек был совершенно неизвестным, и тот же городской голова, выказавший себя знатоком и ценителем литературы, о нем даже не слыхивал.

Какие литературные заслуги имел Дмитрий Андреевич Толстой, помпезно принятый оренбургскими властями? Этого сейчас наверняка не скажет никто. Разве только после долгих поисков в старых указателях удастся выяснить, что сим "литератором" создана "История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II". Но в Оренбург он приехал министром народного просвещения и обер-прокурором святейшего Синода, высокопоставленным сановником государства Российского. Он мог всемилостивейше даровать обещания - вроде устройства реального училища (открытого, кстати сказать, лишь много лет спустя). Ему были предоставлены полномочия проверять и спрашивать.

Ну, а Лев Николаевич Толстой, в противоположность своему однофамильцу, никаких постов не занимал. Поэтому даже литературные его заслуги остались в тени. А этим гостем Оренбурга уже была создана автобиографическая трилогия "Детство", "Отрочество" и "Юность", опубликованы "Севастопольские рассказы" и "Казачья", написана и напечатана несравненная эпопея "Война и мир". Ко времени приезда сюда подходила к концу работа над романом "Анна Каренина", который еще выше поднял и без того громкую его славу.

Тем не менее он оказался в положении рядового заезжего, словно известные писатели в этот далекий степной город наведывались, по крайней мере, каждый месяц.

Ни "Оренбургские губернские ведомости", ни "Оренбургский листок" о приезде Л.Н. Толстого не обмолвились и словом.

1

Пребывание Льва Николаевича Толстого в Оренбургском крае в литературе освещено довольно подробно. Об этом писали сыновья писателя Илья и Сергей Львовичи. Интересные данные есть у П. Бирюкова и других толстовских биографов. Важные сведения об этом можно почерпнуть из писем Толстого, напечатанных в полном собрании его сочинений.

Наконец, стоит сослаться на очерк "Лев Толстой" в книге литературоведа Н.Е. Прянишникова "Писатели-классики в Оренбургском крае", где разрозненный материал собран воедино, систематизирован, обобщен.

Но одна из страниц связей писателя с Оренбуржьем осталась "белым пятном".

Речь идет о поездке (или поездках) Л.Н. Толстого в Оренбург.

Такой пробел тем более досаден, что сам Толстой выделял поездку в сентябре 1876 года как "очень интересную" и даже "чудесную". Она, как убеждают многие факты, носила не только деловой, хозяйственный характер, но и тесно связывалась с творческими замыслами, будоражившими его воображение.

Можно ли отказаться от попытки, пользуясь всеми доступными источниками, восполнить пробел хотя бы частично?

2

11 сентября 1876 года в 2 часа 10 минут из Оренбурга была отправлена следующая телеграмма:

"Тула нарочным Ясная Поляна

Графине Толстой.

Чугунка задержала два дня Оренбург здоров очень интересно телеграфируй о себе Самару беспокоюсь Толстой" (83, 231).

12 сентября Софья Андреевна писала Т.А. Кузминской:

"От Левочки сегодня получила телеграмму из Оренбурга, что он здоров и еще два дня позднее приедет" (83, 231).

План поездки в Оренбург возник у Толстого по дороге в самарское свое имение. Готовясь в путь, он об этом даже не думал. Встречи на волжском пароходе (о попутчиках речь еще пойдет) подсказали ему мысль и утвердили в желании побывать в городе на границе Европы и Азии, интересном во многих отношениях.

А что задержку вызвало?

Здесь следует обратиться к истории железнодорожной линии от Самары до Оренбурга.

Сооружение ее было начато в 1871 году и закончено в 1876-м. Дороге придавалось огромное значение. О пуске магистрали в эксплуатацию в местной печати писали, как о "величайшем событии в истории Оренбургского края".

Несмотря на это, темпы работ были низкими. Сроки начала движения по линии срывались, заменялись, отодвигались.

Только 24 октября "Оренбургский листок" мог сообщить: "Слава богу: железная дорога наша готова! В пятницу, 22 октября, состоялся первый пробный проезд через железнодорожный мост на р. Сакмаре... Приглашенные лица уселись в инспекторском отделении поезда, а генерал-губернатор (Н.А. Крыжановский) изъявил желание ехать на паровозе, чтобы лучше видеть дорогу. В 12 часов поезд тронулся... На пути встречались группы любопытных. Всех любопытнее оказались татары, бежавшие за поездом вместе с мальчишками... Чем ближе подъезжали мы к городу, тем больше и чаще попадалось любопытных..."

Однако в этом же номере, полном торжественных славословий по поводу свершившегося события, содержалось и признание: "Будет ли открыто правильное движение по дороге в ноябре, с достоверностью неизвестно"*21.

Цитируемая газета в одном из своих ноябрьских номеров, говоря о "контрастах и несообразностях" города, отмечала, что здесь "есть вокзал железной дороги, к которому пока никого не подпускают и за деньги, и есть железная дорога, по которой возят пока всякого без денег"*22.

Лев Николаевич вместе с племянником Н.В. Толстым, оренбургским купцом В.М. Деевым и хивинским купцом, чья личность не установлена, были среди тех, которые получили возможность стать пассажирами еще не сданной в эксплуатацию линии.

Для этого требовалась протекция. Ее оказал Николай Львович фон Болль, давний знакомый Толстого, в прошлом учитель одной из открытых им сельских школ, служивший в то время на железной дороге в Самаре. Он, как и рассчитывал писатель, сумел устроить ему, а заодно и спутникам, билет для проезда.

Но дорога-то не была еще закончена, и непредвиденные обстоятельства возникали одно за другим, вызывая задержки.

Можно предположить, что в назначенный час отъезд не состоялся и отправка вагонов с

пассажирами произошла днем или двумя позднее. Однако более оправдан другой вариант. До Бузулука к сентябрю железнодорожное движение было относительно налажено, и Толстой осуществил первоначальный план, о котором писал Софье Андреевне с парохода на Волге 4 сентября: поездом доехал до Бузулука или до станции Богатое, ближайшей к его имению, оставил попутчиков-купцов, отправился на хутор и, решив необходимые хозяйственные вопросы, вернулся на станцию, где вынужден был ожидать новой, задержавшейся, оказии. Это повторяем, более вероятное объяснение двухдневной задержки в пути - той задержки, о которой говорилось в телеграмме из Оренбурга.

Железнодорожная часть маршрута закончилась для Толстого у строившегося тогда моста через реку Сакмару. Об этом мы можем сказать совершенно определенно уже хотя бы потому, что даже в конце сентября сановный гость Оренбурга граф Д.А. Толстой был при отъезде "принят железной дорогой" именно здесь, "близ моста за р. Сакмарой".

Не от вокзала, а отсюда, от Сакмары, началось личное знакомство писателя с городом.

3

"... Мы смотрели на удаляющиеся экипажи, покачивающиеся от кочек и рытвин, и как жалка оказалась нам эта кочковатая, изрытая ухабами, промоинами дорога, по которой мы только что проехали к мосту и по которой до сей поры плетутся обозы из Самары, ломая свои возы и калеча животных..."*23.

Это картинка того же года.

Картинка дороги, по которой ехал от Сакмарского моста Л.Н. Толстой.

Каким он увидел Оренбург?

Что представлял собой город в те годы?

"Наполовину европейский, наполовину азиатский город... Русское население его, в летнее время особенно, теряется в разношерстном сборе народов Азии - киргиз, татар, башкир, хивинцев, бухарцев, в меньшинстве проживающих в Оренбурге постоянно и в большинстве приезжающих в него летом со среднеазиатскими товарами".

Александр Алекторов, из книги которого сделана это выписка*24, глазами современника схватил живые черты Оренбурга того времени.

Обилие разнообразных азиатских типов... Пестрота и оригинальность их костюмов... Бесперывные верблюжьи караваны... Передвижение на верблюдах и ишаках по городу... соединяясь в цельную картину, все это представляло любопытное зрелище для приезжавших сюда из центральных губерний России, а для Толстого тем более.

Но, подчеркивал историк-краевед, этим и ограничивалась прелесть оренбургской жизни, не имевшей во всех других отношениях ничего заманчивого. Площади и улицы в большинстве своем оставались незамощенными, и стоило подуть небольшому ветерку, как возникало непроницаемое облако пыли. Зелени на улицах не было совершенно, а сады у мечети, против театра и на берегу Урала имели чахлый, запущенный вид. Город гармонировал с унылой степью.

"Внешне условия оренбургской жизни прозаичны и непривлекательны, - писал А. Алекторов. - Несмотря, однако, на это, жизнь кипит в нем ключом. Я не говорю здесь о жизни умственной или жизни общественной, она в застое, до невозможности вялая, отталкивающая... Оренбург - преимущественно город торговли; ежедневно в нем совершаются сотни крупных торговых операций, сделок и т.п. Несмотря на убийственную жару, наводящую лень и апатию, здесь все бойко двигается, суетятся, хлопочут..."

Торговые площади представляли собой истинные центры Оренбурга. На Чернореченской размещался хлебный рынок, на Хлебо-Соляной длинными рядами стояли лавки купцов, Сакмарская была известна "съестным и привозным базарами", Конно-Сенная - бойкой торговлей лошадьми. Наконец, Меновой двор - этот никогда не утихающий улей, центр внешней торговли, средоточие кипучего товарообмена между Россией и Бухарой. Из Хивы, Ургенча, Куинграда и многих других среднеазиатских городов приезжали сюда купцы со всевозможными товарами - хлопком и коврами, фруктами и овчинами, шерстью и восточными сладостями. Разноязыкий говор сливался воедино, а пестрые краски нарядов, в сочетании с яркими шатрами, создавали такие цветовые гаммы, каких не придумать самой искусной ковровщице.

Лев Толстой, который в тот период был увлечен хозяйственными делами и планами, отдел, безусловно, дань знакомству с оренбургской торговлей. В этом ему наверняка помогали дорожные знакомые - особенно местный купец Деев.

"В области сельского хозяйства Л.Н.-ч увлекался в то время разведением лошадей, за ними он и поехал в Оренбург", - утверждает биограф Толстого П. Бирюков*24.

"Деев... мне поможет в покупке лошадей...", - читаем в письме с дороги.

"Папа привез из Оренбурга чудного белого бухарского аргамака и пару осликов, которых потом взяли в Ясную Поляну и на которых ездили верхом несколько лет", - сообщает в своих воспоминаниях об отце И.Л. Толстой.

Наконец, о сделанных здесь приобретениях косвенно свидетельствует и отправленная несколько дней спустя, 17 сентября, телеграмма из Сызрани о погрузке лошадей (83, 231). Они могли быть закуплены только в Оренбурге.

Но, независимо от покупок, центры оренбургской торговли, особенно Меновой двор, не могли не привлечь внимания писателя, не вызвать в нем интереса своей "азиатской" экзотикой.

Оренбург 1876 года имел не много достопримечательностей. На первом месте среди них значился караван-сарай. Он был неразрывно связан с именем Перовского, который считал его "колыбелью башкирской цивилизации".

Четырехугольником поднималось двухэтажное каменное здание. С ним гармонировал великолепно исполненный полуконус мечети. Над всем возвышался длинный, тонкий минарет. Не последнее место в этом ансамбле занимал сад. Украшением его являлись большие сосны, с корнями перенесенные сюда из башкирских лесов.

К тому времени в Караван-сарай размещалась административная часть управления городом и губернией. Губернское правление, межевое отделение, местный официоз "Оренбургские губернские ведомости" вольготно расположились в этом здании.

Толстой, скорее всего, остановился в резиденции губернатора на берегу Урала. Там имелись обширные покои для гостей, и они-то могли быть предоставлены Н.А. Крыжановским своему давнему знакомому, родовитому графу, а к тому же - знаменитому писателю.

В пользу высказанной версии о месте жительства Толстого в Оренбурге говорит свидетельство П.И. Бирюкова в составленной им биографии (она, как известно, внимательно просматривалась самим Толстым). "Там он, - пишет Бирюков, имея в виду Оренбург и Толстого, - встретил своего старого приятеля и севастопольского сослуживца генерала Крыжановского (бывшего тогда оренбургским генерал-губернатором) и очень приятно провел время в воспоминаниях давно пережитого"*24.

Официальная аудиенция, даже самая продолжительная по времени и теплая по характеру, при подчеркнутых биографом отношениях, не могла являться тем приятным, и даже очень приятным, время проведением, о котором шла речь. воспоминания давно пережитого требовали неофициальной обстановки, только и располагавшей к непринужденной беседе сослуживцев.

А вот выписка из письма С.А. Толстой к Т.А. Кузминской: "Да, о Левочкиной поездке я тебе ничего не написала. Он вернулся 20-го сентября с Николенькой. Они были в Оренбурге, купили лошадей; очень приятно было там Левочке у Крыжановского, его старого знакомого и тамошнего генерал-губернатора"*25.

Это, думается, подтверждает сказанное.

Толстой смотрел, расспрашивал, слушал. Слушал внимательно, испытывая глубокую радость узнавания нового.

4

Знакомство Л.Н. Толстого с Н.А. Крыжановским произошло во время Крымской войны, в которой оба принимали участие: первый - в качестве командира артиллерийской батареи, второй - как начальник штаба всей артиллерии под Севастополем.

Им было о чем поговорить.

Как не вспомнить бой 4 августа 1885 года, когда тысячи людей посылали на верную и, к тому же, бессмысленную смерть? Тогда Толстой сочинил сатирическую песню, начинавшуюся словами: "Как четвертого числа нас нелегкая несла горы отбирать..." Зло, едко высмеивала она неумных

генералов. Крыжановский был одним из тех, кто слышал ее первым. По воспоминаниям сослуживцев, офицеры по вечерам обычно собирались у начальника штаба артиллерии и распевали севастопольскую песню. Во время встречи в Оренбурге она могла зазвучать вновь.

А другой эпизод, известный нам по воспоминаниям бывшего начальника Толстого полковника Одаховского?

... во время командования горною батареей у Толстого скоро и произошло первое серьезное столкновение с начальством, - вспоминал полковник. - Дело в том, что, по обычаю того времени, батарея была доходной статьею, и командиры батареи все остатки от фуража клали себе в карман. Толстой же, сделавшись командиром батареи, взял да и записал на приход весь остаток от фуража по батарее. Прочие батарейные командиры, которых это било по карману и подводило в глазах начальства, подняли бунт: ранее никаких остатков никогда не бывало и их не должно было оставаться... Принялись за Толстого. Генерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание. "Что же это вы, граф, выдумали? - сказал он Толстому. - Правительство устроило так для вашей же пользы. Вы ведь живете на жалованье. В случае недостачи по батарее, чем же вы пополните? Вот для чего у каждого командира должен быть остаток... Вы всех подвели". "Не нахожу нужным оставлять эти остатки у себя, - резко ответил Толстой, - это не мои деньги, а казенные"*25.

Крыжановский еще тогда оценил глубокий ум Толстого. Не случайно именно ему поручил он после падения Севастополя составить подробное донесение о последней бомбардировке города. Это поручение дало автору уже опубликованных к тому времени первых "Севастопольских рассказов" возможность глубже изучить обстановку, лучше разобраться в положении. Рассказы Л.Н. Толстого, законченные в следующем, 1856 году, явились гимном подлинным патриотом отчизны. Героем эпопеи Севастополя, подчеркивал автор, был русский народ.

Мы считаем, что в значительной мере именно под влиянием оренбургской встречи, оренбургских бесед о Севастополе взялся впоследствии за перо и сам Крыжановский, ранее писавший лишь деловые, специальные трактаты, вроде: "Правила приема войсками предметов артиллерийского довольствия", "Записки фортификации для дивизионных артиллерийских школ" и т.п. Теперь и он сделал попытку заняться художественной прозой. Уже находясь на покое, 68-летний генерал напечатал в столичном журнале очерки "Севастополь и его защитники в 1855 году", "Севастополь в ночь с 27 на 28 августа 1855 года"*26. Они не идут ни в какое сравнение с тем высоким мастерством, с тем блеском, которыми отмечены "Севастопольские рассказы" Л.Н. Толстого. Однако для нас, в данном случае, представляется важным совпадение взглядов Толстого и Крыжановского на ряд главнейших событий Крымской войны, на поведение в этой войне сыновей русского народа, одетых в солдатские шинели. Чтение очерков Н.А. Крыжановского дает возможность отчетливее представить и направление, характер воспоминаний во время оренбургской встречи.

5

Интерес к личности бывшего генерал-губернатора Перовского возник у Льва Николаевича за много лет до поездки в Оренбург.

"История Перовского" - записал он в своем дневнике 29 октября 1857 года (47, 161). Надо полагать, что в тот день Толстой впервые услышал о пребывании русского офицера в плену у французов. Рассказ о страданиях, выпавших на его долю, о мужестве и стойкости пленника заинтересовал писателя.

Девять лет спустя он читал "Записки В.А. Перовского о пребывании его в плену в 1812-1814 гг.", напечатанные в журнале "Русский архив" (1865, N 3). Работая над эпопеей "Война и мир", Толстой воспользовался этими записками при описании пребывания Пьера Безухова во французском плену. Такие эпизоды, как расстрел пленных, допрос у маршала Даву и ряд других, имеют под собой фактическую основу, почерпнутую из рассказов Перовского.

Ко времени, когда Толстой узнал его историю, Василий Алексеевич Перовский уже доживал свою жизнь: он умер в начале декабря 1857 года. Двюродная тетка Льва Николаевича - А.А. Толстая, с которой писателя связывала многолетняя искренняя дружба, была доброй знакомой Перовского. Больше того, она давно, хотя и безнадежно, его любила. Александра Андреевна могла немало рассказывать об этом человеке - участнике Отечественной и Турецкой войн, впоследствии крупном

военном и государственном деятеле, дважды (в 1833-1842 и 1851-1857 годах) управлявшем Оренбургским краем.

Этот край являлся тогда для Толстого не более чем "географическим понятием". Но в недалеком будущем ему довелось познакомиться с ним поближе. Если первая поездка на кумыс, совершенная в 1862 году, дала лишь самые общие представления о завожских степях, то с 1871 года, наезжая сюда почти ежегодно, он все полнее узнавал и места, и людей, и, конечно, прошлое. Немало довелось услышать о Перовском.

Среди канцелярских башкир были те, которые служили под началом генерала в его среднеазиатских походах. Энтузиаст изучения воспоминаний местного населения о Толстом А.И. Ярмухаметов в свое время записал рассказ Ишбулды Сафина: "Бывало, начну играть на курае башкирские мелодии, протяжные и плясовые, Лев Николаевич с увлечением слушает и начнет расспрашивать, что это за мелодия, по случаю чего создана, кто сочинил. Например, когда я исполнял плясовые башкирские мелодии "Перовский" или "Цеалковский", он спрашивал, почему эти мелодии имеют русские названия. Я объяснил, что у русских генералов служили рядовые солдаты-башкиры и, сочиняя эти мелодии, называли их фамилиями генералов, за что получали награду..."*27.

В качестве возможного героя будущего произведения Цялковский встал перед писателем в тот период, когда он заканчивал работу над романом "Анна Каренина" и обдумывал дальнейшие творческие планы.

Именно на это время приходится поездка в Оренбург.

В голове рой замыслов. Толстого волнует эпоха Петра I, в которую он впервые глубоко окунулся еще в 1870 году, после создания "Войны и мира". Прежний план "петровского романа" создания "Войны и мира". Прежний план "петровского романа" претерпевает поренную ломку: не "верхи общества", а крестьянство должно быть в центре произведения. Новыми идеями обрастает другая тема, близкая писателю, - декабристы. Ныне она соединяется с не мене крупной - о переселении крестьян. К ним, переселенцам, в Самаре ли, в Сибири, попадает "один из участвовавших в истории 14 декабря". Картина раскрывается шире и глубже, многообразнее становятся сюжетные линии, новые занявшие свое место. В качестве звена между переселенцами и декабристами возникает Василий Алексеевич Перовский.

Лев Николаевич все более убеждается: "... такая фигура - одна наполняющая картину - биография его - была бы груба, но с другими, противоположными ему, тонкими, мелкой работы, нежными характерами, как Жуковский даже..., с другими и, главное, с декабристами, эта крупная фигура, составляющая тень (оттенок) к Николаю Павловичу - самой крупной... фигуре, выражает вполне то время" (62, 383).

Это слова из письма, написанного позднее, в январе 1878 года. Но такой вывод сложился не сам по себе - ему предшествовали долгие, тревожные раздумья.

"У меня, - писал Толстой в начале того же, 1878 года, - давно (выделенное мною - Л.Б.) бродит в голове план сочинения, местом действия которого должен быть Оренбургский край, а время - Перовского" (62, 371). Это сообщение можно в равной степени отнести и к роману о декабристах, и к повести "Князь Федор Щетинин", свидетельствующих о большом интересе писателя к Турецкой войне 1828-1829 годов и, по-прежнему, к В.А. Перовскому, который являлся, судя по сохранившимся страницам ненаписанного произведения, прототипом главного героя.

С посещением Оренбурга связано если не рождение замысла произведения о Перовском и Оренбургском крае, то непосредственный подступ к этому замыслу.

С биографией Перовского, с его жизнью Толстой мог познакомиться и путем изучения архивных материалов, семейных бумаг, печатных источников. Но дух того времени, противоречивость этой крупной исторической фигуры возможно было постигнуть только здесь - в городе, где прошло пятнадцать самых зрелых и насыщенных лет жизни интересовавшей его личности.

Не имея возможности пересказать то, что узнал Толстой (ни он сам, ни другие участники бесед воспоминаний об этом не оставили), сошлюсь на характеристику Перовского, данную одним из оренбургских историков того времени.

Вот некоторые выписки из его труда.*27.

"В образе графа В.А. Перовского предстает перед нами личность с необычайными силами ума и железной воли, производившая сильно импозантное впечатление на окружающих и особенно подчиненных, которые, чувствуя неотразимо в нем превосходство над собою, вместе с преклонением перед ним страшно боялись его начальственного гнева..."

"Блестяще воспитанный, обладавший своеобразною, остроумною речью, пересыпаемую меткими сравнениями и конкретными образами, всегда элегантно одетый, рыцарски честный, прямой и благородный, Перовский... в то же время... жил в Оренбурге пышно и широко, как сатрап..."

"Принимая личное участие во всех важных делах и руководя непосредственно ходом их, Перовский много способствовал устройству нашей окраины... Конечно, было бы не без промахов, ошибок, увлечений ложными идеями, как равно и не без строгостей, жертв, вспышек гнева и проч..."

В том, что Перовский представил перед Толстым не в ореоле непогрешимости, а со всеми его живыми чертами, свидетельствуют любопытные воспоминания И.Н. Захарьина-Якунина, встречавшегося с писателем в апреле 1899 года. Незадолго до этого Захарьин-Якунин подарил Толстому свою книгу "Хива. Зимний поход в Хиву Перовского в 1839 году и первое посольство в Хиву в 1842 году". При встрече разговор зашел о Перовском, личность которого, судя по этому, не переставала интересовать писателя и много лет спустя.

"Всю не успел ее прочесть, - заговорил Лев Николаевич (о книге "Хива" - Л.Б.) - Меня этот поход очень интересует. А скажите, пожалуйста, я хотел бы знать, правда или нет, что Перовский во время этого похода зарывал в землю живьем молодых киргизов-проводников в присутствии их отцов? Вы, может быть, это знаете, так как для своей книги должны были прочесть очень многое об этом несчастном походе".

Захарьин-Якунин опроверг слух. Он привел в противовес выдумке подлинный факт, когда Перовский для спасения всего отряда приказал расстрелять трех взбунтовавшихся проводников. Толстой был явно доволен.

"Ах, как я рад, как я рад, что этого не было! - проговорил Лев Николаевич. - Я именно был уверен, что Перовский не мог этого сделать..."*27.

В этом разговоре слышатся отголоски бесед, происходивших у Толстого в Оренбурге.

Из рассказов Крыжановского и других лиц, с которыми мог встречаться в эти дни писатель, Перовский возникал, словно живой.

... Но здесь предвидятся вопросы читателей: а были ли эти "другие лица", состоялись ли у Толстого такие встречи?

Да, были. Да, состоялись. И со всей определенностью называю одно из имен: Бекчурин.

6

Об этом оренбургском знакомом Толстого мне стало известно несколько необычным путем.

В Ясной Поляне среди других бесценных сокровищ культуры хранится личная библиотека великого русского писателя. Как и все здесь, она несет в себе неповторимые черты толстовского гения и потому привлекает внимание исследователей жизни и творчества Толстого.

На протяжении многих лет большую, кропотливую работу по описанию этой библиотеки проводил бывший секретарь писателя В.Ф. Булгаков. В 1958 году вышла в свет первая часть первого тома описания, выполненного под его руководством научными сотрудниками музея-усадьбы*28. Книга содержит перечень литературы на русском языке в алфавитном порядке фамилия и заглавий от "А" до "И".

Здесь-то и обнаружился след ранее неизвестного Бекчурина.

На одной из страниц указано:

"Бекчурин М.С. Туркестанская область. Заметки статского советника Бекчурина... Казань, Унив. тип., 1872, 70 стр.". И тут же ссылка на то, что на обложке книги имеется надпись чернилами: "Его сиятельству графу Толстому в память приезда в Оренбург от автора. 1876"*28.

Кто такой Бекчурин? Случайно ли была их встреча? Что содержит в себе подаренная книга?

Ее подзаголовок в описании приведен сокращенно. Полностью он читается так: "Заметки статского советника Бекчурина - члена-сотрудника Императорского Русского географического общества и действительного члена Оренбургского отдела того же общества; члена-учредителя

общества попечения о раненых и больных воинах, действительного члена Оренбургского губернского статистического комитета и высочайше утвержденного Оренбургского общества вспомоществования бедным г. Оренбурга; главного Оренбургской городской думы члена Ярмарочного комитета". Таковы чины-звания этого человека.

Предыстория книги изложена автором в небольшом предисловии. "Двухкратная поездка моя в Туркестанский край в 1865 и 1866 годах дала мне случай собрать о нем некоторые отрывочные сведения, - писал Бекчурин. - Состоя в качестве переводчика восточных языков при командующем войсками Оренбургского военного округа генерал-адъютанте Н.А. Крыжановском, я участвовал во всех походах, предпринимавшихся под личным предводительством его превосходительства; по поручению его вел переговоры с среднеазиатскими властями; находился вместе с ним при штурмах городов Ура-Тюбе и Джусака... и, сопутствуя командующему войсками всюду в походе, имел возможность на значительное пространство проникнуть в ущелья предгорий снежного хребта Тянь-Шаня".

Впечатления, полученные во время этих поездок и походов, вместе с точными сведениями - результатом кропотливого изучения, и составили небольшую книгу "Туркестанская область".

Еще более интересные сведения дали дальнейшие разыскания о Мир-Салихе Бекчурине. Из периодически выходивших "Трудов Оренбургской ученой архивной комиссии", из материалов фонда этой комиссии в Государственном архиве области стало особенно ясно, каким большим знатоком истории края и энтузиастом его изучения был тот, с кем встречался Толстой. На заседаниях архивной комиссии в разные годы заслушивалось множество докладов и сообщений Бекчурина по самым разнообразным вопросам - от истории русских походов в Среднюю Азию до новейшего проекта "железного пути" через Оренбургский край на юг. Он слыл признанным авторитетом по всем проблемам жизни Востока. Архивная комиссия, например, направляла ему на отзыв любые материалы, касающиеся среднеазиатских народов, - и исторические, и этнографические, и литературные.

Однако знал ли Мир-Салих (или, как его называли на русский лад, Николай Михайлович) Перовского? Читатель, вероятно, запомнил, что рассказ о Бекчурине я начал, говоря о людях, которые помогли Толстому получить живое представление о бывшем оренбургском генерал-губернаторе. Да, знал. В этом убеждает такой факт из бекчуринского жизнеописания: он был "неплюевцем выпуска 1838 года"*28. Неплюевский военный корпус являлся предметом особой заботы, особого внимания со стороны Перовского: первые выпускники его, к которым принадлежал и Бекчурин, составили опору управляющего краем во всех делах - и военных, и мирных. Бекчурин, который прожил в Оренбурге всю свою жизнь, знал Перовского, по меньшей мере, на протяжении пятнадцати лет.

Множество бесценных сведений мог сообщить этот оренбургский старожил гостю.

7

Несколько нарушая хронологическую последовательность, хочется сослаться на еще один факт, характеризующий интерес Л.Н. Толстого к историческому прошлому Оренбургского края.

Снова вернемся к описанию яснополянской библиотеки. В той же первой части первого тома значатся еще три книги "Оренбургского происхождения". Это "Записки Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества". Они в трех выпусках. Первые два изданы в 1870 и 1871 годах в Казани, в университетской типографии, третий - в 1875 году в Оренбурге, в типографии И.И. Евфимовского-Мировицкого. Книги интересны как историческими, так и, особенно, этнографическими статьями: "Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне имеющие в Малой Киргизской орде силу закона", "Очерк свадебных обрядов у оренбургских новолинейных казаков". Тут же помещены... заговоры "от боли зубной", "от худобы" и т.п.

Как попали книги в библиотеку? Каких-либо дарственных надписей - следов получения из в самом Оренбурге - на заглавных листах нет. Попытаемся выяснить это путем изучения архивных фондов Оренбургского отдела Русского географического общества - издателя "Записок".

Передо мною "Журналы заседаний" 1874-1877 годов, напечатанные типографским путем. "Обыкновенное собрание членов", состоявшееся 4 декабря 1876 года..."

Читаю:

"... Правитель дел доложил собранию: ... б) что, по предложению г. покровителя отдела (Н.А.

Крыжановского - Л.Б.), посланы 3 октября три выпуска "Записок" отдела в дар известному писателю графу Л.Н. Толстому, весьма интересовавшемуся изданиями отдела"*29.

Собрание, конечно, утвердило распоряжение об отправке книг.

Других упоминаний о Толстом в журнале нет. Но, просматривая рукописные материалы фонда, удалось обнаружить черновик письма, сопровождавшего посланные книги. Вот этот документ:

"Толстому

В Тулу, на имя Его превосходительства Сергей Петровича Ушакова (тайного советника)
3 октября 1876 г. N 258.

М.Г.

граф Лев Николаевич!

По поручению покровителя отдела Н.А. Крыжановского, отдел имеет честь препроводить к Вашему сиятельству вышедшие до сих пор выпуски "Записок" наших с покорнейшею просьбой о получении этих книг не отказать уведомить отдел"*30.

Знакомясь со всеми материалами фонда, каких-либо упоминаний, полученном от Толстого, найти не удалось. Но и запись в протоколе, и черновик письма сами по себе представляют большой интерес. Они служат подтверждением того внимания, которое было проявлено Толстым к Оренбургскому краю, к его изучению для будущей литературной работы.

О решающей роли оренбургской поездки в утверждении замысла нового исторического произведения Л.Н. Толстого говорит и то, что именно после нее - в 1877-1878 годах - писатель развернул кипучую работу по сбору материалов. Он ездил за ними в Москву и Петербург, работал в архивах, поднял на ноги друзей, имевших возможность оказать помощь в поисках нужного, расспрашивал сведущих.

"Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу Вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время, - писал Лев Николаевич А.А. Толстой в конце января 1878 года. - Я испытываю чувство повара (плохого), который пришел на богатый рынок и, оглядывая все эти к его услугам предлагаемые овощи, мясо, рыбу, мечтает о том, какой бы он сделал обед! ... Так и я мечтаю, хотя и знаю, как часто приходилось мечтать прекрасно, а потом портить обеды или ничего не делать. Уж как пережаришь рябчиков, потом ничего не поправишь. И готовить трудно и страшно. А обмывать провизию, раскладывать ужасно весело!" (62, 383-384).

Читая письмо, ощущаешь трепетное волнение Толстого, шедшего к новому большому своему творению.

К сожалению, замыслы остались не осуществимыми. Несколько глав романа "Декабристы", отдельные наброски повести "Князь Федор Щетинин" - вот то, чем мы располагаем. Вместе с набросками планов, написанных исключительно для себя и потому в значительной степени не поддающихся расшифровке, они опубликованы в семнадцатом томе полного собрания сочинений Л.Н. Толстого с обширными комментариями М.А. Цявловского и П.С. Попова, помогающими полнее разобраться в творческой лаборатории писателя.

Исполнить задуманное Толстому помешал назревший кризис в его мировоззрении.

В связи с этим кризисом нельзя не обратить внимание на еще один факт, связанный с поездкой в Оренбург.

8

Домашний врач, друг и единомышленник Толстого Д.П. Маковицкий 22 марта 1905 года записал:

"Л.Н., видя, что я читаю рукопись "Усмирение уральцев", сказал мне:

- Ах, это страшное дело. Я был в то время в Самаре, разговаривал с Крыжановским, который наказывал их. Он говорил, что нельзя было поступить иначе.

Эта рукопись была составлена для Льва Н-ча одним офицером. В ней рассказывается о следующем событии:

В 1876 году уральские казаки-старообрядцы отказались служить солдатами. Против них были высланы войска, по два солдата на каждого казака. Их насильно тащили из домов, привязывали к

верблюдам и везли в Закаспийский край. За ними следовали на тысяче подвод их семьи. В 1883 году Александр III обещал помиловать тех из них, которые будут просить об этом, но просить никто не стал. "Силой вы нас пригнали сюда, силой и везите обратно", - говорили они. Женщины тоже выказали большую стойкость, не назвав имен своих мужей, вследствие чего многие жены были разлучены с мужьями: муж попадал, например, в Акмолинск, жена с детьми в Самарканд и т.д."31.

Действительно встреча с Крыжановским состоялась во время самарской поездки - но, как мы уже знаем, не в Самаре, а в Оренбурге. Приведенная запись свидетельствует, что, находясь здесь, Толстой интересовался не только прошлым, а и настоящим, не только жизнью генерал-губернатора Перовского, а и горестями простых людей.

События, которые изложены Маковицким, произошли непосредственно перед поездкой Толстого. Интересуясь ими, писатель шел по горячим следам.

Волнения среди уральских казаков, имевшие в своей основе и религиозный фактор, возникли в связи с введением утвержденного царем в 1874 году "Положения о воинской повинности и общественно-войсковом хозяйственном управлении".

Казаки находили, что новые условия военной службы очень невыгодно отразятся на экономическом положении массы Уральского войска. Они были недовольны и правовой стороной реформы, находя, что казакам, по сравнению с "чиновниками", предоставлено в войсковом управлении слишком слабое представительство. Самый порядок выработки и введения "Положения" вызвал сильное возмущение верхами местной казачьей администрации. Волнения расширились и обострились вследствие требования подавать письменные обязательства о подчинении новому "Положению". Казаки массами уходили от подписки. Станицы отказывались выбирать депутатов. Помимо каторжных приговоров тем, кто был признан зачинщиками и руководителями (Евтихий Гузиков, Федор Стягов и др.), около 2500 казаков с их семьями после зверского избиения были высланы в Туркестанский край*32.

Буквально перед самым приездом Толстого в Оренбург пришли новые тревожные вести. Несколько позднее в местной газете сообщалось: "Из Казалински. 8 сентября там произошла суматоха по поводу формирования рабочего батальона и трех рабочих команд из ссыльных уральских казаков (численность их простирается до 1385 чел.). Раскольники заявили, что они не признают никаких властей и не желают знать никакого батальона"*33. Тут же шла речь об оскорблениях, нанесенных офицерам, и об укрощении силой.

Толстой имел возможность слышать рассказы самих участников бесчеловечных операций, в том числе руководившего ими Крыжановского, и производили они особенно гнетущее впечатление. Снова и снова убеждался писатель в том, что нет таких подлостей, на которые не была бы способна "официальная" церковь в борьбе с "инаковерцами", как нет и таких преступлений, которых не могли бы совершить царские власти с благословения церковников.

Этот эпизод был одним из тех, что переполнил чашу терпения Толстого. Смело и безбоязненно срывает он с господствующей религии лживый покров любви и сострадания к людям, обнажая ее звериный оскал, ее вредоносную, бесчеловечную сущность.

В "Исповеди", явившейся его философско-религиозной автобиографией, Л.Н. Толстой подчеркнул, что окончательно отречься от "возможности общения с православием" его заставило разрешение церковью назревших интересов жизни в духе, противном "самым основам" его веры. Среди таких вопросов автор выделяет нетерпимость православной церкви к инакомыслящим - в частности, к раскольникам. В окончательном тексте названного трактата конкретные примеры не приводятся. Однако в вариантах к пятнадцатой главе упоминается Самара, что дает основания сделать вывод о существенном влиянии услышанного, узнанного во время оренбургской поездки на формирование нового мировоззрения Толстого (23, 507).

Его мировоззрение было исполнено многочисленных и самых разительных противоречий. "Борьба с казенной церковью, - подчеркивал В.И. Ленин в одной из своих статей о великом русском писателе, - совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс"*34.

Но, вспоминая приведенный факт, мы не можем не отметить страстности толстовской критики

церкви и правительства, искренности его сочувствия угнетенным и преследуемым.

9

В Оренбурге Лев Николаевич пробыл не более пяти дней. Он выехал отсюда не позднее 15 сентября, так как уже семнадцатого телеграфировал жене из Сызрани, а еще три дня спустя возвратился домой, в Ясную Поляну.

Напряженная и в то же время плодотворная поездка осталась позади. Но впечатления от знакомства с новыми местами, людьми, событиями велики.

"Я на днях вернулся из Самары и Оренбурга - очень хороша была поездка..." - пишет он Н.Н. Страхову (63, 286).

О своей поездке писатель вспоминает и в письмах, отправленных через два месяца после возвращения. Она питала его воображение во время творческой работы над историческими произведениями. Упоминание об Оренбурге не раз встречается в набросках планов, в дневниковых записях.

Не случайным кажется и особый интерес, проявленный Л.Н. Толстым к историческому событию, которое произошло в Оренбурге вскоре после восстания декабристов на Сенатской площади и было описано в одной из рукописей, полученных им от редактора-издателя журнала "Русская старина" М.И. Семева. Толстой познакомился с ним во время своей поездки в Петербург в начале 1878 года. Для писателя Семевский был интересен, прежде всего, как большой знаток декабристской литературы. Он являлся владельцем ценного собрания рукописей участников движения декабристов, полученных им в свое время от видных представителей этого движения В.И. Штейнгейля и М.А. Бестужева.

"... Верный своему обещанию, в обмен на возвращенную мне книгу посылаю Вам... еще два тома рукописей. Одно - это подлинник, автограф записок барона Штейнгейля - под заглавием "Записки Несчастливого". В рукописи рассказ о жертвах доноса некоего Ипполита Завалишина в Оренбурге 1827 г... "Записки" составлены в Сибирском остроге для прочтения их на литературных вечерах, которые устраивались декабристами в их каморках друг у друга..."

Так писал Семеновский 25 марта, препровождая Толстому новые сотни страниц своего рукописного собрания.

Многое из получаемого писатель возвращал владельцу чуть ли не на следующий день. Том, о котором мы знаем из цитированного письма, находился в его руках гораздо дольше.

Чем привлекла внимание писателя рукопись В.И. Штейнгейля? Что содержали в себе, о чем рассказывали "Записки Несчастливого?"

... В ночь с 25 на 26 апреля 1827 года в Оренбурге были арестованы прапорщики Таптиков и Старков, портупей-прапорщики Колесников и Дружинин, юнкер Шестаков, казачий сотник Ветошников и рядовой Завалишин. Им предъявили обвинения в принадлежности к тайному обществу, созданному с целью ниспровержения существующего строя. В уставе и инструкции, которые оказались приобщенными к делу, об этом говорилось с полной определенностью: "Цель его (то есть общества - Л.Б.) есть изменение монархического правления в России и применение лучшего рода правления к выгодам и свойствам народа для составления истинного его благополучия". План был таким: шире вести противоправительственную агитацию среди солдат, казаков и другие слоев населения, поднимать их на участие в восстании, а после переворота, который непременно должен был увенчаться успехом, объявить Россию свободной, провозгласить уменьшение сроков службы нижним чинам, освобождение крестьян помещиками, избавление солдат от телесного наказания и, вдохновив этим оренбуржцев, поднять весь край, всю страну. Подписывая документы, названные семь человек поклялись беречь тайну общества. "Да разразится гром над головою клятвoprеступника!" - гласила заключительная строка устава.

Шестеро не знали, не могли и подумать, что седьмой - провокатор.

Еще до восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге свободомыслящая молодежь Оренбурга образовала кружок, в котором горячо обсуждала различные общественные проблемы. Дальше разговоров здесь не шло. В "мечтательной бездеятельности" участники кружка оставались и тогда, когда из столицы донеслись вести о восстании и его разгроме. Не намного

оживленное стало в кружке после того, как сведения о событиях тут получили от единомышленников героев-декабристов, ожидавших в батальонах Оренбургского корпуса отправки на Кавказ.

Так, судя по всему, и продолжалось бы, не пояись в Оренбурге Завалишин. Брат видного участника восстания декабристов, он представил себя одной из жертв петербургских событий, но сумел убедить, что тайное общество не уничтожено, что он является агентом отделения этого общества во Владимире и направлен с самыми широкими полномочиями. Слушая его страстные речи, оренбуржцы не ведали, что за плечами совсем молодого, всего-навсего девятнадцатилетнего, человека были уже такие гнусные действия, как донос на брата Дмитрия с целью получения его части имения, клеветнические заявления против людей, считавшихся друзьями. Он надеялся стать флигель-адъютантом и не брезговал никакими средствами, чтобы выслужиться. На Оренбург в этом отношении им возлагались особые надежды.

Обманом войдя в доверие, Завалишин сам составил устав и инструкцию тайного общества, сам сделал его печать, а затем, когда были собраны письменные клятвы участников, подал донос, в котором разоблачал заговорщиков и превозносил себя.

После дознания, которое проводилось под руководством корпусного командира генерала Эссена, состоялся процесс. Колесников, Таптиков, Шестаков, Старков, Дружинин и Ветошников были приговорены к смертной казни, замененной впоследствии каторжными работами. (Такая же участь постигла... Завалишина. Провокатора признали одним из организаторов общества. Приговоренный вначале к четвертованию, он затем был отправлен на вечную каторгу). Вскоре начался мучительно тяжелый путь осужденных в Сибирь, где им довелось провести долгие годы...

Вся эта история была изложена уже во вступлении, написанном В.И. Штейнгейлем от собственного имени.

Остальная рукопись представляла собой сделанную тем же автором литературную запись рассказа В.П. Колесникова и охватывала период со времени объявления приговора по день прибытия в Петровский завод - с 12 сентября 1827 по 9 сентября 1828 года. "Записки Несчастного, содержащие Путешествие в Сибирь по канату" - такое название дал этому рассказу Штейнгейль.

В начальной главе передавались впечатления о последнем дне процесса и проводах осужденных.

Подсудимые вели себя с достоинством. "Утешительно было для меня видеть, что все мои товарищи сохранили полное присутствие духа", - вспоминал Колесников. Навсегда вошло в сердце и память то, как глубоко сочувствовали им присутствовавшие на суде. Когда пришлось заковывать арестантов в кандалы, кузнецы говорили: "Руки не служат". Явное сочувствие народа и стало причиной того, что отправка была ускорена. Тем не менее, несмотря на внезапный выход партии, провожать ее пришло множество горожан. "Многие очень неосторожно поносили начальство, так что мы принуждены были остерегаться их... Каждый из сограждан наперерыв старался показать нам свое участие". Колесникова заковали вместе с Дружининым: первого за левую, второго - за правую ногу, а затем примкнули к пруту; к тому же пруту были попарно примкнуты и остальные. Так они шли через весь город.

"Отходя за версту от селения, мы поднялись на гору, и вдруг Оренбург с окрестностями своими представился нашему взору. Сквозь редяющий воздух виднелся город, а за ним расстилалась необозримая киргиз-кайсацкая степь... Внезапно пламенный энтузиазм любви к родине овладел нами, мы все вдруг схватили по горсти земли и клялись хранить ее при себе до конца нашей жизни вместе с благодарным воспоминанием о добрых наших согражданах..." Эта выписка - уже из второй главы, посвященной последним часам пребывания на родной земле. И здесь Колесников меньше всего говорит о себе, о товарищах по несчастью. Его мысли - о тех, кто в тяжкие минуты разделил в ними горе: о лучших людях полка, примчавшихся за десятки верст, чтобы проститься, об искренних переживаниях крестьян.

Глава третья - переход до Уфы. Колесников видит резкий контраст в отношении к заключенным: неподдельное сочувствие простых людей и презрение, в лучшем случае "только любопытство", со стороны имущих. "Вот другой помещик встречается нам, и поступки одинаковы!" - замечает он, рассказав о бессердечии владельца одного из сел, отказавшего в самом элементарном.

С тем же столкнулись заключенные и в Уфе: с жестокостью губернатора, приказавшего надеть

еще более неудобные кандалы, и добротой конвойного солдата, принявшего на сохранение деньги; с народом, почтительно снимавшим при виде партии головные уборы, и "хозяевами жизни", которые провожали этап презрительными гримасами. С каждым днем и каждым шагом Колесников все больше убеждался в том, как прекрасна, как щедра душа простого человека. Александра Попова, девятнадцатилетняя дочь чиновника, просила его позволить следовать за ним в Сибирь, где она "хотела разделять мою участь, как бы ни были страшны все те ужасы, которых она наслышалась". При выходе из Уфы арестантов нанизали на цепь, однако, когда переправлялись через реку, унтер-офицер "с прямо русскою отвагою" велел сбросить ее. "И так добрый этот и, как говорится, маленький человек поправил бесчеловечие и жестокость больших".

Четвертая - "уфимская" - глава переходит в рассказе в пятую, которая содержит впечатления о пути до Тобольска. Каждый этап тяжелого, изнурительного пути был отмечен чем-то своим, врезавшимся в память.

Только 18 декабря, в разгар жестокой зимы, прибыли они в Тобольск. Здесь оренбуржцев разделили и порознь заперли в секретных номерах. "От изнурения и холода, - продолжал рассказ Колесников, - я сделался болен, но мне не оказали никакой помощи, никакого внимания, кроме того, что при выступлении, 23 декабря, с партией посадили на подводу и повезли далее".

В последней главе речь идет об этапах и полупэтапах Сибирского тракта, о продажности и лихоимстве конвойных офицеров, о постоянных издевательствах над заключенными...

"Записки Несчастного" остались неоконченными. Для полноты картины В.И. Штейнгейль сообщил в конце то, что почерпнул из кратких памятных заметок Колесникова.

Тяжело заболев, он был оставлен в арестантской больнице, в Каинске, и здесь, оторванный от товарищей, в полной мере испытал горечь, боль одиночества. Один-одинешенек шел Колесников некоторое время спустя в составе очередной партии арестантов. Но муки зимних походов отступили на второй план, когда в Томской губернской замке он встретил Дружинина, а в Красноярске - Таптикава. На фоне мрачных, страшных сцен изнурительного пути на каторгу величаво звучит гимн великой силе товарищества. Оно, только оно помогает преодолеть самые невероятные трудности. И совсем не случайно последние строки, написанные уже за Байкалом, - не о тяжелой участи каторжника, не об издевательствах, которые были на каждом шагу, не о попрании всего святого, чем жили невольники, а о новых знакомых, новых верных товарищах. Колесников и другие оренбуржцы оказались среди активных участников восстания на Сенатской площади. В Читинском остроге они прожили вместе много лет и были признаны близкими по духу, в полном значении слова своими людьми...*36

Эта рукопись явилась для Льва Толстого одним из ярких документов эпохи, которую он изучал в связи с замыслом монументального романа "Декабристы". Конспектов, выписок, сколько-нибудь отчетливых записей о прочитанном не сохранилось, однако уже тот факт, что том с этими материалами находился на рабочем столе писателя особенно длительное время, говорит сам за себя. С чтением "Записок Несчастного", по нашему мнению, связаны и упоминания в записных книжках этого периода об оренбургском губернаторе Эссене, сыгравшем неблагоприятную роль в решении участи членов "тайного общества".

10

Довелось ли Толстому побывать в Оренбурге еще раз?

Вопрос поставлен не случайно.

С.А. Берс, брат жены Толстого, в своих воспоминаниях пишет:

"Во второй раз мы ездили в самарское имение опять всей семьей летом 1878 года. Тогда к прежнему имению было прикуплено другое, смежное, в четыре тысячи десятин... Новизна и особенности степного хозяйства очень занимали Льва Николаевича. Мы принимали непосредственное участие в уборке хлеба; сами веяли и удивлялись на тамошний первобытный способ молотбы... Мы ездили на базар нанимать жнецов, были также в Оренбурге на Меновом дворе для закупки скота и лошадей и в это лето, вообще, все вникали в новое хозяйство в большом интересом"*37.

Тут не без причин выделены слова о поездке в Оренбург. Эта поездка не отмечена в "Летописи жизни и творчества Льва Николаевича Толстого", составленной Н.Н. Гусевым, и обойдена в других изданиях, в том числе литературно-краеведческого характера, где учтены и куда менее значительные

факты. Между тем добросовестность воспоминаний С.А. Берса не вызывает сомнения. Правда, в отдельных местах есть неточности в датах, но то, что описанное выше относится именно к 1878 году, несомненно. В том году шурин Толстого в последний раз проводил лето с семьей Льва Николаевича; этот год был связан для него с отъездом на службу в Закавказский край. Такие вехи запоминанию способствуют.

Наконец, в пользу второй поездки Л.Н. Толстого в Оренбург - в июне или июле 1878 года - вновь говорят творческие интересы писателя. Именно на этот период падает самый разгар работы над произведением о декабристах. Изучение многочисленных источников, в том числе "Записок Несчастливого", вызвало желание еще раз, хотя бы мимоходом, побывать в тех местах, где происходили события, включенные в план будущего романа.

Свидетельство С.А. Берса не может быть отвергнуто. Вторичная, пусть даже еще более кратковременная, поездка в Оренбург не должна ускользнуть из поля зрения тех, кто изучает жизнь и творчество писателя.

11

Пребывание Л.Н. Толстого в Оренбурге, как нами уже отмечалось, не было замечено местной печатью того времени. "Проглядели" его и позднейшие летописцы города, не преминувшие вспомнить в своих трудах менее знаменитые имена. Многие десятки дел из фондов губернатора, полицейского и жандармского управлений, из личных архивов также не принесли дополнительных сведений.

Но одно из дел внимание задержало.

О нем здесь уже упоминалось, а теперь настал черед рассказать более обстоятельно.

Через тринадцать лет после второго посещения Оренбурга Л.Н. Толстым в далекий степной город приехали его сыновья Сергей и Лев. Их привели сюда два желания: познакомиться с городом и купить лошадей.

Официальный и купеческий Оренбург жил ожиданием скорого приезда цесаревича Николая Александровича, а простой люд был взбудоражен все более тревожными слухами о полном неурожае в двадцати губерниях, о голоде, неумолимо надвигавшемся на миллионы людей.

В связи с голодом все чаще повторялось имя Льва Толстого, который воспринимал людское горе, как свое собственное и не мог оставаться в стороне от бедствий крестьян. Позиция писателя, безбоязненно критиковавшего пороки помещичье-самодержавного строя, вызывала раздражение и недовольство у власть имущих, косые взгляды в сторону Толстого и близких ему людей.

Именно с этой точки зрения, прежде всего, и представляет интерес ранее неизвестное "Дознание по делу графов Толстых", хранящееся в Оренбургском государственном архиве*38.

Предоставим слово Сергею Львовичу Толстому, чье "объяснение", содержащееся тут, достаточно подробно освещает суть инцидента:

"23-го июля 1891 года я вместе с братом Львом и башкирцем Нагимом Акировым приехал из Самарской губернии осмотреть город и купить лошадей. Сегодня, 24 июля, желая посмотреть мечеть в караван-сарае, мы отправились туда. Пока брат и Нагим ходили испросить позволения у азанчи взойти на минарет, я стоял у ворот. Здесь сидели человека четыре, из которых один спросил меня, глядя с подозрением: "Вы откуда?" Я отвечал: "Тебе что за дело?" Тогда он спросил: "Вы студент?". Следует отметить, что за эти два дня в Оренбурге я слышу подобные нелепые вопросы не в первый раз, что следует приписать моему пенснэ и студенческой форме брата. Зная, что означает на здешнем языке слово студент, и возмущенный предположением, что меня могут подозревать в каких-либо злоумышлениях, я ответил: иронизируя: - Да, я из тех, что бомбы бросают, - на что тот спросил: - Для чего? Затем я спросил его, почему он меня принял за студента и объяснил ему, что такое студент. Мужик, с которым я говорил, отлично понял мою иронию, но, вероятно, кто-нибудь из его товарищей понял мой ответ превратно и сообщил тотчас же младшему губернскому архитектору, который, вышедши ко мне и подошедшим в то время брату и Нагиму, потребовал, чтобы мы удалились со двора. Сначала мы отказались исполнить это требование, не зная, какое право имеет г-н архитектор нас выгонять, но потом, когда полицейский нас попросил уйти, мы удалились..."

Эти обстоятельства несколько иначе выглядят в протоколе дознания. Здесь говорится, что "человек в очках" расспрашивал, где будет помещаться цесаревич, а на вопрос, кто он такой, ответил,

что "мы из тех людей, который бросают бомбы и убивают царей". Узнаем и о том, что после отъезда из караван-сарая "злоумышленники" были "прослежены полицией", которая установила их личности, а затем произвела "осмотр номера и всех в нем находящихся вещей". Ничего "предосудительного", к явному недовольству полиции, обнаружить не удавалось.

О том, что высшие должностные лица губернии были осведомлены о "деле" Толстых, видно из переписки губернатора с губернским прокурором.

Дело, на первый взгляд, не имело последствий. Но это не совсем точно: Толстые были выдворены из Оренбурга.

Вот расписка, оставленная ими полиции:

"Мы, нижеподписавшиеся, даем сию расписку приставу 2-й части г. Оренбурга с тем, что мы обязуемся сегодня ночью с трехчасовым почтовым поездом выехать из Оренбурга в Самару".

Расписка была дана на второй день по приезде Сергея Львовича и Льва Львовича в Оренбург. Вряд ли они планировали столь скорый отъезд. Для знакомства с городом и решения хозяйственных вопросов такого времени, конечно, слишком мало.

В протоколе ни единым словом не упомянут Лев Толстой. Но, обращая свой гнев против близких ему людей, власти имели, вероятно, в виду нанести удар по самому писателю, резко выступавшему с критикой существовавших порядков. Известно, что после появления в печати выступлений Толстого о городе и его причинах в "высоких сферах" раздавались призывы к суровой над ним расправе.

Изложенное дело в связи с этим кажется отнюдь не случайным.

Мы попытались прочесть одну из страниц жизни великого писателя - страниц, которые по тем или иным причинам оказались вне поля зрения исследователей его жизненного, творческого пути. "Белых пятен" в биографии Льва Толстого быть не должно.

ЗАМЫСЕЛ ОСУЩЕСТВЛЕН НЕ БЫЛ

Восстание на Сенатской площади, их участники со своими неповторимыми судьбами будоражили воображение писателя многие годы, и в наиболее полной степени это проявилось в 1877-м, после "Анны Карениной", когда наступил период поисков темы нового ведения. В результате долгих и трудных раздумий, нашедших свое отражение в дневниках, переписке, свидетельствах близких, в качестве такой темы всплывает былой замысел романа о декабристах, но замысел совершенно трансформированный, в котором на первом плане оказывается связь участника знаменитого восстания с крестьянами-переселенцами, в среду которых он попадает.

Толстой приступает к работе. К январю 1878 г. относятся свидетельства С.А. Толстой о том, что Лев Николаевич "очень занят своими мыслями о новом романе, и... что это будет что-то очень хорошее, историческое, времен декабристов, в роде, пожалуй, "Войны и мира". В феврале писатель едет в Москву, и главной целью поездки становится поиск материалов. "Круг нужных мне книг теперь очень определился...", - писал он накануне отъезда Н.Н. Страхову, предупреждая его о том, что рассчитывает не только на полный успех собственных московских разысканий, а и на содействие петербургских своих друзей, на свои оренбургские, степные впечатления.

Начинается сбор материалов, чтение томов воспоминаний, поиск живых участников событий. Толстой старается не упустить возможности встретиться, познакомиться, побеседовать с ними, расспросить о временах далеких и не столь уж отдаленных, прямо предшествовавших их возвращению после долгой ссылки.

Встречи носят и "личный", и "заочный" характер.

Во время кратковременной мартовской (1878) поездки для сбора таких материалов - поездки не только в Москву, но и в Петербург - он заполучил первую часть обширных воспоминаний А.П. Беляева (одного из тех, кто после ссылки некоторое время провел в Оренбургском крае).

Александр Петрович Беляев (1803-1885) был мичманом Гвардейского экипажа. К тайным политическим обществам он не принадлежал, однако, являясь, по его словам, "энтузиастом свободы", вместе с товарищами принял участие в восстании 14 декабря, в связи с чем был осужден по четвертому разряду, приговорен к двенадцатилетней каторге и поселению в Сибири. Во время каторги и ссылки Беляев значительно расширил свое образование, в частности выучился английскому языку, и вместе с братом, тоже декабристом, перевел на русский язык гиббоновскую "Историю разложения и упадка Римской империи". Известности Беляева в решающей степени способствовало то, что им были написаны воспоминания, ставшие одним из ценнейших

источников о жизни декабристов. Воспоминания насыщены интересными бытовыми подробностями, жизнь многих людей воссоздана картинно, в деталях, которые мог знать лишь человек, находившийся рядом.

Толстого эти воспоминания глубоко заинтересовали. Имя автора их не раз упоминается в его переписке того года. Вслед за первой частью писатель познакомился со второй. Он активно взялся за осуществление публикации беляевских мемуаров. Причем Лев Николаевич старался не только найти и заинтересовать издателя, но и побудить самого Беляева продолжить работу над совершенствованием рукописи. Известно, что первая часть была возвращена автору с замечаниями на полях - пометы обращали внимание на места, которые требовали усиления и углубления.

Публикуя впоследствии воспоминания А.П. Беляева в "Русской старине", М.И. Семеновский писал в своем "примечании от Редакции": "Печатаемые ныне "Воспоминания" Александра Петровича Беляева указаны нам знаменитым нашим писателем и графом Львом Николаевичем Толстым. Он читал эти "Воспоминания" и, как свидетельствует их автор, "сделал на полях рукописи много отметок; согласно с указаниями гр. Л.Н. Толстого, - пишет г. Беляев, - я сделал необходимые прибавления того, что мною было упущено. Он же и поощрил меня к изданию этих воспоминаний, начатых много лет тому назад с единственной целью помянуть сердечным, благодарным словом всех тех, с которыми сводила судьба в различных обстоятельствах жизни и которых прекрасные, возвышенные чувства и добродетели восторгли меня и пленили мое сердце".

(История публикации записок Беляева свидетельствует о том, что Л.Н. Толстой может быть причислен к активным археографам декабристского творчества. Он не только отыскивал необходимые материалы для осуществления собственных творческих замыслов, но и заботился о сохранении, издании того, что принадлежало, по его мнению, истории и должно было навсегда остаться достоянием людей).

Это только один из эпизодов огромной работы Толстого над материалами для будущего широкомасштабного произведения. В ходе поисков ему становятся известны все новые и новые источники, собранные, например, М.И. Семевским. Само их перечисление занимает в письмах редактора-издателя "Русской старины" довольно много места. Здесь упоминаются записки о Рылееве, дневник Штейнгеля, стихотворения и письма Батенкова и др. Особое внимание фиксируется на том, в котором содержался "подлинник", автограф записок барона Штейнгеля - под заглавием "Записки несчастного". В рукописи помещен рассказ о жертвах некоего Ипполита Завалишина в Оренбурге 1827 г. Здесь интересно предисловие, не бывшее в печати, и весь тон и слог рассказа, крайне характеризующие Штейнгеля и тот круг, которому он принадлежал".

Речь шла о повествовании В.П. Колесникова, записанном и литературно оформленном В.И. Штейнгелем, - "Записки Несчастного, содержащие Путешествие в Сибирь по канату". О том, что рукопись привлекла внимание писателя в большей степени, чем ряд других, позволяет судить уже то, что присланное Семеновским в этот раз находилось в его руках гораздо дольше обычного.

Но об этом труде рассказывается и в очерке "Две поездки Льва Толстого", а потому ограничусь воспроизведением страниц "Вместо вступления", которое автором книги было опубликовано в печати впервые*6; из первой журнальной публикации "Записок Несчастного" его изъела цензура. На "предисловие" обращал особое внимание Толстого и собиратель огромной декабристской коллекции Семевский...

Итак - "Вместо вступления".

Есть истины, которые забываются именно от излишней известности; потому не мешает от времени до времени припоминать о них.

Во всяком государстве, управляемом на праве вотчинном, нет и не может быть гласности, там все под Дамокловым мечом; там попасть под суд и пропасть - синонимы; там законы - обольстительная, обманчивая благовидность для пасомых, верный костыль - для пасущих.

Где возвышается один повелительный голос власти, там никакой другой не может быть слышан, кроме удобного ей голоса рабской, подлейшей лести. Оттого не в редкость окрест властелина раздаются, из под престола и на площадях, хвалебные восклицания, а по углам проливаются одни слезы и произносятся проклятия!

Но не было и нет ни одного властелина, который бы не пекся отечески о благе своих вернолюбивых подданных! Горе, однако же, этим вернолюбивым, если властелин думать имеет право на подозрительность! Тогда повсюду возрождаются черви шпионажа, подтачивающие семейное спокойствие, самые родственные и дружеские связи; тогда держащие власть в областях получают охоту выставить свое усердие к престолу и выслуживаться - не бдительностью о порядках и о спокойствии общественном, но открытием так называемых злонамеренных людей и доставлением правительству пищи, возбуждающей аппетит к жестокостям. Наша история со времен Бирона, в течение ста лет, представляет множество таких примеров; разумеется, не печатная история. Упомянем некоторые, еще свежие в памяти живущего поколения.

*В последнее время царствования Екатерины II, она встревожилась казнью французского короля; тотчас московский главнокомандующий князь Прозоровский воспользовался этим, чтобы обратить на себя особенное внимание и подслужиться*7. Чрез московского почтдиректора Пестеля, он имел копии с переписки*

некоторых масонов, принадлежавших к так называемому Новиковскому обществу. Составив записку, он поехал в Петербург и до того умел напугать императрицу тайным мартинизмом и мнимыми замыслами этого общества - возвести на престол наследника, что и великая сделалась слабодушной: она дала ему полную власть - арестовав Новикова и всех его сообщников, учинить строгий розыск. Таким образом, это общество, существовавшее более двадцатилетия и действовавшее открыто, в ее собственных видах к просвещению России, было варварски*8 уничтожено, зловерное. Хотя при всей нечаянности, ничего не найдено, по чему бы можно было предать гонимых суду по законам, но тем не менее Прозоровский, чтобы не остаться в дураках пред императрицу, умел дать этому делу такой вид, что незабвенный россиянин Новиков с доктором своим Багрянским, вовсе не принадлежавшим к его обществу, посажены были в Петропавловскую крепость и томились в ней с несколькими другими невинными*9 до самой смерти императрицы.

Один из членов этого общества, сосланный тогда в свои деревни, бывший потом сенатором, известный И.В. Лопухин оставил потомству верную картину всего этого происшествия в своих записках.

Император Павел I вступил на престол с подозрительностью и предубеждением, которые питал более двадцати лет, не сотни - тысячи людей пострадали по тайным донесениям местных начальств и полиции!

Когда он приказал докласть мраморную Исаакиевскую церковь кирпичом, на это написана была на стенах ее известная эпитафия. Велено было полиции непременно отыскать виновного, и она нашла - флота капитан-лейтенанта Акимов, который имел неосторожность говорить о ней, но отнюдь не был ее сочинителем. В тайной канцелярии ему отрезали язык, выломали правую руку и сослали под чужим именем в отдаленный угол Сибири. Поэт (после бывший министром) Дмитриев взят был в крепость и чуть не подвергся той же участи за пасквиль, написанный под его руку его слугою. Один лютеранский пастор, по представлению местного начальства, за возмутительную проповедь высечен кнутом и сослан в Сибирь; невинность вскоре открылась, он возвращен и доживал свой век в Гатчине, в том же сане, под покровительством Марии, желавшей исправить несправедливость своего супруга. Грузины за несколько слов, произнесенных в хмелю на приятельской казачьей пирушке, потеряли головы на эшафоте - по ошибке!*10

В царствование благословенного*11 Селифонтову для личных видов удалось возбудить негодование его против мнимого духа ябеды в Сибири, тотчас дана генерал-губернатору неограниченная власть преследовать этот дух. Всем известно, что претерпела Сибирь, пока насилу, чрез 15 лет, услышали ее вопли! В 1807 году государь прогневался на провиантский и комиссариатский штаты, и генерал-майор Куткин, самым насильственным образом, уморен под стражею, а он был едва ли не честнейший человек из всего провиантского штата. Уральские казаки показали свое неудовольствие не изменением своих прав и одежды; тотчас выставили это в виде ужасного бунта, пересекли сотни кнутом и разорили несчастный Черкасск. Наконец, кто не содрогался при слухах о том, что происходило в военных поселениях в Чугуеве! Как бы для утончения жестокости, гоняли вдруг сквозь строй; матери при виде варварства и насилий убивали детей своих... Сердце стесняется от одного воображения!

Так и в нынешнее царствование, вскоре после казни, совершившейся в 1826 году, открыт ужасный злодейский замысел в Оренбурге, умноживший число государственных преступников еще несколькими жертвами. Истинное описание этого происшествия лучше всего объяснит, какого рода этот замысел, что за злодеи участвовали в нем, и как правомерно пострадали они.

Новиковское общество основано было отчасти по правилам масонства. Братство, равенство, искренность, взаимное вспомоществование друг другу, благотворение, распространение чтения полезных книг и вообще свободомыслие того времени - составляли цель его. Оно имело многие отрасли в России. Одно отделение его существовало даже в самой отдаленной Сибири, именно в Иркутске. Командир тогдашнего Екатеринбургского линейного батальона Казачковский, после бывший генерал-лейтенантом, был основателем этого Сибирского отделения. Мудрено ли, что подобное отделение образовалось и в Оренбурге, на грани обширных степей, где буран и киргиз соперничают в наслаждениях дикою разгульною свободою. Когда и кем оно основано - не знаем; известно только, что бывший Оренбургской таможенной директор Величко поддерживал его до самой своей кончины, случившейся в последние годы царствования Александра. Со смертью его общество не рушилось. Вынужденные тогда правительством подписки доказывают только, и конечно не в первый раз, что в подобных случаях никто не считает делом противусовестным обмануть его.

При вступлении на престол Николая I оставался в Оренбурге некто Кудряшев, принадлежавший к тайному обществу Велички. Он был чиновник незначительный - аудитор, но человек честный, довольно образованный, любитель литературы, поэт про себя и мечтатель о свободе, о лучшей будущности своего отечества. Он завербовал нескольких молодых людей, служащих в тамошнем гарнизоне, и питал порывы их молодости подобными мечтами, не открывая ничего, кроме существования какого-то тайного общества, с целью просвещаться и стремиться к свободе.

Происшествие 14 декабря 1825 года, с его последствиями, естественно напугало старших и осторожных членов этого общества, с целью просвещаться и стремиться к свободе.

Происшествие 14 декабря 1825 года, с его последствиями, естественно напугало старших и

осторожных членов этого общества, но огорчило и ожесточило пылких юношей. При этом расположении участников младенствующего либерализма привезли в Оренбург Завалишина, из юнкеров артиллерийского училища разжалованного в солдаты. В то самое время, когда комитет о тайных злоумышленниках производил следствие, этот молодой человек, имея от роду не более 17-18 лет, сделал извет на родного своего брата и даже на сестру свою! Настоящее несчастье его нисколько не образумило: дорогою он наделал еще несколько шалостей и проказ. Из Москвы он послал донос на командира батальона внутренней стражи Штемпеля, в благодарность за то, что он его принял как благородного, несчастного юношу и позволил, на свой страх, разъезжать по городу. Во Владимир он успел как-то приехать под именем комиссионера Иванова, и, уверив губернатора, что потерял подорожную, выпросил другую, и до самого Оренбурга ехал с этим видом, по крайней мере он так после рассказывал! Едва явился он в команду, как и начал уверять молодых юнкеров и офицеров, что он принадлежал к тайному обществу и осужден вместе с прочими. Весьма естественно, что провинциальные молодые либералы им заинтересовались, и чтобы похвастать своим просвещением и чувствами, начали с ним нескромно, как говорится, либеральничать. Заметив это, Завалишин выдумал им сказку: будто бы, проезжая через Владимир, он открыл и там тайное общество, которое его приняло и дало поручение принимать членов. Портупей-прапорщик Колесников, один из этих молодых людей, тотчас рассказал обо всем Кудряшеву, который, подумав, советовал быть крайне осторожным в откровенности с ним; но чтобы выведать у него, что это такое, он разрешил Колесникову, с двумя или тремя товарищами, войти с ним в тайное сношение, примолвив: "а там увидим!" Так и сделали. Колесников уговорил прапорщика Тапикова, и оба они дали себя принять в мнимое общество, которого Завалишин выдал себя агентом. Потом Колесников принял еще товарища и друга своего Дружинина, а за ним прапорщика Старкова, юнкера Шестакова и служившего в ратуше коллежского регистратора Дынькова. Тапикове же со своей стороны принял казачьего сотника Ветошникова.

Все это происходило в марте и начале апреля 1827 года. Завалишин составил устав общества, и 18 апреля прочитал его в собрании всей этой молодежи. Они судили, рядили, исправили нечто и кончили тем, что дали обманщику подписки в верном созрании правил устава и тайны. Не далее, как чрез три дня после этого происшествия, секретарь военного губернатора шепнул одному из них об осторожности, примолвив: "Кажется, ваш новый приятель подал какой-то донос военному губернатору". Об этом тотчас дано было знать Кудряшеву. Он достал даже список поименованных в доносе и успел предостеречь многих, присоветовав истребить бумаги, если есть, могущие навлечь хотя малейшее подозрение, и, вероятно, сам поспешил сделать то же.

Предав этих несчастных молодых людей, Завалишин не посовестился собрать их еще 23 числа и тут весьма много ораторствовал о будущих действиях, видах и надеждах, о заготовлении оружия, о возмутительных бумагах и тому подобном.

Чрез день, т.е. 25 числа, по распоряжению военного губернатора начались аресты. Всех, по списку, взято 33 человека, и все рассажены по разным гауптвахтам. Обрадованный, вероятно, случаем выказать бдительность свою и свое усердие к престолу, генерал Эссен, один из немногих оставшихся представителей блаженной памяти Гатчины*12, не разведав порядочно, есть ли тут что-нибудь основательное, в тот же день поспешил отправить курьером своего адъютанта Лебедева с донесением к государю об открытии важного государственного заговора!!

Аудитор Кудряшев был арестован на другой день, и как ни у него, ни у многих других ничего подозрительного не нашли, то кроме восьми человек, о коих ниже подробно будет упомянуто, тотчас всех выпустили. Кудряшев, однако ж, чрез неделю скоростречно умер - и смерть его, как обыкновенно в подобных случаях бывает, подала повод к тайным толкам об отраве.

26 числа все те, которые спутали себя подписками, данными Завалишину, призваны были к военному губернатору для снятия с них допроса. В собственном его кабинете составлен был, под личным его председательством, род комитета, в котором присутствовал начальник штаба Оренбургского корпуса генерал-лейтенант Веселицкий, бригадный командир 1-й бригады генерал-майор Стерлинг и для письменоводства - корпусный аудитор.

После первый расспросов нетрудно было увидеть, что это просто молодые, опрометчивые люди, большею частью чуть не дети, которые вдалились в обман негодяю, вознамерившемуся их погубить купить себе прощенье. Генерал Стерлинг сильнее всех это заметил и потому вслух сказал генералу Эссену: "Вот, ваше высокопревосходительство, я вам говорил, что все это штуки самого Завалишина!" Военный губернатор на эту апострофу не отвечал ни слова; но на лице его показалась багровая краска - и в переводе на язык чистосердечия это могло значить: Глупость сделана; поправлять поздно: пусть погибнут!

Вероятно, увлекаясь этой последней мыслью, а может быть, и желая показать, что жертвы его не совсем же невинны, он обратился к ним с язвительной насмешкою и спросил: "Какое же знамя вы приготовили: красное или зеленое; где оно у вас?" - "Мы не готовили никакого", - отвечали ему. - "Как, сударь из устава вашего видно, что вы намеревались поднять знамя!" - "Знамя бунта, ваше высокопревосходительство, это так только говорится", - объяснил высокопревосходительному портупей-прапорщик Колесников и генерал встал в пень*13.

Уверившись из допросов, что Завалишин см был зачинщиком всего дела, генерал Эссен тут же приказал взять его под стражу; а допрошенных повели из кабинета в корпусное дежурство, чтобы там

прочитать им снятые с них допросы и дать им подписать их. Это предоставлено было одному корпусному аудитору. Когда дошла очередь до подпоручика Михайлова, все его товарищи приступили к аудитору и, свидетельствуя единогласно, что он с ними ни в чем не участвовал, просили уничтожить его допрос и освободить его. Аудитор подумал, спросил еще: "все ли они на это согласны?" и, получив утвердительный ответ, тут же разорвал допрос и вымарал его из списка. Таким образом этот человек спасся!

Доказательство: какими глазами смотрели не важность этого дела низшие чиновники и что может делать иногда корпусный аудитор!

Итак, по этому важному заговору преданы были суду только следующие лица:

Прапорщики:

Таптиков, 30 лет*14,

Старков - 25 лет.

Портупей-прапорщики:

Дружинин - 19 лет,

колесников - 24 лет.

Юнкер Шестаков - 17 лет.

Казачий сотник Ветошников - 23 лет. Рядовой Завалишин - 19 лет и коллежский регистратор Дыньков 19 лет: этот последний судился гражданским судом.

Военный суд, под председательством дивизионного командира генерал-лейтенанта Жемчужникова, был составлен из следующих членов:

1. Полковник Эссен, состоящий по особым поручениям у военного губернатора, своего родного брата.
2. Полковник свиты его величества Тимофеев.
3. Полковник Покатилов, бригадный командир Оренбургской артиллерии, и несколько обер-офицеров.

Делопроизводителем был дивизионный аудитор Пенской.

Суд открыт 4 мая. члены все приметно были озлоблены гнусным поступком Завалишина, который хотел запутать еще многих бывших семеновских солдат; но они ответами своими усугубили только его вину. Видя, что ему плохо, Завалишин успел из-под караула послать на самого Эссена донос к государю, собрав в нем все злоупотребления, о каких от частных лиц в городе мог только слышать; но этот донос, в доказательство уже полной высочайшей доверенности к усердно верному Эссену, прислан был к нему, к Эссену, с повелением судить Завалишина и за этот поступок; Эссен его и не пощадил. Суд окончен 13 июня. Замечательно, что на третий день, т.е. 15-го, полковник Эссен умер скорострительно от удара. Жители Оренбурга приняли это за явное наказание божие*15.

По приговору военного суда присуждено: Таптикова, Колесникова, Ветошникова и Завалишина, яко главных злоумышленников бунта, колесовать; Старкова и Дружинина - лишить живота; Шестакова - разжаловать вечно в солдаты.

Генерал Эссен подтверждал сослать в каторжную работу: Таптикова на 12 лет, Колесникова на 24, Дружинина на 8, Завалишина вечно. Ветошникова же и Старкова вечно в солдаты, без лишения дворянства. Аудиториатский департамент положил: Таптикова на 8 лет, Колесникова на 12 и Дружинина на 6 лет в каторжную работу, а о Старкове, Шестакове, Ветошникове и Завалишине подтвердил конфирмацию военного губернатора. Всемилоостивейшая высочайшая конфирмация, последовавшая в 12-й день августа 1827 года, состояла в следующем: Таптикову, Колесникову и Дружинину сбавлены сроки вполовину; Старкову, Ветошникову и Завалишину утверждено наказание, положенное генералом Эссенем; а о 17-летнем Шестакове присовокуплено: "вечно в солдаты и лишить дворянства". Экзекуция исполнена 22 сентября.

Но теперь предоставим одному из страдальцев самому рассказать, как с ними поступали и что с ними было. Заметим только, что погубив так жестоко этих молодых людей, генерал Эссен не остался в накладе: он обратил на себя внимание нового государя: переведен в Санкт-Петербург военным генерал-губернатором и на этом новом поприще украсился Андреевским орденом и просиял в графском достоинстве. Что-то скажут небесный царь и потомство. Мы, со своей стороны, кстати повторим только слова Вальтера Скотта: "Упреки тех, у которых нет другого облегчения в страданиях, кроме плачевного о них рассказа, редко доходят до ушей вельмож, которые были причиною этих страданий".

В.И.

1835 г.

Штейнгель.

День за днем идет накопление материалов, необходимых автору будущего романа для задуманной им большой литературной работы.

Однако наши представления об этом были бы не полными без рассмотрения вопроса о работе Л.Н. Толстого над материалами о крестьянах-переселенцах; как мы уже отмечали, в романе должно было произойти переплетение этих двух линий - декабристской и крестьянской.

И здесь писатель счел необходимым изучение архивным материалов - прежде всего, о переселенческом движении в России. В поисках их он обратился за помощью к Владимиру Александровичу Иславину - дяде

Софьи Андреевны, работавшему членом совета в Министерстве государственных имуществ. Просьба заключалась в том, чтобы отобрать возможное количество дел "о переселенцах 20-х годов в Оренбургские и Сибирские края". 13 апреля 1877 года Иславин сообщал Толстому о том, что накануне, через С.А. Берса, переправил ему "целую кипу переселенческих дел за время от 1809 до 1825 года", а, кроме того, еще много дел подготовил. Иславин подчеркивал: "... в архиве Министерства государственных имуществ материалы богатые, и они все к твоим услугам". Он даже намекал на достаточность их для того, чтобы "написать серьезную статью о передвижении народонаселения в России за нынешнее столетие."

Нужно сказать, что дела о переселенцах Толстой держал гораздо дольше, чем те, что получал из разных мест о декабристах. В сентябрьском письме 1878 г. к Иславину читаем: "У меня дела твои о переселении, и не думай, чтобы я забыл возратить их. Они мне нужны. Можно еще держать?" (62, 435) Возвращение их в архив относится, судя по косвенным источникам, уже к следующему, 1879 году.

Одновременно с получением дел от Иславина пришли аналогичные материалы из архива Сената.

Именно дела о переселенцах явились для Толстого непосредственным импульсом к началу работы над романом, точнее - к написанию вариантов начала.

Среди них на первое место должно быть поставлено дело из архива Министерства государственных имуществ, озаглавленное: "Дело по просьбе Усманской округи села Крутчина однодворца Брыкина о переселении верителей его в числе 334-х душ в Оренбургскую губернию, с 12 ноября 1815 по 31 декабрь 1825, всего на 85 листах". Оно содержало переписку о переселении малоземельных государственных крестьян Тамбовской губернии.

* * *

Среди рукописей Л.Н. Толстого сохранилось три варианта начала романа "Декабристы", действие которых происходит в селе Излегощи - именно такое название носит и одно из сел, фигурирующих в означенном деле. И на первых страницах романа, и в подлинном архивном деле указан один и тот же год - 1818-й. Содержание вариантов - весьма небольших по размерам - ощутимо перекликается с обстоятельствами дела, посвященного тяжбе крестьян-переселенцев с помещиком из-за отобранной у них земли; спор крестьян тянулся долго, так как жалоба их разбиралась во многих инстанциях, вплоть до Сената.

Имея переселения крестьян, освоения ими новых земель занимала Толстого на протяжении многих лет. "... Теперь мне ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы загладевающей", - так характеризовал он свой новый замысел. Перипетии его осуществления оказались столь же сложными. Убеждение Толстого в том, что "художество требует гораздо большей точности, чем наука", нашло в данном случае основательнейшее подтверждение.

Если на первом этапе формирования этого замысла героем произведения должен был стать просто образованный человек из народа, который поначалу от народа отрывается, а затем к нему возвращается, чтобы начать новую жизнь, если далее перед воображением писателя возникали картины Оренбургского края и крупная фигура губернатора В.А. Перовского, то позднее в 1878 года, писатель пришел к идее соединения переселенческого, крестьянского и декабристского начал в рамках одного романа. А.Д. Свербеев, гостивший летом 1878 г. в Ясной Поляне вспоминал, что в это время Толстому более всего хотелось показать, как декабрист, сосланный в Сибирь, попал в поселение бывших своих крестьян-крепостных, которые были отправлены сюда по этапу за то, что они самочинно вспахали "спорную" землю, и среди крестьян, деля с ними все трудности жизни, этот человек, прошедший через Сенатскую площадь, через каторгу и ссылку, начинает жить по-новому, жизнью трудового народа.

Мы уже имели возможность проследить, как Толстой собирал материалы о декабристах, на что и на кого ориентировался в ходе этой работы. Не менее скрупулезным был его труд по собиранию материалов для крестьянской, переселенческой линии произведения. Но протекал он во многом иными путями.

Уже приходилось тут упоминать о "Деле по прошению Усманской округи села Крутчина однодворца Брыкина..." и ряде других, полученных из архива Министерства государственных имуществ. Этими делами писатель не ограничился. Он, например, осуществил интересный эксперимент, обратившись к нескольким крестьянам с предложением и просьбой вести дневники. Эти важные для Толстого источники сохраняются в Отделе рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого и дают отчетливое представление о том, на что ориентировал писатель своих добровольных помощников. Таков дневник крестьянина из села Гавриловки Николая Чирьева (август 1878 - июнь 1881). О ведении его Толстой договорился с Чирьевым во время очередной поездки в свое самарское имение. Ему особенно важно было получить достоверный, от крестьян идущий, материал о быте переселенцев. Кажется, что в своих ежедневных записях заволжский крестьянин ничего особенного не сообщает, только то, кто и чем в течение дня занимался, какая стояла погода, что ели; однако на самом деле из всего этого возникает широкая картина упадка крестьянской семьи, ее обнищания. Три сына было у пожилого уже крестьянина Чирьева, но младшего забрали в солдаты, старший умер, оставив вдову с четырьмя сиротами, засуха вызвала неурожай за неурожаем; полной безысходностью веет и от бесстрастных, на первый взгляд, записей.

Говоря о таком источнике, как дневник Н.Ф. Чирьева, следует отметить важное значение того

обстоятельства, что, начиная с 1862 года, Толстой несколько раз приезжал в заволжскую степь. Находясь в своем самарском имении, он имел возможность непосредственно наблюдать жизнь соседнего села Гавриловки, заселенного крестьянами из Воронежской, Тамбовской и Пензенской губерний, оказавшимися здесь еще при крепостном праве. Записи Чирьева, таким образом, дополнялись личными впечатлениями, в свете их оживая, становясь зримыми и осязаемыми. Отметим также, что поездки в пределы Оренбургского края обогатили писателя и другими впечатлениями. Он познакомился с кочевым бытом башкир, их обычаями и песнями, узнал коренных заволжских крестьян, в тяжком труде добывающих себе хлеб насущный, увидел и навсегда запомнил страшные картины голода. Лев Николаевич, став большим другом здешних бедняков-земледельцев, выступил с призывом о помощи им в знаменитой статье "О самарском голоде", явился организатором практических дел по оказанию помощи голодающим.

Работа над историческими источниками - архивными и печатными - занимала Л.Н. Толстого длительное время. чтение материалов являлось составной частью подготовки к созданию романа, все еще находившегося в стадии кристаллизации замысла и бесконечного поиска лучших вариантов начала. С декабря 1878 по февраль 1879 гг., продолжая мучительно трудные раздумья над задуманным произведением, писатель прочел книги Н.И. Тургенева "Россия и русские" (имеются выписки из главы "Мое пребывание в России с 1816 по 1824 г."), пятую и шестую части воспоминаний Ф.Ф. Вигеля и ряд других книг, нужных для лучшей ориентации в событиях.

Перечень прочитанного и изученного Толстым во время подготовки к созданию нового крупного художественного полотна мог бы занять много страниц. Однако сам писатель не считал эту часть работы законченной. Ему представлялось необходимым познакомиться с подлинным следственным комплексом дел о декабристах. Дозволения на то получено не было.

В беседе с Г.А. Русановым, посетившим его 24-25 августа 1883 года, Толстой говорил: "Так и не удалось мне написать исторического романа после "Войны и мира". Сначала я хотел написать роман из эпохи Петра Великого, а потом из эпохи декабристов. Из петровской эпохи я не мог написать потому, что она слишком отдалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они непохожи на нас. А их эпохи декабристов я не мог написать потому, что она, наоборот, оказалась чересчур недавнею, слишком близкою ко мне. Декабристы были слишком всем известные люди. Осталась масса записок, мемуаров, писем их эпохи, и я положительно терялся в этой массе".

Разговор состоялся вскоре после десятой поездки писателя в свое степное имение близ Бузулука. Назревший кризис мировоззрения давал о себе знать самым жестоким образом. Художник уступал место моралисту-мыслителю.

НАБАТОВ ИЗ "ВОСКРЕСЕНИЯ"

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1



Е.Е.Лазарев

"Один из вошедших был невысокий сухощавый молодой человек в крытом полушубке и высоких сапогах. Он шел легкой и быстрой походкой, неся два дымящихся больших чайника с горячей водой и придерживая под мышкой завернутый в платок хлеб.

- Ну, вот и князь наш объявился, - сказал он, ставя чайник среди чашей и передавая хлеб Масловой. - Чудесные штуки мы накупили, - проговорил он, скидывая полушубок и швыряя его через головы в угол нар. - Маркел молока и яиц купил; просто бал нынче будет. А Кирилловна всю свою эстетическую чистоту наводит, - сказал он улыбаясь, глядя на Рандеву. - Ну, теперь заваривай чай, - обратился он к ней.

От всей наружности этого человека, от его движений, звука его голоса, взгляда веяло бодростью и веселостью..." (32,391).

Так входит в камеру политических еще один, дотоле нам незнакомый ее обитатель.

Так появляется в "Воскресении" новый персонаж.

Не много страниц остается до конца романа, но мы успеваем узнать этого человека - его жизнь, характер, духовный склад.

Герой, с которым читатель впервые знакомится только в двенадцатой главе третьей части произведения, глубоко симпатичен Толстому. Искренность такого отношения, такого чувства подтверждается каждой строкой и каждым штрихом.

Имя этого героя - Набатов.

2

На сибирском этапе, где разворачивается значительная часть толстовского романа, мы встречаем многих людей, проникнутых ненавистью к социальной несправедливости, стремлением к достойному устройству человеческого общества.

Они различны: мирная социалистка Мария Павловна, идущая на каторгу ради спасения других, и оправдывающий все средства борьбы Новодворов, поборник терпеливого воспитания народа Симонсон и решительный пролетарий Кондратьев. Различны по характеру своей деятельности (как и по отношению к ним автора) Ранцева и Богодуховская, Крыльцов и Набатов.

Осуждая революционные методы борьбы, революционное насилие как способ разрешения коренных социальных проблем, толстой, конечно, не мог создать по-настоящему глубокие, правдивые образы революционеров. Во многих из них на первый план выдвинуты личные отрицательные черты; некоторые из этих людей писателю откровенно чужды.

Тем не менее именно с революционерами связывает художник-реалист нравственное воскресение, возрождение Катюши Масловой. Толстому дороги их бескорыстная самоотреченность, стремление помочь обездоленным, несомненное моральное превосходство.

Черты такого превосходства несут в себе почти все представители этой человеческой галереи. Одни наделены ими в меньшей степени, другие в большей, но в целом автор имеет возможность и право подчеркнуть, что "таких чудесных людей" Маслова прежде "не могла себе представить". "Она очень легко и без усилия поняла мотивы, руководившие этими людьми, и, как человек из народа, вполне сочувствовала им. Она поняла, что люди эти шли за народ против господ" (32, 367). Сочувствует новым героям романа, несмотря на противоречивость своих взглядов, и сам Толстой.

Однако лишь отдельные из них близки ему до конца.

Не случайно дальнейшую судьбу Масловой Толстой соединяет с судьбой Симонсона. Он, типичный толстовец, служит для автора "Воскресения" как бы этическим идеалом.

Ну, а политическим? При выяснении политического идеала на первый план выдвигается не кто другой, как Набатов - "крестьянин Набатов".

Именно этими двумя словами представляет его нам Толстой, и мы понимаем, что акцентирование крестьянского происхождения, крестьянской принадлежности Набатова отнюдь не случайно.

Толстой обстоятельно рассказывает о жизни, взглядах, моральном облике человека из народа.

В революционное движение Набатов вступил с восемнадцати лет. "Выдающиеся способности" позволили ему попасть из сельской школы в гимназию, где он, кормя себя уроками, закончил курс с золотой медалью. Это открывало возможности учиться дальше. Но Набатов поступил писарем в село, где занимался чтением крестьянам книжек, организацией "потребительского и производительного товарищества". За это его арестовали. После восьмимесячного пребывания в тюрьме он был выпущен под негласный надзор полиции, но начатой деятельности не прекратил. Выехав в другую губернию и устроившись там сельским учителем, Набатов "делал то же самое". Новое тюремное заключение было более длительным - год и два месяца. В тюрьме "он

еще укрепился в своих убеждениях".

Ссылка, побег, тюрьма, новая ссылка - "так что он провел половину взрослой жизни в тюрьме и ссылке". Но это не ослабило, а напротив, еще более разожгло его энергию. "Это был подвижной человек с прекрасным пищеварением, всегда одинаково деятельный, веселый и бодрый. Он никогда ни в чем не раскаивался и ничего далеко вперед не загадывал, а всеми силами своего ума, ловкости, практичности действовал в настоящем. Когда он был на воле, он работал для той цели, которую он себе поставил, а именно: просвещение, сплочение рабочего, преимущественно крестьянского народа; когда же он был в неволе, он действовал так же энергично и практично для сношения с внешним миром и для устройства наилучшей в данных условиях жизни не для себя только, но и для своего кружка. Он прежде всего был человек общинный. Для себя ем, казалось, ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем, но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую - и физическую и умственную работу, не покладая руб, без сна, без еды". Крестьянскими качествами Набатова Толстой считает и то, что "он был трудолюбив, сметлив, ловок в работах", и то, что этот человек "естественно воздержан и без усилия учтив, внимателен не только к чувствам, но и к мнениям других", и его заботу о старухе-матери, и религиозные взгляды. "Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому, что вопрос о том, как получше жить в нем, всегда стоял перед ним".

В чем состояли революционные взгляды Набатова?

"Когда он думал и говорил о том, что даст революция народу, он всегда представлял себе тот самый народ, из которого он вышел, в тех же почти условиях, но только с землей и без господ и чиновников. Революция, в его представлении, не должна была изменить основные формы жизни народа - в этом он не сходил с Новодворовым и последователем Новодворова Маркелом Кондратьевым, - революция, по его мнению, не должна была ломать всего здания, а должна была только иначе распределить внутренние помещения этого прекрасного, прочного, огромного, горячо-любимого им старого здания" (32, 392-393).

Как не приходится сомневаться, что Набатов действительно из крестьян, так уже из этой характеристики видно: и его политическая программа отражает стремления именно крестьянства - патриархального крестьянства того времени. Оно научилось ненавидеть своих эксплуататоров, оно осознало причины страданий, но не знает, как сбросить с шеи многочисленных мироедов, и питает на этот счет самые легковесные иллюзии.

Иллюзии Набатова, иллюзии представляемого им крестьянства - это иллюзии самого Толстого. Набатов близок, ясен писателю, и невольно возникает мысль, что если бы не было в романе Симонсона, то автор "Воскресения" вручил бы судьбу Катюши Масловой не кому другому, а только ему.

Последующие страницы расширяют и обогащают характеристику, данную Набатову при первом с ним знакомстве, подчеркивают симпатии Толстого к этому человеку.

Мы узнаем о его "преданной и чистой" любви к Эмили Ранцевой, разлученной с мужем и ребенком. "Он, нравственный и твердый человек, друг ее мужа, старался обращаться с ней как с сестрой, но в отношениях его к ней проскальзывало нечто большее, и это нечто большее пугало их обоих и вместе с тем украшало теперь их трудную жизнь" (32, 397).

Мы слышим голос Набатова в идейном споре политических, происходившем в присутствии Масловой и Нехлюдова. Это был спор о путях, которыми должен идти народ. Нехлюдову захотелось услышать мнение Катюши, и он спросил ее "с робостью о том, что она скажет что-нибудь не то".

"- Я думаю, обижен простой народ, - сказала она, вся вспыхнув, - очень уж обижен простой народ. - Верно, Михайловна, верно, - крикнул Набатов, - дюже обижен народ. Надо, чтобы не обижали его. В этом все наше дело" (32, 399).

Таким образом, именно он раньше других поддержал Катюшу в ее первом, робком политическом высказывании. Поддержал темпераментно, с душой.

Мы видим, чувствуем искреннее участие Набатова и в других заключенных. Таков он в мимолетном разговоре с Бузовкиным об одном из событий, волновавшем камеры "уголовных" (32, 402-403). Он, Набатов, "везде ходивший, со всеми входивший в сношения, все наблюдавший", принес весть о найденной на стене записке революционера Петлина (32, 407). Всегда и всюду старается Набатов изгонять уныние, поддерживать в людях бодрость (32, 408).

Мы расстаемся с Набатовым в момент последних сборов перед отправкой этапа дальше. Толстой отмечает лишь то, что он, Ранцева и еще одна женщина сидели на второй телеге (32, 415). Никаких подробностей, никаких слов. Но в молчаливом, сдержанном расставании - не разочарование и не равнодушие, а надежда на новые встречи, уверенность в том, что они будут.

До этого Набатов занимал меня таким, каким он живет на страницах романа в его окончательной редакции.

Но есть еще один благодарный первоисточник изучения образа. Я имею в виду различные варианты "Воскресения". Известно, что работа над произведением протекала с переработками и до сдачи в набор, и в ходе чтения корректур, и в процессе печатания. Причем на всех этапах не только переписывались отдельные куски, но и появлялись новые главы, менялись не только детали, но и характеристики персонажей, пересматривалось все отношение автора к некоторым из своих героев.

Шесть основных редакций прошел роман, прежде чем автор смог счесть свою работу законченной. Стоит заметить, что в границах каждой из этих редакций было (и дошло до нас то в черновиках, то в испещренных правкой корректурных оттисках) множество различных вариантов. Вслед за тридцать вторым томом полного

собрания сочинений Л.Н. Толстого, где опубликован роман "Воскресение", идет том тридцать третий (по размерам своим ничуть не меньший), который содержит в себе из этих вариантов лишь наиболее существенные, самостоятельные.

Они дают возможность проследить и творческую работу над образом Набатова.

Крестьянин-революционер в воображении и под пером писателя сложился сразу. Правда, от варианта к варианту образ претерпевал определенные изменения, но они не касались сути взглядов, методов, характера деятельности Набатова, а исходили только из желания донести все наиболее ярко и полно. Никакой ломки, никакой перестройки в нем мы не видим. Это бросается в глаза тем более, что в отношении других революционеров, стоявших за применение насилия, такого постоянства нет. Политические колебания Толстого, противоречия в его взглядах сказались тут ощутимо.

Развернем же том черновых редакций романа.

Раньше всего стоит взять на заметку, что Набатов, вместе с другими революционерами - народниками и народовольцами, возник в "Воскресении" только в четвертой редакции.

Это было связано с усилением социальной проблематики, социального звучания произведения. Не стремление усложнить сюжет, но желание быть верным своему главному герою - правде, открыло путь на страницы романа и выдвинуло в ряд его ведущих героев целую группу политических ссыльных.

Каким предстоит в этой, четвертой редакции Набатов?

С самого начала он входит в произведение энергичной походкой хозяина, без особых представлений и рекомендаций.

"В узенькой, аршин 5 ширины и 10 длины комнатке с одним окном за перегородкой были почему-то высокие нары и между нарами и перегородкой пустое пространство в два аршина. В этом пустом пространстве стоял стол, который достал всегда бодрый и всех оживляющий Набатов... Набатов только что принес самовар, добытый от конвойного, и, перелезши через нары и ноги Марьи Павловны, лежавшие на дороге, шел за молоком и столкнулся в дверях с Нехлюдовым.

- Идите, идите, у нас все прекрасно. Только вот страницы наши (это были Марья Павловна и Маслова) измокли. Вот молока хочу достать, - сказал он, вышел во двор и вступил в совещание с конвойным..." (33, 209-210).

Вот-вот закончился утомительный переход в бездорожье, холод и дождь. Все обитатели камеры политических устали, промокли, продрогли. А Набатов, который делил тяготы этапа с другими, думал не о собственном отдыхе, не о своем покое, а о том, как согреть и накормить товарищей.

Набатов принес крынку молока... "Всегда бодрый", - еще раз говорит о нем Толстой. Эта характеристика, прозвучавшая в одном отрывке дважды, является комментарием к короткому, но очень важному спору по поводу покорности народа. "Долго воспитывать", - с явным разочарованием произносит Семенов (позднее фигурирующий в романе как Крыльцов). "Вот мы это и делаем и будем делать", - спокойно отвечает Набатов. "Да, в Якутке, где нет людей..." - "И Якутка не вечная" (33, 211). Приведенный тут диалог сразу вводит во внутренний мир человека, в круг его настроений и взглядов.

Он, Набатов, поддерживает связи не только внутри этапа, но и с внешним миром. Буквально на следующей странице той же, четвертой редакции Толстой рисует группу политических, слушающих, как Набатов, стоя под лампой, "читал вслух мелко написанный листок почтовой бумаги, вымазанный товарищем прокурора, который его читал, чем-то желтым". Новости в письме были недобрыми: один погибает в тюрьме, другой взят и осужден, третий уехал за границу. Но Набатов видит и меж строк. Он радуется тому, что ряд друзей благополучно продолжает работу, а значит, борьба не прекращена. И снова многозначительный диалог:

"- Хорошего мало. Не взяли нынче, так завтра возьмут. Не могу забыть Герцена слов: "Чингисхан с телеграфом", - заговорил Семенов. - Он всех задушит.

- Ну, не всех. Я не дамся.

- Да, не дашься, а вот сидишь в кутузке.

Покамест сию. Дай срок" (33, 213).

Набатов весь в будущем. Ради завтрашнего дня, который он мечтает отдать на пользу народа, этот человек готов вынести любые лишения, любые невзгоды. Перед его глазами проходят замученные, казненные. Он знал их живыми, деятельными. Но нет, дело, которое они вели, не угаснет!

Все это передается Толстым через восприятие Нехлюдова. И Нехлюдов с гневом, с душевной болью говорит о "жестких", "незаслуженных" страданиях, которые "несли эти люди". Он с полной убежденностью заявляет, что "эти люди были много выше тех подлых людей, их врагов, жандармов, сыщиков, прокуроров, которые их мучили" (33, 217). Набатов и другие революционеры, встреченные на сибирском этапе, представляются ему как "люди самой высокой нравственности".

В таком же духе - и индивидуальные характеристики Семенова, Вильгельмсона (в окончательной редакции - Симонсона), Крузе (впоследствии изъятого автором) и Набатова. О каждом - предельно кратко. Вот что сказано о прошлом Набатова: "Набатов был крестьянин, кончивший курс с золотой медалью и не поладивший в университете, а поступивший в рабочие. Ему было 26 лет, и он 8 лет провел в тюрьмах" (33, 217). И тут же идет обобщение, касающееся всех этих людей: "Началось с того, что они шли в народ, чтоб просветить его. Их за это казнили. Они мстили за это. За их месть им мстили еще хуже, и вот дошло до 1-го Марта, и тогда мстили им за прошедшее, и они отвечали тем же".

Нехлюдову это кажется ужасом. "Ах, какой ужас, какой ужас", - повторяет он, думая о виденном и

слышанном.

Это ужас самого Толстого, стоящего на распутье, обуреваемого самыми разноречивыми чувствами. Не понимая подлинного пафоса революционной борьбы, он склоняется к тому, что движущей силой в ней является месть за репрессии со стороны властей. Но сами образы революционеров противоречат такому выводу. Не жажда мщения руководит ими, а благородная цель служения народу.

Верность этой цели подчеркнута и в Набатове.

Перейдем к вариантам пятой редакции. Она еще более оттеняет противоречия, сомнения автора "Воскресения". Толстой чувствует, понимает, что симпатии, выраженные им в отношении революционеров, если не полностью отрицают, то, во всяком случае, основательно "подсекают" проповедуемый им тезис о непротивлении злу насилием. И писатель выдвигает те качества этой группы героев романа, которые должны снизить их положительное воздействие. Появляется Вера Ефремовна Богодуховская, наделенная непривлекательными внешними и внутренними чертами; в других, уже знакомых по четвертой редакции, персонажах также выделяются, выпячиваются те или иные отрицательные качества.

Известно, какое значение придавал Толстой целомудрию человека. Вот почему можно усмотреть желание уменьшить звучание образа Набатова в сообщении о том, что некогда он находился в связи с Богодуховской, а теперь так же, как и другие, был "задет прелестью птички" - речь шла о Богомиловой, впоследствии Грabeц (33, 241). Делается попытка и по-иному представить взгляды Набатова на методы революционной борьбы: "... третьи, как Набатов и Вера Ефремовна, утверждали, что для этого (т.е. для изменения существующих порядков - Л.Б.), главное, нужно разрушить теперешнее устройство, а для этого есть только средство: террор..." (33, 242-243). Но несколькими строками ниже идут слова, оправдывающие даже этот метод борьбы: "Все они были движимы не только желанием зла кому бы то ни было, но только одним желанием служения народу и сознанием несправедливости, жестокости правительства к этому угнетающему народу. Главный мотив - перейти на сторону страдающих, помогать им и, если нельзя, то по крайней мере страдать вместе с ними". Это, подчеркивается тут, было главным мотивом" и Марии Павловны, и Набатова, и Семенова". Небезынтересно, что связывая Набатова - и прошлым его, и даже определенными взглядами - с Богодуховской, Толстой тотчас же их разделяет: Веры Ефимовны в приведенном перечне нет.

О том, что автор романа остается верен своим симпатиям, лучше всего говорит его признание, сделанное в той же, пятой редакции: "Из мужчин Нехлюдов сблизился особенно с Набатовым, всегда бодрым, веселым, твердым и самоотверженным человеком, проводившим половину взрослой жизни в тюрьме..." (33, 240).

Шестая редакция составила окончательный текст "Воскресения". В ходе работы над ней произведение было разделено на три части, появились новые главы и эпизоды, подверглись пересмотру характеристики героев, точнее стали многие детали. Эта редакция отмечена и дальнейшими раздумьями над образами революционеров. При всем различии в отношениях Толстого к тому или иному представителю революционной интеллигенции тон, которым писатель говорил об этих людях (по крайней мере, о большинстве из них), становился более сочувственным, а оценка их деятельности - более положительной.

На примере Набатова это видно в меньшей степени: его в своем творческом воображении Толстой создал сразу, существенной перестройки образ не претерпел.

В процессе работы над шестой редакцией автор освободил Набатова от прошлых его отношений с Богодуховской и отказался от знака равенства в характеристике их взглядов на методы борьбы с несправедливостью. На этом же этапе подготовки романа к печати возникла развернутая литературная биография героя, заменившая собой те краткие сведения, которые давались о Набатов в предыдущих редакциях. Она несколько отличается от окончательной, изложенной вначале, и потому заслуживает быть процитированной:

"Набатов обратил на себя внимание необыкновенными способностями в сельской школе. Учитель устроил ему помещение в гимназию. В гимназии, давая уроки с 5 класса, он блестяще кончил курс с золотой медалью. Еще в 7-м классе он решил не идти в университет, а идти в народ, из которого он вышел, чтобы просвещать своих крестьянских братьев. Он так и сделал, поступив писарем в село. В селе, кроме исполнения своих обязанностей, он читал крестьянам "Сказку о трех братьях", "Хитрую механику", объяснял им обман, в котором их держат, и старался уговорить их устроить коммуну. Его арестовали, продержали в тюрьме 8 месяцев и, не найдя улик, выпустили. (Зачеркнуто: "Как только его выпустили, он пошел на фабрику рабочим и на фабрике..."). Освободившись от тюрьмы, он тотчас же пошел в другую деревню и, устроившись там учителем, делал то же самое. Его опять взяли и опять продержали год. Благодаря ловкости и сдержанности при допросах и внушающей доверие прямоте и добродушию, которыми он действовал на своих судей, его опять выпустили, и он, оставив в тюрьме революционные связи, опять пошел в народ, устроил общинную слесарню и потребительское товарищество. Его опять взяли и в этот раз (зачеркнуто: "уже совсем ни за что и опять посадили"), продержав 7 месяцев, приговорили к ссылке, так что он провел половину взрослой жизни в тюрьме" (33, 298).

Все эти варианты являются эскизами образа, подступами к той цельной, мотивированной, художественно выразительной характеристике Набатова, которая знакома каждому, кто читал роман "Воскресение".

Много дорогих мыслей, душевного тепла, щедрой толстовской любви отдано крестьянскому революционеру Набатову, чтобы предстал он перед читателем таким, каким виделся автору и каким был ему, Толстому, близок.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В своих развернутых комментариях к 33-му тому полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, прослеживая историю писания и печатания романа, Н.К. Гудзий связывает работу над образами политических с живым интересом писателя к реальным представителям русской революционной интеллигенции, личным знакомством его с некоторыми из этих людей.

Исследователь высказывает предположения об отдельных прототипах, черты которых, в той или иной степени, нашли воплощение в художественных образах. В комментариях мы читаем и следующее: "Фигура Набатова возникла в четвертой редакции "Воскресения", видимо, под влиянием воспоминания Толстого о его встрече в 1883 году в самарских степях с привлекавшимся в 1878 году по делу 193-х Е.Е. Лазаревым" (33, 374).

Набатов - Лазарев... Об этом мне довелось читать и в других источниках.

Литератор В.В. Поссе, редактировавший журналы "Новое слово", "Жизнь", "Жизнь для всех", в своих воспоминаниях, опубликованных в 1923 году, писал: "Егора Егоровича Лазарева, когда он был еще молод, хорошо знал Лев Николаевич Толстой - знал и очень любил. Часто они вели дружеские беседы и никогда не ссорились, несмотря на то, что Толстой был непротивленцем, а Лазарев противленцем. Любовь к Лазареву Толстой переносил и на других революционеров лазаревского толка, т.е. народников. Эта любовь чувствует в третьей части "Воскресения", где выводятся типы русских революционеров. С самого Лазарева Толстой написал Набатова. В превосходной характеристике Набатова нет ничего вымышленного"*1.

Сын писателя С.Л. Толстой, рассказывая о встречах Льва Николаевича с Лазаревым, заявляет: "Отец впоследствии вспомнил о нем, когда писал "Воскресение": на Лазарева похож Набатов"*2.

Эти утверждения, насколько известно, никем и никогда не оспаривались: не беру их под сомнение и я.

Конечно, мне чужд наивно-биографический подход к раскрытию творческой лаборатории писателя в работе над художественными образами вообще и образом Набатова в частности. В нем, Набатове, обобщены, осмыслены черты и судьбы многих народников семидесятых-восьмидесятых годов. Но олицетворением их в глазах Толстого стал Лазарев. Обстоятельства, время сделали его типической фигурой. И потому вполне закономерным является наш интерес не только к литературному герою, но и к его прототипу. Тем более, что изучение конкретного исторического лица, ближе других стоящего к образу романа, открывает возможности глубже, полнее раскрыть отношение великого писателя к одной из важных, ведущих революционных сил того периода.

2

"В каком году - рассчитывай, в какой стране - угадывай, в одной степной губернии, при столбовой дороженьке, по берегам речонки крохотной стоит себе, раскинулось именье господ Карповых, огромное, богатое село Успенское - Грачевка тож..."

Откуда это? И какое отношение имеют приведенные нами слова к Набатову - Лазареву?

Отношение прямое. Так начинается воспоминания о своем детстве сам Е.Е. Лазарев*3.

Мне доведется часто пользоваться его книгой "моя жизнь" и не лишне сразу сказать о судьбе этого скромного, непритязательного сборника, опубликованного в 1935 году в Праге.

Разыскать лазаревскую книжку удалось не без труда. Уникальный экземпляр ее отыскан в столичной "Ленинке". У него, этого экземпляра, своя история и даже своя "тайна".

Однажды, в день восьмидесятилетия Лазарева, с юбиляром вступил в беседу незнакомый человек. Разговор, вероятно, затронул близкое, дорогое для виновника торжества, вызвал в нем волнующие воспоминания. На только что вышедшей книге "Моя жизнь", преподнесенный незнакомцу, была сделана надпись: "Лицу, пожелавшему, к моему смущению, остаться неизвестным (в Лозанне), от признательного 80-летнего автора на добрую память".

На экземпляре имеется широко известный экслибрис Н.А. Рубакина с девизом: "Да здравствует книга - могущественное оружие борьбы за истину и справедливость". В таком случае проясняется кажущееся поначалу странным упоминание о Лозанне. Именно там жил и работал эмигрировавший еще в 1907 году из России Рубакин, оттуда поддерживал тесную связь с родной страной, которой завещал свое прекрасное книжное собрание. Среди восьмидесяти тысяч томов оказалась и "Моя жизнь" Лазарева.

Но вернемся к рассказу, начатому оригинальной цитатой из книги, история которой это отступление вызвала.

Автор не томит нас загадками. Едва ли не сразу узнаем, что год его рождения - 1855-й, степная губерния - Самарская и что господам Карповым в селе Грачевка принадлежало "все и вся", включая родителей Лазарева, бесправных крепостных.

Курная изба с полатями, неумолчный шум прядильного станка, посня-стон - это запомнилось на всю жизнь. Не легче стало дышать крестьянам и после объявления "воли". Впрочем, отца, как человека

хозяйственного и справедливого, выбрали старшиной Пустоваловской волости, и такое избрание стало предвестником больших перемен в жизни Егора-сына. В доме старшины часто появлялись новые люди, наезжавшие по делам то из уездного Бузулука, то их губернской Самары. Среди гостей были такие, которые воротили нос от "мужичья", и совсем другие, вглядывавшиеся в крестьянскую жизнь с большим сочувствием. По их совету и приняли решение - учить смышленного Егорку, сделать из него образованного человека.

Не только грамоту постиг десятилетний мальчишка в семье дальней родственницы Елизаветы Николаевны Зиновьевой (она-то приютила его в Самаре). Дочь хозяйки, Серафима Ивановна, объединяла вокруг себя большую группу передовой, свободомыслящей молодежи. По примеру Веры Павловны из романа Чернышевского "Что делать?" она образовала артель-коммуны из девушек-портных. Не раз Егор становился свидетелем жарких споров о жизни народа, о религии и науке, о будущем. Не все, далеко не все было ему понятно, но даже то, что доходило до сознания, заставляло смотреть на многое глазами иными.

Приходское училище он закончил с похвальной книгой. Отличные знания обнаружил крестьянский паренек и в трехклассном уездном. Когда же благодаря своим способностям (и, конечно, не без участия добровольных шефов из среды разночинной интеллигенции) Лазарев попал в гимназию, то и здесь, буквально в самого начала, выделился как лучший ученик. Из класса в класс его переводили без экзаменов. Но больше, чем гимназическими пятерками, гордился он тем, что сам зарабатывал на жизнь, давая уроки сынкам богатеев.

Каждое лето Егор отправлялся в родное село. Что ни год, то резче бросались ему в глаза контрасты жизни, все больнее задевала несправедливость, все ближе к сердцу принимал он бедственное положение крестьян, обреченных на нищету, бесправие и вечную темноту.

Неужели вечную? Неужто нет просвета, нет выхода? А если есть, то где он, в чем?

Была у Лазарева мечта - стать ученым, посвятить себя науке. Теперь она отодвинулась на второй план. На смену ей пришла другая. Думалось уже о том, как отправится к угнетенному и обездоленному сельскому люду, как будет нести в крестьянские массы свет знаний и разума, как станет раскрывать глаза мужиков и вместе с ними добиваться достойной, справедливой жизни.

Юноша "кончил курс с золотой медалью", но не пошел в университет потому, что еще в VII классе решил: пойдет в народ, из которого вышел, - чтобы просвещать своих братьев,

"Он так и сделал..."

Это сказано Толстым о Набатове.

Точно так поступил Егор Лазарев. И спустя много лет, оглядываясь на пройденное, он мог написать: "С этих пор перед нашим героем открывается широкая дорога, которая повела его не только по городам, весям и тюрьмам родной России, но и по городам, весям и тюрьмам чуть ли не всего Земного Интернационала".

3

Семидесятые годы... Их по праву называют одной из самых героических эпох русской истории. На линию борьбы с бесправием трудового народа выдвинулось новое поколение бойцов, воспитанное на революционных традициях Чернышевского, Добролюбова, Герцена. То были люди, беспредельно преданные своей цели и готовые на самопожертвование ради ее торжества. Мы говорим о них: штурманы революционной бури, и в этих словах нет преувеличения. Они ждали и звали бурю революции, они разжигали, вздували ее изо всех сил.

Семидесятники, революционные народники расширили рамки пропагандистской работы, особенно в среде крестьян; в качестве боевой задачи освободительного движения они выдвинули практическую революционную борьбу против самодержавного строя.

Но даже несмотря на то, что в теоретическом отношении эти люди сделали шаг назад от Чернышевского, что некоторые слабые стороны революционных демократов семидесятники не только не преодолели, а и усугубили, - мы преклоняемся перед этими представителями народа, которые вписали не одну страницу в летопись борьбы за свободу.

Той боевой эпохе и принадлежит Лазарев. Он намного пережил ее, но для нас остается - если не исключительно, то главным образом, - одним из активных деятелей семидесятых годов.

4

"Еще в VII классе решил, что пойдет в народ..."

Этому решению способствовало дальнейшее сближение Лазарева с разночинной интеллигенцией. Важным шагом являлось вступление его в революционный кружок самарской молодежи.

"Самарский кружок был, без всякого сомнения, одним из самых выдающихся кружков, работавших в глухой провинции, вдали от университетских центров", - свидетельствует непосредственный участник борьбы в семидесятые годы С.Ф. Ковалик⁴. Как отмечает он в своих воспоминаниях, этот кружок изучал литературу и науку, начиная от химии и кончая социологией. Особенно занимали его вопросы об ассоциациях и улучшении быта рабочих. Дух отрицания все более и более креп в кружке, и когда до Самары стали доходить отклики начинающегося революционного движения, члены кружка быстро усвоили себе обычную в то время программу

революционеров. Самый состав кружка увеличился впоследствии принятия новых членов... Вообще все молодое и живое поднялось в Самаре на ноги - образовался настоящий революционный муравейник".

Среди членов кружка в ряду других называется Е. Лазарев.

Более подробные сведения о кружке и его членах, в том числе о Лазареве, содержатся в сборнике "Государственные преступления в России в XIX веке", в третьем его томе, вышедшем в свет в период первой русской революции. Здесь, прежде всего, привлекает внимание обвинительный акт нашумевшего "процесса 193-х". Одним из подсудимых на нем являлся Лазарев, а одной из организаций, чья "противозаконная деятельность" разбиралась специальным судом, был кружок самарцев.

Констатируя, что "главные силы революционной партии сосредоточились в восточной полосе России, в приволжских губерниях", составителя обвинительного акта подчеркнули, что это произошло не случайно, а в силу заранее обдуманного плана действий и выработавшегося у большинства пропагандистов, на основании примеров Стеньки Разина и Пугачева, убеждения, что революционные идеи найдут наиболее благоприятную для себя почву на востоке, в приволжских губерниях, представлявшихся для революционеров классической страной бунтов и возмущений*5.

В кружке самарцев занимались то строго научной подготовкой, изучая анатомию, то чтением сочинений Бакунина. Но, как отмечается в цитируемом документе, "к весне 1874 года направление кружка получило характер чисто революционный". Лазарев присоединился к нему как раз перед этой весной - в феврале. "Воспитанник Самарской гимназии, крестьянин села Грачевки", он был рекомендован своими товарищами Осиповым, Городецким, Филадельфовым и другими, а некоторое время спустя выдвинулся в число наиболее видных участников.

Новый прилив сил у молодежи вызвал приезд в Самару петербургских товарищей. Для выработки программы действий с их участием устраивались сходки. Первая проходила в одном из залитых разливом реки домов пригорода. Больше всего тут говорили о том, что "правительство обманывает народ и злоупотребляет его доверием, что налоги слишком тяжелы и что освободиться от правительственного гнета можно только при помощи огня и меча". Громко, страстно звучал голос Лазарева, требовавшего немедленного, деятельного развертывания пропаганды среди крестьянства. Он предлагал практические пути сближения с народом и внушения крестьянам того, что "земля не должна быть ни помещичьей, ни государственной, а общинной", что "обществу должны принадлежать также и железные дороги", что только люди труда вправе владеть богатствами, создаваемыми их мозолистыми руками.

Наступило лето, и члены кружка приступили к осуществлению своих планов. Они разъехались, разошлись по многим деревням, волостям, уездам и всюду, где появлялись, вокруг них - поначалу недоверчиво, а затем все более охотно - собирались крестьяне, чтобы послушать справедливые слова о жизни, советы о том, как быть дальше. Революционные мысли, как животворные семена, давали всходы.

Лазарев вел пропагандистскую работу в своей родной Грачевке. К образованному односельчанину, который, выучившись, не возгордился и не чурался никаких крестьянских дел, доверие было полным. С таким же доверием относились грачевские мужики и жители окрестных сел к Марфе Никитиной и Николаю Буху. Они поселились у Лазаревых, трудились в поле, вникали в нужды людей, читали книги. В Грачевку приезжали другие товарищи по кружку самарцев; вместе ходили в Павловку, Дубовое, еще в некоторые села уезда. Здесь также беседы находили отклик.

"Самара 1874 года... не могла разочаровать революционеров в той вере их в Поволжье, которая заставляла многих из них избирать ареной своей агитаторской деятельности расположенные по Волге губернии..." Это признание С.Ф. Ковалика с полным основанием могли бы повторить Лазарев и его товарищи.

Но в один из первых августовских дней в Грачевке появилась девушка из артели Серафимы Ивановой. Она прошла пешком десятки верст. Она торопилась изо всех сил. Нужно было предупредить об арестах.

В Самаре взяли несколько членов кружка. Захватывали "частым бреднем". Можно было ожидать, что не сегодня-завтра полицейские нагрянут и сюда.

В ту же ночь Лазарев-отец вывез из села Никитину и Буха. А несколько дней спустя за Лазаревым-сыном пришли прямо в поле, где он убирал созревший хлеб. Его препроводили в Самарскую тюрьму.

"... Скоро был арестован..." Да, как и у Набатова, революционная работа Лазарева в этот раз продолжалась очень недолго. Тем не менее след она оставила. след на всю жизнь.

5

"Процесс 193-х" иначе называют "Большим процессом". Среди множества других судебных разбирательств политического характера он отмечен особой масштабностью.

Поначалу количество привлеченных по этому делу достигло нескольких тысяч человек. Часть из них еще до процесса подверглась высылке в административном порядке, многих освободили за неимением улик, некоторые умерли или сошли с ума в период предварительного заключения.

Следствие тянулось годы. Более трех лет провели в тюремных камерах в ожидании суда Егор Лазарев и другие участники "хождения в народ".

Лазарев смог познакомиться здесь со многими мужественными бойцами, которые обвинялись не только в

революционной пропаганде и агитации, но и в организации сообщества для ниспровержения существующего строя.

Особое место среди них занимал Ипполит Мышкин - человек высокого личного мужества, решительный в борьбе и стойкий в самых суровых испытаниях застенка. Это Мышкин пытался организовать побег Н.Г. Чернышевского из Вилюйска. Теперь ему предстояло держать ответ сразу по нескольким статьям "уложения о наказаниях".

Такой, как Мышкин, такие, как П.И. Войнаральский, Д.М. Рогачев, С.Ф. Ковалик и другие, уже закаленные в борьбе, являлись для остальных - и Лазарева в том числе - примером беззаветного служения народу.

В этот трехлетний период "предварительного заключения" Лазарев получил много уроков жизни. Ему, к примеру, довелось быть свидетелем столкновения петербургского градоначальника генерала Трепова с заключенным Боголюбовым. После того, как Боголюбов был наказан розгами, Лазарев принял участие в демонстрации протеста политических. Шесть недель после этого просидел он в одиночной камере с забитыми окнами - как ее называли, "наморднике". Но даже физические мучения, связанные с пребыванием в одиночке, не могли вытравить из сознания гордость тем, что и в тюрьме они страшны палачам.

Егор Лазарев вошел в числе 193-х, чьи действия рассматривались в особом присутствии сената. Разбирательство дела "о революционной пропаганде в империи" началось 18 октября 1877-го, а закончилось только 23 января 1878 года.

С первых же заседаний стало ясно: происходит не суд, а пустая комедия. Обвиняемые были поставлены в такие условия, которые не давали возможности раскрыть истинный характер дела. Процесс фактически протекал за закрытыми дверями. Большинство подсудимых в знак протеста против произвола решило отказаться от какого-либо участия в судебном следствии, а равно и от защиты. Мужество участников процесса особенно проявилось в яркой обличительной речи И.Н. Мышкина. Охарактеризовав причины и задачи движения, он во всеуслышание заявил, что никто из сидящих на скамьях подсудимых не ожидает от царского сената ни правосудия, ни справедливости. В лицо суду, в лицо всему самодержавию Мышкин бросил слова о революции, как единственно возможном выходе из сложившегося положения. Это выступление, которое закончилось столкновением между подсудимыми и жандармами, тотчас получило известность и вызвало возбужденные отклики.

Лазарев вел себя на следствии, а затем на суде с достоинством, с гордостью за дело, участником которого ему довелось быть. Ни малейшего раскаяния он не выражал.

Нет сомнения, что и против него, и против всех других обвиняемых "особое присутствие" применило бы самые тяжелые наказания. Однако негодование прогрессивных общественных сил было настолько сильным, что не считаться с этим оказалось невозможным. Почти половину подсудимых признали невиновными, многим в качестве наказания было зачтено предварительное заключение. В числе их вышел на волю и Егор Лазарев.

Небезынтересно знать, что среди выпущенных вместе с ним были С.Л. Перовская, А.И. Желябов и другие деятели революционного народничества, снискавшие впоследствии славу громкую.

О продолжении этой борьбы они мечтали в крепостных застенках, к ней вернулись сразу после выхода на свободу, хотя за каждым (и за Лазаревым в том числе) был установлен самый пристальный надзор.

6

Анкетные данные Лазарева не во всем соответствуют анкетным данным Набатова, хотя тот же В.А. Поссе прямо заявляет: "Измените... фамилию Набатова на Лазарева - и вы познакомитесь с Егором Егоровичем". Мемуарист подошел к набатовской характеристике в "Воскресении", как к фотографии реального, ему знакомого лица.

Нет, повторяю, анкетных несовпадений в Набатове-Лазареве много.

Толстой не упоминает о "процессе 193-х". Первое тюремное заключение Набатова продолжается восемь месяцев, в то время как Лазарев провел в ожидании суда три с половиной года. По освобождении герой романа едет "в другую губернию, в другое село", где продолжает начатое ранее, а у человека-прообраза получилось иначе... По ходу дальнейшего разбора будем говорить и о других несоответствиях, и о других расхождениях. И все же это отнюдь не дает оснований сомневаться ни в правде образа, ни в прототипе, но лишь подчеркивает стремление Толстого к глубоким образным обобщениям.

Итак, как же складывалась судьба Лазарева? Что, кроме уже известного, предшествовало его встрече и дружбе с Львом Толстым?

Вот что говорится о нем в одном из документов жандармского дела, хранящегося в Государственном архиве Самарской области: "Приговором Особого присутствия Правительствующего Сената, 23 января 1878 г. состоявшемся, был оправдан. Затем служил в военной службе до 1880 г., когда уволен в запас унтер-офицером. После чего возвратился на родину в с. Грачевку, где за ним учрежден был надзор полиции. Здесь он вновь заявил себя политически неблагонадежным и, хотя произведенное дознание было прекращено, но по постановлению Особого совещания от 3 мая 1882 г. он оставлен под надзором полиции на два года"*6.

В описках подробностей я снова обращаюсь к единственно возможному в данном случае источнику - запискам самого Лазарева.

Из них становится ясным, что между объявлением оправдательного приговора и взятием в солдаты (причем не только его, а и других возвратившихся после процесса) прошло не более месяца. 24 января 1878 года Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника генерала Трепова, и солдатчина для получивших свободу политических явилась одним из первых актов перепуганного Александра II.

Под благовидным предлогом Лазареву удалось получить двухнедельную отсрочку. Он использует ее, чтобы поехать в Уральск для освобождения арестованной там группы пропагандистов во главе с Н.Н. Смецкой. Операция оказалась сложной. Выполняя ее, Лазарев сам попал в руки полиции. Шестинедельное пребывание в Уральской тюрьме закончилось отправкой в этапном порядке в Бузулук, откуда его, на этот раз уже без всяких отсрочек, препроводили в солдаты.

Подходила к концу русско-турецкая война. Рядового Лазарева зачислили в 159-й пехотный Гурийский полк. В составе Кавказской армии он непосредственно участвует в боях, в том числе в известном сражении под Карсом. Но и на военной службе не прекращается его пропагандистская работа. Вокруг Лазарева образуется кружок свободомыслящих молодых офицеров: идет чтение запрещенной литературы, обсуждаются вопросы общественной жизни, ведутся откровенные разговоры о том, как добиться свободы, равенства, братства. Только сугубая осторожность позволяла избежать провала. В условиях военной службы он грозил особенно серьезными последствиями.

Возвращение в Самару стало для Лазарева возвращением к прежним связям.

К этому времени в народническом движении выявились существенные качественные изменения. В "Земле и воле" произошел раскол. Возникли две самостоятельно действующие тайные организации. Одна из них - "Народная воля" - стояла за широкое признание террора, другая - "Черный передел" - только за пропаганду социалистических идеалов.

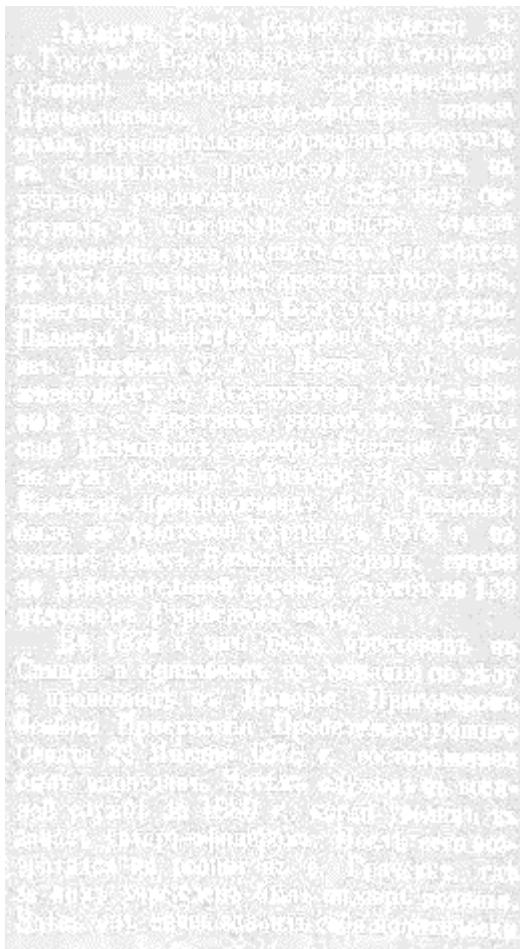
Еще проходя службу, Лазарев задумывался над тем, что для возбуждения крестьянских масс, для подъема их на революционную борьбу одной лишь пропаганды мало, необходимы какие-то новые средства, способные зажечь и всколыхнуть миллионы. Такими средствами представлялись прежде всего героические акты возмездия, направленные против высших сановников и самого царя. Утверждению подобных взглядов в большей мере способствовали выстрел Веры Засулич, убийство Кравчинским шефа жандармов Мезенцева и неудачное покушение Халтурина на царя. Эти акты произвели огромное впечатление на русское общество и вызвали замешательство в правительственных сферах.

Участие в создании народовольческого кружка было первым делом унтер-офицера запаса по приезду в Самару в 1880 году.

Однако бдительно смотревшее вокруг полицейское око не дало возможности развернуть работу. Под надзором полиции Лазарев выехал в родное село. Надзор сопутствовал каждому дню его жизни и в Грачевке.

К этому-то периоду относится знакомство Егора Лазарева с Львом Николаевичем Толстым. Оно состоялось летом 1883 года, положив начало связям, которые продолжались чуть не четверть века.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ



*Страница из полицейского дела
(ГАКО, Ф.648, оп.1, д.81, л.74-75)*

Последнюю неделю я все возился с мужиками, и теперь эти последние дни - другое. Кроме всех жителей, здесь наехали еще гости к Бибикову: два человека, бывшие в процессе 193-х, и вот последние дни я подолгу с ними беседую. Я знаю, что им этого хочется, и думаю, что не имею права удаляться от них. Может быть, им полезно. А мне тяжелы эти разговоры. Это люди, подобные Бибику(ову) и Вас(илию) Ив(ановичу), но моложе. Один особенно, крестьянин (крепостной бывший) Лазарев, очень интересен. Образован, умен, искренен, горяч и совсем мужик - и говором, и привычкой работать. Он живет с двумя братьями, мужиками, пашет и жнет, и работает на общей мельнице. Разговоры, разумеется, вечно одни - о насилии. Им хочется отстоять право насилия, я показываю им, что это безнравственно и глупо..."

Это отрывок из письма, посланного Л.Н. Толстым Софье Андреевне из самарского хутора 8 июня 1883 года (83,384).

Начиная с 1862 года, когда он впервые выехал в заволжскую степь, Толстой предпринимал такие поездки десять раз. Если между первой и второй прошло девять лет, то последующие повторялись чуть ли не каждое лето. Сначала сюда вели предписания врачей, настоятельно рекомендовавших кумыс. Затем степные места понравились настолько, что возникла мысль завести здесь собственное имение.

Приволье, воздух, обилие дичи и рыбы восхищали Толстого. Близкими ему по духу оказались патриархальные заволжские крестьяне. Он отмечал их "простоту и честность, наивность и ум".

Однако не ускользали и теневые стороны жизни. Он приезжал сюда в засушливые, неурожайные годы и своими глазами видел страшную, смертельную нищету людей. Объезжал окрестные деревни, хутора и всюду наблюдал одно: бедность, неопишемую бедность.

Положение помещика, собственное благополучие среди беспросветной нужды народа все глубже ранили чуткое сердце. В этот раз, в 1883-м, Толстой приехал сюда с твердым - и затем

осуществленным - решением: свернуть, ликвидировать хозяйство.

В такой обстановке и состоялась встреча Л.Н. толстого с Лазаревым, о которой он не преминул написать в Ясную Поляну. Заслуживает внимания уже сам факт, что ни о ком, кроме как о Лазареве, в этом письме не говорится так подробно и тепло.

Но надо попытаться более полно восстановить обстановку, настроения, дух тех дней. Источниками для выяснения подробностей, кроме датированного письма к С.А. Толстой, могут служить воспоминания С.Л. Толстого и В.И. Алексеева, статья в "Русской мысли", но в большей степени - заметки самого Е.Е. Лазарева, известные современному читателю исключительно по небольшой газетной публикации*7.

"Всего на нашем и бибиковском хуторе жило почти тридцать человек, - писал сын писателя Сергей Львович, вспоминая поездку в самарское имение. - Из них особенно заинтересовал отца и меня Егор Егорович Лазарев. Это был мускулистый, белокурый, бодрый, веселый крепыш среднего роста, двадцати восьми лет, с открытым лицом. В его разговоре сказывалось его крестьянское происхождение: он пересыпал свою речь народными выражениями...

Большинство кумысников и гостей Бибикова были, как тогда говорили, "красными", и отец не раз спорил с ними по вопросу о революционном насилии...

Признаюсь, я больше сочувствовал Лазареву и молодежи, чем отцу..."*8

Тут опущены отдельные биографические сведения, о которых уже писалось. Но и без нельзя не видеть сходства характеристик, данных Лазареву и отцом и сыном. И тот, и другой выдвигают на первый план споры политические.

Толстой в то время все более "пестовал" свою теорию "непротивления злу насилием", а среди интеллигенции, которая вела работу в народе, идеи насильственного вмешательства для изменения положения масс получали все новых сторонников.

Весьма важным представляется мне то, что среди споривших находились люди с опытом революционной работы. Кроме Лазарева, по "делу 193-х" проходил еще один из тогдашних обитателей хутора - В.Х. Степанов, двадцати пяти лет от роду; он также участвовал в "хождении в народ" и также подвергался преследованиям со стороны властей. А.А. Бибиков привлекался по делу Каракозова и после тюремного заключения был в ссылке. В.И. Алексеев, учитель старших детей Толстого, принадлежал к "кружку чайковцев", вел занятия с фабричными рабочими в Петербурге и не скрывал своих социалистических взглядов. Правда, и Бибиков, и Алексеев находились к тому времени под сильным влиянием толстовских теорий. Но прошлое было еще очень близко и давало о себе знать.

Кто прав: народовольцы, вступившие в смертельный поединок с самодержавием, ил непротивленец Толстой? Борьба не на жизнь, а на смерть, или пассивное выжидание? Самозабвение террора или умиленное подставление правой щеки после удара левой?

Споры, споры без конца...

"Лоно природы, ширь степей необъятная да высь поднебесная, гипертрофия молодой энергии, свобода, простота жизни и общее доверие друг другу - все это давало полный простор проявлению широкой русской натуры.

- Бей по голове двухглавую хищную птицу! - кричала на всю степь молодежь.

- Не тронь и клопа! - отвечал Толстой.

Случалось, наши горячие споры, по русскому обычаю, переходили в ссоры, причем доставалось на орехи и "консервативному графу".

Это свидетельствует Лазарев - участник тех споров. Не без юмора описывает он, как семнадцатилетняя курсистка с яростью нападала на Толстого, доказывая, что тот "не знает настоящей жизни и рассуждает, как наивное дитя". И уже с другой интонацией, просто и серьезно, вспоминает о том, как рассказывал в присутствии писателя о "процессе 193-х", о годах, проведенных в тюрьме, о насилиях Трепова, о наказании розгами политического заключенного Боголюбова, о выстреле Засулич, о суде над ней. Рассказы повторялись, обрастая подробностями.

Так и видишь Толстого, который внимательно слушает симпатичного ему человека - "образованного, умного, искреннего, горячего и совсем мужика". Раньше ему приходилось слышать о нем от своего друга Бибикова. Личное знакомство не разочаровало.

Многим интересным были полны те дни. Поездка всей компанией в соседнее кочевье, совместные веселые пиршества... Но могучая память гения отобрала (и вобрала в себя) воспоминания отнюдь не о развлечениях. В нее вошел именно Лазарев - крестьянин и борец за крестьянскую долю.

2

Сомневаться не приходится - трех недель ежедневного общения совсем немало, чтобы узнать человека. Но одно дело встречаться среди летней праздности и другое - в обстановке трудов, забот, испытаний.

Не нужно доказывать, что далеко не всегда человек, веселый и жизнерадостный в нормальных жизненных условиях, сохраняет в себе душевную бодрость в грозные бури и невзгоды. Даже крепкое дерево иной раз

неблагонадежным и хотя произведенное дознание было прекращено, но по постановлению Особого Совѣщанія отъ 3 Мая 1882 г. онъ оставленъ подъ надзоромъ полиціи на два года. 9 Сентября 1883 г. за окончаніемъ срока отъ надзора полиціи освобожденъ.

Затѣмъ, въ виду его послѣдующей преступной дѣятельности, по постановленію Особого Совѣщанія отъ 22-го Іюля 1884 г., высланъ въ Восточную Сибирь подъ гласный надзоръ полиціи, срокомъ на 3 года, считая срокъ съ 8-го Іюля и водворенъ на жительство въ сел. Татауровскомъ, Татауровской волости, Читинскаго Округа, Забайкальской Области. 8-го Іюля 1887 г. за окончаніемъ срока отъ гласнаго надзора освобожденъ, при чемъ въ силу постановленія Особого Совѣщанія отъ 6 Іюня 1887 г. ему было воспрещено жительство въ г.г. Харьковѣ, Екатеринославѣ, Ростовѣ на Дону, Кіевѣ, Одессѣ, Орлѣ, Курскѣ, Тулѣ и Твери.

Возвратившись 6-го Сентября 1887 г. на родину въ с. Грачевку, подчиненъ б. тамъ негласному надзору полиціи. 19-го Февраля 1888 г. Лазаревъ былъ арестованъ въ г. Бузулукѣ и заключенный сперва въ Самарскій, а затѣмъ въ Кіевскій тюремный замокъ, привлеченъ въ качествѣ обвиняемаго къ дознанію по дѣлу о государственномъ преступленіи. По Высочайшему повелѣнію, состоявшемуся въ 3 день Августа 1888 г. высланъ на жительство подъ гласный надзоръ полиціи въ Восточную Сибирь на пять лѣтъ.

4 Іюля 1890 г. Лазаревъ скрылся съ мѣста водворенія своего, Нижнеудинскаго Округа, Иркутской губерніи.

Страница из полицейского дела

оказывается сломанным под натиском урагана.

Набатова мы видим только в арестантской партии, следующей по этапу. О его прошлом нам становится известно лишь из авторской характеристики. Но и в прежнем, и в нынешнем Набатове Толстой неизменно подчеркивает бодрость, даже веселость. Они никогда его не покидают, помогая выстоять, выдержать, не согнуться. И это несмотря на то, что в тюрьме и ссылке проведена "половина взрослой жизни"!

О такой горестной "половине" с полным основанием мог сказать и Лазарев. В неизменной же бодрости, в постоянном оптимизме этого человека писатель убедился не только в то степное лето.

Подыскивая слова-эпитеты, мы едва не сказали: "беззаботное", "беспечное" лето. Ни беззаботным, ни беспечным оно не было. И не только потому, что люди вели большие, страстные разговоры о борьбе против самодержавия, что, посвятив себя делу революции, они откровенно делились своими убеждениями и старались увлечь ими других, что сам Толстой бесконечно думал над тем, как помочь народу.

Нет, не потому только. За Толстым, за жителями и гостями хутора следили, каждым шагом их интересовались, каждое слово желали подслушать.

Раньше уже упоминалась статья в "Русской мысли". Речь идет о статье под названием "Граф Л.Н. Толстой и толстовцы в Самарской губернии"⁹. Автор - некий А. Дунин - ограничил свои задачи преимущественно характеристикой отношения писателя к сектантам, причем даже подчеркнул, что поездка в заволжское имение была вызвана якобы исключительно желанием "лично убедиться в размерах сектантского движения". Но статья показывает осведомленность Дунина в обстоятельствах переполоха, связанного с подготовкой к приезду, а затем приездом писателя в самарские степи. Перед нами - отношения, директивы, уведомления о негласном надзоре, донесения о встречах и беседах его с крестьянами и о тех, кто окружал "отставного поручика графа Толстого".

Нельзя не обратить внимания на то, что в "списке лиц, пользовавшихся нынешним летом кумысом", указаны не все, о которых Толстой писал Софье Андреевне в Ясную Поляну. В нем ни Степанова, ни Лазарева. Чем это объяснить? Думается, лишь одним - осторожностью поднадзорных революционеров, не желавших подвергать знаменитого писателя дополнительным неприятностям и потому уклонявшихся от какого-либо афиширования своего пребывания здесь. В пользу такого предположения говорит и один из документов, найденных мною в более позднем архивном деле под названием "Переписка о разыскиваемом департаментом полиции Егоре Егоровиче Лазареве"¹⁰. Лист девятый этого дела представляет собой "копию со статьи входящего журнала помощника Самарской губернии Бузулукского уезда". В журнале отмечено, что 28 июня 1883 года было получено донесение унтер-офицеров Ненашева и Земскова о том, что Е.Е. Лазарев был в кумысолечебном заведении "под фамилией Бровинского".

Именно в эти дни он находился вместе с Львом Толстым. Деталь небезынтересная...

Новая встреча Толстого с Лазаревым произошла немногим более года спустя, причем в обстановке, прямо противоположной той, что сопутствовала их знакомству. Она состоялась в... Бутырской тюрьме.

Первое и последующие свидания в тюрьме позволили писателю яснее увидеть моральную возвышенность революционера из крестьян, проникнуться к нему еще большим уважением.

3

В июле 1884 года Лазарева арестовали, доставили из Грачевки в Самару, а оттуда, после кратковременной отсидки в местной тюрьме, отправили в Москву, в Бутырскую пересыльную. Он уже знал: ему определили трехлетнюю ссылку в Восточную Сибирь. Не было известно только одно: за что? Приговор вынесли в "административном порядке" - без следствия и суда.

Уместно привести относящиеся к Лазареву и причинам его ареста строки из книги американского писателя-путешественника Джорджа Кеннана "Сибирь"¹¹. Их встреча произошла в Забайкалье, к ней еще вернемся, а пока выпишем рассказ о том, каково было лазаревское недоумение по поводу неожиданной кары. Этот рассказ, вне всякого сомнения, Кеннан записал от самого Лазарева.

"В Московской пересыльной тюрьме несколько политических заключенных обменивались как-то тем, что им пришлось пережить, и рассказывали, за какие преступления они были приговорены к ссылке. У одного нашли запрещенные книги; другой должен был вести революционную пропаганду; третий признался, что состоял членом тайного союза. Господин Лазарев заявил, что ему неизвестно, за что он едет в Сибирь. "Вы этого не знаете! - воскликнул один из его товарищей по несчастью. - Не было ли у вашего отца черной с белым коровы?" "Очень может быть", - сказал господин Лазарев..." Ну, так чего же вы хотите? - с торжеством возразил тот. - Разве этого не достаточно, чтобы сослать 20 человек?"

Арест Лазарева стал одним из актов произвола, которые совершались в то время ежедневно и на каждом шагу. Однако в доносе предателя Дегаева, повлекшем за собой ссылку многих людей, наряду с клеветой, содержались и бесспорные обвинения в пропаганде, проводившейся Лазаревым во время военной службы, в "нежелательном влиянии" на крестьян. Заключенный понимал, что обвинение в "преступной деятельности" опровергнуть не удастся. Понимал это и Толстой. Пользуясь связями, он имел возможность получить личное представление о деле Лазарева. Несмотря на то, что оно уже было решено, писатель не мог отказаться от

попыток облегчения участи Лазарева. В декабрьских письмах к Софье Андреевне не раз встречаются такие сообщения: "О Лазареве просил князя узнать, он обещал", "О Лазареве просил Урусова..." (83, 470-471).

Хлопоты не помогли ни тогда, когда Толстой действовал из Ясной Поляны, ни после приезда его в Москву. Но с приездом сюда стало возможным встретиться с Лазаревым, и он не преминул этим воспользоваться.

"Отец, приехав в Москву, как я и предполагал, не раз ходил на свидание с Лазаревым, - свидетельствует С.Л. Толстой и тут же добавляет: - сцены, виденные им там, впоследствии описаны им в "Воскресении"*12.

"Помню, - вспоминает Сергей Львович далее, - как он возмущался тем, что административно ссыльный Ив. Ник. Присецкий мог видеться с женой, с которой повенчался в киевской тюрьме, не иначе как в комнате для свиданий, несмотря на то, что она жила на воле и приехала в Москву специально для того, чтобы следовать в ссылку за мужем".

Однако пора вновь уступить место воспоминаниям самого Е.Е. Лазарева.

"В один день, - пишет он, - ко мне неожиданно явился на свидание... А.А. Бибииков в сопровождении моей матери, которую он привез из Самары и поместил у Льва Николаевича в Хамовниках, где он жил в эту зиму. Бибииков возвращался вскоре назад в Самару, но Лев Николаевич оставил мать у себя в доме, чтобы дать ей возможность подольше видеться со мною. Иногда он сам приходил на свидание ко мне вместе с матерью. А когда она, наконец, уехала Лев Николаевич продолжал ходить ко мне в установленные дни".

Свидания, как пишет Лазарев, происходили в общем зале, где одновременно встречались со своими родными и близкими другие политические заключенные, и Толстой с большим вниманием рассматривал всех присутствующих, расспрашивал о них.

То же свидание Присецкого с женой, о котором упоминает С.Л. Толстой, в описании очевидца этого эпизода Лазарева обрастает многими подробностями, важными для понимания большой души Льва Николаевича.

Услышав историю молодой пары, Л.Н. Толстой был взволнован.

"- Как, - спрашивает Лев Николаевич, - значит, они до сих пор остаются на положении жениха и невесты?..

Я улыбнулся утвердительно.

Лев Николаевич молчал и из-под своих длинных бровей все время смотрел на молодую пару, которая сидела близко друг к другу, крепко сцепившись руками.

Но Лев Николаевич не унимался.

- Как, - снова спрашивает он, - неужели им не позволяют остаться одним?

Я вновь улыбнулся при мысли о такой наивности и, признаюсь, был немного смущен, потому что Лев Николаевич говорил это своим обычным ровным голосом, отнюдь не поднимая его при своем щекотливом вопросе...

Мы оба продолжали молчать, потому что все его внимание перенеслось на молодую пару. Я не прерывал молчания, ибо видел, что он о чем-то напряженно думает, хмурит брови и жуёт губами.

Наконец, решив прервать молчание, я взглянул на него и был несказанно смущен: по щекам его текли слезы и глаза, полные слез, постоянно мигали.

Слез своих он не вытирал.

- Какое варварство! - произнес он, вставая вместе со всеми, когда свидание окончилось..."

Такую влюбленную пару мы встречаем и на страницах "Воскресения". Строки, посвященные ей, исполнены волнения, как песнь о любви, которой не страшны никакие препоны, как гимн неподдельному, настоящему чувству.

Не только это, а и немало других наблюдений, сделанных Толстым во время посещения Лазарева, запечатлелось в его памяти, чтобы позднее, во время работы над романом, соединиться в широкую, впечатляющую галерею глубоко индивидуальных и в то же время типических образов.

Лучше, полнее раскрылся перед ним и Лазарев. В условиях пересыльной тюрьмы, на пороге дальнего этапа, тяжелой ссылки в сибирскую глухомань этот человек не терял присутствия духа, был неизменно деятелен. Не случайно политические в Бутырках избрали его своим старостой.

"Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему, казалось, ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем, но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую - и физическую и умственную работу, не покладая рук без сна, без еды" (32, 392).

Это - из романа. Слова относятся к Набатову. Но разве не видно, что они и о Лазареве? Живом Лазареве, который стал в глазах Толстого средоточием многих самых дорогих для него качеств? Не случайно и много лет спустя Толстой вспоминает встречу с Лазаревым в тюрьме. Это воспоминание можно прочесть в дневниковой записи, сделанной 15 июня 1904 года (55, 53).

... В Московской пересыльной тюрьме Лазарев пробыл не один месяц. Не попав в последнюю партию 1884 года, он был оставлен тут до весны, до мая, когда первая партия 1885-го вышла, чтобы следовать в Сибирь.

Переход продолжался три с половиной месяца. К месту ссылки прибыли только осенью. Началась новая полоса жизни Лазарева - в обстановке, в которой происходит большая часть действия "Воскресения".

... К тому времени об этом своем романе Толстой еще не думал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Замысел "Воскресения" возник у него в период, когда трехлетняя ссылка Лазарева уже подходила к концу. Но много, очень много крутых поворотов произошло в судьбе революционера из крестьян за годы, отделившие возникновение первой мысли о романе от последних писательских поправок на листах корректуры.

Всего пять месяцев пробыл Лазарев на свободе по возвращении из Читы. Чуть ли не вдогонку прибыли бумаги, которые изобличали его в недозволенных связях со штундистами. И снова самарская тюрьма, снова мрачный корпус Бутырок, снова этап в Сибирь - только еще более тяжелый. В приговоре значилось: "пять лет".

Поселили Лазарева среди бурят. С коренным населением у него вскоре установилась крепкая дружба; к собственному своему удивлению, он стал известен как "чудесный врач".

Но год спустя, тщательно продумав и подготовив побег, ссыльный скрылся.

Амур... Николаевск... Владивосток... Япония... Америка... С осени 1890 года по март 1894-го Лазарев исходил и изъезжал Соединенные Штаты вдоль и поперек. Работал на фермах и заводах, был чернорабочим и писарем, разъезжал с русским хором и сопровождал туристов на Всемирной выставке в Чикаго. Там, на выставке, ему довелось встретиться с В.Г. Короленко. Вместе ходили по городу, посещали приуроченные к выставке конгрессы. Лазарев и познакомил писателя с будущим героем повести "Без языка".

Однако всюду, постоянно и неизменно, в сердце Лазарева жила тоска по родине, мечта о ней. Не без его агитации в далекой заокеанской стране стали собирать хлеб для умирающих от голода поволжских крестьян.

Революционная работа казалась далеким, навсегда ушедшим прошлым. На самом же деле то была лишь передышка. Весной 1894 года товарищи в Лондоне основали "Фонд вольной русской прессы" - организацию, целью которой являлось издание и распространение запрещенных в России произведений. С. Степняк-Кравчинский, Ф. Волховский и другие организаторы привлекли к делу и Лазарева. Предполагалось, что он совершит тайную поездку в Россию: для успеха предпринятой работы требовались надежные связи с единомышленниками на русской земле. Однако и первая, и вторая попытки попасть на родину закончились для Лазарева арестами: сначала в Париже, потом в Швейцарии. Аресты, правда, были кратковременными. Но приходилось возвращаться ни с чем.

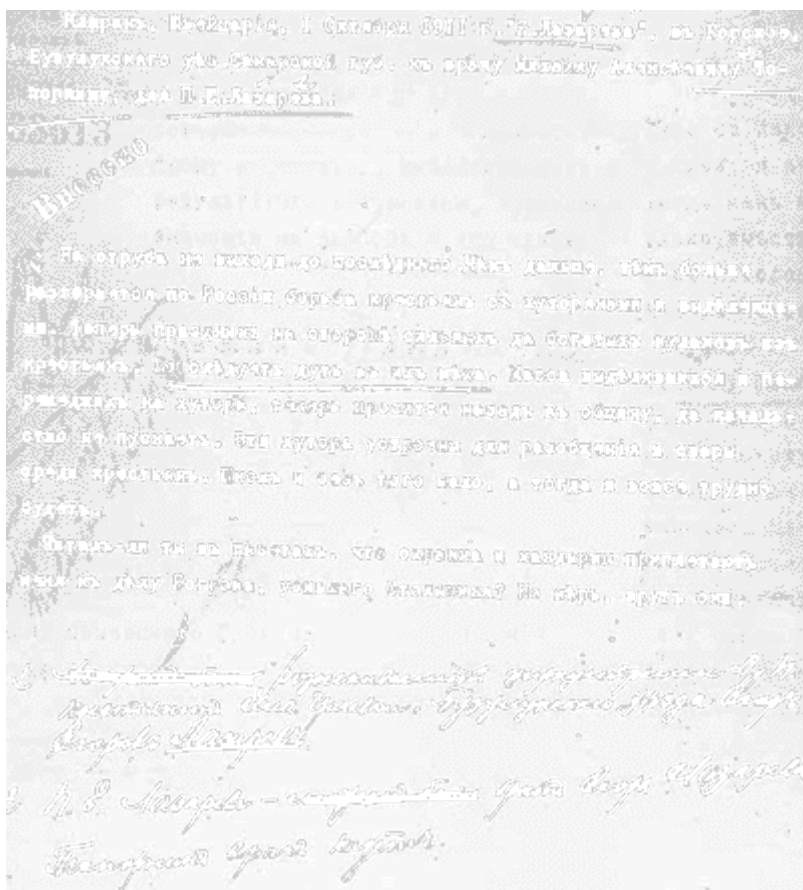
В Лондоне он принимал участие и в выпуске "Летучих листов", и в пересылке революционной литературы в Россию.

Эта деятельность продолжалась до 1896 года, когда Лазарев, познакомившись со своей будущей женой, переселился на постоянное жительство в Швейцарию. Молочная ферма и "кефирное заведение" в Божии над Клараном, во владение которыми он вошел по праву мужа их хозяйки, на длительное время стали одним из центров русской политической эмиграции. Тут бывали представители самых различных направлений общественной мысли. Как пишет в своей книге Лазарев, приходил сюда и Ленин*13.

На протяжении всех этих лет Лазарев проявлял живой интерес ко всему, что было связано с именем Толстого, с его жизнью и творчеством, а писатель, в свою очередь, постоянно интересовался другом-волжанином.

Свидетельством тому - их переписка.

2



Телеграмма из полицейского дела
(ГАКО, ф.468, оп.1, д.1456, л.223)

Первое.

Оно написано 22 апреля 1885 года в пересыльной тюрьме, за несколько дней до отправки партии. И автор письма, и адресат находятся в Москве, но разделены толстыми тюремными стенами. Лазарев готовится в дальнюю дорогу, его заботы - о том, что может понадобиться там, в Сибири. Это, прежде всего, книги. Что ему хотелось бы иметь? Монографию Костомарова, соловьевскую "Историю России", труды по истории - Шлессера, Гервинуса, Кареева, "Карл Маркс и Рикардо" Зибера. Далее в перечне - "Современная идиллия" Салтыкова-Щедрина, собрание сочинений Льва Толстого, произведения Михайловского и Успенского.

"Всего этого, конечно, трудно Вам приготовить, особенно за такой короткий срок, - пишет Лазарев, - потому-то еще раз оговариваюсь: помогите в том и тем, что сможете и успеете". Он обещает воспользоваться добрым советом Толстого относительно изучения английского языка и просит взять на себя инициативу в выборе соответствующих пособий.

"Не найдете еще, возможно, подробную карту Сибири и небольшой хоть географический атлас? - продолжает Лазарев. - Конечно, грустно, но что же делать? Возможно, что люди будут драться и стрелять друг в друга в разных концах света: по слабости человеческой захочешь знать, в каком пункте наиболее проявляется "человеческое заблуждение". Простенький компас (даже два) и трое простых, прочных деревенских шаровар довершат мои, и без того не совсем скромные, пожелания".

Автор письма выражает сожаление: здесь, в Москве, находясь в камере на двадцать человек, он не мог "ни серьезно почитать, ни углубиться в философию жизни". В "стране бурят и всяческих инородцев", надеется Лазарев, в этом отношении можно будет сделать гораздо больше. Вот только не притянет ли к себе вновь земля, до которой он такой охотник?

"По возвращении в родные палестины рассчитываю на лучшее будущее для родной страны: как любящий сын своей матери, страстно желаю, чтобы Ваши, ныне "подспудные", сочинения продавались открыто и на всех перекрестках и читались не с трепетом, дико озираясь по сторонам, а так, как читают все классические, настольные книги и сочинения, - высказывает Лазарев самое больное и заветное. - Я еще молод, здоров и к испытаниям судьбы приобвыкший, а потому и надеюсь на более светлую перспективу в будущем".

Единственное, что страшит Лазарева, - трудность и опасность пути к месту назначения. При этом он имеет в виду не только перемену климата, условия арестантской жизни на этапах и полуэтапах, но и грубость, насилия над ссыльными со стороны власти имущих. Такое отношение, такое насилие, пишет он, "может вызвать, как часто и вызывает, "человеческое заблуждение" и с нашей стороны".

И снова о книгах. Лазарев просит не забыть еще прислать "дешевые народные издания", которые "обратили Ваше внимание" и, в свою очередь, рекомендует "Сказку о трех мужиках и Бабе-Ведуне". Мнение

Письма Л.Н. Толстого в Лазареву опубликованы в полном собрании сочинений великого писателя. Они снабжены пояснениями-комментариями; там же можно найти двух-трехстрочное изложение отдельных писем корреспондента.

Значит ли это, что переписка Льва Толстого с Егором Лазаревым изучена и стала достоянием читателя? Нет.

Переписка - акт двухсторонний, и рассматриваться она должна в совокупности обеих ее составных частей: писем одной и писем другой стороны. Это первое. Второе заключается в том, что каждую страницу эпистолярного наследия выдающихся деятелей культуры непременно нужно рассматривать на широком фоне событий времени, в тесной связи с творческой работой, в единстве со всем литературным наследием.

Только при соблюдении этих условий знакомство с письмами может быть действительно полезным.

В Государственном музее Л.Н.

Толстого, точнее, в его архиве, кроме копий писем к Лазареву, хранятся и семь неопубликованных лазаревских писем. Было их, по всей вероятности, больше. Остальные до нас не дошли. Но об этом речь впереди.

Обратимся к письмам, которые в нашем распоряжении имеются.

Толстого о ней очень хотелось бы ему знать, причем даже до выезда из Москвы.

Ответа на первое письмо в архиве нет. Скорее всего, его и не было.

Толстой, насколько можно судить по дошедшим до нас свидетельствам, проявил заботу о том, чтобы Лазарев получил все, что его интересовало.

В записках учителя детей Толстых М.И. Ивакина "Толстой в 1880-е годы" есть несколько строк о Лазареве*14. Разговор о нем, описанный автором записок, состоялся после того, как партия, в которой он находился, уже была отправлена. "В Москве он целый почти год сидел в отроге, - пишет мемуарист. - Лев Николаевич был у него раза три. Бодрей он никогда себя не чувствовал, чем в это время. Он говорил, что в деревне ему уж становилось тошно, а тут впереди ждут новые впечатления, новая жизнь. Он просил достать ему компас. Лев Николаевич достал и спрашивает: "Для чего вам это? уж не для побега ли?" - Он ответил, что на пути все может быть - этапные начальники бывают всякие, пожалуй, бить, притеснять станут".

Письмо Лазарева интересно не только тем, что расширяет наше представление о круге интересов, о настроениях прототипа будущего героя "Воскресения". В нем - отголоски разговоров, которые происходили во время свиданий Толстого с Лазаревым. О чем только не вели они бесед! Об изучении английского языка, о теории американского экономиста Генри Джорджа, о дешевых народных изданиях, о насилии. Не во всем Лазарев соглашался со своим великим другом. Несколько раз в письме повторяются слова "человеческое заблуждение"; перо корреспондента окрашивает их явной иронией. Она особенно проявляется там, где "человеческим заблуждением" называются издевательства, насилия властей и жандармов над политическими арестантами и где подчеркивается возможность "человеческого заблуждения" (иначе - решительных ответных мер) со стороны последних.

Нельзя не обратить внимания, что Толстой внимательно отнесся не только к просьбам Лазарева, но и к его совету прочесть "Сказку о трех мужиках и Бабе-Ведунье". Отзыв о книге был дан, вероятно, во время свидания. Но факт остается фактом: в шестой редакции романа, в характеристике Набатова, среди книг, читанных им крестьянам, писатель упоминает и "Сказку о трех мужиках".

Следующее их сохранившихся писем Лазарева вторым назвать нельзя. То, второе, письмо, к сожалению, обнаружить не удалось. Между тем оно, как мне кажется, представляет интерес особый.

В своих воспоминаниях Лазарев сообщает, что с этапного пути, из Иркутска, он написал Толстому "длинное письмо" с описанием шестнадцатидневной голодовки четырех женщин-каторжанок: Ковалевской, Богомолец, Россиковой и Кутитонской. Длительное время ему было не известно, дошло ли письмо по назначению. "Лишь четыре года спустя мне пришлось идти вновь этапом в Сибирь с лицами, взятыми в подпольной типографии за печатание моего описания иркутской голодовки. От них я узнал, что Лев Николаевич получил мое письмо и не держал его в секрете".

В том, что письмо было весьма интересным, убеждает свидетельство уже упомянутого нами американца Джорджа Кеннана. Он изучал сибирскую ссылку и каторгу, а для этого старался установить близкие связи с ссыльными, прежде всего - политическими.

"Среди читинских ссыльных, как мужчин, так и женщин, - писал он впоследствии, - несколько были самыми способными, самыми образованными и самыми симпатичными из всех тех ссыльных, с кем нам удалось познакомиться в Восточной Сибири; и я еще и теперь со смешанным чувством радости и грусти вспоминаю о тех часах, которые мы провели в их обществе".

Тут же он называет Лазарева. Дальше его фамилия упоминается особенно часто. От него-то Кеннан впервые услышал "рассказ об ужасной голодовке, к которой с отчаяния прибегли четыре женщины в Иркутской тюрьме". И вот живое впечатление слушателя: "Рассказов более ужасных и более трогательных мне никогда не приходилось читать, и никогда я не мог бы вообразить ничего подобного; каждую ночь я в таком возбуждении возвращался в гостиницу, что не в состоянии бы ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Целыми часами я лежал на полу и еще раз переживал все те сцены и события, которые с такой потрясающей реальностью были мне нарисованы. Громадная разница, читать ли рассказы о страданиях, несправедливости и жестокости... или слушать их, передаваемые дрожащими губами, непосредственно от тех лиц, которые сами играли деятельную роль в описываемых трагедиях и сами блуждали в мрачной долине смерти. Если при этих рассказах глаза мои наполнялись слезами и кулаки сжимались в диком порыве, правда немного и бессильного гнева, тоя не стыжусь этого..."*15.

Пока не удалось мне установить, что кроется за словами из воспоминаний Лазарева: "Лев Николаевич... не держал его (письма из Иркутска - Л.Б.) в секрете". Не знаю о практических действиях, предпринятых Толстым, чтобы привлечь к иркутской голодовке женщин внимание общественности. Но сомнения нет: работая над многими своими публицистическими произведениями, создавая "Воскресение", писатель не раз вспоминал описанное ему Лазаревым.

В сохранившемся письме, которое было отправлено из Читы 22 декабря 1885 года, Лазарев просил Толстого прислать ему денег. Это не являлось просьбой о вспомоществовании. Скорее всего, у Льва Николаевича хранилась определенная сумма принадлежащая его другу. Добравшись до места поселения, тот запросил нужные двести рублей и даже подсказал, как лучше оформить перевод (написать, что якобы "за статью").

"Получили ли мое письмо?" - спрашивает ссыльный, явно озабоченный судьбой своего описания истории, о которой так много тогда говорили.

Писем, адресованных Лазареву, среди толстовского эпистолярного наследия этого периода (1885-1887) не обнаружено. А они были. "Из Забайкальской области я раза два обменивался с Львом Николаевичем письмами", - свидетельствует сам корреспондент.

Затем в переписке наступил довольно длительный перерыв. Во время второй своей ссылки (1888-1890) Лазарев Толстому не писал. Не писал и из Америки, где жил после побега. Лишь оказавшись в Лондоне, где включился в работу "Фонда вольной русской прессы", он прервал чуть не десятилетнее молчание.

"Дорогой мой и многоуважаемый Лев Николаевич! - обращается Лазарев к Толстому в октябре 1895 года. - Ваша жизнь так полна событиями и лицами, - что я боюсь - Вы не сразу вспомните случайный инцидент нашего знакомства с Вами. То было давно: сначала в самарской степи, на кумысе, у А.А. Бибикина, потом - в Москве, при совершенно иных обстоятельствах, когда Вы так великодушно приняли участие во мне и особенно в положении моей бедной матери... Одним словом, я тот Егор Лазарев из Грачевки, Бузулукского уезда, Самарской губернии, ныне волею судеб проживающий в Лондоне, которого Вы когда-то знали... Если Вам удастся вспомнить эти обстоятельства, я надеюсь - этого вполне довольно для Вас, чтобы быть уверенным, что я, находясь в экстраординарном, так сказать, положении, отнюдь не думаю злоупотреблять ни Вашим, ни своим именем..."

Письмо продиктовано, как подчеркивает корреспондент, желанием "общественной справедливости" и "истины". Прилагая вырезки из газет, Лазарев спрашивает, на самом ли деле принадлежит Толстому подписанная его именем статья в одной из английских газет и верны ли распространяемые печатью Англии сведения о взрыве артиллерийских казарм в Туле, произведенном якобы "нигилистами".

Первая из статей-вырезок озаглавлена: "Граф Толстой сообщает об ужасных русских жестокостях. Заключенные подвергаются пыткам, истязаниям, голоду, одиночному заключению, многие избиваемы до смерти - все ради дисциплины".

Если эта статья действительно написана Толстым, пишет Лазарев, то "Ваше имя - лучшая порука достоверности фактов, в ней сообщенных". А он и его товарищи в Лондоне хотят иметь возможность отвечать на такие вопросы с полной уверенностью: "да" или "нет".

Что касается сенсационной новости о взрыве в Туле, то автор письма твердо заявляет: "... лично я и все знающие ближе Россию ни на минуту не сомневаемся в ложности приписывания "нигилистам" такого неизгладимого преступления". Но "злонамеренная сенсация, раз пущенная и нигде, никем не опровергнутая, оставляет известное впечатление, с которым приходится считаться". Вот почему людям, "живо принимающим к сердцу судьбы своей родины", хотелось бы "при выражении сомнений насчет достоверности это телеграммы... опираться не только на наше внутреннее убеждение", но и на свидетельство "человека, на слова которого можно вполне положиться". Лазарев предупреждает, что ссылки на Толстого, в случае опровержения ложного выступления газеты, без его специального разрешения сделано не будет.

Заканчивая письмо, автор не может не высказать своего мнения о только что напечатанном в "Таймс" толстовском выступлении о духоборах, которое "производит всюду прекрасное впечатление по своему беспристрастию и авторитетности".

О своей жизни Лазарев в этом письме не пишет. Но характер поставленных вопросов таков, что сомнений в направлении его деятельности быть не может.

Ответное письмо Л.Н. Толстого, датированное 21 октября 1895 года (68,232), полно душевной теплоты.

"Дорогой Егор Егорович,

Я очень рад возобновлению общения с вами. Я знал про вас и радовался тому, что вы на свободе и в Англии..."

Таково начало. Значит, Лазарев ошибался, полагая, что Толстой мог о нем забыть. И, значит, писатель интересовался его судьбой, навел о нем справки.

"... Как вы живете? Хорошо ли вам? Не могу ли чем быть вам полезным? У меня осталось самое хорошее воспоминание о вас..."

Это из того же письма, подписанного: "Любящий вас Л. Толстой".

Охотно и ясно отвечает он на заданные вопросы. Статью об издевательствах над заключенными Толстой не может признать своей, хотя факты, в ней изложенные, совершенно правильны. Дело в том, что статья состоит из выписок, которые сделаны из вышедшей в Берлине книги "Жизнь и смерть Е.Н. Дрожжина"; ее составил Е. Попов, а Толстой снабдил предисловием. "Выписки эти сделаны очень дурно, с прибавлениями составителя (газетной статьи - Л.Б.), так что ни в коем случае статья... не может быть приписываема мне и подписание ее моим именем есть обман. Я очень рад, что сведения эти распространяются, но мне неприятно, что написанное не мною подписывается моим именем, и если вы найдете это нужным, пожалуйста, заявите об этом в английских газетах, опираясь на это письмо". Относительно же известий о тульском взрыве, то здесь Толстой категорически заявил: "... Это все выдумка, и ничего подобного не случилось".

Ответ обрадовал Лазарева и его друзей. В следующем письме, которое было отправлено в Ясную Поляну в декабре того же, 1895 года, сообщается, что с помощью влиятельных представителей английской общественности удалось опровергнуть клеветнические слухи о злонамеренных действиях "нигилистов". В подтверждение этого прилагалась вырезка из "Дейли кроникл" за 6 декабря. Опровержение со ссылкой на Толстого поместили и другие газеты Англии.

Лазарев пишет Толстому об издании отдельной книжкой его статей о духоборах и о намерении выпустить

книгу о Дрожжине, причем возможно дешевле, чтобы "дать ей больший ход в публике". По поручению своих товарищей он предлагает пользоваться их услугами и впредь, когда возникнет необходимость в распространении запрещенных в России произведений. "Какова бы ни была разница в наших взглядах, - подчеркивает Лазарев, - в высшей степени отрадно и успокоительно действует на душу, когда среди бесчисленной толпы безмолвных и трусливых рабов слышишь хоть один ободряющий и свежий голос честного гражданина".

Автор письма делится со своим высоким адресатом и общественной радостью - по поводу приобретения "всего склада русских книг лондонской фирмы Трюбнера, издателя работ покойного Герцена", и личной - в связи с предстоящей женитьбой. Глубоко тронуло Лазарева предложение Толстым личных услуг. Ни о чем не хотел бы он знать, как о том, жива ли мать, живы ли братья и сестры. Его тяготит неосведомленность в судьбе близких. А вообще же он чувствует себя здоровым и бодрым, "все время занят" и потому "не знает скуки".

"Крепко, крепко с сыновним чувством обнимаю и целую Вас" - заканчивает Лазарев.

На конверте этого письма есть пометка: "Б.О." ("без ответа"). Она сделана рукой Толстого. Однако нельзя не учитывать того факта, что Лев Николаевич одновременно поддерживал связь с "Фондом волной русской прессы", в котором Лазарев участвовал, и потому переписка с этой организацией была вместе с тем и продолжением переписки с личным знакомым.

Брошюра о гонениях на духовоборов, о которой сообщал в своем письме Лазарев, стала первой публикацией статьи Толстого на русском языке. На это обращается внимание в заметке М.И. Перпер к публикации "Революционер-народник о Толстом", где речь идет о двух забытых статьях С.М. Степняка-Кравчинского*16. В статьях видного революционера-семидесятника подчеркивается огромная разоблачительная сила выступления Толстого и в то же время подвергается принципиальной, нелицеприятной критике его проповедь "непротивления злу насилием". Читая их, мы явственно улавливаем те мотивы, которые звучат в двух последних письмах Лазарева, и потому имеем возможность глубже проникнуть в строй его тогдашних мыслей. "Выступивши смело и открыто со своими разоблачениями, Лев Николаевич исполнил свой долг человека и гражданина, - заявил в первой из двух статей Степняк-Кравчинский*17. - Появившись с его именем и под гарантией его непререкаемого авторитета, факты, из сообщаемые, облетят всю Россию и не одной тысяче людей послужат они новым стимулом для борьбы - все равно, желает ли он этого или нет". Не приходится сомневаться, что под таким заявлением подписался бы и Лазарев.

Что касается личной его просьбы, то не осталась без внимания и она. В следующем письме, написанном три с половиной месяца спустя, далекий корреспондент сообщил о своей радости - получении письма от брата. Это новое письмо, датированное 26 марта 1896 года, пришло в Ясную Поляну уже не из Англии, а из Швейцарии.

"Я берусь за перо, чтобы обратить Ваше внимание на положение армянского народа", сразу приступает к делу автор. Письмо проникнуто тревогой, волнением. "Бывают такие положения и душевные состояния, при которых просто молчание или умолчание составляют уже преступление, - пишет Лазарев. - Таким преступником чувствуешь себя невольно при виде какого-то злорадного надругательства над целой страной, над целым народом, то есть над миллионами живых человеческих существ".

Больно ранит его сердце зверское уничтожение армян турецкими башибузуками. Еще тяжелее - сознание того, что все это происходит при молчаливом попустительстве царского правительства. Русский народ не имеет даже возможности заявить протест.

"Надо закричать, пора закричать, наш милый, добрый и душевный старик! Народ наш безгласен и не в силах заявить о себе; печать или бесчинствует, или принуждена молчать... Лев Николаевич! Вы умеете и можете, т.е. имеете возможность, сказать свое веское, искреннее и правдивое слово всему миру - столько же за себя, сколько и от имени нашего народа!"

Снова и снова звучат слова, клеймящие тех, кто поддерживает резню, кто разглагольствованиями о "русских интересах" дает возможность творить кровавые преступления, кому выгодно рассорить народы. Лазарев готов помочь Толстому - прислать веские документы, принять активное участие в распространении всего, что будет написано. "Вам следует отзываться на все животрепещущие вопросы и события: Вы имеете силу, Вас слушают все - и враги, и сторонники", - убеждает он.

Таких животрепещущих вопросов много. Seriously занимает Лазарева создание кооперативных земельных колоний. Он надеется, что в самом непродолжительном времени "вступят в дело энергичные люди и придадут сразу теперешним метафизическим диспутам практически формы".

И вновь мне слышатся отзвуки письма Лазарева в толстовских беседах, записях, письмах тех дней. "Многие явления жизни тревожат меня и требуют как будто участия в них", - пишет Толстой своему единомышленнику Д.А. Хилкову 20 марта 1896 года. Но "столько набралось дела", что "не знаешь, что можешь сделать" (69,71). Тем более, когда все мысли заняты двумя начатыми художественными работами.

Произведения эти - драма "И свет во тьме светит" и роман "Воскресение". Ему, "Воскресению", суждено было стать суровым обвинительным актом против социальной несправедливости.

Ко времени получения последнего из рассмотренных мною писем от Лазарева у Толстого сложилась уже вторая редакция "Воскресения".

Тогда, в начале 1896 года, в романе отсутствовали многие из известных теперь каждому читателю действующих лиц. Революционеров, например, не было и в помине. Социальные мотивы звучали в произведении весьма глухо, политической заостренности не ощущалось совершенно. Финалом, венчавшим повествование, являлась женитьба Нехлюдова на Масловой.

Но писатель-реалист, верный главному - правде, все глубже понимал: для возрождения героини одних лишь нехлюдовских усилий недостаточно. Казавшийся совершенно бесспорным, моральный подвиг Нехлюдова перестал представляться единственным источником перерождения женщины "дна".

И как-то сразу на страницы произведения вошли совершенно новые люди - защитники народа. Их привела сюда не только воля автора, но и логика жизни. Той жизни, которая вторгалась в тишину Ясной Поляны и тысячами писем, и бесконечным потоком посетителей, и газетными "шапками". Ко времени наиболее интенсивной работы над романом в стране все более нарастал революционный подъем, и Толстой не мог его не ощутить.

В обстоятельном труде В.А. Жданова о работе над "Воскресением"¹⁸ приведены убедительные примеры творческого использования писателем книг о сибирских этапах, свидетельств очевидцев, писем людей, которые подвергались преследованиям.

В связи с появлением в четвертой и развитием в последующих реакциях близкого писателю образа Набатова нельзя не высказать предположения о значении возобновившейся после длительного перерыва переписки с Лазаревым как побудительном факторе в работе над образом революционера из крестьян. Этому, несомненно, способствовал и характер писем. Они вселяли уверенность в том, что, несмотря ни на какие жизненные невзгоды, знакомый Толстому человек остался таким же самоотверженным в борьбе за справедливость, каким проявил себя в первые годы революционной работы, что главным для него продолжало быть не личное, а общественное благо.

Читая в письме Лазарева строки о том, что вскоре возьмется за дело "энергичные люди", которые "придадут... теперешним метафизическим диспутам практические формы", нельзя не вспомнить характеристику Набатова: и то, что он "никогда не думал о метафизических вопросах", и то, что он "всегда был занят практическими делами и на такие же практические дела наталкивал товарищей". Вчитываясь в письма - и о преследованиях духовоборов, и о "взрыве" в Туле, и об истреблении армян, явственно видишь прямую их связь с уже приводившимися словами набатовской характеристики: "Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому, что вопрос о том, как лучше жить в нем, всегда стоял перед ним". Письма Лазарева все более утверждали Толстого в уже сложившемся у него мнении об этом типе людей: "О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души нося то унаследованное им от предков твердое, спокойное убеждение, общее земледельцам, что как в мире животных ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую - навоз в зерно, зерно в курицу, головастики в лягушку, червяк в бабочку, желудь в дуб, так и человек не уничтожается, но только изменяется". Вера в это была источником его бодрости, его оптимизма.

Толстому часто и много писали о боге, о сотворении мира, о церковных учениях. Эти вопросы занимали и самого писателя-мыслителя. Письма Лазарева были свободны от таких проблем. И это давало автору "Воскресения" основания с большей уверенностью рисовать Набатова: "никогда не думал... о начале всех начал, о загробной жизни", в боге "не встречал надобности", до того, "каким образом начался мир", равнодушен... "В религиозном отношении он был также типичным крестьянином...", - подчеркивает писатель (32,393).

Наряду с письмами Лазарева, толчком к созданию образа Набатова могло стать также чтение книги Джорджа Кеннана, впервые вышедшей в 1891 году в Лондоне. Эту книгу, известную русскому читателю под названием "Сибирь!", Толстой читал в подлиннике, на английском языке.

Кеннан, как я уже писал, встречался в Чите с Лазаревым, подолгу беседовал с ним и его товарищами, а затем рассказал об этих людях с большой теплотой. (Уместно заметить, что после возвращения из своего путешествия в Сибирь он посетил Л.Н. Толстого, и в продолжительной беседе Лев Николаевич мог многое узнать о том, чья судьба его всегда интересовала).

Жизнь Лазарева на чужбине также не могла разочаровать писателя и поколебать в нем добрые чувства, о которых один из видных толстовцев А.С. Пругавин писал в своих заметках 1883 года: "Меня поразила та сердечность, с которой Толстой говорил об этом "социалисте". При этом он особенно высоко ставил и ценил стремление и готовность Лазарева служить народу, к которому он сам принадлежал, - готовность, доходившую до полного самопожертвования".

Именно это качество в Набатове и выделено прежде всего.

"Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать один определенный тип", - говорил Лев Толстой. Писатель знал и других революционеров-народников. С одними он встречался лично, о других читал или слышал. Однако живым, реальным воплощением это плеяды людей для него на протяжении многих лет оставался встреченный впервые в самарских степях Лазарев. Вот почему именно о нем мы и говорим, как о прообразе Набатова.

Набатов... Фамилия звучит многозначительно, даже символически. Она как бы подчеркивает: вот кто способен ударить в набат, всколыхнуть крестьянскую массу, поднять ее. Фамилия героя не претерпевала, как это был со многими другими, каких-либо изменений в процессе работы Толстого над произведением.

Появившись, она осталась до конца и так вошла в окончательный текст. Надо полагать, что слово "набат" часто повторялось Лазаревым в беседах со своим великим другом. Об этом можно судить и по тому, как охотно пользуется им Лазарев в своих воспоминаниях, как многократно встречается оно в песнях, в поэзии революционного народничества. Небезынтересно, что этим словом называлось и одно из периодических изданий народников.

... Вот для каких заметок прервал я обзор писем Лазарева к Толстому. А теперь возвратимся к их переписке, которая, как и их общение вообще, продолжалась и после создания "Воскресения".

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Письмо Егора Лазарева от 18 октября 1902 года выделяется не только среди семи сохранившихся его писем к Толстому, но и во всей обширной почте писателя. Выделяется оно и спецификой поставленного вопроса, и глубиной его трактовки, и искренностью, страстностью творчества. Это письмо тоже из Швейцарии, точнее - из Божи в районе Кларана.

"Небывало событие: 7 лет живу на одном месте!" - неподдельно удивляется Лазарев собственной "оседлости". Но для этого есть причина, или, как говорит он сам, "уменьшающее вину обстоятельство". Обстоятельство это заключается в женитьбе и связанным с ней получением недвижимой собственности. Жену свою Лазарев характеризует как "истинно редкого человека", и главный ее "недостаток" видит в "нетерпимом и непримиримом преклонении перед одним русским великим стариком". А вот положение владельца фермы его, как можно судить по письму, серьезно смущает. Лазареву неловко чувствовать себя "действительным статским буржуа". Утешает лишь то, что и здесь, в живописной Швейцарии, он не оторван от политической жизни своей страны.

"В уютном уголке, где прилепился наш домик, французской речи не услышишь, - пишет он Толстому. - На самом чистом хохлячко-нижегородско-владимирском наречии на 7 миль в окрестностях Божи с утра до поздней ночи разрушаются в розницу и оптом все существующие и когда-либо существовавшие авторитеты: прелигомены, ноумены, критерии, категории, классы, пролетариат, буржуазия, эволюция и революция, не считая тысяч "измов"... Если бы я не знал, что вы не любите клятв, я бы сказал: "Клянусь, Вы в самой России никогда не увидите столько русских!.."

(Раньше уже приходилось отмечать, а теперь хочется повторить, что "кефирное заведение" Лазарева являлось одним из центров русской политической эмиграции).

Здесь, в Швейцарии, Лазарев радуется возможности поддерживать дружеские связи с близкими Толстому людьми - дочерью Татьяной Львовной, ее мужем Михаилом Сергеевичем Сухотиным, бывшим домашним врачом в Ясной Поляне Григорием Беркенгейном и другими.

"Был у них два раза, хотелось бы бывать очень часто, они так радушно приглашали меня заходить почаще, да по вышеизложенным мотивам (перегруженность хозяйством - Л.Б.) я не господин себе. А у них так... тепло и просто..."

Уместно сказать, что Татьяна Львовна, вместе с другими, в свою очередь, бывала у Лазарева. "Вчера мы с Мишей и доктором ездили к одному Лазареву (папа его знает...)", - писала она матери 27 сентября 1902 года, и тут же просила прислать для передачи Лазареву портрет Льва Николаевича: "последний, в Ясной на балконе".

Разговоры о Толстом затрагивали, судя по всему, различные стороны его жизни и деятельности. Каждая весть о любимом писателе и друге находила в Лазареве живой отклик.

Таким откликом и явилась основная часть этого письма. Приведу ее с незначительными сокращениями.

"... Вот что у меня рвется из сердца сказать Вам. Меня порадовали вестью о Вас, что Вы кончили новый роман с кавказским названием*19 и, может быть по нескромности, сообщили мне о Вашем колебании, - что Вам дальше и в какой форме писать - новый роман или статью, т.е. мыслить художественно, образами или, если можно так выразиться, прозой и от головы.

Конечно, было бы смешно думать, что я мог бы повлиять на Ваше решение. Вы слышите тысячи голосов вокруг себя, которых Вы не можете не признать компетентными, и эти голоса могут журчать Вам в уши на разные лады. Решайте сами согласно Вашему внутреннему голосу, это самый верный указатель. Нельзя насиловать свой дух, свою душу.

И только потому, что, быть может по нескромности, мне передали Ваше признание, что Вам хочется, внутренне хочется мыслить образами, я невольно шепчу Вам на ухо: дорогой мой, послушайте еще раз своего внутреннего голоса и продолжайте, не оставляйте мыслить образами. Я Вас достаточно знаю, чтобы говорить Вам это, ибо знаю, что Вы не истолкуете моих слов дурно.

Не потому я говорю это, что отношусь к Вашим художественным произведениям иначе, чем к нравственно-философским писаниям. Люди могут рано соглашаться или расходиться с Вами в обеих сторонах Вашей литературной деятельности. Было бы неправильно думать, чтобы один и тот же человек, одна и та же душа, вечно ищущая правды и истины, могла противоречить себе в одной форме писания и согласоваться в другой.

Когда Вы стали скептически относиться к своим художественным произведениям, т.е. к их пользе для того дела, которое Вы считаете истиной, мне кажется Вы несправедливо усомнились в самом себе.

Разве человек, написавший "В чем моя вина", "Царство божие внутри нас" и т.д., перестает быть самим собой, когда мыслит и поучает тому же художественными, т.е. правдивыми образами? Я не говорю - не проводите Ваших взглядов. Как раз наоборот: старайтесь до последних сил, до последней минуты Вашей жизни помогать и поучать тому, что считаете, и не можете не считать, истиной.

Не о том речь, что многие любят читать романы, а не серьезные статьи, а о том, что если перед целым обществом поставлена одна определенная цель, то каким способом ее скорее и лучше приблизить или как подойти к ней.

Здесь дело идет о противлении или непротивлении злу насилем, для Вас самих это уже решенное, - дело идет о том, как при непротивлении наилучше и наиболее целесообразно и производительно распорядиться огромным запасом духовных сил на склоне своей физической жизни.

Богатая, - я прямо буду говорить, - гениальная сила, в Вас сидящая, не может быть Вашей частной собственностью. Назовите чем угодно то или того, что или кто Вам дал эту силу, но не Вы лично творец своего дара. То, чем вы обязаны сами себе, пусть останется при Вас и распорядитесь им как частной собственностью. Но в том-то и дело, что от бога или ценою страшных вековых страданий русского народа и картинами его ужасной жизни Вы получили необыкновенный дар, и получили Вы его случайно, т.е. независимо от себя.

Я не о комплиментах, конечно, говорю, когда скажу, что Вы необыкновенный человек, обладающий в России исключительным дарованием, природным даром - мыслить художественно.

Во всех других способах мышления у Вас и в России множество соперников, быть может с лучшим стилем писания, с более обширными научными знаниями, но на этом пути, на этом поприще по всей русской земле нет такого другого человека.

Умрете Вы, останутся Ваши глубокие нравственные поучения. Но разве они могут по своей сущности стать или быть выше Евангелия? Поэтому я смею сказать, не боясь быть дурно понятым, что русская земля не с этой стороны понесет неизмеримую потерю в Вашей смерти. Страшная потеря будет в том, что во всей русской земле не найти скоро человека, обладающего гениальными способностями мыслить и, значит, поучать людей образами.

Я отнюдь не унижаю силу и достоинства Ваших прозаических, если можно так выразиться, сочинений, в противоположность истинно поэтическим и художественным. Я хочу только оправдать перед Вами мое маленькое вмешательство в Вашу духовную лабораторию.

Ваши философские и религиозно-нравственные сочинения, конечно, лучше и полнее, чем все другое, Вами написанное, выражают Ваши нравственно-религиозные взгляды и убеждения и, однако, Вы понимали, что большинство этих писаний огромной серой массе недоступно не столько по содержанию, сколько по логической форме и языку, и Вы правильно принялись за ряд статей, сказок и художественных рассказов для этой огромной серой массы. И этим самым для массы, для крестьян, для религиозного развития русского народа Вы сделали больше, чем всеми другими философско-религиозными произведениями.

Тем более это можно сказать о Ваших художественных произведениях. Разве Вы можете расколоть свою личность и в романах проводить и думать не то, что проводите и думаете в Ваших религиозных произведениях?

Вы недовольны прежними художественными произведениями? Но Вы сами знаете, что Вы не можете их сделать художественнее, не этим ведь Вы недовольны в них, какими Вы обладаете в настоящее время. Но ведь Ваши романы и рассказы говорят только то, что думал их автор во время написания их. Если бы в то время Вы думали и чувствовали так, как в настоящее время, то и роман, не изменив своей художественной формы, передал бы нам иные чувства, взгляды и настроения.

Вы, который не боится никого и ничего, вдруг испугались самого себя, своей собственной природы. Вы, господин своих чувств и мыслей, хотите передать эти чувства и мысли другим людям, - и чем больше таких людей, тем лучше, - и вдруг с тревогой останавливаетесь перед вопросом: следует ли прибегнуть к тому приему передачи своих убеждений, взглядов и мыслей, к которому волею судеб приспособлены в исключительно высокой степени.

Роман, как и всякое другое сочинение, есть лишь отражение своего автора. Если художественная правда в изображении мыслей, чувств и настроений общественных типов разойдется со взглядами и логическими посылами философа, то, конечно, придется разобраться: кто прав - художественная правда или философ. А изображения художественной правды от Вас с жадностью ждут целые миллионы людей, и Вы знаете, что не одних праздных людей. Итак, пишите, поучайте мир образами, - не бойтесь самого себя".

Как велика выраженная в этом письме убежденность в могучей силе художественного слова, художественного образа! Какое глубокое понимание общественного назначения литературы и ее роли в воспитании народа!

Лазарев говорит прямо и откровенно. Высказываемые им мысли продуманы, взвешены, выношены. Нельзя, рассуждает этот человек, никак нельзя допустить, чтобы переживаемый Толстым кризис повлек за собой полное прекращение его замечательной художественной работы, так нужной, так важной людям всего мира, и, особенно, родному русскому народу. Нельзя! - не говорит, а кричит он своим письмом, и мы слышим самые различные чувства автора - боль и надежду, твердость и нежность.

Слова из письма хочется перечитать и второй, и третий раз. Это живой голос народа, в котором

пробудилось и крепнет чувство хозяина настоящей, большой культуры.

Как откликнулся на это письмо Толстой? Принял или отверг он доводы Лазарева? Над чем задумался и к чему пришел?

"Спасибо вам за ваше письмо и простите, что долго не отвечал вам, - пишет Толстой 11 ноября 1902 года, через несколько дней после получения лазаревского. - И стар, и слаб, и занят".

А затем, сразу он переходит к сути высказанного корреспондентом.

Писателю вспоминается запавший в память разговор: "Ко мне раз зашел пьяненький умный мужик. Он увидал у меня на столе свинчивающийся дорожный подсвечник и чернильницу. Я, думая доставить ему удовольствие, показал, как он развинчивается и употребляется. Но он не прельстился моим подсвечником и, неодобрительно покачав головой, сказал: "все это младость".

К чему такое воспоминание? А вот к чему:

"... мне кажется, что все художественные работы - все только младость. Это в ответ на ваши увещания, кот(орые) мне лестны и приятны, поощряя меня к младости. Иногда и отдаю дань желанию побаловаться".

Толстому много рассказывал о Лазареве незадолго перед тем вернувшийся из Швейцарии врач Г.М. Беркенгейм, и своими рассказами он "освежил еще больше вашего письма мою большую симпатию к вам, что совсем не трудно".

"Радуюсь на вашу бодрую, свойственную вам деятельную жизнь, - заявляет автор письма дальше и подчеркивает: - Думаю, что, хотя и средства достижения у меня с вами различные, цель одна. И то хорошо".

Передав привет жене Лазарева ("и не очень сетуйте на нее за ее мне очень приятный недостаток"), Толстой сообщает о том, что написал и отправил для опубликования статью "Обращение к духовенству", которая, как он уверен, "вызовет против меня гро(мы)" (73, 321-322).

Ни отвергнуть доводы Лазарева, ни согласиться с ними Толстой не мог. Перелом, совершившийся в начале восьмидесятых годов во взглядах на жизнь, на религию, на общественные отношения, сказывался на всем характере творчества. Тем не менее такие письма, как приведенное здесь, серьезно питали его сомнения, заставляли больше думать о путях к разуму и сердцам людей.

Характерно, что письмо к Лазареву не является единственным откликом на полученное от него. Словно продолжение ответа звучит написанное в тот же день, 11 ноября, письмо к дочери, Т.Л. Сухотиной. Сообщив о беседе с Г.М. Беркенгеймом, Толстой отмечает, что он "интересно и хорошо... рассказывал про Лазарева..." и тут же проводит очень важную параллель: "Несомненно, что как во времена декабристов лучшие люди из дворян были там и были изъяты из обращения, так и теперь... из этих самостоятельных выбившихся на жизненную дорогу*20 лучшие изъяты, а худшие, Боголеповы, Зверевы и т.п.*21, царствуют и разносят свой яд в обществе" (73, 323-324).

Сопоставление с декабристами лишний раз подчеркивает, как высоко ценил Толстой деятельность Набатова и - Лазарева.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

И вот, наконец, последняя страница переписки.

Прошло семь лет.

"Не догадывайтесь и не удивляйтесь, кто пишет. Я - Егор Егоров Лазарев и пишу не из-за границы, а из самой что ни на есть России, из самого Петербурга. Давно ли я виделся в Лозанне с Татьяной Львовной и Михаилом Сергеевичем. Грозил, что ехать хочу у них Кочеты отбирать - не верили..."

Он радуется возвращению и спешит возможно больше рассказать о своей новой деятельности в качестве секретаря журнала "Вестник знания". У журнала - широкая просветительная программа. Его организаторы, сотрудники хотят нести в массы свет науки, мечтают установить возможно более тесную связь с читателями и уже достигли определенных результатов. "Читатель... понес в редакцию свои думы, тревоги и горести - как личные, так и общественные... И чего только не приходится выслушивать, вычитывать! Земельные тревоги, переселенческий вопрос, семейные недоразумения, брачные отношения, что читать, какие учебники... Нет никаких человеческих сил, имеющихся в распоряжении редакции, чтобы ответить на все вопросы и запросы..." Но все-таки, пишет автор письма, "из отвлеченной теории жизни я сразу ухватился за живой, бьющийся пульс реальной жизни". И он рад тому, рад искренне.

Это написано в 1909-м.

Только после революции 1905 года Лазарев получил возможность вернуться в Россию. Ко времени написания этого письма он уже побывал и в родной Грачевке, и в Самаре, и в столице, с головой окунулся в российскую действительность и все активнее стремился участвовать в пропаганде того, что, по его мнению, требовалось для нового подъема в народе...

Уже в конце своей работы над этим очерком, с помощью чешских друзей, мне удалось отыскать следы архива Е.Е. Лазарева. Разыскивал его в Праге, но оказалось, что вместе с другими фондами Русского заграничного архива он был передан послевоенным правительством Чехословакии Советскому Союзу. Стало возможным прочесть дневники и записные книжки Лазарева, среди которых - относящиеся к периоду следования по этапу в 1886 году, его воспоминания, в том числе из времен "процесса 193-х", его переписку - письма от Веры

Фигнер и других общественных деятелей. Документы фонда могут принести большую пользу историкам при изучении общественного движения в России. Однако уже тут хочется сказать, что архивные материалы подтверждают неизменный до конца его дней интерес Лазарева ко всему, чем жила оставленная им родина.

Он умер в глубокой старости, в 1937 году, политическим эмигрантом. С новой, большевистской властью ему оказалось не по пути. Ни Егор Лазарев, ни Набатов из "Воскресения" эту дорогу не приняли окончательно и бесповоротно.

СПОР КРЕСТЬЯНИНА АЛЕКСАНДРА ШИЛЬЦОВА С ПИСАТЕЛЕМ ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ



"РОДОСЛОВНАЯ ЗАПИСЬ ШИЛЬЦОВЫХ"

*"Семакино. Оренбург. г. Почт. тел. отд."
Почтовый штамп на конверте был виден отчетливо.
Впрочем, письма давали и более подробный адрес. В конце
первого автор указывал: "Оренбург, почтовая станция Семакино,
хутор Независимый".
А все-таки первой помехой в поисках следов корреспондента
Толстого оказалось ... отсутствие адреса.
Но это было только началом...*

"Родословная запись Шильцовых"
Вехи жизни
"Дело © 61"
По страницам прошлого
"Листок, написанный в тюрьме"
Рождение сельского корреспондента
Хутор независимый
"Старые мысли" и новые сомнения
Над рукописями
В раздумьях и поисках
Спор решала жизнь
Письма

"РОДОСЛОВНАЯ ЗАПИСЬ ШИЛЬЦОВЫХ"

"Семакино. Оренбург. г. Почт. тел. отд."

Почтовый штамп на конверте был виден отчетливо.

Впрочем, письма давали и более подробный адрес. В конце первого автор указывал: "Оренбург, почтовая станция Семакино, хутор Независимый".

А все-таки первой помехой в поисках следов корреспондента Толстого оказалось ... отсутствие адреса.

В сборниках административного деления Оренбургской области, выходивших в разные годы, указаны тысячи населенных пунктов, вплоть до самых маленьких, но ни хутора Независимого, ни села Семакино обнаружить не удалось.

Более основательным ориентиром оказалась упомянутая в письме река Ик.

Ик, точнее - Большой Ик, нанесен на карту. Он проходит по территории современного Саракташского района. По берегам и вблизи - различные населенные пункты. Но искомым названий не было и здесь.

Не носят ли сейчас село и хутор другие имена?

На помощь пришел телефон.

- Хутор Независимый? - переспросили в Саракташе. - Нет, не известен. Ни на берегу Ика, ни в другом месте района.

- Семакино? Такого села тоже нет. Хотя... Семакиным называлось, кажется, нынешнее Новосельское...

Итак - Саракташский район. Надо надеяться, что там удастся отыскать следы Александра Шильцова. На встречу с ним самим надежды мало - прошло более полувека, а уже тогда, в 1908-м, был он далеко не юн. Но Шильцов писал Толстому о четырех своих ребятах. Возможно, и поныне живут там его сыновья и дочери, внуки и внучки? А нет, так наверняка найдутся люди, которые помнят этого незаурядного человека.

Дорога вела в Саракташ.

На вокзале в ожидании поездов оказались люди из многих сел и хуторов, в том числе из Новосельского. Они подтвердили, что их село до революции действительно называлось Семакиным, но о Шильцове и вообще о Шильцовых не слыхали ничего.

- А вы фамилию часом не спутали? - спросил один из пассажиров.

Нет, собственноручная подпись Шильцова хорошо запечатлелась в памяти.

- А то я не знаю Шильцева... Ивана Шильцева... Давно в Саракташе живет, хотя и не отсюда родом... Ну да фамилии, чего и говорить, разные...

Фамилии, действительно, звучали по-разному, но... в написании их отличала всего одна буква.

- Шильцовых в Саракташе нет - это точно, - безапелляционно сказала паспортистка милиции. - Может, нужны Шильцевы? Есть у нас одна семья.

Она быстро отыскивала несколько карточек.

- Шильцева Лидия Ивановна...

- Шильцева Марфа Ильинична...

- Шильцев Иван Александрович...

Александрович?

Год рождения - 1906-й. Александр Шильцов писал Толстому в 1908 году и сообщал о сыновьях...

Место рождения - Саракташский район, хутор Нижне-Аскаровский. Значит, он родился в этом же районе...

- Скажите, пожалуйста, где находится Нижне-Аскаровский?

- Отсюда километров пятьдесят. На север, к Башкирии.

- Возле Семакино?

- Неподалеку.

- На берегу Ика?

Паспортистка подтвердила и это.

Уже верилось, что Александр Шильцов и Иван Шильцев - представители одной семьи, и все-таки "е" вместо "о" не могло избавить от сомнений.

"Пушкина, 20..."

- Здесь живут Шильцевы?

- Мы и есть... Проходите!

Хозяина, к сожалению, дома не оказалось. В больнице... Последствия фронтового ранения... Столько лет прошло, а военные раны дают о себе знать. Жена - Марфа Ильинична и дочь Лида с интересом слушали о поисках Шильцова.

- Сроду мы Шильцевы, - пожимая плечами, проговорила хозяйка. - Сколько за Иваном Александровичем, иного и не слыхала. - Подумав, она добавила: - И Александр Харитонович так писался.

- Кто?

- Александр Харитонович, - повторила женщина. - Тот, про кого вы рассказывали. Это ее дед.

Кивнула в сторону Лиды.

Девушка подошла к стене и сняла рамку семейных фотографий.

- Вот он...

С небольшого любительского снимка смотрел крутолобый человек с глубоко посаженными глазами. Даже с этой тусклой, выцветшей карточки они, казалось, излучали внутренний свет. Опушенные усы и борода клинышком обрамляли плотно сжатые губы. Лицо пересекали крутые, резкие морщины. Какой упрямый взгляд, какая гордая посадка головы!

- Я своего деда знаю только по фотографии, - сказала Лида. - Он давно умер.

Узнать, что человека нет, хотя и предполагаешь это, - нелегко, больно. Тем более такого, который мог бы рассказать так много. Он, конечно, рассказывал - и теперь рассказанное предстояло выведать у других. ... Ожидание встречи с Иваном Александровичем скрашивало знакомство с семейным архивом, Это были в основном обыкновенные фото, каких много в каждом доме.

Снимков Александра Харитоновича не попадалось. Тем большее внимание обратила на себя небольшая книжка в выцветшем, вылинявшем, местами порванном переплете.

Надпись на обложке разобрать было трудно. Удалось прочесть слова: "Благотворительно-сберегательная памятная книжка для потребителей" и еще: "Цена 1 руб." Год издания смазан, но, по всем признакам, книжка из времен далеких.

Открывалась она православным, католическим, протестантским и прочими духовными календарями, перечнем "неприсутственных дней" и длинным списком лиц "Российского Императорского Дома" - начиная от

"самодержца всероссийского", его "августейших" родительницы, супруги, дочерей, сестер, дядей и теток и кончая их детьми, внуками и, кажется, правнуками.

Что только не расхваливала книжка далее! И "немецкую гастрономическую паровую колбасную фабрику", и "магазин колониальных товаров", и пиво "Трехгорного пивоваренного товарищества в Москве", и парикмахерскую "Кур и Васильев" в Оренбурге... Объявления о торговле ювелирными изделиями соседствовали с рекламой винно-питейных заведений, продажа аптекарских товаров - с фотографиями, музыкальные магазины - с иконными. Широковещательные рекламы звали в "новое роскошное заведение морских и пресных ванн" в Ялте, сообщая, что "здание в мавританском стиле вполне соответствует иностранным курортам", настоятельно приглашали посетить "известный русский ресторан наследников Т.А. Максимова в Петербурге"...

Вызавшие вначале любопытство, объявления примелькались, наскучили. Но неожиданно печатный текст уступил место рукописному.

"Родословная запись Шильцовых" - гласила уже первая строка.

Широким, четким почерком было исписано до десятка страничек, отведенных "для заметок". Здесь уместились сведения о нескольких поколениях семьи.

"Давыд Васильевич Шильцов родился в 1812 году, 24 июля..." - так начиналась эта своеобразная летопись. Без лишних слов она сообщала, что ровесник первой Отечественной войны из прожитых им 63-х лет двадцать пять отдал солдатской службе и лишь будучи в годах смог обзавестись своей семьей. У него было пять сыновей и дочерей, но все, кроме Харитона, умерли в первые же годы и даже месяцы жизни. Бывший солдат скончался, когда у единственного из оставшихся в живых сыновей была уже своя семья. Однако только перед смертью посчастливилось ему взять на руки живого внука - первых похоронили сразу после рождения.

Итак, второе поколение рода Шильцовых - Харитон Давыдович. Вслед за сообщением о том, что в 1867 году двадцатилетний Харитон вступил в "законный брак с девицей с. Спасского Оренбургского уезда Стефанидой Егоровой", шел длинный список детей. Восемнадцать родилось их и почти все умерли в младенчестве. Больно читать этот скорбный перечень. Какой же была жизнь, если умирали один за другим, уже в первые месяцы и годы! Нищета, темь беспроглядная, жизнь без проблеска надежды...

Первым внуком, которого довелось взять на руки Давыду Васильевичу, первым сыном, который выжил у Харитона Давыдовича, был Александр - тот самый Александр Харитонович, впоследствии корреспондент Толстого.

Вот даты его жизни: 10 февраля 1874 года - 25 сентября 1933-го. Они-то и должны занять свое место против фамилии Шильцова в комментариях к переписке Л.Н. Толстого, а, возможно, и в другой литературе о писателе. Занять рядом с иными сведениями, которые еще предстоит выяснить.

Но что расскажет о нем "родословная запись"?

"Александр Харитонович Шильцов вступил в законный брак с девицей село Новоселок, оно же Семакино, Спасской волости Оренбургского уезда Анисьей Александровной Никоновой 26 мая 1895 года..." (Сразу вспомнился шильцовский рассказ в письме к Толстому - о том, как несчастен он был, когда задумал "по любви жениться, но не имел восьми рублей, положенных священнику за венчанье, как пришлось бегать за 120 верст в город "попросить эту сумму денег"). А вот - дети. Крестьянин писал в Ясную Поляну о четырех маленьких детях. Теперь нетрудно выяснить, о ком шла речь: о дочерях Анастасии и Екатерине, сыновьях Василии (умершем в 1920-м) и Иване. Старшей - Анастасии - накануне отправки первого письма к Толстому исполнилось двенадцать, младшему - Ивану - не было и двух. Шильцов не писал, что двоих успел похоронить. В последующие годы в семье родилось еще четверо, но из них выжил один Петр. Он появился на свет в суровую пору гражданской войны, а погиб в 1942-м. "Убит 1 июля 1942 г. в борьбе против фашизма, в чине старшего лейтенанта", - сообщала последняя запись в "родословной", сделанная уже другою рукою.

Для записей о пятом поколении семьи в старой книжке страниц не осталось. Но, глядя на фотографии, которые лежали тут же, думалось, что жизнь сыновей и дочерей того же Ивана Александровича, внуков и внучек крестьянина потребует куда большего места.

"Родословная запись Шильцовых" приоткрывала дверь большой жизни.

Но это было только началом.

ВЕХИ ЖИЗНИ

Иван Александрович - отменный собеседник. Он увлекается разговором и в то же время знает цену слову. У него завидная память. Любознательность, пытливый ум, способность схватывать и всю жизнь помнить главное - это, наверное, одна из черт Шильцовых.

(Уместно сказать - ясность лучше внести сразу - Шильцовы превратились в Шильцевых еще при отце. Видно какой-то писарь в канцелярии случайно заменил букву, а Александр Харитонович не счел нужным затевать хлопоты: Шильцев так Шильцев. С того и пошло. Но здесь мы будем именовать их так, как в "родословной", как в письме Толстому и других, найденных позднее, документах, а именно - Шильцовы).

Отец и сын внешне очень похожи. Так же, как Александр Харитонович на старой фотографии, сын его

высок ростом, широк в плечах, худощав; те же глубокие складки на щеках у сомкнутых губ и между бровями, над переносицей.

- Да, сходство признавали все, - подтверждает он.

Переписка отца с Львом Николаевичем Толстым вызвала у него самый живой интерес. Об этой переписке Иван Александрович прежде не знал. В 1908-м был он слишком мал, ну а потом разговора как-то не возникало, хотя о литературе беседовать им доводилось, и не раз. Помнится, особенно любил отец Некрасова и Толстого. Но... никаких упоминаний о том, что они с Толстым были знакомы, вели спор - хотя и заочно...

Ну, а теперь о нем - Александре Харитоновиче, его жизни. Что рассказывал о детстве своем, о юных годах? Каким запомнился? Для начала - хотя бы основные вехи.

... Деда своего, Давыда Васильевича, Александр Шильцов не помнил - тот умер, когда внуку исполнилось только полтора года. Жалел он потом, и крепко жалел, что не довелось услышать дедовы рассказы о солдатской двадцатипятилетней службе, о его походах.

Бабушка Пелагея на вопросы об этом отвечала неохотно, со вздохами. "Горе-горькое служба та", - повторяла она.

Бабку Александр любил и уважал. В прошлом крепостная, она служила на барском дворе, украдкой, вместе с "барышнями", обучилась грамоте и прочитала много интересных книг, о которых рассказывала с увлечением.

Она, бабушка, обучила грамоте и сына своего, Харитона, и внука - Александра. Позднее Александру довелось учиться в церковно-приходской. А уже в одиннадцать-двенадцать стал он заправским работником.

Отец был безземельным, все богатство семьи составляла единственная кобыленка, и голод часто посещал землянку на берегу Ика. В землянке постоянно плакали малыши; они умирали, не научившись говорить. От горькой жизни, от вечной безысходной нужды Харитон Давыдович начал запивать. Лиха пришлось хлебнуть еще больше. К Александру постепенно переходили заботы об отце и матери, братьях и сестрах. Получивший по наследству только безземелье, он научился писать за односельчан прошения, чинить обувь, столярничать.

Нужда не оставляла ветхой избенки. На эту нужду пришла и Анисья Никонова. Чтобы обвенчаться, им, давно любившим друг друга, довелось перенести немало горьких дней. Александр Харитонович рассказывал, как бегал в Оренбург за восемью рублями - твердой "таксой" местного священника; только там и сумел раздобыть нужную сумму. Если беготню в поисках денег счесть за "свадебное путешествие", то "медовый месяц" прошел в батрацкой работе.

Земля... Почему у одних необозримые просторы, а у других нет и клочка? По какому праву владеют землей те, которые никогда в своей жизни не ходили за плугом, а крестьяне-труженики вынуждены мучиться, голодать и умирать от безземелья? Отчего господь бог и батюшка-царь мирятся с этим? Такие мысли посещали Шильцова все чаще. Но где было найти ответы на вопросы, которые будоражили душу?

Александр и молодая жена Анисья были одинаково охочи до работы. Возьмутся жать серпами - так не разгибая спины, до седьмого пота. Выйдет он с косой - только ветер в ушах. Что улы мастерить, что рыбу ловить, что охотиться - любое дело спорилось.

Все туже стягивая ремень, мечтал Шильцов о своем домике, о своей земле.

Маленькая избушка перед лесом и речкой была построена собственными руками. Но прежде, чем она появилась, прошло больше десяти лет. Неужто еще десять лет ждать, пока по грошам соберет на покупку десятины-другой?

Тогда-то, наверное, и стал Александр Харитонович искать ответы в книгах.

Читать он любил с юных лет. Читал много, жадно - все, что попадалось под руку. Сейчас такое чтение уже не удовлетворяло. Прочтя однажды несколько стихотворений Некрасова, Шильцов добрался до знаменитой поэмы "Кому на Руси жить хорошо". Первые же прочитанные страницы Льва Толстого сделали его почитателем могучего таланта писателя-правдолюбца. Во весь голос говорил он о том, что было для крестьянина самым сокровенным. Смелая критика произвола власть имущих, неподдельное сочувствие обездоленному русскому мужику, его требования уничтожения собственности на землю - все это оказалось понятным, близким, кровным.

Иван Александрович тогда еще даже не родился. Все, что он рассказывал, стало известно ему от отца гораздо позже. Память подсказывала то одно, то другое, соединяла разрозненные детали, вызватывала из тумана прошлого самое важное.

... - В первом письме отец упоминает о тюрьме. Кажется, это здесь... "С открытием Манифеста 17 октября..." - значит, конец пятого года? - "я, как человек, тоже сунулся заговорить правду..." - и дальше - "меня взяли да в тюрьму и засадили". Никаких подробностей в письме к Толстому он не приводит, а рассказать было о чем. И он рассказывал.

Иван Александрович подошел к тому факту биографии Шильцова, который при чтении его письма обратил на себя особое внимание. Тут-то и довелось мне впервые узнать о крестьянском союзе села Спасского и прилегающих к нему хуторов.

- С трех сторон Спасское было окружено помещичьими усадьбами (их насчитывалось, кажется, восемь). Кольцо замыкали владения башкирских баев, начинавшиеся сразу за рекой. Не имея своей земли, крестьяне вынуждены были арендовать ее на кабальных условиях. Помещики требовали от них выполнения самых тяжелых работ. В безземельных они видели покорных рабов, для которых иного пути, иного выхода быть не

могло.

- Давно, - продолжал Иван Александрович, - зрел в крестьянах протест против всей этой кабалы. Его "подогревали" такие, как отец, - много читавшие и много думавшие о жизни. К их голосу прислушивались. А тут начали приходить прокламации о Кровавом воскресенье в Петербурге, о революционных выступлениях рабочих по всей стране, о крестьянских волнениях на Украине, в Поволжье, других местах. Приезжали агитаторы, посланные Оренбургской организацией социалистов-революционеров. Они рассказывали о борьбе за свои права, которую ведет сознательный люд, призывали поддержать ее своими действиями. Осенью 1905 года в селе образовался крестьянский кружок, а перед новым годом - Крестьянский союз. Его организаторами были Александр Шильцов, братья Дий и Семен Блиничкины, Михай Абрамов. Составленную ими программу обсуждал и утверждал сельский сход.

Да, много может дать этот документ для характеристики взглядов человека, который меня интересует. Быть может, сохранилось следственное дело, а в нем хотя бы изложение программы спасских крестьян? Надо поискать в архиве.

- По всей волости прокатились волнения. Крестьяне поджигали помещичьи усадьбы, перестали платить налоги, рубили лес. Доходило до прямых стычек с полицией. Так было и тогда, когда полицейские получили приказ арестовать заправил Союза. Крестьяне отстаивали своих вожаков, и потребовалось прислать сотню казаков, чтобы взбудораженный народ усмирить. Несколько дней продолжалась порка крестьян. Шильцов вместе с Михеем Абрамовым, Семеном и Дием Блиничкиными оказался в оренбургской тюрьме.

- Но не выбила она из отца революционного духа, - говорит Иван Александрович. - Если прежде организаторы Крестьянского союза являлись "самоучками", то несколько месяцев, проведенных среди политических заключенных, в числе которых были и те агитаторы, которые приезжали в Спасское, явились для них хорошей школой. Вот и Толстому отец писал, что здесь он лучше понял, с какой подлостью из бедного народа пьют остаток крови...

- И еще одно, - добавляет рассказчик, - тюрьма расшатала в нем веру в церковь. Было однажды так. Когда политические начали вести себя "слишком вольно" (например, взявшись за руки, петь революционные песни), тюремная администрация лишила их прогулок и внесла в камеру "парашу". А в переднем углу висела икона. Обращаясь к надзирателю, Шильцов сказал: вы проповедуете веру Христову, заставляете нас верить в бога, охраняете устои царя и церкви, а сами что же - в один угол "бога" вешаете, а в другом сортир устраиваете? Так вы уж выбирайте - либо бог, либо сортир. На следующей день из камеры убрали "парашу" - икону убрать не решились. Александр Харитонович рассказывал об этом со смехом и удовольствием.

- Однако больше всего вспоминал он дни голодовки политических, - вел рассказ Иван Александрович. - Восемь дней отказывались от еды, протестуя против полицейского произвола и требуя решения своей судьбы. За голодовкой следили оренбургские рабочие. На шестой день состоялась демонстрация. Ее участники потребовали освобождения тех, кто томился за дело народа. В Оренбургском музее есть картина. Казаки врзаются в безоружную толпу с нагайками и саблями, стреляют в народ... Отец видел это своими глазами. Разбив окна, заключенные приветствовали товарищей. Восьмидневная голодовка, вместе с протестом рабочих, и привела к освобождению. Впервые Александр Харитонович и его товарищи убедились тогда в могучей силе союза крестьянства с пролетариатом.

Не сохранилось ли в семье каких-либо документов от того времени?

- К сожалению, нет, - говорит из газеты с написанным в тюрьме стихотворением.

Сразу вспомнились строки из письма: Шильцов в знак признательности писателю шлет ему "свой листок, написанный в тюрьме". Не это ли стихотворение ушло к Толстому как подарок оренбургского крестьянина?

Александр Харитонович очень дорожил вырезкой. Как-то сказал, что эта у него последняя и он хочет, чтобы ее читали внуки. Но листок исчез. Сколько ни спрашивал у родственников, найти не удалось.

Иван Александрович не знает, в какой газете было напечатано стихотворение. Однако несколько строк из него сохранились в памяти.

*Взяли меня бюрократом в угоду,
В злую тюрьму повели.
Что же я сделал?
Сказал лишь народу:
"Боли вам нужно, земли".*

Раздумчивый и в то же время твердый, уверенный голос Александра Шильцова... Стихотворные строки, написанные в тюремной камере, вполне по своему духу соответствуют письму к Толстому, отправленному годами позднее.

Во что бы то ни стало нужно отыскать газету с этим стихотворением.

Из рассказов Ивана Александровича встала вся жизнь его отца. Он был активным участником Февральской и Октябрьской революций, а после гражданской войны стал организатором первых коммун и плодотворно работал до самой своей смерти. Чем больше рассказывал сын, тем более возрастало желание услышать еще и еще, раскрыть и до конца прочесть каждую страницу жизни хорошего человека.

Для этого следовало съездить на хутор Нижне-Аскаровский туда, где жил Шильцов, где он участвовал в событиях 1905 года, встретиться с его старшей дочерью Анастасией, со стариками-односельчанами.

Но бушевавший буран делал поездку по степи невозможной. На первый план выдвинулись поиски в оренбургских архивах.

"ДЕЛО © 61"

Донесения. Телеграммы. Предписания. Рапорты.

Чем больше углубляешься в пухлое дело, тем органичнее становится связь всех этих документов, которые вначале кажутся случайно попавшими "под одну крышу".

Сама История встает со страниц дела N 61 фонда Оренбургского жандармского управления.

Стачки и митинги... Листовки, призывающие к свержению самодержавия и установлению демократической республики... Казацьи расправы над рабочими... Волнения крестьян, которые все громче, все решительнее высказывают наболевшее... За словами дела: захват помещичьих земель, сопротивление властям.

"Шильцов..." Знакомая фамилия возникла как-то неожиданно. "Задержан и препровожден..."

О чем расскажут документы жандармского управления?

"Его высокоблагородию господину приставу 8-го стана Оренбургского уезда тайного агента по сыскной части против революционеров Ивана Федоровича Самарцева.

8 января сего 1906 года был по поручению вашего высокоблагородия в селе Спасском у главаря Спасского и другого общества Семена Яковлевича Блиничкина и читал у него в дому постановление следующего содержания..."

Что может быть отвратительнее провокатора! Прошло столько десятилетий, почти век, а сохранившийся в архиве донос читается с живым чувством презрения к гнусному человеку, который пришел в крестьянскую избу как "свой", наверняка как "свой", чтобы все высмотреть, все услышать, а затем предать, продать этих людей, их сокровенные думы, мечты*46.

Они, вероятно, и не очень-то таились. Среди крестьянских вожakov не было опытных конспираторов, да и дело свое противозаконным эти люди не считали. Крестьяне верили и в бога, и в царя, и в провозглашенную царским манифестом свободу слова и союзов.

Филер оказался достаточно дотошным, чтобы, несмотря на все оговорки "постановления", разглядеть политический характер крестьянских требований: об отмене частной собственности на землю, о передаче народу без всякого выкупа помещичьей земли, о прекращении какой бы то ни было эксплуатации наемного труда, о замене несправедливого суда власть имущих судом народным, о всеобщем бесплатном образовании.

"Постановление", которое излагал "тайный агент по сыскной части против революционеров", было, конечно, той самой программой, о которой Иван Александрович слышал от своего отца.

С этим документом познакомиться хотелось не в пересказе шпика, но в подлинном его виде. Только он мог дать достаточно полное представление о характере требований крестьян.

Лист за листом... Новые сообщения об арестах, новые расписки о прибытии "бунтовщиков". Жандармская машина работает на полных оборотах. Уже 18 января - через десять дней после доноса наемного фискаля - полковник Леонтьев со всей определенностью утверждает: "Руководителями образовавшихся в с. Спасском и на хуторе Н.- Аскаровском Крестьянских союзов являлись в первом... Семен Блиничкин, а во втором... Александр Шильцов".

А далее - документ без названия, но уже с первых строк не оставляющий сомнения в том, что это есть и крестьянские требования. Они, правда, в копии, но копия, по всему судя, снята с сохранением особенностей оригинала.

"1905 года, декабря 28 дня, мы, нижеподписавшиеся крестьяне 2-го Спасского общества Спасской волости Оренбургского уезда составили из среды себя союз по велению высочайшего манифеста от 17 октября 1905 года, избрали из среды своей председателями Семиона Яковлевича Блиничкина, Михея Дмитриева Абрамова и в присутствии всех объяснив все свои насущные нужды, которые известны как нам, так равно и всему высшему начальству, желаем до конца своей жизни преследовать и восстанавливать порядки своего государства по нижеследующей программе..."

Точно запомнил Иван Александрович - "программа". Так и будем называть этот документ, выдержанный в торжественных, приподнятых тонах, лучше других отвечавших настроению его составителей.

Члены Крестьянского союза не посягают на бога и царя - об этом они заявляют сразу. Но не случайно провокатор пропустил мимо ушей обещание "верить в бога" и "хранить батюшку-царя как помазанника божия", а остановился совсем на другом. Это другое прямо противоположно тому, что утверждала царская власть и освящала власть духовная.

"Любить свою родину"...

"Жить одною дружною семьей в своем обширном государстве, пользуясь одинаковыми правами жизни со всеми инородцами, живущими в нашем государстве"...

"Земля, как насущная потребность всей жизни и дар божий, не должна быть в вечной зависимости богатых людей, кулаков, помещиков, монастырей, церквей, городов, селений великих князей, а должна быть в пользовании всего народа на равных и одинаковых правах до конца жизни"...

О земле - больше всего. Для авторов программы это главное, и они стараются возможно яснее изложить свои требования, доказать их справедливость, убедить в необходимости ликвидации частной собственности на землю.

Это то, о чем два с лишним года спустя, уже пройдя тюрьму, допросы, голодовку, Шильцов писал Толстому.

- Кто виноват в несправедливости? - ставится вопрос в программе. На первый взгляд, авторы "решительно" отклоняют обвинения в адрес "батюшки-царя". Однако уже одно то, насколько долго ведут они вокруг этого свой разговор, навевает мысль, что они отнюдь не убеждены в своих же утверждениях, будто царь "непогрешим".

Разве не прямым сомнением в отношении этого продиктовано вот такое место? "Если мы станем винить царя, то конечно, найдем вину, а если станем винить бога, то найдем, что бог еще виновней государя". И дальше: "Поэтому (!) мы винить эти высшие существа не имеем никакой власти".

Составители программы отнюдь не боготворят царскую власть. Они берут под сомнение "бывших" государей, которые несправедливо роздали землю. "Конечно, в бывших государях не было дальновидности..." - как само собой разумеющийся, делают вывод крестьяне. Но более ли "дальновиден" преемник? Век меняется, однако землей по-прежнему владеют "дармоеды, изобретающие наживу из чужих сил, из чужого пота". Почему? "Ужели же настоящий век не позволяет настоящему нашему батюшке-царю взять ото всех землю и отдать тем, кто обрабатывает ее в поте лица?"

Программа - против всякого выкупа за землю: "Выкуп вносить не следует никому никакой, потому что трудящиеся на ней люди купили ее своей кровью, своим потом и за этот-то их труд им должно ее отдать". Это тоже, по мнению авторов, можно решить не революционным путем, а царской реформой, царским манифестом. "Приказчик в магазине и тот может распорядиться своим товаром, а это какой же владелец и хозяин своего, когда не может распорядиться?" - недоумевают они. В их вопросе-утверждении звучат и надежда, и сомнение.

Какие требования выдвигаются в программе далее?

"Мы желаем себе откровенного начальства, которое чтобы избрал сам народ, доходя до самых высших министров"...

"Желаем освобождения из всех тюрем правдивых защитников Крестьянского союза"...

"Желаем упразднить весь настоящий суд, похожий на суд Линча, и заменить его новым, по программе всего народа"...

"Всеобщее народное образование за счет казны"...

"Все платежи, как казенные, так равно и все аренды, в виду народных бедствий и тревожного состояния всего государства, на время прекратить до установления новых законов"...

"Труд земледелия... обязуемся выполнять только собственными силами... Этот пункт мы должны соблюдать во всем нашем районе строго, не исключая и дворян, которые могут нанимать рабочих не из крестьян, а из дворян..."

В программе вновь созданного союза: "бить, как собак" черносотенцев, "хранить тишину и согласие", принимать в свои ряды общества, группы и отдельных лиц, а также присоединяться самим "для восстановления всеобщего Крестьянского союза на благо всего государства".

здесь и уместно подробнее сказать о Всероссийском Крестьянском союзе. Эта организация возникла летом 1905 года под прямым воздействием борьбы рабочих. Начало ее созданию положили в мае московские крестьяне. Их почин подхватили по всей стране. На первом, учредительном съезде союза, который собрался в конце июля, присутствовали представители уже двадцати двух губерний. Делегаты высказывались за отмену частной собственности на землю, за передачу монастырских, церковных, удельных, кабинетских и государственных земель крестьянам без всякого возмещения, а помещичьих - частично за выкуп.

В последующие месяцы движение распространилось по всей России. На втором съезде Крестьянского союза, открывшемся в ноябре того же года, делегатов было почти вдвое больше. Многие из них выступали с призывом к захвату помещичьих земель, к свержению самодержавия путем вооруженного восстания. Перехода "всей земли в общую собственность всего народа" - вот чего требовала принятая на съезде резолюция. Для борьбы "за власть и землю" съезд рекомендовал войти в соглашение с "братьями-рабочими", с организациями, "защищающими интересы трудящихся классов". Были высказаны решительные требования отмены исключительных законов, вывода войск из охваченных крестьянскими волнениями губерний, немедленных выборов в Учредительное собрание.

Обеспокоенное невиданным размахом крестьянского движения, его характером, царское правительство стало разгонять собрания членов союза, арестовывать активистов, а вскоре после второго съезда, в том же ноябре 1905 года, добралось до только что избранного Главного комитета Всероссийского Крестьянского союза. Члены комитета оказались за решеткой.

Именно в такое время, в такой обстановке и возник Крестьянский союз села Спасского, с программой которого мы познакомимся. Несмотря на всю свою половинчатость, непоследовательность, документ носит революционный характер. Не зря и в доносе провокатора, и в последующих материалах обвинения ему отводится главенствующее место.

При чтении программы проясняется один из источников решительной постановки крестьянами наиболее болезненного вопроса о земле. Этот источник - остро разоблачительные произведения Л.Н. Толстого, в которых нашли выражения его сочувствие горькой жизни крестьянства, его ненависть к помещичье-капиталистическим порядкам. С творчеством Толстого, в том числе его страстной публицистикой, авторы программы были, несомненно, знакомы. Писатель выражал их идеи, их настроения - идеи и настроения русского крестьянства, которое в результате многих десятилетий крепостного гнета и переформенного разорения все глубже проникалось стремлением к изменению существующего строя и в то же время проявляло нерешительность, непоследовательность.

О знакомстве составителей программы спасских крестьян со взглядами Толстого говорит их ссылка на высказывания писателя. Они привлекаются для обоснования необходимости передать землю в пользование тем, кто на ней трудится, без всякого выкупа. "Ужель же можно думать, как выразился граф Толстой, - говорится в программе, - что высокие, тонкие, плешивые, горбатые, страдающие подагрой и мигренью, с изнеженными членами, как соломенки пальцами, могли заработать эту землю лучше коренастого, почвенного, с мускулистыми руками человека?".

Программа сыграла большую роль в повышении политической сознательности и активности крестьян не только Спасского, а и многих других сел и хуторов, вызвала отклики в Оренбургском и Орском уездах.

Среди тех, кто подписал этот документ, значится и Александр Шильцов. Он расписался за себя и за группу неграмотных. Между прочим, почти из семидесяти скрепивших программу своими подписями, грамотных насчитывалось с десяток. Видимо, в связи с этим, по настоянию организаторов союза, документ удостоверял своей подписью, и даже приложением должностной печати, сельский староста.

Следующая страница дела принесла новое открытие. Оказывается, на сходе крестьян села Спасского Шильцов присутствовал не только сам по себе, а и как выборный от жителей хутора Нижне-Аскарковского. (Этот хутор находится в нескольких километрах от села, но, отделенный от него Иком, относился в то время к другой волости и даже к другому уезду - 1-й Усергановской волости Орского уезда). За программой, о которой шла речь в деле N 61, следует постановление хуторского схода. Он проходил на следующий день после принятия программы в Спасском, 29 декабря 1905 года. Здесь состоялись выборы председателя своего Крестьянского союза - им с общего согласия стал Александр Харитонович Шильцов. Затем, "выслушав в присутствии всех программу мнений союза крестьян села Спасского", хуторяне "единодушно постановили присоединиться к их союзу", мнение которого во всех его пунктах признали "справедливым".

Под постановлением хуторского схода длинный ряд фамилий.

Создание этих крестьянских организаций не было делом скоропалительным. Ему предшествовала большая работа по обсуждению коренных вопросов жизни.

На первом плане стоял и вопрос о земле.

Почти вся она находилась в руках помещиков. Наиболее крупные землевладельцы Спасской волости имели не по одной тысяче десятин. Крестьянам оставались настолько мелкие клочки, что на них, как говорили, было тесно и курице.

На каждом шагу ощущали крестьяне помещичью несправедливость. Если, скажем, их корова или лошадь случайно оказывалась на земле Эверсмана, то для получения скота обратно требовалось один-два рубля выкупа, пусть даже не произошло никакой потравы. Но когда конный табун помещика затоптал более четырех десятин крестьянской пшеницы и крестьяне, задержав лошадей, потребовали возмещения убытков, пристав с урядником оказались тут как тут и быстро "восстановили порядок". Эверсман самовольно отмежевал себе из общественных дач два участка по пятьдесят десятин леса и даже перекопал канавой проселочную дорогу. Где уж было с ним судиться, если земской начальник доводился ему зятем, а сын был вице-губернатором? Другой помещик - Корсаков - отрезал 10 десятин общественной земли и запахал ее. На свою жалобу крестьяне получили ответ: "Не ссорьтесь с помещиками, не то будете сосланы на каторгу".

Все это переполняло чашу терпения.

В то же деле, непосредственно за приведенными документами, идут еще два.

Под первым из них дата - 20 ноября 1905 года и подпись Семена Блиничкина. "Как нужна крестьянину земля!" - называется это письмо. По сравнению с программой, выработанной и принятой пятью неделями позднее, оно менее определено и конкретно. Обращаясь к крестьянам, автор делится мыслями о земле, которой "пользоваться можно, но владеть нет, ибо она - мать и создана богом лишь на пользу всех тварей, но не владение", о том, что царская власть мирным путем может устранить несправедливость существующего землевладения, что, вместо затеянного властями переселения крестьян на "порожные пустоши в Сибирь", куда выгоднее "туда помещиков отправить". Блиничкин вкладывает эту мысль в уста "одной деревенской бабы" и якобы от ее же имени говорит: "убери он, родимый (речь идет о царе - Л.Б.), одного отсюда барина, то здесь на десять деревень простору хватит, а одного ведь легче и проводить, и обострить". Он заявляет, что хотел "писать дальше, как должно быть все это землепользование, но нашел, что входить в такое суждение преждевременно", и решил вынести свои мысли на крестьянский суд.

Сравнивая письмо с программой, составленной немногим более месяца спустя, убеждаешься, как быстро проходил процесс пробуждения самосознания крестьян, как поднималась их политическая активность. Об этом же - и, пожалуй, в еще большей степени - свидетельствует сопоставление с написанной от руки листовкой. В ней мы находим лишь призыв "просить и просить". Хотя программа также призывает к мирному решению вопросов,

сам дух ее несравненно революционнее.

Вот почему помощник пристава Сумароков доносил в губернское жандармское управление, что если бы кто хотел задержать организаторов союза, то того крестьяне "не оставили живым, разодрали бы на части, не боясь двух сотен казаков".

... Документы, прочитанные в деле N 61, во многом дополнили то, что было известно о деятельности Александра Харитоновича Шильцова в период первой русской революции по рассказам его сына. Они раскрывали обстановку, сложившуюся в Спасском и Нижне-Аскарском, и что особенно интересно, взгляды Шильцова. Те взгляды, по поводу которых развернулась переписка между ним и Львом Николаевичем Толстым.

Но теперь, познакомившись с "предысторией" ареста, невозможно было отказаться от мысли поискать и другие следственные дела, продолжающие это. В них должен был содержаться ответ на вопрос о том, когда именно Шильцов пришел к мысли, что не царская воля, а "мозолистая рука" сдвинет и устранил всю неправду.

Именно так писал он в Ясную Поляну.

ПО СТРАНИЦАМ ПРОШЛОГО



*Могила А.Х.Шильцова на хуторе
Нижне-Аскарском*

Тройка рысаков резво неслась по зимней дороге. Зарывшись в мягкие тулупы, важные седоки мирно дремали. Но уже то, что за санями следовала сотня казаков, свидетельствовало отнюдь не о мирном характере этой поездки.

Непременный член Оренбургского присутствия надворный советник фиксен и товарищ прокурора Суров ехали в Спасское.

Ехали они расследовать, разьяснять и, как гласила резолюция губернатора, "вразумлять". Для "вразумления" им и придали казачью сотню.

Губернаторское распоряжение была начертано на необычном прошении - прошении, звучавшем ультиматумом...

Этим документом открывается дело Оренбургского присутствия, озаглавленное: "О беспорядках в селе Спасском, Спасской волости".

Письмо оренбургского губернатора от объединенного союза крестьян села Спасского и хутора Нижне-Аскарского с первых строк излагает обстоятельства ареста А.Х. Шильцова.

"9 числа текущего (то-есть января Л.Б.) месяца старшина 1-й Усерганской волости Юнусов из членов нашего союза Александра Харитоновича Шильцова предписанием вызвал в волостное правление под видом какой-то надобности, куда Шильцов немедленно явился, где на

Шильцова, как хищные звери, накинулась провинциальная полиция в лице полицейских урядников, сотских и десятских, будто посланных по распоряжению пристава 8-го стана Оренбургского уезда. Арестовав, Шильцова лишили свободы и в летнем одеянии, как политического преступника, в течение суток везли окольными путями к приставу 8-го стана, а последний будто бы препроводил одного неизвестно куда..."

Вызов под вымышленным предлогом... Ловушка в волостном правлении... Окольный путь... Все это лишний раз убеждает, что Крестьянский союз представлял организованную силу, способную на решительный отпор. Сила союза настолько страшила местные власти, что заставила их прибегнуть, во избежание прямых столкновений, к хитростям.

Союз действительно не был намерен терпеливо сносить преследования. В цитируемом письме к губернатору об аресте Шильцова говорится, что это деяние "крайне возмутительно и дает явный повод к мятежу всего местного населения крестьян, ибо такое поведение местных властей явно нарушает и уничтожает манифест 17 октября". Обращаясь с просьбой о немедленном освобождении Шильцова и привлечении к законной ответственности нарушителей "высочайшего манифеста", авторы письма С. Блиничкин и М. Абрамов от имени всех членов союза заявляют: если это требование не будет удовлетворено, "мы найдемся вынужденными в местными властями и полицией делать расправу сами по программе нашего союза"*47.

О непротивлении злу насилием, к которому призывал Толстой, речи нет уже здесь. Принимая близко к сердцу разоблачение писателем гнусностей жизни, на пути борьбы за свои права крестьяне придерживаются иных взглядов.

Под влиянием событий последних дней их решимость отстаивать свои интересы возросла еще более. Вспомнив призыв "просить и просить" в рукописной листовке, обнаруженной в деле N 61, вернемся к словам программы о стремлении "хранить тишину и согласие", и мы убедимся в такой перемене. Действия властей помогли раскрыть глаза тем, которые по прочтении царского манифеста предались чрезмерным иллюзиям.

Вот на это-то крестьянское письмо и наложил свою резолюцию губернатор: "вразумить". Вот для такого-то вразумления и отправились в путь непременный член в надворный советник Фиксен, прокурорский чин Суров, а с ними сотня казаков при офицере.

Их подстегивало донесение земского начальника Соколова, убеждавшее, что требование крестьян - не просто угроза, что они способны на решительные шаги. Это донесение было составлено еще до ареста Шильцова. Соколов трудился над ним в "неприсутственный день" - 1 января: дело не терпело отлагательства. В донесении описывалось, как приехали в Спасское агитаторы от Оренбургской группы социалистов-революционеров, как призывали они с "открытием весны... приступить к распашке владельческой земли", "прекратить с нового года арендные платежи землевладельцам", "не идти в батраки", как затем крестьяне организовали комитет союза в составе Семена и Дия Блиничкиных, Александра Шильцова, Михея Абрамова и снабдили их инструкциями. "Я нашел настроение умов настолько возбужденным, что считаю собрание сходо́в для каких-либо увещеваний с моей стороны бесполезным, - бил тревогу земский начальник. - Словам моим как "барина" и местного землевладельца крестьяне теперь не верят".

Арест Шильцова положение усложнил еще более.

... С появлением в селе казачьей сотни все население оказалось на улицах и стало стекаться к квартире, где остановились непрошенные гости. Требование было неустойчивым: казаков из села вон! Предоставить места для размещения сотни крестьяне отказались категорически, и потребовалось прибегнуть к силе. Не обошлось при этом без стычек, во время которых выдерживались колья из плетней и свистели нагайки. Водворение на постой было закончено только поздно вечером.

На следующий день начались допросы. Одного за другим вызывали в волостное правление крестьян. Увещеваниями и запугиванием докапывались Фиксен и его помощники до сути дела. Чтобы выявить зачинщиков, прибегли к порке. Но и она не ускорила следствие. Удалось заставить говорить лишь немногих. Это, однако, были те, которые и знали не многое.

Тем не менее, непреременный член губернского присутствия продвинулся дальше подтверждения остроты положения. "При дальнейшем расследовании, - писал он в своем докладе, - мною установлено, что во главе движения стоят Александр Шильцов, Семен и Дий Блиничкины. Начало этому движению положено Шильцовым, который, получив от неизвестного человека в г. Оренбурге два номера газеты... с воззванием мятежного характера, в связи с прокламациями такого же свойства, привезенными Дезорцевым и Колчановым (теми самыми агитаторами из Оренбурга - Л.Б.), сумел... убедить крестьян в необходимости стать на защиту своих интересов, результатом чего, как я уже отметил выше, явилось образование 28 декабря 1905 года союза с преступными целями".

Таким образом мы достоверно узнаем о главенствующей роли А.Х. Шильцова в организации Крестьянского союза не только на хуторе Нижне-Аскаровском, но и в Спасском, или, иначе говоря, в двух смежных уездах - Орском и Оренбургском.

Получаем подтверждение и того, что Шильцов и другие вожаки союза пошли дальше выработки программы и, пусть на короткое время, стали представителями крестьянской власти, избранной самим населением и им безоговорочно признанной. "С возникновением союза, - гласил доклад Фиксена, - местные власти (старшина, староста и даже уездная полиция) потеряли всякое значение власти в глазах населения".

Слова подкреплялись действиями.

Удалось ли Фиксену и иже с ним выполнить свою задачу "вразумления" крестьян?

По его докладу, удалось. Но с оговоркой: "В настоящее время до наступления весны необходимо принять самые решительные меры к подавлению возможности возникновения аграрного движения в Спасском и окрестных селах". Нужно ли говорить, что эта "оговорка" начисто зачеркивала утверждение губернаторского посла об успехе его миссии?

Погасить революционный дух крестьян не удалось никакими уговорами и угрозами.

Новую волну протеста вызвал арест Блиничкиными и Абрамова, которым вначале посчастливилось уйти от полиции. Крестьяне оказали сопротивление, пытаясь отбить своих товарищей, вырвать из рук посланцев власти. Исправник Бекчурин под свежим впечатлением только что выдержанной "баталии" и, видимо, не преминул сообщить об этом самому губернатору.

Несколько дней спустя сменивший Соколова на посту земского начальника некий Стрелковский отправил в Оренбург донесение прямо-таки панического характера: "Внутренняя жизнь волости остановилась". Не помогли даже предоставленные земству "особые права" - обращаться при всякой необходимости к оставленной в селе казачьей сотне.

Испытывая невзгоды, подвергаясь всевозможным притеснениям, крестьяне Спасского и Нижне-Аскаровского в массе своей оставались верным принятой ими программе, делу, за которое оказались в тюрьме вожаки союза.

А они, в свою очередь, находясь в камере Оренбургской тюрьмы, хранили верность провозглашенным идеалам. Впрочем, на многое крестьянские вожаки стали смотреть по-иному. Тюрьма стала для Шильцова и его товарищей школой политической закалки.

Не случайно впоследствии Шильцов писал в Ясную Поляну, что в тюрьме он "много понял, с какой подлостью из бедного народа эти все наши начальники пьют остаток крови". И никакой случайности в том, что Александр Харитонович, по его же словам, впоследствии "не мог ничего найти лучшим, как послать... свой листок, написанный в тюрьме".

"Листок, написанный в тюрьме... "Что в нем было? Чем дорог он крестьянину? Не выяснить это - значит оставить "белое пятно" в биографии интересного человека, в его переписке с великим русским писателем.

"ЛИСТОК, НАПИСАННЫЙ В ТЮРЬМЕ"

Тюремные камеры, и без того тесные, казались еще теснее от обилия заключенных. Стремясь сломить революционное движение в губернии, власти обрушивали на рабочих и крестьян все новые репрессии. Вместе с Шильцовым и другими вожаками Крестьянского союза в тюрьме находились руководители Оренбургской социал-демократической организации Славин, Мордовин, Харламов, Джамбурия, группа социалистов-революционеров - Колчанов, Ососков, Дезорцев, участники забастовок, прокатившихся по предприятиям города.

Крестьяне становились свидетелями жарких дискуссий между социал-демократами и эсерами. Они слушали горячие речи, в которых раскрывались различные, порой противоположные, взгляды на жизнь народа, на рабочее и крестьянское движение, на пути и методы борьбы.

Здесь, в тюрьме, Шильцов в первый раз познакомился с программой социал-демократов, которые на своем недавнем, III съезде, проходившем в подполье, заявили, в частности, о поддержке революционных действий крестьян, провозгласили союз рабочих и крестьян для блага всего трудового народа. Главной движущей силой и вождем революции, подчеркнул съезд, может быть только рабочий класс, а его ближайшим союзником - крестьянство. Основное средство свержения самодержавия, утверждали социал-демократы, это всенародное вооруженное восстание.

В тюрьме Шильцов постиг и начала политической экономии, позволившие ему впоследствии анализировать труды Генри Джорджа, и начала философии (вспомним, как естественно звучат в письме к Толстому рассуждения о взаимной связи и обусловленности явлений, как оперирует словами "метафизический бред").

Именно в тюремной камере получил он навсегда запомнившиеся уроки солидарности рабочих и крестьян.

Социал-демократы - и находившиеся в тюрьме, и оставшиеся на свободе - позаботились о том, чтобы по всей губернии узнали о требовании крестьян, о беззаконии, чинимом над ними.

Перелистаем комплект газеты "Оренбургский край" за 1906 год. Заметки о следствии по делу вожаков Крестьянского союза, вернее Заметки о следствии по делу вожаков Крестьянского союза, вернее о содержании их в тюрьме без всякого следствия, чередуются с сообщениями из Спасского. Они не всегда прямо - по условиям цензуры, но тем не менее говорят об одном: о стремлении народа к свободе, о попрании его прав.

Вот одно из сообщений.

"На днях произошло характерное для переживаемого момента объяснение земского начальника с крестьянами. На сходе земский начальник говорил о Государственной думе, о выборах в нее и о принятии участия в этих выборах местного крестьянства. Со стороны крестьян последовало заявление, что они из своей среды лучше выбрать не могут, как Блиничкина, а он арестован властями и сидит теперь в губернской тюрьме; пусть он будет освобожден и едет в думу". Иначе "никого выбрать не могут и не хотят выбрать, пусть полиция сама посылает и кого знает". Земский пригрозил, что оставит у них казаков, пока крестьяне не приступят к выборам. "На этом же сходе, - говорится далее, - земский начальник поднял вопрос об устройстве двухклассной школы. На это крестьяне ответили, что таковой школы у себя вводить не желают, так как при существующей здесь одной церковно-приходской школе двое крестьян, - Шильцов и Селиничкин (описка: Блиничкин - Л.Б.), окончившие эту школу, взяты в тюрьму только благодаря тому, что они грамотны. "Что будет, когда у нас введут двухклассную школу?" - спрашивают крестьяне и с горькой иронией говорят: "Тогда, пожалуй, полсела заарестуют?"*47.

В следующий раз газета рассказала о поведении казаков в селе после ареста крестьянских вожаков. "Поведение казаков обычное, достойное таких казачьих учителей, как Орловы, Алихановы, Меллер-Закомельские... Григорий Юнцов, из запасных, воротился с Дальнего Востока. С радости пел песни - нагайка и 5 суток ареста. Кузнецова Ивана казак угостил палкой до беспамятства. Командир сотни Шевченко заставил обидчика и обиженного поцеловаться... Крестьянин Кулюков (безрукий) обращался к казакам: "Не пугайте детей Блиничкина". Нагайки... Вступает за Кулюкова Гордей Юркин - шашкой по лбу. Крестьяне настолько терроризированы, что к женам заключенных боятся ходить даже для оказания им материальной помощи"*48.

Пользуясь советом более опытных соседей по тюремной камере, именно в это время прибег к печатному слову и сам Александр Шильцов. В "Письме в редакцию", обращаясь к "сочувствующей и правдивой публике", автор письма - "политический заключенный крестьянин с. Спасского" - коротко излагает цели Крестьянского союза, обстоятельства ареста его вожаков, а затем пишет: "По нашему делу началось следствие, а когда окончилось, то его начали повторять слова, и так мы, вероятно, будем сидеть до второго пришествия; между тем, скудный хозяйственный быт, собранный многими десятками лет, без нас приходит в полное разорение... Наши дети непременно в скором времени станут помирать с голоду, и, как нам слышно, все это творится по инициативе крупных землевладельцев нашей местности, заручившихся сотнею казаков, расквартированных по лачугам нашего села... Сожалея бедных своих малюток-детей и желая облегчить их участь, мы просим и желаем, чтобы скорее покончили с нашей жизнью, как это делается на основании языка; по крайней мере нашим несчастным женам явится возможность вступать во второй брак и наши дети не помрут с голоду, а будут иметь кормильцев-отцов; в противном случае мы смерть себе найдем и сами, только пусть ответственность за самоубийство падет на наших врагов"*49.

Это письмо, датированное 15-м апреля, появилось в "Оренбургском крае" десять дней спустя - 25-го. По всей вероятности, задержка произошла из-за трудности передачи письма на свободу, а также по условиям цензуры.

Но уже через два дня после публикации, как сообщалось в газете, в редакцию был доставлен "за 70 подписями протест по поводу бесчеловечного отношения местной администрации к политическим заключенным"*50.

С "воли" приходили вести о протестах рабочих против произвола властей, которые без суда и следствия держали в тюрьме лучших представителей народа. Чем ближе подходило Первое мая, тем громче становились требования - освободить томившихся в застенках рабочих и крестьян. Это поднимало дух заключенных. 1-го мая генерал-губернатор фон Таубе, вице-губернатор Эверсман и другие представители власти решили поздравить арестованных с пасхой, но в камере, где сидел Шильцов, их встретили игрой в чехарду. Зато позднее из окон этой и других камер политических заключенных появились флаги. Они были сделаны из красных рубах, которые нашлись среди арестантского скарба.

Тот день и принес, вероятно, окончательное решение о голодовке протеста. О ней, как об одном из испытанных средств борьбы за свои права, не раз говорили социал-демократы.

О ней писал Шильцов в своем письме в газету.

Голодовка! Да такая, чтобы узнали все, чтобы зажгли сердца друзей и пришли в трепет власть предрержащие.

Она началась 16 мая, когда назначенный заключенными срок решения их участи и, в частности, безоговорочного освобождения крестьянских вожаков, оказался нарушенным.

... "Политические заключенные объявили голодовку".

... "Второй день голодовки в оренбургской тюрьме".

... "Пятый день голодают в тюрьме бойцы за дело народа".

... "Сегодня шестой день голодовки политических заключенных".

Это, последнее, сообщение газета "Степь" поместила 21 мая под самым заголовком, броской "шапкой".

Силы политических таяли, они не помышляли о сдаче. Поддерживая друг друга, заключенные отвергали предложения принять еду до того, как будут удовлетворены их требования.

22 мая... Седьмой день голодовки... В Зауральной роще сошлись представители разных предприятий. У всех одна мысль, одна тревога: как товарищи? не убьет ли их голод? почему молчат власти?

Посланные для выяснения вопроса задержались.

- Пойдем к тюрьме! - предложил кто-то.
- Потребуем ответа! - поддержали его.
- Свободу товарищам!
- Пора прекратить голодовку!
- К тюрьме! К тюрьме! - пронеслось по всей поляне.

Шли спокойно, мирно. В пути к идущим присоединялись другие. Ряды стихийно возникшей демонстрации росли. На Кладбищенской улице, ближе к тюрьме, чей-то звонкий голос зашел: "Вы жертвою пали в борьбе роковой". Песню подхватили, и она взлетела над улицами, над городом.

К тюрьме пришло около двух тысяч человек. Они остановились перед мрачным зданием, обнесенным высокой оградой с колючей проволокой. Взгляды обратились к окнам.

За решетками появились лица... Они!..

- Здравствуйте, товарищи, мужайтесь! - с волнением крикнули из толпы.
- Товарищи, мы пришли просить вас прекратить голодовку, - раздался другой голос. - Берегите ваши дорогие жизни, они еще нужны для дела свободы. Час искупления близок!

Несколько человек вышли из рядов, чтобы передать тюремной администрации требование об освобождении политических заключенных.

- Бей их, руби, стреляй! - вдруг закричал помощник полицейского мастера Волженцев, повернув багровое лицо к казакам, цепью стоявшим против безоружных людей.

Раздались выстрелы. Кто-то вскрикнул. Кто-то упал. Люди бросились назад. Казаки на конях врезались в толпу, засвистели сабли и нагайки. Дворе рабочих - И.Т. Скоков и М.Н. Золотухин - были убиты, многие получили увечья и раны...

Александр Харитонович Шильцов видел это своими глазами. Насадив на прут клочок красной материи, он, обессиленный от голодовки, старался выше поднять этот маленький, но далеко видимый флаг. В ярости сжимались кулаки. Сколько жить доведется, не забудет он этого расстрела безоружных, этого разнузданного произвола. Не сдаваться, а бороться за свои права, за свободу!

... "Оренбургская земля полита кровью, дымящейся, человеческой кровью. Несколько жизней принесено в жертву кровавому Молоху тирании. Невежественные, забитые, тупые слуги старого порядка убивают мирных граждан только за то, что те не скрывают своих человеческих чувств к своим замученным братьям, только за то, что люди осмеливаются одобрить борцов за свободу, голодающих уже неделю в застенках бесправия...

Пролитая кровь откроет слепым глаза, глухие услышат и немые заговорят... Эта кровь научит и подскажет..."

Так писала газета "Оренбургский край", взяв всю первую страницу номера 24 мая в траурную рамку.

А на следующий день весь трудовой, рабочий Оренбург хоронил жертв кровавого произвола. Пять-шесть

тысяч человек провожали их в последний путь, и никто не мог воспрепятствовать этому шествию. Шестнадцать венков было возложено на свежие могилы. Они взывали к справедливости, к борьбе за человеческие права*51.

Еще через два дня в газете появилось сообщение: "Трое (ошибка: четверо - Л.Б.) крестьян, сидевших в местной тюрьме по делу о пресловутом "Крестьянском союзе", выпущены до суда. Остальные заключенные, принимавшие участие в голодовке крестьян из солидарности, продолжают сидеть"*52.

Выпущенные "до суда" Шильцов и его товарищи перед судом так и не предстали: власти не решились подвергнуть себя новому риску разоблачений и протестов.

Но на процессах, которые происходили осенью 1906 - зимой 1907 года над другими политическими заключенными, не раз упоминались и имена спасских крестьян. В своих речах Джамбурия, Славин и другие говорили о беспросветной нужде крестьянских масс, об их угнетении и обмане. Через головы судей они призывали сельских тружеников-горемык не покоряться своей доле, а вместе с пролетариями бороться за землю, за свободу, за право распоряжаться своей судьбой.

Подсудимые были приговорены к разным срокам заключения в крепости...

В поисках сообщений о судьбе революционеров, сидевших вместе с крестьянами и сыгравших такую важную роль в их политическом воспитании, довелось просмотреть несколько комплектов местных газет. В одном из декабрьских номеров оказалось стихотворение "Заключенный". Оно заканчивалось теми строками, которые наизусть читал в Саракташе сын Шильцова - Иван Александрович.

Вот это стихотворение:

*О, как скучно и душно без воли!
В ненавистной тюрьме как темно!
Изнываешь в тяжелой неволе,
Божий мир будто помер давно!
Стены старые в угрюмой окраске
Кроют от взоров моих
Жизнь молодую и теплые ласки,
Жутко и холодно в них.
Только и слышно, за стеною
Робко пройдет часовой,
Видишь в решетке окна над собою
Неба клочок голубой.
Капля по капле все тянутся ночи,
Новая ночь впереди...
Тихие слезы щемят мои очи,
Сердце трепещет в груди.
Где-то далеко семейство осталось,
Куча детей и жена.
Тщетно она так по мне убивалась,
Тщетно просила она.
Взяли меня бюрократам в угоду.
В злую тюрьму повели.
Что же я сделал? Сказал лишь народу:
"Воли вам нужно, земли"...*52*

Вслед за подписью "Крестьянин" шла приписка: "Настоящее стихотворение написано одним крестьянином во время его заключения (в апреле с.г.) в Беловской тюрьме".

"Листок, написанный в тюрьме"?..

Но исключено ли, что публиковались и другие стихи Шильцова? В том, что в конверт было вложено именно стихотворение, свидетельствует признание, сделанное в письме к Толстому: "пробовал было писать стихи". Первое опубликованное произведение, тем более написанное в застенке, автору дорого особенно.

Его же стихотворение оказалось и в одном из следующих номеров. Оно называется: "Товарищам, приговоренным судом к крепости". Это отклик на судебный приговор над теми, с кем Шильцов делил тяготы заключения в губернской тюрьме. Приговор был вынесен в декабре. Значит, к числу "тюремных стихов" второе стихотворение причислить нельзя. Но как хорошо передает оно настроения, мысли крестьянина, чью волю, чей боевой дух не могли сломить никакие испытания!

Приведем его, чью волю, чей боевой дух не могли сломить никакие испытания!

*Приведем его, как и первое, полностью:
Товарищи!.. еще вчера
Надежда ясная горела:
Вас встретить, нам сказать ура, -*

*Сегодня ж вся она истлела;
И подсудимая скамья
Еще сильнее запестрела...
Вчера мой дух, моя любовь,
Моя свободная идея
Мне волновала в сердце кровь
И к вам летела, словно фея...
И вот теперь я вижу вновь,
Что то была лишь ахинея...
Сердечный стон
Со всех сторон
Вас в заточенье провожает;
В тюремный дом
С глухим окном,
Где часовой всю ночь шагает...
Но близки дни,
Мелькнут огни
И засияет ваша слава.
Не грома звук,
Не пушек стук,
А гимн раздастся величаво...
Чем больше мук -
Тем больше рук
Врагам готовят чашу мщенья.
Пусть льется кровь,
Пусть мрет любовь,
Пусть все скроет злая тишина...
Опять, опять
Восстанет рать
И на врагов взмахнет "Дубина"*53.*

Других стихов Александра Шильцова в оренбургских газетах обнаружить не удалось. Это еще более укрепляет в выводе, что "листком, написанным в тюрьме" и посланным впоследствии Толстому, было именно то, первое печатное, стихотворение "Заключенный".

РОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

Александр Харитонович стал одним из первых сельских корреспондентов в Оренбургской губернии.

Увидеть, понять те большие возможности, которые открывает печать в борьбе за интересы народа, помогли ему товарищи по заключению.

Возвратившись на свой хутор, Шильцов не забыл газеты, опубликовавшей его письмо из тюремной камеры. Он начал писать о жизни крестьянства, о том, что его волновало.

Уже через несколько дней после освобождения из тюрьмы "Оренбургский край" напечатал сообщение Шильцова о первых его впечатлениях.

"Урожая в нашей волости предвидится плохой, т.к. ранние посевы почти выгорели вследствие бездождия, особенно на возвышенных местах, а в лощинах всходы, достигнув четверти вышины, начали уже колоситься. Стоит жара. Дождей нет. Настроение среди крестьян унылое"*54.

Пока только факт - ничего больше. Но проходит немного времени, и голос сельского корреспондента обретает силу.

"С каждым годом рушатся крестьянские хозяйства, - пишет он, - с каждым годом горемычная нужда бедных тружеников вышибает из колеи и обращает их в пролетариев. В урожайные годы всячески еще терпят кое-как крестьяне, а как выпадает неурожайный годок, ну и крышка; крестьяне голодуют, голодает и скотина. По своему легкомыслию крестьяне говорят: "Что бог не дает, домовою не любит". В сущности же, если присмотреться хорошенько, то напрасно крестьяне вину возлагают на невинных. Вот крестьяне ближайших хуторков и деревень принялись за вывозку дров на винокуренный завод Оглоцкого. Трудятся, мают себя, мают своих тощих лошадей, а никакой нет пользы; вычищают и рубят свои последние лесочки, нанимаются к помещикам вываживать из лесу дрова и бревна, а за работу на чай не хватает..."*55

Тут уже попытка осмыслить и положение, и его причины. Дело, говорит корреспондент, не в "боге", а в тех,

которые забили крестьян, держат их под гнетом. Они всему виной, с них и спрос.

В еще большей степени настроения крестьян выражены в помещенном газетном отклике А. Шильцова на одно из предыдущих выступлений "Оренбургского края" - фельетон "Рассказ станового пристава".

Начав с утверждения, что подготавливаемая в аду конституция (о которой шла речь в фельетоне) "не должна получиться весьма лучше русской", Шильцов просит поместить его письмо в газете в надежде, что оно донесет до ада и до слуха Вельзевула "о горемычной участи моей жизни при открытии нашей русской конституции".

"В прошедшем году, 17-го октября, с изданием русской конституции нам дарованы свободы, - говорится в письме. - Веря этим свободам и как человек, всегда придавленный нуждой, я также вздумал поднять свой голос и открыто сказать, я также вздумал поднять свой голос и открыто сказать, что земля, как наша мать, должна принадлежать тем, кто обрабатывает ее своими собственными трудами, а не тем, кто покоится на чужом труде. И вот меня за эти слова, свободолюбивые слова, наше русское начальство подвергнуло тюремному заключению".

(Нельзя не обратить внимания на то, что многие слова и обороты речи из этой, написанной для газеты, заметки полтора года спустя были повторены Шильцовым в первом его письме к Толстому).

"Просидев шесть месяцев в тюрьме, - продолжает автор, - по возвращении домой я свое хозяйство нашел в крайнем разорении. Я узнал, что жена и дети переносили без меня и холод и голод. Чтобы поддержать семью и спасти ее от нищеты, я вынужден был за 15 рублей в месяц продать свое живое тело".

Что рассказывал об этом периоде жизни отца Иван Александрович? Да, он нанялся объездчиком леса к Оглоткову и обязан был, по должности своей, ловить крестьян, которые занимались самовольной рубкой. Но, как утверждали все, защищал он отнюдь не интересы владельца.

"Живя в должности и не вникая ни в какую политику, я думал, что со всей местной администрацией и полицией удастся покончить счет. Но оказывается, что все покончить при настоящих условиях жизни никак нельзя: на каждом шагу встречаются шпионы и за каждое слово намереваются в тюрьму или же сослать в холодную Якутку. Запоешь иногда с горя или с радости какую-нибудь песню в виде "Ваньки-разудалого", а там уже говорят: "Марсельезу" пел". Ну прямо-таки жить нет никакой возможности!.."

И вот... "Я и порешил продать все. Но так как у меня продана и жизнь, то я решил в будущую загробную жизнь продать и свою душу. За честность ее могу ручаться, а если покупателям будет сомнительно, то после смерти моей несколько лет душу мою могут продержать в аренде, и когда только убедятся, то могут взять в вечное владение. А так как этим материалом, как мне известно, торгуют одни лишь черти да наши попы, что мне и хотелось бы по сему предмету переговорить с адом или русскими попами. Прием у меня во всякое время дня и ночи; цена недорогая; при ряде чтобы был могарыч. С почтением остаюсь - бедный крестьянин"*56.

Даже ничего более не зная об авторе, можно было бы поручиться за честность его души. Подкупают прямота в обличении душителей свободы, открытое презрение к тем, кто дурманит умы народа. В их адрес направляется злой, разящий сарказм письма.

К чести редакции надо сказать, что она не только сохранила сатирическую остроту этого непосредственного отклика, но и сумела усилить ее своим примечанием. Обращаясь к "бедному крестьянину", редакция отметила, что "честных душ, упомянутых вами, покупатели не покупают, а только лишь бесчестных, которые с избытком предлагаются черносотенными союзами "истинно русских людей", "правопорядцами" с попом Руднянским во главе". Газета предложила побережь душу для иных целей. "И то не продавайте, а так отдайте, не щадя своего живота, на пользу нашей истерзанной родины-отчизны".

Именно к этому и стремился Шильцов. Он остался верен интересам народа, за которые сидел в тюрьме, и в обстановке нараставшей реакции продолжал бороться своим словом - словом правды.

Зима 1906-1907 годов была исключительно тяжелой для крестьян. Чтобы не умереть голодной смертью, они за бесценок отдавали последние остатки скота, уходили на заработки, шли в батраки. К весне голод усилился. Страх за свое будущее усугублялся тем, что нечем было сеять. Правительство решило выказать свою "доброту" и объявило о помощи крестьянам. Но было это лишь жестом - не более.

"Сколько Гурков и Лидвалей*57 у нас в России пользуются правительственной ссудой, но только этой ссуды мало попадает в голодные животы бедняка-крестьянина, - читаем в одном из апрельских писем из хутора Нижне-Аскарковского. - Дадут на каком-нибудь хуторе дворам двум-трем ссуду, а остальные пусть терпят. Да и ссуда-то можно сказать разрешается только тем, у кого карман потолще, да кто умеет с начальством обойтись"*58.

В подкрепление этого корреспондент рассказал, как приехал на хутор старшина 1-й Усергановской волости, переписал едоков и их имущественное положение, а ссуду выделил только тем, кто больше дал "на угощение".

"Подходит время сева, а сеять что будут? - спрашивает он. - От земли земля и родится".

Для характеристики политических взглядов Шильцова очень важным представляется другое письмо, напечатанное в те же дни. Его стоит привести полностью.

"Давно в среде крестьянских масс росло зло, посеянное искони веков помещиками, но правильно понять это зло благодаря своей темноте они не могли, и им никто не говорил, кто их враг и кто друг и товарищ.

В настоящее время, благодаря революции в стране, крестьянин прозрел. Когда была созвана Первая дума, несчастные, замытаренные нуждой крестьяне собирались группами обсуждать свою горемычную жизнь,

устраивали сходы, писали грамоты и указы с изложением всех своих нужд, стараясь направить их в думу, чтобы еще лишний раз напомнить своим избранникам, чего им добиваться, за что стоять... Но Первую думу разогнали и из крестьянской массы стали вырывать людей и садить их в тюрьмы, запугивать полицией. Крестьяне теперь совсем изверились в правительстве, хотя по деревням и ходит много правительственных книжонки и брошюрок, в которых неизвестные борзописцы пытаются убаюкивать крестьян в истинно-русском духе.

С открытием Второй думы крестьяне совсем перестали устраивать свои митинги и выяснять свои нужды, ибо вполне узнали, что одной бумагой да лишним поклонцем своей нужды не убьешь, а только угодишь в тюрьму. Им также хорошо известно, что в думе есть люди стойкие, беззаветно преданные народу, но этим людям правительство строит козни и зажимает рты своими дряхлыми уставами и законами"*59.

Комментарии здесь не нужны - письмо достаточно ясное. Но одно его место стоит подчеркнуть. Это - последние строки. Кого имеет в виду автор, говоря о стойких, преданных народу людях?

Центральным вопросом, поставленным на обсуждение Второй думы, был аграрный вопрос.

- Никакого увеличения площади крестьянского землевладения! - вот к чему свелись взгляды октябристов, монархистов и других "правых".

"Уничтожение частной земельной собственности явилось бы величайшей несправедливостью, покуда существуют остальные виды собственности, движимого и недвижимого имущества!" - заявил депутат от партии так называемой "народной свободы".

Кадеты, идя на сделку с царизмом, отказались от требования отчуждения части помещичьих земель за счет казны, предложив возложить уплату за эту, отчуждаемую, землю на крестьян. Меньшевики по сути дела поддерживали кадетов.

Тем большее впечатление на крестьянских депутатов, на всю крестьянскую массу произвела речь большевистского оратора. Впервые с думской трибуны в этой речи был выдвинут лозунг конфискации помещичьих земель и провозглашен призыв к крестьянам взять решение земельного вопроса в свои руки. ... Пожелтевшие от времени газетные листы непосредственно подводят к шильцовским письмам к Л.Н. Толстому. К большому разговору-спору крестьянина Александра Шильцова подготовила вся его жизнь.

ХУТОР НЕЗАВИСИМЫЙ

С интересом слушал Иван Александрович отчет об архивных поисках и находках.

Тогда, во время его рассказа, мне думалось: почему историки, литераторы раньше не заинтересовались этой судьбой? по какому праву отдали мы ее тиши архивов? Видно, богата, невероятно богата земля русская - в истории своей и ныне - людьми замечательными, и не так-то просто дойти до каждого. Не просто, но - необходимо. Чтобы еще лучше знать свое прошлое, еще активнее строить будущее.

- Мало знал я о своем отце, - сказал мой собеседник. - Он скупко говорил о себе, о своих заслугах, а когда и рассказывал, то почти не употреблял "я". Не любил показного. Так-то и получилось, что даже в семье знали о его прошлом не много. Хотя Настя наверняка припомнит больше - она ведь старше меня на целых десять лет. Да и старики-хуторяне живы...

Дорога, которая ведет в Нижне-Аскарковский, ранее называлась Преображенским трактом и служила главной почтово-транспортной магистралью нескольких волостей. По ней-то везли письма из Ясной Поляны, книги, которые послал безвестному крестьянину знаменитый писатель, а в обратный путь - листы, исписанные Шильцовым, полные его тревожных раздумий о жизни.

Прежде чем удалось достигнуть конечной цели поездки, пришлось дважды пересаживаться из саней в сани - в Петровском и Андреевке, ощутить спуски и подъемы уральских холмов, сменивших собою равнину, увидеть снежную степь и в ранних зимних сумерках, и в первом свете звезд.

Был уже поздний час, когда сани, оставив позади длинную и темную хуторскую улицу, перекатали через овраг, взлетели на косогор и остановились у небольшого домика.

На стук в окне зажегся огонек. Он не гас за полночь, а затем снова появился рано поутру.

И Анастасии Александровне, старшей дочери Шильцова, и мужу ее Алексею Степановичу Суркову, коренному хуторянину, было о чем рассказать.

Но не только они участвовали в этом разговоре. В нем слышался голос и Ивана Александровича, вручившего мне перед отъездом несколько страниц своих записей в ученической тетрадке, и Екатерины Александровны, письмо которой прибыло накануне поездки и было прочитано только здесь.

О ней вы еще не знаете. Речь идет о второй из здравствующих дочерей Шильцова - Е.А. Куропаткиной. Она живет в Ташкенте.

Так и получилось, что с памятными местами меня знакомили как бы одновременно все представители старшего поколения этой семьи. То, что упускал один, восполнял другой. Из отдельных штрихов складывалась достаточно цельная картина.

Изба, в которой жила семья Анастасии Александровны, была сложена и ухожена руками Александра

Харитоновича. Стояла она в чудесном месте. Тут и лес, и речка. Для человека, который любит природу, - сущая благодать. Еще по душе Шильцову было то, что место под постройку ему не пришлось ни покупать, ни арендовать, и потому чувствовал он себя здесь независимым.

- Независимый? Так назвал он место жительства, когда писал Толстому.

- Нравилось отцу это слово, - сказала Анастасия Александровна. - Сам и название дал. Ни в каких книгах оно не значилось, а окрест знали. И на семакинской почте знали. Письма доставляли в исправности.

- Но почему...

- Башкиры, говорил он, уважили, - с полуслова поняв вопрос, ответила женщина. - В дружбе с ними был, в большой дружбе.

"Вы спрашивали насчет Независимого, - вносил ясность Иван Александрович, - Нижне-Аскарковский тянулся до оврага "Кайракла". Хуторские жили на земле, купленной у башкирских баев. Отец же поселился за оврагом, на земле даровой. Такая привилегия была оказана ему как грамотному человеку, который всегда охотно приходил на помощь другим: давал советы, писал прошения, составлял кассационные жалобы. Башкирская беднота относилась к нему с уважением, а богатеи побаивались. Вот он и получил безвозмездно участок за оврагом. Это был, правда, бугор, который не прельщал никого, так как считался землей неудобной, но отец радовался - купить землю не было у него никакой возможности. Позднее, по той же дружбе, ему бесплатно выделили десятину сенокосных угодий. Домик на склоне бугра, перед лесом и рекой, до самой революции оставался здесь единственным. Потому-то отец и назвал свое местожительство хутором Независимым. В этом названии чувствовался вольнолюбивый дух, и потому оно было ему дорого".

Свидетельства совпадали. Происхождение названия, указанного в письме к Толстому, можно было считать выясненным. Маленькую географическую загадку удалось раскрыть. И если географию это не обогатило, то для выяснения обстоятельств жизни Шильцова, обстановки, в которой он писал свои письма, являлось важным.

Отсюда, с хутора Независимого, Шильцов был взят в тюрьму. Сюда же он вернулся после освобождения.

Вернулся не сломанным, а еще более уверенным в своей правоте, не изверившимися в силе крестьянских масс, а пуще прежнего убежденным в том, что она велика. Но теперь он твердо знал - эта сила одержит победу лишь тогда, когда соединится с силой рабочего люда.

Внешне жизнь Шильцова изменилась мало.

- Места наши природа не обидела, - сказала Анастасия Александровна. - Веселая, бурливая речка, в лесу - и тополь, и осокорь, и липа, и береза. А отец большим был любителем до всего этого.

- Мало сказать любителем - знатоком! - добавил Алексей Степанович. - Будто сама природа ему на ушко все свои секреты поведала. И рыбы, и птички, и зайчишкины повадки знал доподлинно.

"Сказал, что едет за подустом к обеду, знай: и кушать эту рыбку будем, - вплелись в разговор строчки из письма Екатерины Александровны. - Хорошо было ему известно, какую рыбу и какой снастью ловить. Снасть делал сам, и лодка у него тоже была своей работы".

А что скажет Иван Александрович?

Заглядываю в тетрадку:

"Охота, рыбалка кормили нашу семью. Но отец видел в них не только средство к существованию. Без общения с природой он не мог жить. Круглый год измерял уровень воды в Ике, вел записи, выводил заключения. Когда увлекся пчеловодством, мог часами рассказывать о пчелиных нравах. К его ульям приходили учиться из окрестных сел. Ульи эти отец делал сам. Вообще он был мастером на все руки - что столярничать и плотничать, что сапожничать. С увлечением работал на поле. Выйдут они с матерью косить серпом, так никто за ними не поспевает. Станет отец с косарями, так по нему и равняйся. С песней работал. Только невеселыми были песни, когда приходилось для богатеев стараться..."

Песня... В ней душа народа. Все-все способна выразить, передать песня русского человека!

Анастасия Александровна вполголоса напевает любимые песни отца.

Прежде всего, Некрасовскую:

*Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,*

У подъездов судов и палат.

- Будто сердцем самым пел ее, - задумчиво говорит женщина. - А эту, другую, он впервые услышал в тюрьме:

*Пыльной дорогой телега катится,
В ней по бокам два жандарма сидит...
Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить!..*

- Были песни веселее мотивом, - вспоминает она. - Но содержание их оставалось таким же. Ни о чем ином, кроме как о горькой крестьянской доле, ни думать, ни петь он не мог. Помню такую... Ее сочинил сам отец.

*Стонут-плачут мужичишки-бедняки,
Обижают мироеды-богачи,
Мочи нет, терпенья нет, пришла беда,
Все начальство стали плуты без стыда.
Обирают все до нитки, до гроша
И кутят на наши деньги, не спеша.
Но постой, настанет время, придут дни,
Соберем большую силу тогда мы
И дубинушку заветную возьмем
Распроклятых дармоедов уберем.*

Он пел эту песню весело, а когда кто-то из хуторян сказал, что, мол, про горе так не поют, ответил: "Не горю радуюсь - дубинушке!"

- Эту песню все наши старики помнят, да еще с другими куплетами, - добавил Алексей Степанович. - Можно спросить соседа, Меркушова...

Тихон Алексеевич Меркушов действительно кое-что припомнил.

- Тут про попов ничего не записано. А Шильцов никак обойти их не мог. Вот как он про них сочинил:

*Мужичок наш терпеливый; все равно
Он и с чертом уживется заодно.
А подчас перед богатым согрешит,
Так попу пудовку хлеба отвалит.
Тот замолчит и грехи его простит...*

Знал ихний нрав Александр Харитонович. Не терпел обмана - ни от царя, ни от бога...

В песнях Шильцова, как и в письмах его в газету, жил не сломленный дух бунтаря-правдолюбца, готового, если потребуется, взяться и за "дубинушку".

Долгие беседы в тюремной камере помогли ему сорвать со своих глаз черную пелену: веру в "божьего помазанника" и "самого" бога, с утверждения которой еще в конце 1905 года начиналась программа Крестьянского союза.

Из тетрадки Ивана Александровича: "От бога отец категорически отказался. Правда, по настоянию матери, якобы от людей, в прихожей висела икона. На ней было изображено каких-то двое святых. И вот деревянная икона - видимо, от резкой перемены температуры - лопнула на две части. Никто из семьи не обращал на это внимания. Однажды, при очередном обходе хуторян, поп пришел к отцу и сделал еще одну попытку доказать незыблемость религии. Но ответ был твердым: "Вы проповедуете смирение, тогда как среди вас самих идет борьба за ясу". А потом пошутил: "Чего говорить, если даже ваши святые не могут ужиться в ладу на одной дощечке и разорвали ее надвое". Увещевания не помогли, поп ушел посрамленный, а слух об отцовском ответе разнесся не только по нашему хутору, но и подальше".

Из письма Екатерины Александровны: "Сам над собой смеялся, что был когда-то религиозным. Когда вышел из тюрьмы, в бога уже не верил и нас, детей, закону божьему не учил. Вместо псалмов всяких, учил он нас читать хорошие книги, понимать природу да петь песни. Знали мы, к примеру, "Марсельезу".

- У многих веру в бога подорвал, многим глаза раскрыл, - говорит Анастасия Александровна. - Часто собиралась у нас молодежь, и допоздна не утихали разговоры. Однажды я услышала о Толстом. Отец рассказывал, что Толстой требует передачи земли тем, кто на ней работает. Еще удивилась: граф, а за мужиков. Спросила. А мне в ответ: это мудрый человек, Настя, он наше горе понимает. С того времени про Толстого приводилось слышать все больше.

Из письма Екатерины Александровны: "Частенько отец уходил в Спасское, где жили его товарищи по Крестьянскому союзу и тюремным мытарствам. Были у них, как тогда называли, сходки..."

Сходки - а вернее заседания кружка, в котором состояли самые активные из крестьян, - проводились в разных местах, но чаще всего в Крутом яру, неподалеку от Ика.

Всевозможными путями добывалась литература, и здесь сообща читали такие книжки, как "Пауки и мухи", "Мужичок-беднячок" и другие, разоблачавшие эксплуатацию трудового народа, помещичий гнет.

Много толков вызвало, например, "Письмо к крестьянину о земле". Маленькая статья Льво Толстого, выпущенная издательством "Посредник", разъясняла проект Генри Джорджа. "Единый налог", предложенный американским экономистом и популярно растолкованный писателем, привлек внимание.

Нередко, особенно после того, как Шильцову или кому-то из его товарищей доводилось бывать в Оренбурге, появлялись в кружке газеты и листовки. Они отличались тем, что не только клеймили политику царизма и разоблачали происки ее приспешников, но и указывали пути борьбы.

Шильцов запевал, а другие присоединялись к его песне:

*С незапамятных пор
На российский престол
За скотиной восходит скотина,
А наш русский мужик
Все поет про дубину.
Эх, дубинушка, ухнем!..*

Александр Харитонович и его товарищи вели работу по налаживанию связей со свободомыслящими людьми окрестных сел и хуторов. Узнали они, например, о работе кружка в селе Семакино. Руководила им учительница Носкова, активно просвещавшая крестьян. Укрепилась дружба с управляющим волостным поземельным банком Николаем Николаевичем Циолковским - человеком, сочувствовавшим беднякам и стремившимся им помочь.

Для характеристики взглядов Циолковского важен такой факт: в одном номере с шильцовским стихотворением "Товарища, приговоренным судом к крепости" были опубликованы "Песни времени", под которыми стоит подпись "Н. Циолковский". Автор с большим уважением писал о борцах за свободу. Следует сказать, что при помощи Циолковского удалось наладить пересылку из Оренбурга в Спасское нелегальной литературы: корреспонденция "барина" не подвергалась той проверке, какую проходило все, что шло в адрес крестьян, да еще бывших на подозрении.

О том, что за ними следили, свидетельствует скорый конец кружка. На одно из заседаний нагрянули стражники. Правда, наученные на опыте Крестьянского союза Шильцов, Блиничкины и другие теперь старались соблюдать конспирацию и для безопасности выставляли верных людей. Но стражникам все же удалось проникнуть к яру. В завязавшейся стычке один из них получил удар по голове и свалился в беспомощности. Большинство членов кружка было схвачено: либо на месте, либо позднее, в селе. Крестьян подвергли порке. Семен Блиничкин, которого захватили с "вещественным доказательством" - толстым колом, оказался перед судом и был отправлен на каторгу. К высылке в отдаленные места приговорили и другого Блиничкина.

Шильцову посчастливилось ускользнуть сначала от стражников, а затем и от судебной расправы. В ночь после провала он тайком ушел из Спасского, на допросах товарищи его не выдавали, и благодаря этому удалось избежать участи, которая готовилась местными властями прежде всего ему.

Нужна была твердая воля, чтобы и после провала, случайно оставшись на свободе, не отказаться от прежней деятельности.

Шильцов не отказался.

Он связался с кружком в Семакино и, по воспоминаниям, бывал на его заседаниях. При помощи одного из членов этого кружка, заведовавшего почтовым отделением, Александру Харитоновичу удалось еще более укрепить связи с оренбургскими пролетариями. Революционная литература доставлялась сюда сразу же, как только появлялась в губернии. Чаше прежнего писал он в газету, стараясь высказать все, что волновало крестьянство. Цензура, ясное дело, не давала возможности говорить полным голосом, но и то, что публиковалось, было весьма смелым. Об этой стороне жизни Шильцова рассказано в предыдущей главе. - В это время отец служил объездчиком у помещика Оглоткова, - напомнила Анастасия Александровна. - При объездах он много говорил с людьми.

Из письма Екатерины Александровны: "Слышала я, как отец разговаривал с мужиками насчет земли. Он часто упоминал Толстого, с жаром подчеркивая, что этот большой человек стоит за то, чтобы земля была в пользовании всего народа, притом на равных правах. Упоминал и социал-демократов - того, мол, добиваются люди, чтобы земля была отдана крестьянам. Кто-то начал повторять побасенки, что социалисты - еретики, против бога идут, а Толстой анафеме предан, небесами проклят. Тут отец рассердился и говорит: много дал тебе бог? видел когда, чтобы попы за народ были, а не богатеям... лизали? Там, где когда-то были иконы, он повесил портрет писателя. Тот, где Толстой в рубашке, подпоясанный шнурком".

Из тетради Ивана Александровича: "Помню, было у нас много книг Толстого - и больших томов, и маленьких брошюр".

- Над какой-то книжечкой отец долго сидел с карандашом, - сказала Анастасия Александровна. - Мать спросила:

"Доходы подсчитываешь?" "Доходы", - ответил. А потом пояснил: "Вот тут говорится, чтобы все, кто землей пользуется, равно за нее платили. И помещики, и мужики. Я и считаю, сколько Эверсману платить придется. Пожалуй, откажется..." Он засмеялся, но затем снова посерьезнел и, нахмурившись, сказал: "Не откажется! Налог не примет и не откажется! Землю у них только силой и вырвешь!" Мать махнула рукой и вышла в сени, а он долго сидел и думал...

Речь, конечно, шла о теории "единого налога" американского экономиста Генри Джорджа. Интерес к этой теории поддерживался тем высоким авторитетом, который имел в глазах крестьянства Толстой.

Широко раскрытыми глазами, чутким своим сердцем читал Шильцов книгу жизни. Ему были близки нужды и безземельного русского мужика, и темного, забитого крестьянина из окрестных башкирских деревень. Он радовался, когда мог помочь людям - то ли советом, то ли составлением жалобы, то ли заметкой в газете. Гордился тем, что искры, зажженные в 1905 году, не угасли.

... Здесь уместно сослаться еще на одно дело канцелярии оренбургского губернатора. Оно озаглавлено: "О вредной для общественного спокойствия деятельности крестьян с. Спасского Григория Давыдова и Андрея Ломанцова". Речь - о самовольных порубках "барского" леса и других посягательствах на собственность помещика. В письме к министру внутренних дел, как предыстория, изложены события прошлых лет, когда Спасская волость стала центром революционного крестьянского движения в губернии. Вскоре после освобождения, сообщал губернатор, главари бывшего союза попались на убийстве одного из стражников, были арестованы и приговорены к каторжным работам. "Это обстоятельство отрезвило лучших из крестьян, - гласило донесение далее. - Худшая же часть населения продолжала свои действия против местных помещиков, выражая таковые систематическими порубками и другими скрытыми самоуправными действиями"*58.

Так высокопоставленный чиновник сам подтвердил, что дело, начатое Шильцовым, Блиничкиными и другими, не удалось задуть никакими репрессиями.

Девятнадцатилетний Давыдов и двадцатилетний Ломанцов были высланы под надзор полиции за пределы губернии. Но и новая кара не могла сломить вольнолюбивого духа здешних крестьян.

Этот дух поддерживали такие, как Шильцов. Они несли людям правду и в то же время искали ее сами.

В апреле 1908 года - почти в те самые дни, когда губернатор отправлял министру внутренних дел упомянутое выше донесение, - из почтового отделения Семакино ушло письмо с адресом: "Тульская губерния, ст. Засеки, Ясная Поляна, Льву Николаевичу Толстому".

В этом письме Александр Харитонович рассказывал о своей жизни, своих исканиях и просил ответить, какого мнения писатель о "кормилице-земле", когда она "не будет в частной собственности... и когда народ будет ею пользоваться на одинаковых правах".

Письмо стало началом переписки крестьянина с великим писателем - переписки недолгой, но много дающей и для выяснения взглядов Толстого, и для характеристики его корреспондента.

Вы читали эти письма - им посвящена первая глава. В свете того, что удалось узнать об Александре Шильцове позднее, переписка приобретает еще более глубокий смысл.

... Но рассмотрим творческую историю писем Льва Толстого к оренбургскому крестьянину.

"СТАРЫЕ МЫСЛИ" И НОВЫЕ СОМНЕНИЯ

" - Я повторяю последнее время старые мысли... и нахожу в них новое. Я как будто глубже в них проникаю".

Так говорил Л.Н. Толстой на закате своей большой жизни*59.

"Старые мысли" легли в основу его писем к А.Х. Шильцову. Но это не было механическим повторением давно продуманного, давно решенного. Те выводы, к которым писатель пришел за долгие годы, сейчас пересматривались и утверждались им в новых исторических условиях.

Рассматриваемые письма не только подтверждают жгучий интерес Толстого к коренным проблемам действительности, но и свидетельствуют о нараставшем в нем процессе поисков истины.

Острота постановки вопроса и его актуальность, забота о возможно большей полноте и точности выводов ставят письма к корреспонденту с далекого хутора в ряд наиболее интересных публицистических работ Л.Н. Толстого о земле и земельной собственности.

Известно, что многие из статей писателя на эти и другие злободневные темы имеют своей основой ответы определенным корреспондентам.

Письма, приходившие в Ясную Поляну, являлись живыми голосами народа, а способность заражаться настроениями масс определяла, как заметил В.Г. Короленко, "все крупнейшие повороты в мировоззрении Толстого". Отвечая одному лицу, Лев Николаевич видел перед собой тысячи и тысячи, для которых этот ответ, по его мнению, был не менее важен. И всякий раз, когда Толстой стремился быстро откликнуться на назревшие вопросы современной жизни, он прибегал к публикации своих писем корреспондентам.

Так возникли, например, помещенные в 90-м томе статьи "Патриотизм или мир?", "Письмо к фельдфебелю", "По поводу конгресса о мире", "Как освободиться рабочему народу?", "Письмо к крестьянину о земле (о проекте Генри Джорджа)". Написанные первоначально как ответы тем или иным конкретным лицам (в первом случае - английскому журналисту Джону Мансону, во втором - фельдфебелю в отставке М.П. Шалагинову, в третьем - группе представителей шведской интеллигенции, в четвертом и пятом - крестьянам М.Д. Суворову и Т.М. Бондареву), они в процессе работы переросли ограниченные рамки личных писем, стали важными для широких кругов читателей, получили большой общественный резонанс.

Это служит достаточно убедительным подтверждением того, что к эпистолярному творчеству писатель относился как к составной части публицистической деятельности, которой придавал особое значение. И хотя письма к Шильцову, в отличие от ряда других, не были отданы автором в печать, мы вправе считать их письмами-статьями. Прежде всего, первое письмо, содержащее развернутое изложение взглядов Толстого на пути решения земельного вопроса.

В пользу такого вывода говорят и литературные достоинства письма, выделяющие его среди многих в 77-78-м томе.

В этом томе, где помещены ответы А.Х. Шильцову, опубликованы различные письма того же периода, но иного толка - религиозно-морализаторского. Ни в какое сравнение с письмами крестьянину Шильцову большинство из них идти не может. Если в каждой строке, в каждом слове "шильцовских" писем ощущается страстный темперамент писателя обличителя, писателя-советчика, для которого страдания крестьянина стали его собственными страданиями, то в ответах на вопросы религиозно-нравственного содержания подобного темперамента не улавливаешь. Они чаще всего однотипны.

Это наблюдение относится и к художественным произведениям.

С "Воскресения" мы и попытаемся проследить, как же письма к Шильцову перекликаются с другими, ранее созданными произведениями писателя, то-есть, по сути дела, выяснить предысторию обращения к оренбургскому крестьянину.

Известно, что роман "Воскресение" появился еще в конце 90-х годов. Уже в этом произведении, будучи убежденным, что едва ли не единственной причиной бедствий, нищеты народа является лишение его земли, писатель выказывает себя сторонником Генри Джорджа - автора теории о "едином налоге".

Основные положения первого письма к Шильцову явственно перекликаются с утверждениями, которые мы находим на страницах романа.

Князь Нехлюдов - герой "Воскресения" - едет в Кузьминское, являющееся главным источником его доходов. Он размышляет над положением крестьян, участь которых ему хочется облегчить:

"Это было не живое рабство, как то, которое было отменено в 61-м году, рабство определенных лиц хозяину, но рабство общее всех безземельных и малоземельных крестьян большим землевладельцам вообще и



преимущественно, а иногда и исключительно тем, среди которых жили крестьяне" (32, 198).

В письме к Шильцову, написанном почти через десять лет после выхода романа в свет, читаем:

"Прежние рабы были рабами определенных господ, теперешние же рабы - рабы всех тех, кто владеет землей как собственностью".

Та же мысль, но сказанная по-иному, лаконичнее, прямее.

Прибегнем к сопоставлениям снова.

"Воскресение": "Теперь ему (Нехлюдову - Л.Б.) было ясно, как день, что главная причина народной нужды, создаваемая и всегда выставляемая самим народом, состояла в том, что у народа была отнята землевладельцами та земля, с которой одной он мог кормиться" (32, 217, 218).

Письмо: "Основная причина бедственного положения рабочих людей есть нарушение естественного и законного права всех людей жить и кормиться на той земле, на которой они рождаются".

"Воскресение": "Не может земля быть предметом собственности, не может быть предметом купли и продажи, как вода, как воздух, как луч солнца. Все имеют одинаковое право на землю и на все преимущества, которые она дают людям" (32, 219).

Письмо: "Земля, на которой живут люди, так же как и воздух, которым они дышат, не может быть предметом исключительной собственности людей". И далее: "По понятию народа, так же как и по здравому смыслу, земля не может быть предметом собственности, и право на пользование ею должно быть равное для всех людей".

И в романе, и в письме мы находим рассуждения о "грехе земельной собственности". И в этом, и в другом случае Толстой вспоминает о "крепостном рабстве". И там, и здесь отстаивает он проект "единого налога".

Характерна речь Нехлюдова на сходе крестьян:

"- Вся земля - общая. Все имеют на нее равное право. Но есть земля лучше и хуже. И всякий желает взять хорошую. Как же сделать, чтобы уравнивать? А так, чтобы тот, кто будет владеть хорошей, платил бы тем, которые не владеют землею, то, что его земля стоит... А так как трудно распределить, кто кому должен платить, и так как на общественные нужды деньги собирать нужно, то и сделать так, чтобы тот, кто владеет землей, платил бы в общество на всякие нужды то, что его земля стоит. Так всем ровно будет. Хочешь владеть землей - плати за хорошую землю больше, за плохую меньше. А не хочешь владеть - ничего не платишь, а подать на общественные нужды за тебя будут платить те, кто землей владеет" (32, 231).

Чтение письма Толстого к Шильцову и, в еще большей степени, знакомство с вариантами этого письма (о них речь будет далее) убеждает, что десять лет спустя писателя так же сильно волновали поиски путей практического применения "единого налога" в России, как и во время работы над "Воскресением".

Проводя параллели, мы имеем своей целью не выяснение текстологических совпадений, хотя и они, несомненно, показательны. Речь идет о системе взглядов Л.Н. Толстого. Она сложилась задолго до получения письма из оренбургских степей, но писатель продолжал думать над этим до последних дней жизни. В большей степени таким раздумьям способствовали крестьянские письма.

Взгляды Толстого, выраженные в "Воскресении", получили развитие во многих произведениях публицистического жанра: датированных 1900-м годом - "Рабство нашего времени", "Где выход?", "Неужели это так надо?", статьях 1905 года - "Великий грех", "Неужели это так надо?", статьях 1905 года - "Великий грех", "Как освободиться рабочему народу", "Конец века", статье 1906 года - "Единственное возможное решение земельного вопроса" и других.

Сопоставляя их с письмами к Шильцову, мы также обнаруживаем знакомые мысли. Не цитируя уже известное читателю письмо от 30 мая 1908 года, приведем отдельные выписки из упомянутых статей.

1900 года:

"... всякий родившийся человек имеет право кормиться с земли, такое же, какое каждый имеет на воздух или солнце, и... поэтому никто, не работая на земле, не имеет права считать землю своею и запрещать другим работать на ней" (34, 209).

"Владение землею не работающими на ней не имеет оправдания потому, что земля, как вода, воздух, солнечные лучи, - составляет необходимое условие жизни каждого человека и поэтому не может быть исключительной собственностью одного" (34, 224).

1905 года:

"Зло это, основное зло, от которого страдает русский народ точно так же как народы Европы и Америки, есть лишение большинства народа несомненного, естественного права каждого человека пользоваться частью той земли, на которой он родился" (36, 207).

"Земельный вопрос дошел в настоящее время до такой степени зрелости, до которой дошел вопрос крепостного права 50 лет тому назад" (36, 229).

Работ, в которых писатель высказывал свои взгляды на земельный вопрос, гораздо больше, чем здесь названо. Некоторые из них - "Письмо к крестьянину о земле", "Единственное возможное решение земельного вопроса" и др. - специально посвящены теории Генри Джорджа, содержат в себе концентрированное изложение того главного, что привлекало в ней выразителя надежд многомиллионных крестьянских масс Льва Толстого.

Так почему же он не отослал корреспондента к предыдущим своим работам, а вновь взялся за перо, чтобы вернуться к тому, что было им не раз до этого высказано?

Симпатии к Шильцову, вызванные его искренним письмом, могут служить лишь частичным объяснением.

Не исчерпывающей, хотя и важной, будет ссылка на давнее личное знакомство Льва Николаевича с жизнью заводских крестьян, знание их бед и горестей, желание помочь тем, о которых он некогда вынес самое лучшее впечатление.

Читая письма Шильцова, прибывшие из оренбургских степей спустя много лет после своей последней поездки туда (1883 г.), писатель разглядел в своем новом корреспонденте прежде всего те качества, которые некогда восхитили его в крестьянах далекой окраины России. Шильцов писал о том, что видит свое счастье в труде и в любви к окружающему; ему была по-настоящему близка природа. Хуторянин подписался "внуком", и действительно, Толстой почувствовал в нем внука тех, кого некогда встречал и о ком сохранил добрую память. Личные впечатления, безусловно, сказались на том, как близко к сердцу принял Толстой нужды крестьянина и вопрос о земле-кормилице.

Но главной причиной, побудившей его взяться за подробное, обстоятельное письмо, является пожалуй, возникшая у писателя необходимость самому еще раз продумать этот "больной" вопрос, посмотреть на него сквозь призму новых условий, вызванных поражением революции 1905-1907 годов, иначе говоря - разобраться в собственных сомнениях.

Выхода своим сомнениям на страницы письма к крестьянину он не дал. Не сомнений, а определенного, уверенного ответа ожидал незнакомый корреспондент, и Толстой не считал себя вправе обмануть надежды много прожившего человека, забросить в его душу семена неверия в возможность решить близкий им обоим земельный вопрос путем буржуазной реформы. Да и сам Толстой не хотел и не мог расстаться с теорией, ради утверждения которой так много сделал. Он верил в нее. Верил и... сомневался.

Эти сомнения сказались в том, какой трудной была работа над письмом к Шильцову. Они звучат в подтексте письма. Подтверждением их могут служить свидетельства близких Толстому людей, приведенные в первой главе. О них писал в те же дни и он сам.

29 мая 1908 года, вернувшись после трехдневного перерыва к своему дневнику, Лев Николаевич записал:

"За это время кончил о смерт(ных) казн(ях) и писал письмо крестьянину о земле, и во время писания убедился, что при существовании государств(енного) насилия нет средств, к(оторые) могли бы улучшить чье-либо положение" (56, 130-131).

НАД РУКОПИСЯМИ

Познакомиться с рукописями литературного произведения значит проникнуть в "святыню" писателя - его творческую лабораторию.

Рукописи Толстого с давних пор привлекают внимание литературоведов. О работе над романами "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение" и другими произведениями написано много исследований. Благодаря кропотливому труду ученых мы теперь можем прочесть не только окончательные редакции романов, повестей, пьес, рассказов, но и всевозможные их варианты. Это позволяет проследить, как шла кристаллизация замыслов, организация сюжетных линий, лепка образов, какими трудными подчас были поиски нужного слова. Варианты, имеющиеся в нашем распоряжении, нередко помогают узнать важные подробности, по какой-то причине опущенные при окончательном редактировании.

Эпистолярное наследие Толстого с этих позиций остается по существу неизученным. К настоящему времени выполнена титаническая, но только первая часть работы - собраны, систематизированы, прокомментированы все известные письма и записки Льва Николаевича. Они занимают тридцать один том в полном собрании его сочинений и раскрывают широкую картину связей писателя с тысячами людей в России и за ее рубежами. Но текстологический анализ писем, изучение того, как они создавались, разработка творческой истории интереснейших образцов этого жанра еще остается в числе нерешенных задач толстоведения.

Мы сделали попытку выяснить историю переписки Толстого с одним из крестьянских корреспондентов, раскрыть личность этого самобытного человека, воссоздать обстановку, в которой возникли два письма Толстого.

Пока о кропотливой работе над письмами, особенно над первым, лишь упоминалось. Теперь проследим ее шаг за шагом.

В комментариях к адресованному Шильцову письму от 30 мая 1908 года обозначено, что оно печатается "по копировальной книге N 8, лл. 213-215, куда вклеен дубликат подлинника, написанного на машинке" и что в Государственном музее Л.Н. Толстого хранятся "четыре черновика, написанные на машинке и собственноручно исправленные".

Эти черновики вернее назвать вариантами. Они представляют исключительный интерес, так как открывают нам Толстого в работе над письмами, которые не предназначались для печати.

Только первый абзац письма к Шильцову в процессе работы не претерпел изменений и остался таким, каким сложился сразу. Что же касается последующих, то здесь нет ни одного предложения, которое не носило бы ощутимых следов работы над текстом.

"Вопрос ваш о земле с давнего времени занимал и продолжает занимать и теперь", - читаем в первой редакции. Тут же вставка - "меня". Местоимение подчеркивает, усиливает все предложение, делает его

конкретнее: "Вопрос ваш о земле с давнего времени занимал меня и продолжает занимать и теперь"*59.

"Не могу достаточно надивиться на то, как люди не видят всего греха земельной собственности", - следует сейчас за приведенными выше словами, а в начальной рукописи предложение было гораздо длиннее: "и того способа уничтожения этого греха, который так прост и легок".

Мы уже обращали внимание на сомнения, которые волновали Толстого во время работы над письмом к Шильцову. Вовсе не случайно вычеркнул он слова о "простоте" и "легкости", в какими якобы должно проходить уничтожение земельной собственности по Генри Джорджу. Путь, предлагаемый американцем, как понял Толстой, размышляя над его теорией "единого налога", не так уж "прост и легок", как казалось ранее, и он не считал себя вправе покривить душой. Слова, оставленные им в двух черновиках, затем исчезли.

"Посылаю вам кое-какие книжки об этом предмете, а между тем постараюсь вкратце выразить мои главные мысли об этом, - продолжал писатель. - Во-первых, должен сказать, что земельный вопрос в наше время точно такой же мучительный и требующий разрешения вопрос, каким был в моей молодости, 50 лет тому назад, вопрос крепостного права".

Этой формулировке Толстой придавал большое значение и в процессе работы над письмом не раз к ней возвращался.

Если первоначально он намеревался выразить свои "главные мысли об этом", то далее расширил задачу, заявив: "... постараюсь вкратце выразить сущность этого вопроса и главные основы его разрешения". Как не вспомнить приведенное в первой главе горькое признание Толстого о своей некомпетентности в земельном вопросе, когда в окончательном варианте письма последних слов не находишь? "Главные основы... разрешения" вопроса о земле были неясны ему самому.

Последующие строки автор письма усиливает. "Земельный вопрос" он заменяет "земельным рабством", "крепостное право" характеризует как "крепостное рабство". "Вопрос этот, который точнее всего выразить вопросом об освобождении людей от земельного рабства, - читаем то же место во втором варианте, - стоит в наше время совершенно на той же точке, на которой в моей молодости, 50 лет тому назад, стоял вопрос об освобождении людей от крепостного рабства".

Но и это не окончательная редакция. Прежде чем закончить работу над указанным местом письма, Толстой добивается лаконичности и тем самым еще большей выразительности. Он делит предложение на две части, сокращает текст: "Вопрос этот, в сущности, есть вопрос о том, как освободить людей от земельного рабства. Вопрос этот в наше время стоит совершенно на той же точке, на которой в моей молодости, 50 лет тому назад, стоял вопрос об освобождении людей от крепостного рабства".

Короче, энергичнее. Желанное достигнуто. Именно так и мы читаем сейчас, в полном собрании его сочинений.

Толстого не удовлетворяет расплывчатость, неопределенность отдельных выражений.

"Люди освободили крепостных, но рабы остались в другой форме благодаря земельной собственности. Пока будет земельная собственность, будет и рабство людей - как земледельцев у земельных собственников, так и рабство рабочих у капиталистов".

Таков первоначальный текст. Сравните его с окончательным:

"Люди освободили крепостных, но рабы остались рабами. Прежние рабы были рабами определенных господ, теперешние же рабы - рабы всех тех, кто владеет землей, как собственностью. Пока будет земельная собственность, будет и рабство людей".

В черновом варианте мы подчеркнули те слова, которые не находим в окончательном. С заменой расплывчатого оборота точным словом в первом случае и с изъятием большей половины заключительного предложения определение приобрело ту законченность и остроту, к которой писатель стремился. Заметим только последние слова первоначального текста: "рабство рабочих у капиталистов". Они в определенной степени характеризуют отношение Толстого к капиталистическому строю.

Отвечая А. Шильцову, Толстой вначале не вступает в полемику с "социалистами". Но продолжая работу над текстом письма, он не находит возможным обойти их взгляды. Ведь его корреспонденту, побывавшему за свои убеждения в тюрьме, они не могут не быть известны.

Уже в ходе правки первого варианта появляется вставка:

"Социалисты всех партий проповедуют освобождение пролетариата от власти капитала. Но пролетариат появился только от того, что признана была законность собственности земли. А как только появился пролетариат, т.е. загнанный с земли рабочий, так появился и капитал. И потому никакие выдумки и никакие революции не могут уничтожить капитала, пока не будет уничтожена земельная собственность".

Такая редакция автора не удовлетворяет. Он продолжает думать над ней, продолжает искать наиболее высокие, с его точки зрения, доводы, а равно и наиболее точные слова для того, чтобы эти доводы передать.

Сначала это поиски уточнений, вроде: "освобождение пролетариата, т.е. бедноты от власти капитала, т.е. богатых людей". Но далее Толстой идет по пути коренного изменения всего текста, вернее - замены его другим.

"Социалисты всех партий проповедуют освобождение пролетариата, т.е. людей, не имеющих средств кормиться своими трудами, от власти капитала, т.е. от власти богатых людей, могущих по своей воле давать или не давать им эти средства. То же, что появились люди, не имеющие возможности кормиться своими трудами, произошло оттого, что большинство людей было лишено естественного и свойственного всем людям права пользоваться землею, на которой они жили, и исключительное право это, называемое правом земельной

собственности, дано было только некоторым людям. А как только большинство рабочих людей было лишено возможности кормиться с той земли, на которой они жили, так, естественно, все эти люди попали в зависимость или от тех людей, которые владели землей, или от тех, которые имели деньги, богатство, капитал, т.е. накопленные труды рабочих. И потому бедственное положение и рабство, в котором находятся у капитала вообще рабочие, как произошло от признания права земельной собственности, так и уничтожиться не может иначе, как посредством уничтожения земельной собственности".

К этой части письма Толстой возвращается уже после того, как оно подготовлено к отправке. Результатом является вставка в начале приведенного выше текста: "Социалисты всех партий проповедуют освобождение пролетариата, т.е. людей, не имеющих орудий производства и потому средств кормиться своими трудами, от власти капитала". Поправка существенная.

Обращает внимание, что во всех вариантах, кроме первого, отсутствуют слова, содержащие отрицание роли революции в освобождении пролетариата. Вопрос о революции писатель обходит преднамеренно.

Следующий абзац продолжает и развивает предыдущий. Толстой вплотную подошел к обоснованию поддерживаемых им взглядов Генри Джорджа.

Здесь черновые варианты особенно интересны, так как они содержат неопубликованные высказывания писателя о теории "единого налога", его размышления над путями применения этого налога в России.

Первый вариант таков:

"Земля не может быть предметом собственности, а, как вы верно пишете, пользование ею должно быть обставлено одинаковыми для всех условиями. Мысль эта в выработанной теории высказана в Америке Генри Джорджем, но в русском народе она жила и живет в сознании всех людей. Сущность разрешения вопроса можно коротко выразить так. Никакая часть земли не может принадлежать одному или нескольким лицам, а всякий человек имеет право пользоваться землею, исполняя положенные и общие для всех условия. Условия эти при теперешнем государственном устройстве должны и могут быть известная плата, заменяющая все другие подати. Пока человек исполняет эти условия, и условия с общего согласия не изменены, никто не может быть лишен права пользоваться своим непосредственным трудом, всей той землей, которую он в силах обработать".

Однако подобное разъяснение Толстому не кажется исчерпывающим. Прежде всего, он считает нужным еще раз подчеркнуть причины рабского, бедственного положения людей и вписывает: "Причина в наше время рабства людей есть признание законности права собственности на землю". Поверх зачеркнутых строк машинописного текста первого варианта, а затем и на полях и на отдельных листках рождается совершенно новая редакция ответа на вопрос о земле и земельной собственности.

Вот эта вставка, также не вошедшая в окончательный текст письма и никогда не публиковавшаяся, несмотря на относительную законченность, придающую ей самостоятельное значение. По своим размерам она почти равна всему письму к Шильцову в его опубликованной редакции.

"Земля, на которой рождаются и живут люди, так же, как и воздух, которым они дышат, не может быть предметом исключительной собственности людей. Таким предметом собственности могут быть, по взаимному соглашению, произведения труда людей, но никак не известные пространства земли. Так и понимал всегда русский народ свое отношение к земле, так понимает его в своем большинстве и теперь, несмотря на все усилия правительства развратить его. Земля не может быть предметом собственности и право на пользование ею должно быть равное для всех людей. Но так как по своим свойствам и местоположению различные места земли представляют большие и меньшие преимущества, то и пользование местами, представляющими большие преимущества, должно быть обставлено соответствующими, выгодными для всех, не пользующихся этими местами, условиями, т.е. что тот, кто пользуется лучшим участком земли, чем самый худший, отдаст в общую пользу всех тот излишек ценности своего участка в сравнении с самым плохим участком. Так, например, в какой-нибудь местности, в какой люди согласились руководиться этим правилом, или в целом государстве, принявшем такой порядок за правило, земли, на которые на один и тот же участок нет нескольких охотников (охотников обрабатывать, а не владеть), такие земли обрабатываются желающими без всякой платы в общую пользу. Он как только являются несколько охотников на одну и ту же землю, так на нее устанавливается цена, и тот, кто платит вышшую, тот получает право на обработку. Плата же, вносимая им, идет на общественные, нужные для всех дела: на дороги, мосты, школы, библиотеки, церкви и т.п. Так что за то, что один человек пользуется лучшей против других земель, все другие пользуются бесплатно всеми общественными улучшениями. И таким образом устанавливаются на все земли соответствующие цены: так, например, у нас в России на Сахалине или еще где, где нет охотников на землю, ничего не платили бы за землю и работали бы на земле кто где хотел бесплатно. Где же нибудь в степи, где охотников мало, платили бы, например, 10, 20 коп. за десятину; в Тульской, Орловской губерниях платили бы, как и теперь платят, 20 руб., а где-нибудь в Крыму или в городах платили, может быть, и десятки тысяч рублей за десятину. Собственной земли никто бы не имел, а владел бы землею всякий, кто владеет ею, хоть весь век, только бы он платил за нее то, что она стоит по расценке. Платежи же эти шли бы на общественные, нужные для всех дела. В этом состоит проект американского умершего недавно писателя Г. Джорджа. Проект свой он предлагал правительствам с тем, чтобы правительства наложили соответствующие цены на все земли и собирали бы их с теперешних владельцев земель; и деньги эти, по его проекту, заменили бы все собираемые с народа подати, и прямые, и косвенные. По этому проекту вышло бы то, что все землевладельцы, которые сами не обрабатывают земли, не в силах были бы выплачивать подати, наложенные на земли, и отказались бы от них. Отказались бы крупные землевладельцы от своих

земель, потому что при освободившихся землях и, главное, при отсутствии всяких податей, крестьяне не шли бы, как теперь, за ничтожные цены обрабатывать землевладельческие поля. А чем больше освобождалась земля от крупных собственников, тем труднее было бы им держать землю, и тем больше разбирали бы земли настоящие землевладельцы и владели бы ими по дешевым ценам и не шли бы задешево работать к фабрикантам. Рабочие же - не земледельцы даром пользовались бы всеми предметами общественного устройства и не платили бы никаких податей, ни прямых, ни косвенных".

Толстой работал над текстом этой вставки, добиваясь предельной точности выражения мыслей. Несколько примеров стоит привести и тут.

В первых строках, где речь идет об усилиях правительства убедить народ в незыблемости земельной собственности, Толстой сначала прибег к выражению "развратить его" (т.е. народ), но далее заменил: "внушить ему ложное понятие о праве собственности на землю". Он писал: "... тот, кто пользуется лучшим участком земли... отдает в общую пользу всех... излишек ценности своего участка в сравнении с самым плохим участком". Подчеркнутые слова заменены: "местами, представляющими большие преимущества". И тут же Толстой убирает все предложение, заканчивающееся этими словами, а сразу переходит к примерам. Он уточняет цены на земли в центральных областях, и вместо расплывчатых "20 руб. и больше" появляется конкретное: "от 8 до 20 руб.". Он убирает длинноты, и вместо "без всякой платы в общую пользу" появляется "бесплатно".

Тем не менее весь приведенный отрывок не попадает в окончательную редакцию. Толстой безжалостно удаляет ненужные, по его мнению, детали. Теперь, когда выкристаллизовались главные положения, только их он и оставляет.

"Основная причина положения рабочих людей, - значит, в третьем машинописном, как и в печатном, тексте письма, - есть нарушение естественного и законного права всех людей жить и кормиться на той земле, на которой они рождаются. Земля, на которой живут люди, так же как и воздух, которым они дышат, не может быть предметом исключительной собственности людей. Таким предметом собственности могут быть, по взаимному соглашению, произведения труда людей, но никак не известные пространства земли. Так и понимал всегда русский народ свое отношение к земле, так понимает его в своем большинстве и теперь, несмотря на все усилия правительства внушить ему ложное понятие о собственности на землю. По понятию народа, так же как и по здравому смыслу, земля не может быть предметом собственности, и право на пользование ею должно быть равное для всех людей".

Но и после этого работа не считается законченной. На незаполненную машинописью часть страницы ложатся строка за строкой. Вычеркиваются слова и обороты, появляются новые. Еще один вариант превращается из чистового в черновой. Писатель продолжает искать наиболее удовлетворяющий его ответ оренбургскому крестьянину на заданный им вопрос: "Какого вы мнения о нашей кормилице земле? Когда она не будет в частной собственности, скоро или нет, и когда народ будет ей пользоваться на одинаковых правах?" Вслед за ранее написанным: "... право на пользование ею должно быть равное для всех людей" - идет еще полстраницы: "Для того же, чтобы это право было равное для всех людей, надо, чтобы те люди, которые пользуются землей, платили бы всему обществу людей за те земли, которыми они пользуются, то, чего эти земли по вольному найму стоят. Деньги же эти должны заменять все те подати и прямые, и косвенные, которые теперь собираются со всех людей. Рассчитано, что в России, если бы земли были обложены даже много ниже их стоимости, земельный налог этот был бы все-таки больше, чем все подати вместе. Так что при таком устройстве люди, пользующиеся землей, платили бы за нее, пока владеют ею, невысокую аренду; те же, кто не владеет землей, пользовались бы всеми теми выгодами, происходящими от удешевления нужных предметов потребления и освобождения от всех прямых податей".

В сравнении с окончательным текстом здесь лишь одно разночтение. Уже перед отправкой письмо А. Шильцову Толстой изменил вторую половину заключительного предложения. Оно получило такую реакцию: "... те же, кто не владеет землей, пользовались бы всеми теми выгодами удешевления нужных предметов потребления, происходящими от уничтожения косвенных налогов и освобождения от всех прямых податей". Так и напечатано в 78-м томе.

Несколько редакций имел последний абзац письма.

В начальной значилось:

"Повторяю, что очень рад был вашему письму и общению с вами. Ответьте мне, понятны ли вам выраженные здесь мысли и то, что изложено в книгах, которые при сем посылаю".

Следующий вариант сохранил лишь второе предложение.

А окончательный текст таков:

"В этом сущность проекта американского писателя Генри Джорджа, книги которого вам посылаю. Ответьте мне, понятно ли вам то, что изложено в этих книгах".

На протяжении всей работы над письмом Толстой словно беседует с Шильцовым, спрашивает и выслушивает его мнение, спорит с ним. "Ответьте мне" - эта просьба проходит через все варианты письма, как и подпись: "Полюбивший вас дед". (Мы помним, что Александр Харитонович подписался: "Ваш внук, бедный, но счастливый крестьянин").

Работа над письмом, датированным 30-м мая 1908 года, продолжалась четыре дня. Эти дни, как убеждает анализ рукописей, были полны мучительно-трудных поисков полного и точного выражения волновавших его мыслей. Тревожными были раздумья над путями освобождения крестьянства от кабалы. Он не

принимал единственно реальных путей этого - путей революционных. Планы оставались утопическими, несбыточными. Толстой сам чувствовал их слабость. Тем сложнее становились поиски аргументов, которые могли бы убедить не только корреспондента с далекого хутора, а и его самого.

Ответ А. Шильцову стал результатом напряженной творческой работы, тем более удивительной оттого, что труд предназначался для одного человека. Но в нем, этом человеке, писатель видел всю крестьянскую Россию, через него, оренбургского крестьянина, говорил с миллионами.

Мысль Толстого-реалиста о том, что "при существовании государственного насилия нет средств, которые могли бы улучшить чье-либо положение" (как записал он в своем дневнике 29 мая 1908 года) в письме осталась невысказанной. Но для Шильцова эта мысль прозвучала в подтексте, и он отозвался известными нам словами о "мозолистой руке", которая "устранит все неправды", - словами, вызвавшими отповедь со стороны Толстого-непротивленца".

... Напряженная, и вместе с тем увлекательная, работа по разбору черновиков писателя, сплошь и рядом головоломных, вознаграждает принципиально важными находками, расширяющими наши представления о взглядах Толстого и, конечно, о его безграничной взыскательности к себе. Взыскательности, которая находила выражение не только в художественном творчестве, но и в переписке.

Творческая история письма к А.Х. Шильцову служит тому примером.

В РАЗДУМЬЯХ И ПОИСКАХ

Но вернемся к корреспонденту Л.Н. Толстого. Много передумал он, читая письма и книги, которые прислал писатель.

Ни писем, ни книг отыскать на хуторе не удалось. В вихре революционных событий их владелец вынужден был надолго оставлять родные места, скрываться от преследований. его дом знавал и обыски и пожар. Бесценные документы оказались утраченными. Шильцов, как вспоминают близкие, особенно сокрушался, что не смог сберечь письма из Ясной Поляны. Но тогда, в 1908-м, да и в последующие годы, он часто вынимал их из заветной шкатулки, брал с самодельной полки присланные Толстым книги, и казалось, что в низенькой горнице звучит его голос, разгорается спор о жизни, о земле.

Изучая библиографию изданий Генри Джорджа и самого Толстого, можно предположить, какие произведения были посланы хуторянину вместе с ответом на первое письмо. Это, вероятнее всего, вышедшие незадолго перед тем в русском переводе книги американского экономиста "Великая общественная реформа", "Что такое единый налог и почему мы его добиваемся?", а из толстовских - уже упоминавшееся "Письмо к крестьянину о земле (О проекте Генри Джорджа)". С "Письмом" Шильцов был знаком еще до того, как получил от Толстого - его читали в крестьянском кружке незадолго до убийства стражника. Тогда маленькая книжечка была приобщена "к делу". Получение нового ее экземпляра обрадовало.

Нет, и позднее не изменил он своего отношения к "единому налогу", за который так ратовал Толстой. Вновь перечитывая доводы Генри Джорджа и его авторитетнейшего пропагандиста в России, Шильцов видел, что вначале, только-только познакомившись с проектами этой "великой общественной реформы", он многого не понял.

Справедливый, прогрессивный налог с доходов земли при ликвидации частной собственности на нее, - вот в чем представлялся ему теперь источник блага и для государства, и для крестьянина.

Переписка с писателем оставила в Шильцове чувство горечи. Но - не угасила любви крестьянина к произведениям Толстого.

Из письма Екатерины Александровны: "Он снова прочел "Войну и мир", "Анну Каренину", "Воскресение", "Хаджи-Мурата", множество раз читал статьи "Великий грех", "Не могу молчать" и не раз говорил: "Лев Николаевич, да как же душу людскую вы понимаете, как за простого человека, мужика болеете. А только не туда ведете. "Непротивление злу насилием"... "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой"... Придет время - сама жизнь рассудит. Дожить бы Толстому до того времени! старик могучий - может и доживет..."

Толстой не дожил. В ноябре 1910 года пришла весть о его смерти на дотоле безвестной железнодорожной станции Астапово.

Когда газета с сообщением об этом дошла до глухого хутора, в степи уже легла долгая оренбургская зима. Сидя перед окном, Шильцов, не отрываясь, смотрел на вьюжную даль и горько у него было на сердце, так горько...

- Вижу, шепчет что-то, потом стал быстро записывать, - вспоминает Анастасия Александровна. - Так он песни свои сочинял. Только теперь ничего, видно, не получилось, потому как смял лист, другой, третий. И ушел. К людям ушел. На людях горе легче. А смерть Толстого для него была горем.

... Здесь, в этом хуторе, на этом бугре, жил, думал, мечтал оренбургский крестьянин Шильцов.

Вера в будущее помогала ему переносить невзгоды жизни.

Надежда не оставляла места унынию, какие бы испытания ни выпадали на его долю.

СПОР РЕШАЛА ЖИЗНЬ



Дом А.А.Шильцовой. На этом месте стоял дом А.Х.Шильцова. Хутор Нижне-Аскарковский

"Жизнь рассудит..."

Так оно и вышло.

Спор писателя и крестьянина решила жизнь.

... Людей, которые помнят Шильцова в бурные дни Февральской и Октябрьской революций, в гражданской войне и последующей "мирной" работе (была она тогда отнюдь не мирной), в хуторе и окрестных селах много. Да и у Ивана Александровича, у его сестер в Нижне-Аскарковском и Ташкенте события этого периода сохранились в памяти куда полнее - и сами к тому времени стали старше, и расстояние отделяет меньшее. Собранные свидетельства дают возможность охватить всю панораму жизни корреспондента Толстого.

Февральская революция всех надежд не оправдала. В день, когда весть о ней долетела до их мест, Шильцов со своими единомышленниками в

присутствии сотен людей сбросил с пьедестала бюст Николая II. Тогда они были уверены, что так же скоро свершится и главное для крестьян - передача в их пользование всей земли, всех орудий сельскохозяйственного производства.

Ждать было тяжело: в результате долгой, изнурительной войны положение еще более ухудшилось. Но Временное правительство медлило, тянуло, выжидало, уповав на предстоящее Учредительное собрание.

Голос Александра Шильцова, Михея Абрамова и других крестьянских вожаков слышали на сельских сходах Спасской и 1-й Усергановской волостей. Решения были единодушными: крупные землевладельцы обязаны "бесспорно и безоговорочно" передать землю в безвозмездное пользование крестьян.

И было это не только на бумаге. Сразу после сходов всем миром отправлялись на поля, исполнять общий приговор.

С особым удовольствием работали той весной Александр Харитонович и Анисья Александровна. Впервые были они на земле не батраками, а хозяевами.

Но еще не отсмеялись, а радость уже омрачили. Стали доходить вести, что против крестьян, самочинно взявших землю, готовят карательные меры.

- Чего доброго, опять плетей дождемся! - поговаривали те, которые помнили девятьсот пятый.

Именно в эти дни и сделал Шильцов свой выбор.

"Год вступления - 1917 - значится в партийных документах, сохранившихся в архиве бывшего Оренбургского обкома (Ф.3.Оп.3.Д.62).

Вступая в РКП(б), Шильцов не утаил своих прежних колебаний. Но не оставляли они мыслящего крестьянина и дальше.

Во время подготовки к выборам в Учредительное собрание, а затем самих выборов он выступал активным агитатором за большевистский список. Таким его запомнили и в Спасском, и в Нижне-Аскарковском, и в Мальге. Ездил из села в село, из хутора в хутор.

Выборы состоялись в конце ноября. Они показали, на чьей стороне симпатия народа. В Спасской и 1-й Усергановской волостях за большевиков голосовало более 85 процентов всех избирателей.

Однажды, когда Шильцов возвращался из Мальги, недруги организовали засаду. Но проведавший об этом крестьянин Дмитрий Солдаткин увез Александра Харитоновича окольным путем, и замысел смертоубийства врагам исполнить не удалось.

Бороться пришлось не на жизнь, а на смерть.

Едва успел возвратиться со съезда, как узнал о совершенном в ночь на 4 апреля набеге белоказаков на Оренбург. Среди тех, кто был изрублен казачьими саблями, оказался и брат Александра Харитоновича - Николай, только что вступивший в Красную гвардию.

Если проследить работу Шильцова в этот период, то мы увидим его и в уездном земельном отделе в Орске, и среди организаторов новой волости в Муйнаке (он сам придумал ей название - Демократическая), и на многих других участках. Трижды оказывался в руках неприятеля, трижды стоял перед лицом гибели, и только благодаря помощи людей, которым служил всей душой, уходил от расправы.

Весной 1919 года, собрав большую группу крестьян, Шильцов вступил в 216-й полк, в рядах которого принял участие в боях против Дутова и Колчака.

Помните, в последнем письме к Толстому Александр Харитонович писал, что когда подрастут его сыновья, он ин за что не отдаст их в солдаты? Теперь стал солдатом он сам.

В 1920 году в Нижне-Аскарковском была организована коммуна - первая в волости и одна из первых в губернии. Ее организатором а затем и председателем был Шильцов. Для совместной обработки земли, для строительства новой жизни объединилась вся беднота - Полянские, Потаповы, Кононыхины, Седилевы,

Куропаткины...

Трудно пришлось коммунарам. Не было семян, не хватало лошадей, инвентаря. Все приходилось создавать на пустом месте. Бугор, где не так давно стояла только избушка самого Шильцова, превратился в центр коммуны. Здесь расположился хозяйственный двор, отсюда начиналась общественная земля.

Работали сообща, дружно, не жалея сил. Вместе со взрослыми трудились подростки, дети. Из Шильцовых в посевной не участвовал разве что Петр: ему к тому времени едва исполнился год. Питались в коммуне из общего котла. Собираясь вместе, говорили о делах, о будущем.

Иван Александрович запомнил слова отца, сказанные во время одного из скудных обедов коммунаров: - Народ - всему хозяин. Пройдет время, и получим мы тракторы, запашем все межи, и сколько будут видеть глаза - всюду зашумит золотая пшеница... Хорошая идет жизнь!

Шильцов участвовал в создании и работе товариществ по совместной обработке земли, комитетов взаимопомощи, а затем колхозов.

Этому способствовала и его деятельность в качестве сельского корреспондента "Бедноты", а затем - "Крестьянской газеты". Здесь, в "Крестьянской газете", у него был свой постоянный номер - 1159-й.

Сохранился в семейном архиве листок, полученный селькором в июне 1924 года.

Это - памятка, наказ:

"О чем писать в "Крестьянскую газету?"

О работе кооперации. Удовлетворяет ли она требованиям крестьянства? Если нет, пишите почему, и какие у нее недостатки. Сравните цены кооператива и частных торговцев. Как идет земельное кооперирование?

Как относится крестьянство к новым, твердым деньгам? Дошли ли до вашей деревни серебряные деньги и как крестьяне их встретили? Подешевели ли в городе и кооперативе товары?

О посевной кампании...

Об отношениях между зажиточными и беднотой...

О налоге...

О работе советских учреждений..."

Десятки тем - и все они волновали крестьянского корреспондента. Шильцов, например, подчеркнул на своем листке вопрос такой: "Как идет работа комитета взаимопомощи?" Письмо об этом было послано и напечатано вскоре после получения памятки.

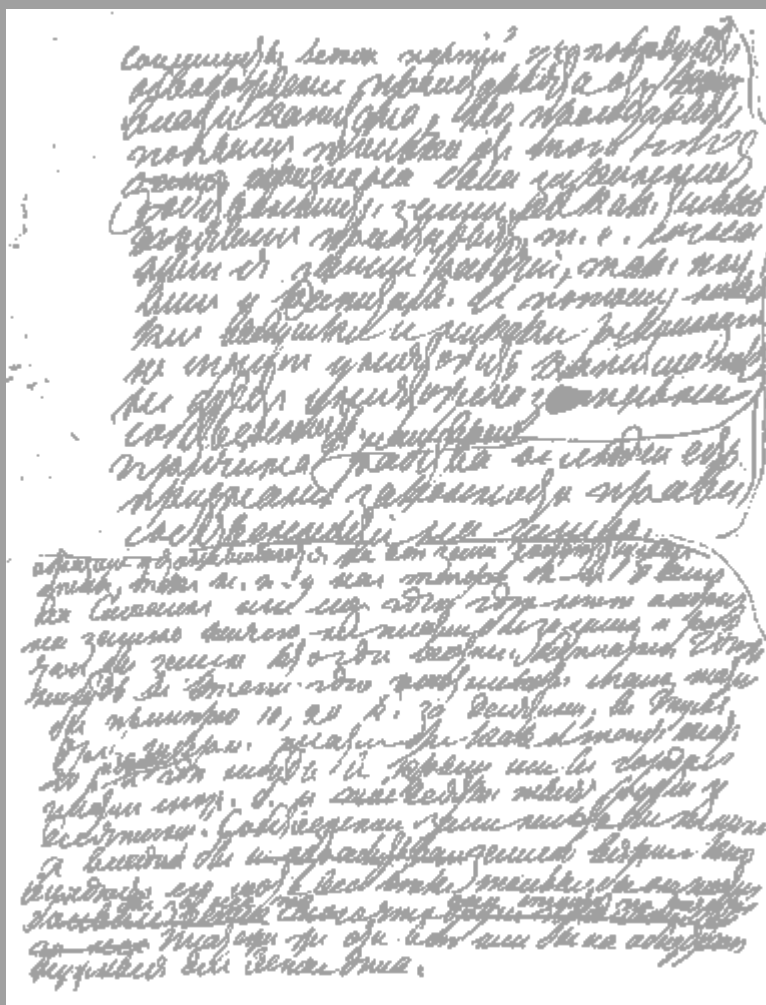
Убедившись в силе печати еще в годы первой русской революции, он использовал сейчас свое острое перо для того, чтобы в жизни было как можно больше справедливости.

Шильцов никогда не кривил душой, не таил сомнений - говорил и писал что думал, действовал как велела совесть, не опасаясь никаких последствий своей прямоты, принципиальности.

В том же партийном деле зафиксирован факт исключения его из ВКП(б). Убеждениями не поступался.

До конца своих дней он жил и крестьянствовал на родном своем хуторе. Там в 1933-м и умер. Тут его могила.

ПЯТЬ ПИСЕМ



Из архива Л.Толстого.

Страница черновика письма к А.Х.Шильцову

Особенно интересны письмо о других проблемах современности.

Среди них то, о котором упоминается в дневнике Н.Н. Гусева.

Раскройте 78-й том. Над письмом N 155, датированным 30 мая 1908 года, указан адресат - А.

Шильцов*42.

"Получил ваше хорошее письмо. Все, что вы пишете, мне было очень приятно, и, как ни совестно сказать, от всей души завидую вам..." Завидует Толстой, по его словам, возможности "жить не в богатстве, а в тех самых труде и бедности, в которых вы жили и живете".

Последующие страницы - о земле, земельной собственности, причинах бедственного положения крестьян и рабочих, путях избавления от нищеты.

Эти пути - по Толстому - в осуществлении проекта о равном обложении всех земельных налогом.

Автором такого проекта является американский экономист Генри Джордж (1839-1897). В своих научно-публицистических работах ("Прогресс и бедность", "Великая общественная реформа", "Что такое единый налог и почему мы его добиваемся?") он исходил из убеждения, что единственной причиной разделения людей на богатых и бедных является изъятие земли у народных масс. А коль так, доказывал Г. Джордж, для прекращения процесса обнищания народа, для искоренения всех главных язв и пороков общества нужны либо национализация земли буржуазным государством, либо высокий государственный налог на частную земельную собственность.

Об этой теории писал, как об абсолютно утопической, Карл Маркс. Утверждения о том, что с превращением земельной ренты в государственный налог все беды капиталистического производства должны исчезнуть сами собой, заявлял Маркс по поводу идей Джорджа, есть не что иное, как "скрытая под маской социализма попытка спасти господство капиталистов и фактически укрепить его на еще более широком, чем теперь, базисе". (Сочинения. Т.35. - С.164).

Однако учение Генри Джорджа содержало в себе такое, что было близко иллюзиям крестьянской массы и особенно мелкого крестьянина, вконец измученного помещичьей кабалой. Масса эта, жаждавшая избавления от нищеты и разорения, не могла не прислушаться к проектам "справедливого землепользования", не заинтересоваться ими. Тем более, что эти проекты поддержал и пропагандировал Лев Толстой.

Искренне сочувствуя горестям крестьянских масс, писатель в "едином налоге" видел чуть ли не

"Вчера Лев Николаевич писал письмо одному крестьянину в ответ на его вопрос о том, скоро ли земля станет свободной. Лев Николаевич начал излагать ему проект освобождения земли Генри Джорджа, но, по его словам, запутался в нем.

- Это сложнее, чем я думал, - сказал он мне".

Так записал в своем дневнике Н.Н. Гусев - секретарь Льва Николаевича Толстого.

Дневниковая запись сделана 28-го мая 1908 года*40.

- Я начал писать одному крестьянину о Генри Джордже, и меня совсем это смутило, - заявил Толстой днем позже в беседе о своих единомышленниками*41.

Несколько дней находился он под непосредственным впечатлением от вопроса, заданного неизвестным крестьянином, раздумывал над ним.

Какое же письмо так взбудоражило знаменитого писателя? О чем спрашивал крестьянин? Кто он?

В юбилейной издании произведений Льва Толстого переписка последних лет занимает несколько томов. Здесь соседствуют письма к родным и знакомым, к друзьям и противникам. Люди различных социальных слоев, национальностей, возрастов, политические деятели и крестьяне, художники и рабочие не только России, но и Америки, Китая, Японии, многих и многих стран обращались к нему по самым разнообразным вопросам. День за днем шли из Ясной Поляны ответы корреспондентам: короткие и обстоятельные, спокойные и взволнованные.

избавление от бед и зол. Ввести такой налог, повторял он, значит сделать невыгодным для помещиков владение тысячами десятин земли и заставить их добровольно отказаться от огромных латифундий.

Путь революции Толстой отвергал. Да и зачем, получив землю, спрашивал он, станет народ прибегать к революционному насилию?

Мы далее вернемся к письму, которое написал Толстой Шильцову, - письму большому, публицистически страстному, - и будем рассуждать о нем подробнее. Но как уж тут, сразу не обратить внимание на сомнения писателя? Нет, он не считает свои доводы достаточно полными и убедительными. Чувствуя в корреспонденте человека критического ума, Толстой подбирает для него книги Генри Джорджа, вышедшие в русском переводе, и просит ответить, понятно ли то, что в них изложено. Толстого явно интересует отношение Шильцова к вопросу, который так мучает его самого. Чего ждет писатель? Того, что этот человек развеет его сомнения? Новых доказательств в пользу "единого налога"? Скорее всего - именно этого. Слишком много душевных сил отдано ради его пропаганды и учреждения... С надеждой, с покровительственной нежностью мудреца, обращающегося к сметливому ученику, кладет писатель на бумагу заключительные слова письма: "полюбивший вас дед Лев Толстой".

Но прельстил ли крестьянина проект Генри Джорджа? Дошли ли до него разъяснения Толстого? Принял их или отверг? Как узнать об этом?

Быть может, внесут ясность следующие страницы того же тома?

Письма за июнь, за июль, за август... 10-е августа!.. Снова - А. Шильцову (78, 196-197).

Значит, переписка не оборвалась.

Но что это?

Письмо Толстого начинается уже совсем по-иному. "Последнее письмо ваше, милый внук, оставило не меня очень тяжелое впечатление, в особенности после того приятного впечатления, которое произвело первое", - пишет он в самых первых строках.

Чем вызвано "тяжелое впечатление"?

Оказывается, Генри Джорджа, а вместе с ним и Толстого, крестьянин "не понял". "Вы пишете, например, - отвечает ему Толстой, - что по Генри Джорджу земля должна принадлежать трудящимся... Он никогда не говорил ничего подобного..."

Толстого ужасает высказанная крестьянином мысль о том, что "придет время, когда мозолистые руки насильственным путем уничтожат людей с мягкими и белыми руками". Именно так звучит она в изложении писателя. Это вызывает с его стороны гневную отповедь: "Освободиться... от насилий белых рук можно только одним средством... Средство это в том, чтобы жить доброй, христианской в настоящем смысле слова жизнью и потому ни в каком случае не принимать участия в насилии других людей и не поддерживать его".

Письмо заканчивается холодно: "Пожалуйста, не сетуйте на меня и подумайте, и я уверен, что вы согласитесь со мной".

На самом деле он в этом уже не уверен. Книг адресату Толстой больше не посылает, высказать свои мысли не просит.

Других писем к Шильцову ни в 78-м, ни в последующих томах обнаружить не удалось.

2

"Других писем нет", - подтвердили в Государственном музее Л.Н. Толстого, где хранится богатейший архив писателя. Вот и картотека его корреспондентом сообщает только о двух. Самому Шильцову в ней отдано три строки - ни дат жизни, ни характеристики его деятельности до и после переписки, ни сколько-нибудь точного адреса. Не больше того, что сказано в комментариях: крестьянин Оренбургской губернии - и все.

Но оказалось, что архив сберег подлинники шильцовских писем.

Время почти не обесцветило чернильные строки; только в отдельных местах, чаще на сгибах, попадаются неразборчивые слова.

В первом письме "мужик", живущий "на далекой окраине", как рекомендует себя Шильцов, выражает радость по поводу того, что "люди добрые хотят чествовать... восьмидесятилетнее существование" Льва Толстого. "Не имея возможности лично перед вами, пред вашим светлым Умом наклонить свою кудлатую голову и сделать вам свой чистосердечный привет, то и ограничился послать вам его на этом грубом клочке бумажки", - пишет он далее.

Текст письма никогда полностью не публиковался (сослаться можно только на маленькие отрывки в комментариях). Помня, что по этой причине у читателя нет пока возможности к нему обратиться, приведу его здесь полностью, исправляя лишь орфографию. Лучше всяких пространных описаний вводит это письмо нас в жизнь человека, его духовный мир.

Итак, передав "чистосердечный привет", Шильцов продолжает:

"Примите его, примите, дорогой дедушка, вам его шлет счастливый крестьянин. Быть может и вы не поверите, дорогой дедушка, что я счастлив, как не верят мне некоторые мои знакомые, но я подтверждаю:

Пусть я бедняк с голодным ртом,

*Зато я на поле с трудом
Под солнцем день деньской потею
С любовью кроткой выношу
И жизни лучшей не прошу.
В деревне все мы - скот и люди -
О землю надрываем груди,
И нам всегда такой удел:
Упал - так песенку пропел.*

Я все свое счастье вижу в труде и в любви ко всему окружающему и потому всегда бываю доволен, когда тружусь.

Мне говорят, что я не могу быть счастливым, потому что не имею большого, а на мой взгляд, большое должно вредить счастью.

Прежде у меня не было ничего, и когда я вздумал по любви жениться, то не было денег восьми рублей отдать попу за венчанье. Благодаря этому чуть было не расстроился брак, и я, как угорелый, бежал за 120 верст в город к своим знакомым попросить эту сумму денег. Мне там дали, но с недостатчей и опять пришлось ходить отыскивать, все мои ноги были в мозолях, и вот тогда-то действительно я был несчастливый. Но теперь, всего лишь через 12 лет моего упорного труда, на берегу реки Ик пред высоким лесом стоит маленькая, но теплая избушка, внутри ее сидит-прядет причитая хозяйка моя, по любви взятая жена, вокруг шалят, пляшут и играют четверо маленьких детей... Тут же с ними вместе толкаются один теленок, один поросенок, три ягненка и четыре котенка с матерью.

Так тесно все это в куче, но какая связь, какая между этой теснотой любовью! Все это - вместе - самая близкая родня, и когда вырастут большими мои дети, наверное, и тогда будет родня эта же самая. Я глава всему этому, все это моя сила, мой оплот. Сiju и думаю: боже, какое счастье. Меж тем, волнуясь - скоро весна, я сяду в лодку и помчусь по бурливой воде добывать себе на ужин свежей рыбы. Ароматный запах душистых деревьев оденет меня во весь рост, и хоры пернатых поднимут все мои замороженные холодной зимой чувства. И в душе будет так приятно-приятно, что из трех сделанных собственными руками рамочных ульев вылетят тысячи пчелок и, рассыпаясь по лугам, целуя каждый первенький цветочек, понесут громадную сладкую влагу себе и мне с моим семейством.

И вот с такими чувствами меня называют несчастным, что мне очень обидно. Понятно, всегда никак нельзя быть счастливым, потому что случается, когда нету муки и есть нечего, то как-то делается грустно. Но это бывает недолго. Как добьешься, так и опять пройдет.

К моему счастью только не достает двух предметов: первое - я не имею своей собственной, одной или двух десятин, земли, где бы я развел себе садик и стал бы ухаживать за яблоньками, и второе - люблю много мечтать и думать, но чувства свои передать людям не умею, потому что все люди любят искусное да умелое. Пробовал было писать стихи, но оно как-то выглядит неуклюже. Такие и теперь кое-когда пишу в тетрадку.

Мне бы хотелось узнать, дорогой дедушка, какого вы мнения о нашей кормилице земле, когда она будет не в частной собственности, скоро или нет, и когда народ будет ею пользоваться на одинаковых правах.

С открытием Манифеста от 17-го октября я, как человек, тоже сунулся было заговорить правду и выяснил, посредством одной газеты, что земля как наша мать, ей владеть не может никто или должны пользоваться все на одинаковых правах, и меня взяли да в тюрьму и засадили. Шесть месяцев трубил да восемь суток держал голодовку, требовал, чтобы назначили суд. Ну, кое-как отпустили, а то прямо хотелось помереть.

Тюрьма мне почти не повредила, только немного подорвала скудное хозяйство. И то я там от с.р. и от с.д. кое-чего много понял, как, с какой подлостью из бедного народа эти все наши начальники пьют остатки крови.

Испытывая всегда на своих плечах нужду, мне до тюрьмы хотелось побывать в тюрьме, и вот мое желание исполнилось.

Ох, как много я вам, дорогой дедушка, написал, но мне сказывали, вы такой добрый. Ну, наверное, простите мне, мужику, мы ведь коротко-то не умеем высказывать. Я сейчас пишу, и вы только здесь около меня в одной рубашке, подпоясаны шнурочком, сидите и слушаете, что я вам говорю, и такой веселый, веселый - и все прощаете.

Недавно мне попали ваши книги "Как читать Евангелие" и "Критика догматического богословия". Не могу только как-то усвоить все. Пока читаю - так хорошо, а растолковать и крепко уяснить себе как-то не смогу. И очень бы хотелось (сказать) спасибо вам, что вы с таким терпением изобличили всю неправду.

Я долго думал, в знак моей к вам признательности чего бы послать вам и не мог ничего найти лучшим, как послать вам свой листок, написанный в тюрьме, и весьма хочется знать, дойдет ли все мое письмо до вас. Если не трудно, то прошу вас сообщите мне ваше мнение относительно земли, а уж если трудно, то бросьте все это негодное письмо, и я на всю жизнь с глубоким почтением остаюсь вечно внук - бедный, но счастливый крестьянин".

Таким было первое письмо Шильцова. Много дает оно для характеристики того, кто его написал, и в то же время для объяснения настроения Толстого, так глубоко им заинтересовавшегося.

Отправленное 20 апреля 1908 года, письмо крестьянина не затерялось, было прочитано и перечитано,

стало предметом долгих, мучительных размышлений*43.

3

Писателю была по душе неподдельно выраженная Шильцовым любовь к природе и крестьянскому труду. Это и есть, по Толстому, то самое "увеличение в себе главного божественного свойства - любви" (77, 15), о необходимости которого твердил он непрестанно. Со страниц письма перед ним вставал человек, который, как показалось сразу, не только разделяет его убеждения, но и живет по ним, в полном, органическом слиянии с природой, и потому счастлив, несмотря на жизненные невзгоды. Близкими его собственным показались думы крестьянина о земле, о пользовании ею.

Толстому и прежде приходилось отвечать на вопросы о земельной собственности. Делал он это вполне уверенно. Но на этот раз острая писательская интуиция, особое внутреннее чутье подсказывали: такого человека убедить нелегко, не всякий ответ возьмет он на веру.

Примет ли Шильцов теорию Генри Джорджа?

И Толстой старается посмотреть на нее глазами не простого мужика, но побывавшего за свои убеждения в тюрьме, перенесшего там восьмидневную голодовку. Судя по письму, те "крамольные" взгляды, за которые крестьянин оказался в тюрьме, не претерпели существенных изменений. Толстой берет за ответ и снова его откладывает, мысленно продолжая дискутировать и с корреспондентом, и с самим собой.

В Государственном музее Л.Н. Толстого хранятся четыре черновика ответа на первое письмо Шильцова. Ответ писался на протяжении 26-30 мая. И все эти дни писатель не переставал думать над проектом Генри Джорджа, старался вновь и вновь утвердиться в его значении для справедливого решения земельного вопроса.

Опять обратимся к записям тех дней.

" - Я только в одном убедился, - сказал Лев Николаевич, - что я по крайней мере, в этом вопросе не компетентен. А мне-то это особенно дорого и важно - представлялся вопрос земельный всегда, потому что особенно возмутительно смотреть на эти парки, цветы, рядом с отсутствием клочка земли для того, чтобы посадить картошку... И это лишение человека естественного, прирожденного ему - не скажу права, а свойства такого же, как свойство - я не знаю - птицы летать и вить гнезда на деревьях, чтобы пользоваться той землей, на которой он родился... Земельный вопрос мне всегда представлялся корнем всего социального вопроса..."

И дальше:

"... - Главные, основные положения, - сказал Лев Николаевич, - совершенно верны и неопровержимы, но, видите ли, решение Джорджа - для его решения необходимо допущение государства с его насилием, с его законами, которые приводятся в действие насилием. Вот в чем и трудность"*44.

Но эти сомнения Толстой в своем ответе не высказывал. Вернемся, однако, к его письму, о котором речь шла в самом начале.

Толстой выступал в нем активным защитником права крестьян на землю, пропагандистом идей ее национализации, непримиримым критиком аграрной политики самодержавия.

"Вопрос ваш о земле с давнего времени занимал меня и продолжает занимать теперь", - пишет он и выражает удивление, "как люди не видят всего греха земельной собственности".

Писатель проводит параллель между политикой правительства в пятидесятых годах прошлого столетия и той, которая осуществлялась после революции 1905 года (имеется в виду "столыпинская реформа"). Как тогда принимались меры не для уничтожения крепостного права, а для его сохранения и укрепления, так и ныне хозяева жизни, власть предержащие, были меньше всего озабочены освобождением масс от земельного ига.

Въ этомъ состоитъ проектъ американскаго умершаго недавно писателя Генри Джорджа. Проектъ свой онъ предлагалъ правительству съ тѣмъ, чтобы правительства наложивъ вознагражденія цѣны на всѣ земли и собирали бы ихъ съ теперешнихъ владѣльцевъ земель; и деньги эти, по его проекту, замѣнили бы всѣ собираемые съ народа подати и прилики и ковененты.

По этому проекту вышло бы то, что ~~земле-~~ ^{не} ~~владѣльцы,~~ ^{даже} ~~которые сами не обрабатываютъ земли, но въ си-~~ ^{ла} ~~лахъ бы были выплачивать подати, наложивши на зем-~~ ^{да} ~~ли, и отказались бы отъ нихъ. Отказались бы круп-~~ ^{ныя} ~~ныя земледѣльцы отъ своихъ земель, потому что~~ ^{за} ~~при освобожденіи земель и, главное, при отсут-~~ ^{ст} ~~ствіи всякихъ податей, крестьяне на нихъ бы, какъ~~ ^{те} ~~теперь, за ничтожныя цѣны обрабатывали земледѣ-~~ ^{ль-} ~~льскія поля. А чѣмъ больше освобождалась бы земля~~ ^ч ~~отъ крупныхъ собственниковъ, тѣмъ труднѣе было бы~~ ^и ~~имъ держать землю, и тѣмъ больше разбивали бы земли~~ ^и ~~настоящіе земледѣльцы и владѣли бы имъ по деше-~~ ^в ~~вымъ цѣнамъ и не могли бы задовольно работать къ фаб-~~ ^{ри-} ~~рикантамъ. Рабочіе же не-земледѣльцы даромъ поль-~~ ^{за} ~~зовались бы всякимъ предметами общественнаго устрой-~~ ^{ст} ~~ст~~

Из архива Л.Толстого. Страница черновика письма к А.Х.Шильцову

"Вопрос этот, - заявляет Толстой своему корреспонденту, - в наше время стоит совершенно на той же веточке, на которой в моей молодости, 50 лет назад, стоял вопрос об освобождении людей от крепостного рабства. Люди освободили крепостных, но рабы остались рабами. Прежние рабы были рабами определенных господ, теперешние же рабы - рабы всех тех, кто владеет землей как собственностью. Пока будет земельная собственность, будет и рабство людей".

В своем письме Шильцов вспоминал беседы с "с.д." и "с.р." во время пребывания в тюрьме. Беседы, как было видно по письму крестьянина, бесследными не остались. Вот почему Толстой счел себя обязанным вступить и в полемику с "социалистами".

"Социалисты всех партий проповедуют освобождение пролетариата, т.е. людей, не имеющих орудий производства и потому средств кормиться своими трудами, от власти капитала, т.е. от власти богатых людей, могущих по своей воле давать или не давать им эти средства. То же, что появились люди, не имеющие возможности кормиться своими трудами, произошло от того, что большинство людей было лишено естественного и свойственного всем людям права пользоваться землею, на которой они жили, и исключительное право это, называемое правом земельной собственности, дано было только некоторым людям".

Отсюда, делает вывод Толстой, уничтожение "бедственного положения и рабства" рабочих также придет лишь "посредством уничтожения земельной собственности".

Идеология патриархальщины приводит писателя к выводу, что "основная причина бедственного положения рабочих людей есть нарушение естественного и законного права всех людей жить и кормиться на той земле, на которой они рождаются" - выводу, смазывающему коренные противоречия капиталистического строя, суть и значение классовой борьбы.

Но Толстому этот вывод нужен для того, чтобы подвести к другому, особенно близкому: "... земля не может быть предметом собственности и право на пользование ею должно быть равное для всех людей".

Пути к этому ему видятся в осуществлении проекта Генри Джорджа о "едином налоге". Он пишет Шильцову: "Для того же, чтобы это право было равное для всех людей, надо, чтобы те люди, которые пользуются землей, платили бы всему обществу людей за те земли, которыми они пользуются, то, чего эти деньги по вольному найму стоят. Деньги же эти должны заменять все те подати и прямые и косвенные, которые собираются со всех людей".

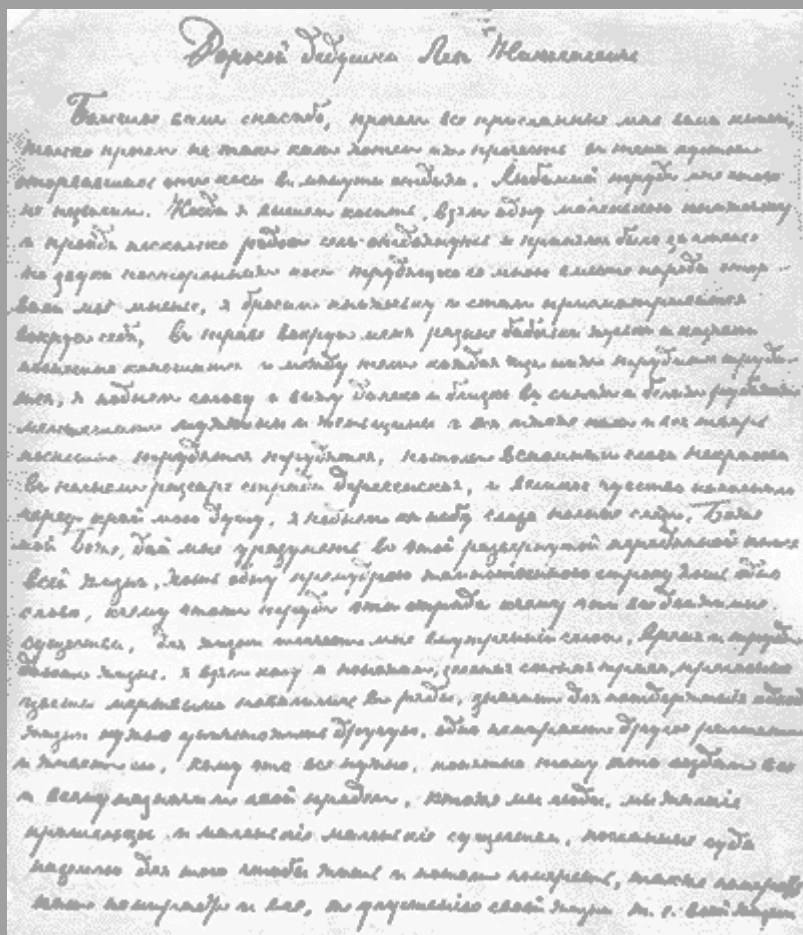
Выступая пропагандистом учения американского экономиста, перенося его на русскую почву, писатель чувствует несовершенства этой теории, но никак не абсолютную ее утопичность.

Толстой, как убедимся мы при анализе черновиков, тщательно отработывает текст своего письма оренбургскому крестьянину. Четыре его редакции свидетельствуют о не угасавшем желании с возможной убедительностью ответить на вопрос представителя тех самых обездоленных крестьянских масс, идеологом которых он выступал.

Уже отправив письмо, думать о поставленном перед ним вопросе Толстой не перестает.

- Мне эти дни невыносимо тяжело, - говорит он своему другу А.Б. Гольденвейзеру 18 июня. - ... Я просто не могу больше жить так. Эта прислуга, роскошь, богатство, а там - бедность, грязь. Мне мучительно, невыносимо стыдно. Я никогда с такой силой не чувствовал этого, как теперь. Просто не могу больше так жить..."*44.

Многие крестьянские письма - и среди них письмо А. Шильцова - утверждали Толстого в его сомнениях.



Из архива Л.Толстого. Письмо А.Х.Шильцова в Ясную Поляну

уразуметь в этой развернутой передо мной книге всей жизни хоть одну премудрую таинственную строку, хоть одно слово, к чему этот труд, эта страда, к чему эти все движимые существа. "Для жизни, - шепчет мне внутренний голос, - время и труд дают жизнь". Я взял косу и поднажал. Зеленая сочная трава, прелестные цветы мертвыми повалились в ряды. Значит для поддержания одной жизни нужно уничтожить другую, одно помирает, другое растет и живет ею. Кому это все нужно? Понятно, тому, кто создал все и всему назначил свой предел. Кто же мы, люди? Мы - жалкие пришельцы и маленькие-маленькие существа, посланные сюда, на землю, для того, чтобы жить и потом помереть - так же помереть, как помирает все. К улучшению своей жизни, т.е. всей жизни человечества, мы должны заботиться сами, потому что нам даден ум, дадена сила, дадено все-все, чем мы и можем распоряжаться.

Генри Джордж предлагает - для улучшения человеческой жизни отобрать из частной собственности всю землю и дать ее трудящимся на ней. С этим я вполне согласен, потому что это для существования необходимо. Что ж касается налога с земли, я не соглашаюсь только потому, что нам, жалким пришельцам, нельзя никак оценить правильно неоцененные сокровища. Ведь создана не земля для нас, а мы для земли, потому можем ли мы с саженью в руках оценить то, что не в нашем распоряжении, не в нашей власти. Мы можем оценить, что дадено нам: свою силу, свой ум, свое понимание. Это в полном нашем распоряжении, и мы всему этому можем дать полную цену. Зачем же нам стараться делать трудновозможное, когда нам является возможность сделать легковозможное?

Все это, дорогой дедушка, может быть представится вам метафизическим бредом, но, простите, я почему-то и не знаю, быть может потому, что не вполне уразумел Генри Джорджа, не мог и не могу иначе думать.

С другой стороны я думал и так. Земля, наша мать, всегда для жизни нам дает материалы в сырцовом виде, и людям, добывающим этот материал, всегда приходится трудно. Зачем же они одни только будут платить, а те люди, которые перерабатывают этот материал, не будут на общее благо платить ничего? Кроме того, как я понял, землю пока нужно оставить в руках землевладельцев и ждать, когда они сами откажутся. На мой взгляд, этого никогда не может быть. Паразиты и тогда сумеют остаться паразитами, они преспокойно заставят всех крестьян пахать и сеять исключительно себе, и крестьяне за неимением своей земли действительно пойдут и будут работать. Они скажут, что всю землю будем обрабатывать сами за дешевую цену, наймут работников и будут продавать весь добытый материал.

И вот на основании, по этим моим соображениям я и думаю, что для того, чтобы люди жили лучше, нужно

Шильцов не торопится с ответом. Он пишет его не раньше, чем оказываются прочитанными присланные книги, продуманными все мысли, изложенные писателем. И отвечает не угоднически, а так, как подсказывают ему совесть и разум.

Вот это письмо, вызвавшее отповедь со стороны Толстого. Привожу его полностью.

"Дорогой дедушка Лев Николаевич!

Большое вам спасибо. Прочел все присланные мне вами книги. Только прочел не так, как хотел их прочесть, - в тени кустов, оторвавшись от косы, в минуты отдыха. Любимый труд мне этого не позволил.

Когда я вышел косить, взял одну маленькую книжечку и, пройдя несколько рядов, сел отдохнуть и принялся было за чтение. Но звуки посторонних кос трудящегося со мною вместе народа оторвали мои мысли, я бросил книжечку и стал присматриваться вокруг себя.

В траве вокруг меня разные бабочки, жучки и козявки поспешно копошатся, а между тем каждая из них трудится, трудится. Я поднял голову и вижу - далеко и близко, в синих и белых рубахах мелькают мужчины и женщины. И все, как и вся тварь, поспешно трудятся, трудятся. Потом вспомнил слова Некрасова - в полном разгаре страда деревенская, и великое чувство наполнило через край мою душу. Я поднял к небу глаза, полные слез. Боже мой, боже, дай мне

установить подоходный налог, что в полном нашем распоряжении, в полной нашей власти. Если я со своим семейством заработаю 300 р., то я охотно отдам 3 р., если мало этого будет, тогда можно удвоить и мне будет весьма лестно перед моими братьями, потому что я хорошо знаю, что я плачу на общее благо.

Теперь у нас и везде есть много таких людей, которые навешивают на грудь светленьких детских игрушек и называют себя большими людьми, а посмотреть в его изнеженные руки - в его ладонях нет ни одного ордена, тогда как у каждого истового работника эти ордена, т.е. мозоли, никогда не сходят.

Да, дорогой Лев Николаевич, только все и делается мозолистой рукой. Мозолистая рука питает всех, и, наверное, скоро эта же мозолистая рука сдвинет и устранил всю неправду. Все крестьяне уже давно чувствуют, что творится что-то неладное, и все это чувство с каждым годом, и особенно неурожайным, разрастается больше и больше, а потом сразу обрушится вся эта стихийная сила на головы злодеев и тогда... Ужасно-ужасно жаль, что до этого доводят большие люди.

Простите меня, я написал неумело и нескладно, потому что тороплюсь убирать хлеба. Быть может, потом явятся и еще мысли, но я не стану вам больше надоедать. Если мне позволит моя сила, то я когда-нибудь побываю в Ясной Поляне и посмотрю своими глазами, где живет дорогой человек. Если вы переселитесь в другой мир и не дожидаетесь меня, то этот бедный, но счастливый крестьянин придет поклониться вашему праху и уронить несколько слезинок на вашей могиле.

Простите, остаюсь известный нам по неумелому письму счастливый, но бедный крестьянин

Александр

Июль, 28-е, 1908 года"45.

Шильцов

В этом письме Шильцов не только ставит вопрос, как было в первом. Он уже узнал мнение Толстого, познакомился с литературой, присланной ему, и теперь считает себя вправе высказать свое, не раз передуманное, глубоко выстраданное. Авторитет писателя для него высок, но этот человек - за спор на равных и на откровенность отвечает откровенностью.

От "запева" (как иначе назовешь поэтическую картинку крестьянской работы, нарисованную в начале письма?) Шильцов вполне естественно переходит к важнейшим общественным вопросам. Собственно, картина эта и нужна ему для того, чтобы подойти самому и подвести собеседника к мысли о естественности лозунга: земля - для тех, кто на ней работает.

Не верит и не может он верить землевладельцам, их совести. Как ездили, так и будут ездить они на крестьянских шеях.

Этот человек сам из тех, кто носит ордена не на груди, а на ладонях - ордена-мозоли. "Все делается мозолистой рукой!" - восклицает автор письма, и сколько твердой уверенности в силе народа, сколько неприязни к поработителям слышится в его словах: "Мозолистая рука питает всех, и, наверное, скоро эта же мозолистая рука сдвинет и устранил всю неправду..., обрушится... на головы злодеев!"

Именно эти места произвели на Толстого "очень тяжелое впечатление" и вызвали в нем разочарование "милым внуком". Первое письмо Шильцова характеризовало его по-другому. Оно потому и понравилось писателю, что было выдержано в "толстовском духе". Теперь сложившееся представление об оренбургском корреспонденте развеивалось. Правда, и здесь он высказывает мысли, близкие Толстому, вроде такой: "... создана не земля для нас, а мы для земли", но суть второго письма составляет не это, а явно бунтарское утверждение силы мозолистых рук.

Свое разочарование Толстой выражает уже в самом начале ответа от 10 августа: "Из последнего письма вашего я заключил, что вы страдаете очень обычным недостатком людей нашего времени: большим самомнением и легкомыслием".

Слова "легкомыслие", "легкомысленность" и другие, производные, в письме Толстого повторяются не раз. "Легкомысленен" вывод Шильцова о том, что "по Генри Джорджу земля должна принадлежать трудящимся" - он "говорил то, что земля не может принадлежать никому, как частная собственность". "Легкомысленно", что "нельзя почему-то ценить землю". "Легкомысленными" считает писатель соображения Шильцова о подоходном налоге. Влиянием "легкомысленного и неосновательного" учения "социал-революционеров" объясняет, наконец, высказывание о всесии "мозолистых рук".

"Это справедливо, - продолжает Толстой, - но только тогда, когда мозолистые руки или, скорее, головы людей с мозолистыми руками руководствуются какими-либо нравственными основами, а не одним из самых ужасных чувств: завистью. Только под влиянием этого чувства вы могли написать о том, что придет время, когда мозолистые руки насильственным путем уничтожат людей с мягкими и белыми руками. При таком взгляде люди с мозолистыми руками не скажу, что хуже, но, наверное, не лучше тех кого они хотят уничтожить. Они хотят быть тем самым, что им так наболело и отчего они страдают, превратно думая, что можно страданиями других людей освободиться от своих страданий".

И Толстой, который еще в первом письме к Шильцову выступал с сильным, гневным, пусть не до конца последовательным, протестом против рабства, с обличением помещичьего строя, повторяет свой призыв к борьбе, но без насилия, к протесту, но без революций - иными словами, к непротивлению злу насилием.

В начале приведенного здесь второго и последнего письма Толстого к Шильцову стоит дата: 10 августа.

Писатель отвечает без промедления, он не может не выразить своего недовольства по поводу обманувших его ожидания мыслей крестьянина, удержаться от своей отповеди.

Может быть, раздраженный тон письма вызван еще и тем, что в эти дни Лев Николаевич был болен. В "Летописи жизни и творчества Л.Н. Толстого" против дат 8-9 августа Н.Н. Гусев отмечает: "Ухудшение состояния здоровья - повышенная температура. Т. не встает с постели"*46, а против даты 11 августа, то есть дня, следующего за отсылкой письма Шильцову, сообщает: "В ожидании смерти Т. диктует пожелание о том, чтобы его наследники отдали в общую собственности все его литературные произведения и чтобы похоронили его без всяких церковных обрядов, в деревянном гробу, в лесу "Заказ", "против оврага, на месте зеленой палочки"*47. ... Лишь на немногие письма отвечает Толстой в эти дни. И среди них - письмо в Оренбургскую губернию.

5

Это было последнее письмо из Ясной Поляны на далекий хутор степного Оренбуржья. "Полюбивший дед" охладил к "милому внуку". Их взгляды в главном разошлись.

Шильцов, пожалуй, ответа на свое второе письмо не ждал - вспомните, оно заканчивается без всяких вопросов, без просьб о разъяснении непонятного. Но, получив ответ, крестьянин не мог не написать снова.

Что же он написал? Как воспринял отповедь Толстого?

Ответ на это дает третье из писем Шильцова, хранящихся в Государственном музее Л.Н. Толстого.

Шильцову больно читать выговор почитаемого им человека, но он тверд в своих убеждениях и не намерен идти на попятную.

Заключительное письмо крестьянина исполнено чувства внутреннего достоинства труженика - творца всех материальных благ.

"Дорогой дедушка Лев Николаевич!

Прочел Ваше второе письмо, прочел и заплакал, как ребенок. Мне стало очень грустно потому, что я так неумело описал вам свою мысль, которая произвела на вас тяжелое впечатление. Я никому не желаю что-нибудь нежелательное, а потому не мог пожелать и вам, а я только откровенно вам выяснил свою мысль - быть может, пустую, пошлую, но, простите меня, я ее думал один несколько лет.

Когда я занялся этой мыслью, с чего можно бы правильней брать налог, то здесь и понятия не было о революционерах. Я думал просто, что земля наша мать и все богатства есть сок земли, добытый мозолистой рукою, а потому мне и кажется - кто захочет от земли взять один рубль, то почему ему не заплатить 1 к., а кто возьмет 100 р., тому ничего не значит заплатить 1 р. на общее благо. Генри Джорджа я совершенно не мог усвоить, потому что если весь налог в земли, то как же будут тогда платить все промышленники и ремесленный народ, которые также живут на земле, пользуются большой доходностью. Я книжки перечитал снова и опять не усвоил из них этого.

Вы мне пишете, дорогой дедушка, что люди все должны жить христианской жизнью. Это, несомненно, всем нужно, но как же люди будут жить, когда перед их глазами все честное, справедливое стоптано ногами и властвует одна ложь? Вот когда у меня вырастут два мальчика, действительно, я их не дам в солдаты. Пусть берут силой и меня ведут на виселицу. Я хорошо знаю, что я не помру и буду жить будущей неведомой жизнью, а помрут убийцы. Но ведь все люди так сделать не могут, потому что они по рукам и ногами связаны земной жизнью. Одна минута жизни перед праведной смертью стоит дороже всей вечности. Но люди не могут понять этого, они кинутся сторгнуть власть, потому что хорошая нравственность померла, а выросло одно зло. И я никогда не мог думать, чтобы от этого было лучше, и я вам писал только потому, что мне очень жаль мою родину и жаль всех людей. Не знаю, как можно разубедить человека, который живет с кучею детей на усадьбе помещика, платит в казну, платит мирские и сельские и вдруг по одному только капризу помещика является становой, ломают избу и дути голодные в ужасе бегут к соседу.

Вы спросите меня, кто ломает. Ломают стражники, такие же мужики, которые потеряли всякую надежду иным путем добыть для своих детей кусок насущного хлеба нанялись в стражники, нанялись только затем, чтобы их дети не померли с голоду.

Еще я вам писал, что я согласен с Генри Джорджем в том, что земля должна принадлежать трудящимся, и что я подтверждаю, потому что все эти места более всего усвоил. Действительно, она должна принадлежать тем, кто на ней работает, но принадлежать не как частная собственность, а просто, чтобы каждый труженик или желающий на ней трудиться мог подойти к ней и работать свободно, сколько он пожелает и где пожелает. Ведь люди, которые говорят: мы не умеем работать, они напрасно рождаются, напрасно и живут. Каждый человек своими руками должен найти себе кусок хлеба.

Вы мне пишете, дорогой мой дедушка, что я смышлен, легкомыслен. Вам спасибо, я все в себе признаю. Но если это все плохо для моей жизни, то где я могу найти лучше?

На ваш взгляд, быть может, я представляюсь и несчастным, но я этого не замечаю. Не замечаю потому, что все раскрытое предо мною самим богом люблю, люблю и только грущу, когда читаю про смертные казни...

*Простите меня. С почтением
ваш внук Александр Шильцов.*

Вот и последние строки переписки, последняя точка.

От письма к письму Шильцов становится все ближе нам, все понятнее. Заканчивая чтение листков, написанных его рукой, видишь перед собой человека, еще во многом не разобравшегося, политически не созревшего, на ради освобождения народа способного не жалеть своей жизни, правдоискателя-бунтаря, мучительно нащупывающего верную дорогу.

Нашел ли Шильцов эту дорогу?

Как сложилась его жизнь?

Кто он вообще?

"ДРУГ И БРАТ ГЕРМАН..."

1

Это письмо из Кунгура Лев Толстой получил в конце октября 1903 года. Ольга Федоровна Харлампович, отрекомендовавшаяся "как самый лучший друг семьи Чемоданова", сообщала писателю о его аресте и обращалась с просьбой "подбодрить заключенного хоть одним словом".

Толстой откликнулся.

"Хотя ваши заботы не нуждаются в моей благодарности, я, любя Чемоданова, не могу воздержаться от нее", - писал он.

"Очень благодарен..."

"Благодарный вам..."

Все это в нескольких строках того же, ответного письма в далекий уральский город.

В конверт, адресованный О.Ф. Харлампович, вместе с обращением к ней, было вложено письмо, которое начиналось словами: "Дорогой друг и брат Герман". Читая его в 74-м томе сочинений Толстого, с первых же строк узнаешь, что благодарил он свою корреспондентку не только за уведомление о судьбе Чемоданова, а и за пересылку его письма.

Нужных томов у вас под руками может не оказаться, а потому - здесь и далее - я воспроизведу толстовские письма полностью, или почти полностью.

Прежде всего то, первое.

"Только нынче, 2-го ноября, получил ваше письмо. Очень жалею, что ничего не знал раньше о вашем положении, и рад тому, что хоть теперь узнал об нем и могу попытаться или помочь вам, или, если не могу, то хотя в мыслях разделить с вами и тяжелое и радостное вашего положения. Я не могу не видеть много радостного в вашем положении. Я всегда желал его для себя т(ак) к(ак) в нашем обществе гонения мирских властей, в особенности без всякого повода, как это было с вами, есть верный признак того, что подвергающийся гонениям стоит на истинном пути христианской жизни. Я, очевидно, не стою на нем, и потому бог не удостоил меня до сих пор этого доказательства верного служения ему. - Помогай вам бог с сознанием своей духовности и неотъемлемой свободы человека, познавшего истину, перенести посланное вам и вашей семье испытание без ропота и озлобления, а с благодарностью тому, который, дав нам частицу себя, дал возможность, вызывая в себя его сущность - любовь, быть неуязвимым и кротким и любящим, каким мы хотим и можем быть.

Молодой человек, о котором вы пишете, был в Москве, где я не живу, и потому я не видел его; но желание его я думаю, что мне легко будет исполнить. Я спишусь с теми двумя лицами, которым я думаю предложить его, а он пусть даст мне свой адрес, и я напишу ему.

Прощайте пока. Если вам можно будет, напишите мне еще о себе: как вы переносите свое положение и как и чем оно кончится.

Любящий вас друг и брат Лев Толстой

2 ноября 1903

Ясная Поляна

Прошу передать мой братский привет вашей жене и искренних пожеланий перенести с кротостью и покорностью воле божьей посланных ей испытаний.

Этот день - 2 ноября - прошел для Толстого в мыслях о Чемоданове. Вслед за письмом к нему он пишет еще одно - человеку давно знакомому, но в данном случае лицу официальному. Имеется в виду А.А. Лопухин,

директор департамента полиции.

Алексей Александрович,

Я нынче, 2-го ноября, получил через знакомого прилагаемое письмо доктора Чемоданова. Из письма, того места, которое отчеркнуто красным, (вы увидите?), как безосновательно Чемоданов был заключен в тюрьму и содержится в ней. Я знаю доктора Чемоданова за человека самой высокой нравственности, и потому все, что он пишет в письме, безусловно, справедливо. Лицо, которое пересылает мне его письмо, пишет, что жена его, совершенно больная, становится все больше и больше и что сам он в таком состоянии, что он недолго выдержит свое положение.

Жестокое отношение в доктору Чемоданову я думаю, что произошло от излишнего усердия губернских чинов отдаленного города Кунгура, Пермской губ., и я уверен, что вы, рассмотрев это дело, исправите совершенное над Чемодановым насилие, сделав распоряжение об его освобождении.

Очень буду вам благодарен за исполнение моей просьбы.

Желаю вам всего лучшего.

Лев

1903 2 ноября

Толстой.

Очень обяжете меня, если возвратите мне письмо Чемоданова.

Л.Т.

Итак, три письма одного дня вызваны известием из Кунгура.

Толстому этот человек близок, и потому все, его касающееся, задевает за живое, будоражит, волнует. Доверяет (и верит) он Чемоданову безоговорочно, помочь желает искренне, готов на любые шаги.

Откуда такая готовность? Чем вызвана особая симпатия к попавшему в беду уральцу?

Минимум сведений, могущих прояснить поставленные вопросы, можно получить из комментариев к приведенным или упомянутым письмам.

Герман Александрович Чемоданов - врач, живший в г. Кунгуре, Пермской губернии... В конце девяностых годов приезжал в семью в Ясную Поляну... По подозрению в распространении запрещенных произведений Толстого подвергся в январе 1903 г. аресту... "Молодой человек" - из толстовского письма к Чемоданову - Дмитрий Ляпустин, который горел желанием "осесть на землю" - заняться сельским хозяйством... Комментаторы отметили, что обещанные Толстым письма относительно Ляпустина неизвестны (как равно и письма самого этого юноши, чьим адресом Лев Николаевич интересовался).

В примечаниях к письму А.А. Лопухину приводится выдержка из ответа важного полицейского чина: "Он арестован не по ошибке, как вы предполагаете, перестаравшихся жандармов, а на основании целого ряда вполне беспристрастных свидетельских показаний, доказывающих систематическое распространение Чемодановым в крестьянской среде революционных изданий". Значит, уведомлял директор департамента 16 ноября (без всякой проволочки), Г.А. Чемоданов освобожден быть не может.

... Сведений именно минимум.

Где источники новых, более обширных?

Для Толстого таким источником было, прежде всего, дошедшее до него через вторые руки письмо от кунгурского доктора. В качестве наиболее полной информации он пересылал его Лопухину. Но письмом дорожил и - прислал вернуть. "Очень обяжете меня..."

Письмо в Ясную Поляну вернулось.

2

Теперь оно - среди девяноста тысяч писем, полученных им за долгие годы жизни, - в рукописном отделе Государственного музея Л.Н. Толстого.

Письмо Чемоданова датировано 27-м августа 1903 года - до адресата шло довольно долго, более двух месяцев.

Делая выписки, оставляю все существенное; впрочем, несущественного здесь, по сути дела, нет.

"... Прежде всего считаю долгом от души поблагодарить тебя за то сердечное отношение и за тот чисто братский прием, который ты оказал мне и моей жене, когда мы вместе с ребенком, сыном, одним летом, этак пять-шесть лет тому назад, были у тебя, в Ясной Поляне. Мы останавливались тогда у какой-то женщины в соседней с твоим имением деревушке и прожили там этак дня три-четыре. Может быть, ты припомнишь того доктора из г. Кунгура, по фамилии Чемоданова, который брал у тебя еще одну книжцу и этак через год времени вернул тебе ее еще, по независящим от него обстоятельствам, без начала, или которому в бытность свою в Ясной Поляне случайно пришлось еще осмотреть больную жену твою и прописать ей лекарство... Так вот, этот самый доктор теперь и пишет и выражает тебе как свой сердечный привет, так и искреннюю благодарность за

твое любовное отношение тогда к нему и его семье; это любовное отношение твое много отрадных минут дало нам тогда и много доброго внесло в сердца наши, оно утешило нас, ободрило нас, оживило нас!.. Обо всем этом я давно собирался написать тебе, брат мой, но, зная, что у тебя и без моих писем много работы, я все как-то не решался беспокоить тебя излишними своей признательности, рассудивши в конце концов так, что лучше всего еще раз лично как-нибудь побывать у тебя. Я было и предположил уже нынешним летом привести в исполнение эту свою мечту, но, к несчастью, печальные обстоятельства моей жизни помешали мне в том; еще 23 января сего года меня, после обыска, местная жандармерия арестовала и вот теперь я в тюрьме, откуда и пишу.

Во время обыска у меня лично не нашли ничего предосудительного с точки зрения правительственной, но у одного из явившихся ко мне для лечения пациентов нашли печатную брошюру "Неужели так надо?" и, кроме того, два листа бумаги, на которую этот больной списывал ту брошюру печатающими чернилами. На вопрос: "Откуда у вас она?" - больной ответил: "Это дал мне для списывания врач Ч". Тогда меня арестовали. Несмотря ни на какие просьбы об освобождении, с которыми я и жена моя, ввиду крайне серьезной болезни четырехлетней нашей дочери (у нее был сначала сильный плеврит, а затем наступило искривление позвоночника, излечимое лишь при начале болезни), обращались к жандармскому подполковнику (следователю), и к жандарм. генералу, и в департамент полиции, и в Мин. вн. дел, до сих пор освобождения мне не дали: отовсюду получен был отказ. Правда, следствие тогда было еще не закончено. Теперь оно закончено и я 27 августа снова подаю просьбу об освобождении уже на имя директора Департамента полиции: авось либо хоть теперь он не освободит ли?..

А тяжело, страх как тяжело было в тюрьме, сидеть в четырех стенах, не видя ни одного человеческого лица, не слыша ни одного человеческого голоса... и не зная того, чем кончится для тебя твое дело: то ли высылкой куда-нибудь в снежные степи, то ли нескольколетним заключением тебя куда-нибудь в крепость, то ли дачей тебе свободы (на что надежды, кажется, никакой!); не зная также, как-то живут те люди, кои для тебя дороги, дети и жена, и которых как раз именно в эти тяжелые для меня дни постигла серьезная болезнь... Тяжело переносить все эти муки... и потому, что сознаешь, что не заслуживаешь их решительно ничем... А там далее может быть и еще несколько лет скитаний и страданий в краях, с которыми никогда не хотел и ведаться то!..

За всем сим, брат мой, прошу простить меня за то, что я позволил себе занять твое внимание прискорбной новостью о своей настоящей жизни. Собственно, не это должно быть главным предметом моего письма к тебе... а вот что: у меня есть один знакомый, некто Дмитрий Алексеевич Ляпустин, человек крайне симпатичный, с добрым сердцем и ясным умом. Он только что ныне кончил курс в Кунгурском техническом училище. Не желая жить своей специальностью, а желая больше посвятить свои силы сельскому хозяйству, к которому он чувствует большую склонность, и, может быть, даже призвание, он вознамерился изучить это хозяйство на практике, не книжно только, а и опытно и наглядно... Только он не знает, как ему легче всего и удобнее всего приняться за это дело и привести в осуществление свою заветную мечту. Когда он сообщил мне о таком своем намерении, то я посоветовал ему поступить куда-нибудь на ферму или в имение для практических занятий и наблюдений в разного рода сельскохозяйственных отделах, поступить или в качестве просто бесплатного работника или же в качестве подручного, так сказать ученика. Думаю, что это, при помощи добрых людей, вполне достижимо! На это он согласился. Но вот вопрос: на какую ферму или в чью экономию направить ему свои стопы?..

... Подробно выяснить всех планов своего знакомого я не могу, ибо и сам еще недостаточно знаю их: об них я узнал от него вкратце уже в то время, как засел в тюрьму; а сам ты можешь себе представить, насколько удобны сношения между политическим арестантом и человеком, живущим на воле... Одно лишь могу сказать, что не себя ради только человек сей добивается подобных знаний, а и ради ближнего своего.

Ответ мне прошу послать по адресу...

Толстой не оставил без внимания "главный предмет" письма - вопрос о Ляпустине. И если практических результатов достичь тут не удалось, винить в том надо не Чегоданова и не Толстого: первый, в силу сложных обстоятельств, мог и не получить возможности вовремя связаться со своим знакомым; молодой человек не написал в Ясную Поляну, а, значит, не дал хода делу и Лев Николаевич.

О себе Чегоданов перед Толстым не хлопотал. Но именно его судьба взволновала писателя всего более. И он нашел душевные слова, чтобы подбодрить арестованного, нашел свои доводы в обращении к полицейским властям.

Перед ним снова возник беспокойный, мятущийся, ищущий правды и справедливости доктор из Кунгура.

Возник в полный рост.

3

Здесь, думается, уместно повествование о переписке прервать.

Прервать ради того, чтобы попытаться раскрыть (или хотя бы приоткрыть) обстоятельства жизни и характер деятельности Германа Александровича Чегоданова в годы, предшествовавшие переписке его с Л.Н. Толстым.

Путь к этому пролегает через архивы.

Пермский прежде всего.

И вот несколько дел из разных фондов - сотни листов, имеющих прямое отношение к событиям, всколыхнувшим в свое время не только Кунгурский уезд, а и всю губернию, получивших, в известной мере, резонанс всероссийский. Преувеличения тут нет - в одном из номеров "Искры", среди заметок отдела "Хроника революционной борьбы", есть и такая: "Кунгур. Взят врач Чемоданов и ветеринарный врач Дмитриев".

Арест случился буквально накануне сорокалетия земского медика.

Родился 27 февраля 1863 года, в селе Окатьево, Котельничского уезда, Вятской губернии... Сын священника сельского прихода... Учился в Вятке - сначала в духовном училище, а затем в семинарии, но в двадцать лет направление жизни круто изменил: решил стать врачом... Казанский университет приобщил его не только к медицине, но и к общественному движению; как участник "студенческих беспорядков", Чемоданов был взят под надзор... Закончить курс ему все же дали, и в 1893 году, получив диплом лекаря, он отправился к Могилевскую губернию... Через два года переехал в Кунгур, где оказалась вакансия в земской больнице...

Понадобилось совсем мало времени, чтобы его узнали и во всех окрестных селах, и в полиции... В селах - как чуткого врача и доброжелательного человека, в полиции - как наиболее вероятного распространителя запрещенной литературы, в том числе бесцензурных изданий Толстого. (До поездки Чемоданова с женой, Верой Николаевной, и десятилетним тогда сыном Иннокентием в Ясную Поляну исправник Дубровин не докопался, в противном случае обвинение было бы построено мигом). Но уже через год-полтора после дознания по делу "о тайном кружке среди учеников Кунгурского технического училища и местных рабочих" сомнения в том, что Чемоданов "стремления противоправительственного", у местных блюстителей порядка рассеялись.

Спешить с принятием решительных мер они, однако, не стали. Надо было добраться до самой сути: полного состава участников "преступного сообщества", характера его деятельности, связей за пределами Кунгура.

К Чемоданову и его товарищам подослали платных агентов полиции. Провокаторам удалось втереться в доверие и установить наблюдение за действиями "Кунгурского общества революционеров" (так стали называть эту группу уже в ходе слежки).

День за днем накапливались улики - в том числе вещественные.

Гектографированная тетрадь "В чем моя вера"... Где и кем отпечатана - неизвестно, но цепочка тянется от Чемоданова к сапожнику Константинову, от Константинова, одного из деятельных участников группы, к иконописцу Мореву, а от Морева - в... полицию, так как был этот человечик на полном агентурном довольствии.

"Ответ на постановление Синода", "Царю и его помощникам", ряд других брошюр аналогичного содержания - цепочка та же.

Провокатор выходит на самого Чемоданова, но получает от него литературу... дозволенную цензурой.

Всплывает книга "Рабочее движение в Екатеринослав" - издание социал-демократов...

Распространяется по городу и уезду прокламация РСДРП...

Новая попытка приблизиться к Чемоданову - более тонкая, более обдуманная.

Получается. Доктор начинает Мореву доверять.

Теперь уже есть основания утверждать, что книги явно антиправительственной направленности идут "в народ" через него, земского врача, что его роль в "обществе революционеров" особенно велика.

Однако - "к возбуждению дознания в каком-либо порядке еще нет достаточных оснований".

"Прошу продолжить негласное наблюдение, стремиться установить отношения между членами сообщества, выяснить, в каких квартирах устраиваются собрания, участников таковых и деятельность... каждого, уяснить место хранения нелегальных сочинений", - намечает программу начальник губернского жандармского управления генерал-майор Широков, специально прибывший в Кунгур для руководства операцией.

Агенты втираются в доверие к членам группы - ветврачу Дмитриеву, заведующему книжным складом Смолину, зубному врачу Цильману, обувщику Константинову и другим; они пробираются в святая святых - туда, где производится гектографирование. Это удается бывшему священнику Никулину, лишенному сана за пьянство и с того времени занимающемуся "письмоводством". Каким именно? Свидетельствует о том подшитое в деле его письмо к начальству: "Милый мой Косьма Андреевич! Сегодня занимаюсь у г. Чемоданова с 10 ч. утра. "Рабочий день" до меня уже кем-то кончен. Сегодня мне дана брошюра графа Толстого "Неужели так надо?" в 20 страниц. Пишу синими чернилами и на сей бумаге и таким шрифтом без употребления твердого знака. В девять с половиной часов кончу сегодня занятие. Работы много, сегодня мне говорил г. Чемоданов. Ваш покорный слуга Константин Николаевич Никулин. 15 января месяца 1903 года".

Неделю спустя в 24 домах Кунгура были произведены обыски. Двенадцать человек взяли под стражу, у остальных отобрали подписки о "неотлучке".

Чемоданов оказался в тюрьме.

В тот день, когда он писал свое письмо Толстому, дознание о "Кунгурском обществе революционеров" было закончено и ушло на рассмотрение к прокурору Казанской судебной палаты.

28 октября Чемоданову и Дмитриеву объявили, что их высылают под гласный надзор в Восточную Сибирь. Две недели спустя, 19 ноября, глухой ночью, втайне от родных и друзей, их передали особому конвою для препровождения в Пермскую тюрьму, а оттуда - далее, к месту ссылки.

И все-таки в этот период Герман Александрович ухитрился съездить в Ясную Поляну и встретиться с Л.Н. Толстым!

Когда?

Каким образом?

В письме его от 20 января 1904 года речь идет только о цели поездки и никаких подробностей ее осуществления нет.

... Большое спасибо тебе за радушный прием. Прости меня, ежели мое вмешательство в твою жизнь причинило тебе какое бы то ни было душевное волнение...

Чемоданов как бы продолжает свой разговор с Толстым - разговор о том, что его волнует.

... Когда я предложил тебе вопрос о том, что есть насилие, то я заметил, что вопрос этот, неумело мною поставленный, нарушил свое душевное равновесие и, видимо, причинил тебе душевную боль... Но что же мне было делать? Как мне был поступить иначе?..

Он по-прежнему в поисках ответа на свои вопросы - и о насилии, и о истине, и о добре, счастье.

Продолжая раздумывать над этим, Чемоданов просит присылать ему "творения великих учителей", в том числе самого Толстого.

... В ночь на 21 января я отправляюсь в Енисейский уезд. О своей отлучке я пока что постараюсь умолчать; если же мне не удастся ее утаить, тогда я напишу тебе о том и тогда уже буду просить тебя, брат мой, о том, чтобы ты пред кем следует замолвил за меня слово, дбы начальство не вменило мне в вину мою самовольную поездку в Ясную Поляну.

Смятение мыслей заставило его пойти на риск и привело в Ясную Поляну.

Но, читая приведенное здесь письмо, перечитывая строки тюремного послания, можно ли сделать вывод, что автор целиком стоит на позициях толстовского учения, что оно принимается им как нечто незыблемое, единственно верное? Что за внешними атрибутами - от обращения на "ты" и величания "братом" до превознесения "добра", "любви" и "воли божьей" - идейная убежденность в совершенном превосходстве толстовства над другими противоположительственными направлениями общественной мысли, общественного движения?

Толстой для него учитель "в известной мере". Он больше полагается на себя, на то, что дойдет до истины "своим собственным умом и сердцем". И, готовясь в дальний путь, рассуждает о книгах, которые надо прочесть и обдумать. Эти книги ему хотелось бы получить от Толстого. Но только ли толстовское будет он читать? Только ли над ним думать?

5

Следующее письмо - из Сибири; послано оно чуть более чем через месяц, 24 февраля 1904 года.

Письмо очень велико и тут мелкими сокращениями не обойтись. Однако семью заверить, что наиболее существенное будет сохранено.

... Наконец я добрался до места своей ссылки, до села Маковского (Енисейского уезда, Енис. губ.). Село это состоит приблизит. из 50 дворов и расположено на берегу небольшой речки Кеть среди беспредельных лесов. В лесах этих водится много зверей и дичи...

Он пишет писателю, а потому - особенно подробно: и о зверях, и о рыбе, и о растительности. Полная характеристика - занятиям крестьян, условиям и стоимости жизни, особенностям сибиряков - "народа смышленного".

... О роли крестьянина в общественной жизни здешние крестьяне... имеют довольно-таки изрядные сведения. Большинство из них крайне недовольно войной, недовольно как потому, что бремя налогов через эту войну усилилось уже теперь (приходится за общий счет содержать малых детей и жен солдат, отправившихся на войну), так и потому, что на войну угнаны у кого брат, у кого сын, у кого муж, у кого друг, так еще и потому, что война эта, по убеждению местных жителей, не принесет никому пользы ни в том случае, когда нас победят, ни в том случае, когда мы победим: много будет душегубства, налоги усилятся, а пользы ни для кого! Иные в сердцах нередко крепко поругивают тех, кто затеял войну. Но как ни смекалист здешний люд, он все же крепко запуган начальством, боится перечить ему как словом, так и делом, даже в тех случаях, когда видит, что начальство не право...

Чемоданов пишет о жизни политических ссыльных.

... Политикам запрещено отлучаться из своей деревни куда бы то ни было дальше, чем на 10-12 часов, запрещено навещать своих товарищей, проживающих где-нибудь в соседстве, хотя бы соседняя деревня, где живет товарищ, и была от деревни желающего навестить в 3-5 верстах. Политикам запрещено выходить навстречу тем из новых товарищей, кои в партии только что следуют на места своего будущего жительства... Политикам запрещено заниматься охотой (собственно запрещено ношение оружия), рыбной ловлей (должно быть, запрещены лодки), учительством, врачеванием. За нарушение подобных правил политику грозит всякий

раз высылка в самые отдаленные места Якутки...

Последующие страницы - о себе, своих планах и - крушении их, своих надеждах и... краху надежд, том, что волнует, что терзает.

... В декабре мною было подано на имя мин. вн. дел прошение о том, чтобы мне было разрешено занимать должность участкового врача при какой-либо больнице. 13 февраля я получил на это прошение отрицательный ответ. Таким образом, планы мои - заняться здесь, в ссылке, лечением больных - рушились. Дивлюсь я правительству: здесь есть такие уголки, куда, в силу крайней глуши, не хочет ехать на место почти ни один врач. Уголки эти поэтому вечно бывают лишены врачебной помощи и население по целым годам остается без врачей. И вот люди предлагают правительству свои услуги, а правительство не хочет воспользоваться этими услугами... Все это и печально, и непонятно!

Теперь я помышляю подать прошение на имя мин. военного (а может быть придется и на имя государя) - прошение о том, чтобы приняли меня в качестве врача в ряды действующей армии. Брат, как ты на это смотришь? Присоветуешь ли? Помнится, ты к подобному делу относишься отрицательно; помнится, ты говоришь, что служить в рядах правительства не следует; особенно не следует работать в рядах войска, все равно в качестве ли простого солдата, или в качестве какого-либо военачальника, или даже в качестве врача. Вообще, по твоему, не следует принимать никакого участия в таком деле, как война. Может быть, я неправильно понял тебя.

Сам же я так думаю: я иду на войну в качестве врача не затем, чтобы сражаться с врагом и не за тем, чтобы, врачую, усиливать мощь армии того народа, из среды которого я происхожу. Нет! Я иду на войну в качестве врача за тем, чтобы кое-кому сохранить жизнь, дорогую как для него самого, так и для его семьи; иду за тем, чтобы кое-кому облегчить муки и страдания. Мое дело: лечить, лечить и лечить!.. Не моя вина будет, ежели солдат, коему я своим врачеванием сохранил жизнь и силу, снова по выздоровлении пойдет на войну и снова будет разить своего врага и огнем, и мечом. Война - явление сложное, состоящее из целой массы отдельных поступков. Каждый из этих поступков имеет свою физиономию и свой нравственный облик... Правильно я мыслю или нет?.. Во всяком случае, жду от тебя на сей счет ответа...

А вот и ответ на недоуменный наш вопрос о поездке Чемоданова в Ясную Поляну - во всяком случае, о том, когда, она происходила и как стала возможна.

... Из Красноярска в с. Маковское я отправился 10 января. Прибыл же в с. Маковское 13 февраля. Никто из начальства не спрашивал меня, почему я ехал так долго, никто по сему делу не требовал от меня никаких объяснений. За это им большое спасибо.

Выехал в Маковское, оказался в Ясной! Чемоданов обвел жандармов вокруг пальца, тайно осуществил многотысячеверстный переезд из Красноярска и обратно, по сути дела совершил побег, и какой дерзкий...

... Считаю нужным сообщить тебе, брат мой, одну очень печальную для меня истину. Уже в то время, когда я был вместе с семьей в Красноярске, дочь моя Галя начала малость прихварывать. Затем она и совсем расхворалась, заболела scarlatinoю, пришлось семье моей вернуться в Пермь, где дочь моя 6 февраля и скончалась. Известие о ее кончине я получил 20 февраля и оно страшно поразило меня: великое, нескончаемое горе легко мне на сердце!..

Он плачет над свежей могилой своей пятилетней дочурки, "очень умной девочки, смысленной и вдумчивой", он вопрошает: "кому это надо и для чего это надо?"; горе отцовское неизбывно, но и в горе он не может не думать о продолжении активной деятельности на пользу людям. Только что Чемоданов спрашивал у Толстого совета, проситься ли ему в войско, а теперь пишет уже так:

... Когда я окончательно вырешу для себя вопрос о том, ехать или не ехать мне на войну, тогда я напишу тебе, брат, о том и тогда я буду просить тебя о том, чтобы ты, ежели только это возможно, замолвил за меня словечко перед кем там следует, дабы, таким образом, на мою просьбу в верхах обратили больше внимания и скорее и охотнее удовлетворили бы ее. Прошу тогда не отказать в моей просьбе; думаю, что после всего того, что я высказывал пред тобою насчет своих взглядов на роль военного врача, ты не найдешь для себя ничего худого в том, чтобы оказать мне посильную помощь...

Планы у Чемоданова - далеко идущие.

... Разумеется, раз меня примут на войну, раз война кончится, меня, я надеюсь, тогда освободят от наложенного на меня наказания. Такое соображение я тоже имею, когда хочу проситься в военные врачи. Дело в том, что жизнь здесь, в глуши, вдали от людей, с которыми не особенно-то позволяют видаться и водить дела, крайне однообразна, скучна и тяжка. Желалось бы осмысленной работы, между тем в такой пустыне, как село Маковское, ее не может быть почти что и совсем. Ввиду того, крайне хочется возможно скорее выбраться из таких душных условий и одним из наиболее действительных средств к тому, я думаю, будет то, о котором я сейчас только писал вам... Разумеется, при этом я не буду лстить или унижаться: я просто напишу, что желаю своими силами и знанием быть полезным для русского войска...

А приговора-то, оказывается, нет - отправка в Сибирь осуществлена "по усмотрению властей".

... Хотя следствие по моему делу и завершено еще в первой половине августа, но приговора я до сих пор еще не имею, а между тем желательно было бы, чтобы приговор состоялся возможно раньше: тогда пришлось бы мне жить в Сибири все же меньше, не так много лет. Ввиду этого я прошу тебя, мой брат, оказать мне помощь и с этой стороны. Я боюсь, что худые условия сибирской жизни отнимут у меня и жену, подобно тому, как худые же условия дороги отняли у меня дочь...

Чемоданов думает над своим политическим кредо, вновь и вновь сопоставляет платформы партий, хотя и не все в их деятельности представляет себе достаточно глубоко.

С большой симпатией пишет он о социал-демократах, но не по душе ему то, что "в основу своего дела они кладут материальные интересы"; отрицательно относится Чемоданов также к применяемым ими методам насилия. Впрочем, при чтении письма не покидает мысль о том, что он сообщает Толстому как бы "конспект мыслей", которыми писатель может оперировать, обращаясь к властям, а на деле многого не договаривает. Многого из того, о чем думает...

... Надеюсь в скором времени получить от тебя ответ на свое письмо...

6

Ответ не замедлил.

Вот он:

Дорогой Герман,

Вполне понимаю ваше положение и всей душой сочувствую ему. Если буду в состоянии, постараюсь помочь.

О службе врачом в войске я думаю так: идти из России, где везде много страданий и горя, туда, где люди убивают друг друга, неразумно. Из всех мест, в к(оторых) можно служить людям - последнее должно бы быть то, в к(отором) люди заняты убийством. Так это для людей свободных; но вы находитесь в исключительном положении, в к(отором) вам везде мешают служить людям, кроме как в войске. И потому, просясь врачом в войско, я думаю, что вы поступите нравственно и разумно. Благодарю за хорошее письмо. Простите, что на этот раз пишу коротко. Случилось, что нездоров и очень занят.

17

марта

1904

Лев Толстой

Толстой спорит сам с собой.

Толстой пересматривает свои позиции.

Письмо из Сибири усугубляет его сомнения.

Но может ли он кривить душою, да еще перед таким человеком, как Чемоданов?

7

Диалог продолжается - вот и еще одно письмо извлекаю из архива.

Такое же большое и обстоятельное, как предыдущее.

И так же богатое мыслями.

Дата - 1 мая 1904 года, место отправки - прежнее.

... Письмо ваше от марта с.г. мною получено. Спасибо великое вам за него: немногословно оно, но сказало мне многое. Из него я понял, что ваш взгляд и мой на нравственное достоинство службы в войске в роде врача существенно не разнятся между собой. Это дает мне уверенность, что и все остальные части вашего нравственно-религиозного учения я понимаю совершенно так же, как понимаете его вы, ибо добрую половину всех ваших сочинений, как легальных, так равно и нелегальных, я перечитал...

Чемоданов преувеличивает - общность их взглядов вовсе не абсолютна.

Под воздействием доводов уважаемого им корреспондента Толстой сам пересматривает свои прежние утверждения относительно службы в войске и идет на явный компромисс со своими прежними убеждениями, казавшимися непоколебимыми. А кунгурский врач, теперь политический ссыльный, продолжает атаку на эти взгляды и в письме новом - страница за страницей разворачивая цепи доводов, все более, с его точки зрения, веских.

... На основании всех подобных своих размышлений я пришел в конце концов к выводу, что мне в моем положении самое лучшее будет подать прошение о том, что я желаю поступить в действующую армию в качестве врача. Я только нахожусь в великом затруднении, как поступить мне, дабы добиться желаемого; на чье имя писать бумагу, дабы можно было наверняка рассчитывать на то, что прошение мое будет уважено. Присоветуйте мне, к кому лучше всего обратиться: к самому ли царю, или к военному министру, или там еще к кому-нибудь иному? Вообще, дайте мне практические указания на сей счет.

Приговор по моему делу до сих пор не состоялся еще и я боюсь, что просьба моя не будет поэтому уважена. По крайней мере я подавал на имя мин. вн. дел прошение о том, чтобы мне было разрешено в ссылке заниматься как вольной практикой, так равно и занимать штатные места больничных и участковых врачей, в каковых здесь чувствуется большой недостаток и, несмотря на последнее обстоятельство, мне было отказано в удовлетворении просьбы.

Недавно Красноярский городской голова письмом спрашивал меня, не желаю ли я принять на себя

обязанности эпидемического врача при вновь устраиваемой Красноярским городским управлением больницы для заразных больных. В случае, ежели я согласен, голова имел намерение испросить для меня перед Иркутским генерал-губернатором право на занятие таковой должности. Я выразил на такое предложение... полное свое согласие и вот теперь нахожусь в ожидании ответа генерал-губернатора. Только навряд ли он даст свое согласие на то, чтобы мне занять означенное место врача.

О том, что согласия не последовало, Толстой узнал из этого же письма. В самом конце его Чемоданов приписывал:

... Сегодня, 1-го мая, получена от Красноярского городского головы на мое имя такого сорта бумага: "К величайшему сожалению должен вас известить, что на ходатайство свое перед Иркутского генерал-губернатором относительно разрешения принять вас на службу городу, я получил отказ. Прошение ваше оставлено при делах управы, так как я не теряю надежды устроить дело при личном свидании с генерал-губернатором, который, как у нас говорят, предполагает быть в Красноярске". Итак, опять отказ! Опять надежды мои выбраться из с. Маковского рухнули!

Добрая половина того же письма от Чемоданова посвящена анализу взглядов Толстого на брак, семейную жизнь и разводе входя в суть доходов, занимающих здесь несколько страниц, скажу только, что выводы того, кого он считает в известной мере своим учителем, не кажутся пытливому искателю истины совершенно справедливыми; он спорит с ними, и притом энергично.

Спорит!..

Это очень важно для понимания личности.

8

И снова отклик Льва Толстого - сочувствие, обещание помощи, спор.

Любезный Герман.

Очень рад был получить весть о вас, хотя вести нехорошие. Попытаюсь написать Иркутскому ген(ерал)-губ(ернатору) с просьбой не препятствовать вашему поступлению на службу. Он мне сделал одно дело; мож(ет) б(ыть), сделает и это...

Далее - мысли о семье и браке. Толстой настаивает на правильности своих взглядов на брачную жизнь. Но... в спор мы тут вступать не будем: разбор этических взглядов писателя успешно осуществляют философы; очерк имеет целью выяснение взаимоотношений Толстого и его корреспондента, воссоздание хотя бы основных вех жизни и деятельности его знакомого из Кунгура, человека устремленного к правде.

Вот почему, не останавливаясь, воспроизведу еще одно письмо Толстого, написанное на следующий день; в 75-м томе оно публикуется по черновику, позднее все необходимое было восстановлено, и письмо к П.И. Кутайсову, иркутскому генерал-губернатору, ушло по назначению.

Ваше сиятельство

Гр. _____

Очень благодарю вас за оказанную вами помощь Чаге и за извещение меня об этом. Ваше внимание к моей просьбе поощряет меня к тому, чтобы просить вас еще о помощи одному, по моему мнению, совершенно невинно сосланному в Иркутскую губернию врачу Герману Чемоданову. Он поселен в _____ и там ему запрещено заниматься своей профессией, а между тем ему негде жить самому и семье.

Красноярский голова предлагал ему место в думе, но он не был утвержден. Теперь он подал прошение об определении его в действующую армию. Боюсь, чтобы и там не отказали ему, и потому позволяю себе еще раз утрудждать В(аше) с(иятельство) просьбой или разрешить ему быть врачом в Красноярске, или посодейство(вать) его поступлению в действ(ующую) армию.

С совершенным уважением и преданностью имею честь быть вашего сиятельства покорный слуга.

Других писем Л.Н. Толстого Чемоданову или о Чемоданове ни в собрании сочинений, ни в архивных фондах нет.

Есть - в рукописном отделе Государственного музея Л.Н. Толстого - еще одно письмо Германа Александровича Чемоданова, но оно послано несколько лет спустя, в апреле 1908 года, и о нем целесообразно говорить позднее.

Но многое тут важно для восстановления последовательности событий, и эту часть письма я открою вам сейчас.

... Ты, Л.Н., читаешь это письмо и, конечно, вопрошаешь себя мысленно, кто бы это такой мог так писать тебе. Так я кое-что напоминаю...

Ты, вероятно, припомнишь, как когда-то в 1903 году, как раз перед началом японской войны, прибыл к тебе из Сибири, с места административной ссылки, один врач, некто Герман Александрович Чемоданов, который мечтал тогда удрать из ссылки за границу и к тебе завернул, во-первых, за советом, как бы ему перебраться через границу, не имея в руках решительно никаких документов, и во-вторых, за рекомендательными письмами к твоим знакомым, проживающим за границей. (Вот и установлена цель той поездки! - Л.Б.). Ты тогда дал совет этому врачу ехать обратно в Сибирь, на место ссылки - и тот врач действительно вернулся в Сибирь. Так вот этот врач и пишет тебе теперь.

С тех пор много времени прошло и много всяких невзгод пришлось испытать этому врачу, т.е. мне. Но никак, а к началу 1906 года мною была получена амнистия и я вернулся для работы в тот самый город, откуда и был административно выслан в Сибирь, т.е. в г. Кунгур Пермской губернии.

Вернулся я в этот город как раз в то время, когда общество кунгурское только-только пережило период так называемых свобод и над кунгуряками начала нависать атмосфера реакции.

Когда я прибыл в Кунгур, то ко мне, как к только что вернувшемуся из ссылки, разумеется, стала стекаться со всех сторон вечно волнующаяся молодежь, а также и те из поживших уже, кто интересовался тогдашней русской действительностью. Каждому было интересно слышать от меня, что представляет из себя ссылка. Каждому было интересно слышать от того, кто, как им всем мнилось, по духу близок к ним и кто пострадал, как им показалось, за то же дело, которое и они творят. Люди поставили меня на пьедестал и стали считать меня своим руководителем...

... Но предержащим властям все это не понравилось. Они вообразили обо мне бог знает что такое. Кроме того, настало время выборов во Вторую думу; начальство, надо думать, побоялось, как бы под моим воздействием не прошел в думу от г. Кунгура кто-либо из левых и потому дало приказ о том, чтобы я в 24 часа выдворился из пределов Пермской губернии. Никакого обыска на этот раз у меня не было произведено. Таким образом, я очутился что называется между небом и землей...

К этому письму мы еще вернемся - я воспроизвел пока лишь то, что непосредственно касается занимающего меня периода.

Ни во врачи эпидемические, ни во врачи военные он "не подошел".

Из Сибири его вызволила амнистия, осуществлявшаяся по указу от 21 октября 1905 года.

Пермские и кунгурские власти приезд Чемоданова не порадовал.

9

Слово - архиву.

Несколько документов 1906 года.

Все они непосредственно касаются героя этого повествования.

... Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления пишет унтер-офицеру Пискунову; предписание - от 18 августа:

"Препровождая настоящую переписку вместе со всем в ней приложенным для производства негласно разведки и представления таковой мне, обращаю твое внимание на прокламации с печатью: "Российская социал-демократическая рабочая партия. Кунгурская организация Пермского комитета". Эти прокламации и печать заслуживают внимания в связи с деятельностью врача Чемоданова, о которой ты доносил 4 сего августа за N 244. Можно предположить, что "организация" эта, которой до последнего времени в г. Кунгуре не существовало, состоит именно из Чемоданова и тех лиц, которые его посещают".

... Кунгурский уездной исправник - Пермскому губернатору, рапорт от 9 октября:

"В Кунгуре проживает лекарь Герман Александрович Чемоданов, занимающийся вольной практикой. Означенный Чемоданов имеет тесную связь с лицами неблагонадежными в политическом отношении, как, например, с Агеевым, бывшим учителем Федором Новоселовым, Александром Кобелевым и другими, бывает у них в гостях и они у Чемоданова. 2 мая сего года Чемоданов внес 200 руб. залога за освобождение из Кунгурского тюремного замка кунгурского мещанина Максима Плотнокова, по профессии сапожника, содержащегося за противоправительственную революционную агитацию, у которого... 4-го сего октября обыском найдены различные произведения печати, призывающие народ к ниспровержению существующего в государстве общественного строя... Донося об изложенном, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство, не признаете ли возможным означенного Чемоданова, как неблагонадежного в политическом отношении и в видах сокращения пропаганды в Кунгуре, выслать из пределов вверенного мне уезда куда-либо в другое место".

... Хроника событий, почерпнутая из архивных дел:

- 14 октября - забастовка служащих аптеки, причем "замечено, что частный врач Чемоданов являлся одним из подстрекателей".

- 25 октября - ночью "были разбросаны по улицам и расклеены на заборах прокламации преступного содержания: от РСДРП - под заглавием "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"...

- 10 ноября - в Кунгуре выявлены несколько экземпляров прокламации: "Три конституции или три порядка государственного устройства" - издания Пермского комитета Российской социал-демократической рабочей партии...

- 6 декабря - на улицах найдены неизвестно кем разбросанные прокламации Кунгурской группы Пермского Комитета РСДРП, призывающие новобранцев к вооруженному восстанию против правительства.

Все эти и многие другие, им подобные, факты в жандармской переписке неизменно связываются с именем Чемоданова.

И вот - телеграмма исполняющего должность губернатора; она адресована исправнику в Кунгуре:

"Немедленно объявить лекарю Герману Александровичу Чемоданову - воспрещаю ему жительство

Пермской, выбыть должен сутки... Если добровольно не поедет, отправить этапом избранную местность, за исключением Уфимской, Челябинска, Тюмени, Кургана, откуда случае прибытия местным начальством будет выслан..."

Исправник телеграфировал:

"На телеграмму N 1359 доношу - Чемоданов сегодня десять часов вечера выбыл Вятку".

Из Вятки Чемоданов просит выдать ему, его жене и сыну "заграничные паспорта" - он "решил совсем покинуть Россию".

Власти облегченно вздыхают и разрешение на то дают.

Но либо сами спохватываются, либо получают нагоняй свыше, и летит по пути следования экстренная депеша: "Обыскать врача Германа Чемоданова... и результатах подробно сообщить. Случае обнаружения чего-либо преступного, арестовать..."

Пограничный пункт, однако, он миновал за день до того, как строгий циркуляр достиг места назначения.

Возвратимся к письму Чемоданова, посланному Л.Н. Толстому 13 апреля 1908 года.

10

Мне предоставлялось право жить где угодно, но только не в Пермской губ. Но я слышал, что изгнанные из пределов своей губернии таким же манером, как и я, часто не принимались на жительство в другие губернии и таким образом им приходилось мыкаться из одной губернии в другую... Не желая подвергаться участи такого скитальца..., я решил вместе с семьею... пока что укатить за границу... Там я пробыл более года...

Времени Чемоданов зря не терял: основательно познакомился с деятельностью различных партий, групп, кружков, вник в их программы, цели, методы. Он еще не в силах окончательно сказать: иду за социал-демократами (хотя и кунгурские документы, и само письмо свидетельствуют о явной симпатии к РСДРА). Но зато вполне уверенно заявляет - самому Толстому заявляет! - об отказе от поддержки коренного положения его учения.

... Я до сих пор не могу понять принципа непротивления злу насилием, никак не могу этим принципом проникнуться, никак не могу признать его за истину. Когда надо мною или над моим ближним какая-нибудь злая сила производит насилие, когда кто-либо явно нарушает мои или близкого мне человека естественные права на жизнь или на здоровье, тогда дух мой глубоко возмущается этим и заставляет меня всеми доступными мне мерами парализовать вредное действие злой силы, а ежели это невозможно, то, пожалуй, и совсем сокрушить эту силу... Вот пункт, на котором я пока расхожусь с тобой, Л.Н... Я знаю, пункт этот существенный, но я пока не могу осилить его...

Читая письмо, Толстой мог увидеть лишь одно: Чемоданов отдалился от него недостижимо и - притом - навсегда.

На конверте пометка, сделанная рукою писателя: "б.о." - "без ответа".

Что-то написал корреспонденту домашний врач и единомышленник Льва Николаевича Д.П. Маковицкий, но его письма отыскать не удалось.

11

Еще не сказал, что письмо Чемоданова было послано в Ясную Поляну из Киева.

Именно там, в Государственном архиве Киевской области, отыскалось дело, проливающее свет на несколько последующих лет его жизни - вплоть до 1917-го.

После поездки по Германии, Швейцарии и Франции он приехал в этот город, чтобы послужить людям своим искусством медика. Около года занимался "вольной практикой", потом устроился участковым земским врачом в Белой Церкви, а далее - городовым врачом в Василькове. Забрехала надежда на занятие вакансии городского врача в самом Киеве, но предусмотрительные власти стали наводить справки и легко вышли на обстоятельства, нам с вами не известные. Давая пояснения, Чемоданов сделал упор на то, что все преследования были вызваны исключительно проводившейся им деятельностью по изучению (и, частично, пропаганде) идей толстовства и ни словом не обмолвился о распространении брошюр и прокламаций куда более "опасных" - Российской социал-демократической рабочей партии. Дознались об этом или не дознались, но места в Киеве он не получил. Продолжал служить в Василькове - пока его не мобилизовали в армию (шла первая мировая война). В конце 1916 года Чемоданов был старшим врачом 503-го Чигиринского пехотного полка.

После Октября Герман Александрович продолжал работать на Украине. Однако об этих годах сколько-нибудь точных данных нет.

*Восстанавливая обстоятельства жизни Г.А. Чемоданова и его взаимоотношений с Львом Николаевичем Толстым, автор пользовался преимущественно источниками архивными*60. Из печатных назову собрание сочинений Толстого в 90 томах (72, 227, 228, 229; 75, 65, 115-118).*

*Но как не упомянуть тут вышедший сравнительно недавно в Перми объемистый том "Революционеры Прикамья"? Среди "150 биографий деятелей революционного движения"*61 есть краткая справка-статья и о нем, Германе Александровиче Чемоданове, враче из Кунгура. Его помнят.*

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕКАБРЬ

1



Н.А. Почуев

Некий набожный купец был большим охотником до краденного, а потому дешевого товара. Однажды ему принесли золотые часы. Выторговав их за более чем скромную цену, купец благодарил бога за удачу. Каково же было разочарование, когда золото оказалось поддельным. Этого он перенести не смог и сошел с ума...

Откуда сей "острый" сюжет? Именно на нем построен рассказ "Золотой бог" - надуманный, длинный, тягуче-нудный. Такими же качествами отличался и второй рассказ И.Ф. Белова "Работа Невидимого", одобренный ко всему изрядной долей мистики.

Между тем автору - служащему хозяйственного правления Оренбургского казачьего войска - оба его произведения очень нравились. Настолько нравились, что счел необходимым послать их Л.Н. Толстому. Письмо, приложенное к рассказам, гласило: "Дорогой Лев Николаевич, чувствуя потребность уронить слово в современное волнующее человечество, я начал излагать свои мысли на бумаге и вот первые свои шаги на том поприще препровождаю на Ваш суд..."

Пакеты от начинающих шли в Ясную Поляну в большом количестве. Значительная часть сочинителей не имели никаких данных для того, чтобы заниматься литературным творчеством. Чтение бездарных, неграмотных стихов, рассказов, пьес наводило Толстого на размышления о "зловредной эпидемии", которую "не только не надо

поощрять, но против которой, наоборот, надо всеми силами бороться, тем более, что в основе этого сочинительства лежат большей частью очень дурные чувства тщеславия и корысти". Так писал он в последний год своей жизни. Годом ранее писатель составил "Циркулярный ответ авторам, присылающим свои рукописи" (79, 212), который, кстати сказать, первым был отправлен в Оренбург, некоему Б.Н. Созину, просившему дать отзыв о его рассказах. Толстой ссылаясь на обилие поступающих к нему рукописей, свою старость и слабость, "свои неотложные работы" и, кроме того, то, что литературные произведения уже давно его "совершенно не интересуют", а в связи с этим он не может "быть судьей в них". Однако при всем этом писатель чуть ли не до последних дней жизни читал присланные ему сочинения, делал пометки на конвертах и почта рассылала ответы - личные или написанные по поручению Толстого кем-то из близких ему людей, короткие или более пространные.

Вернемся к рассказам оренбуржца И.Ф. Белова, которые мы обнаружили в рукописном отделе Государственного музея Л.Н. Толстого*62. Рассказы не остались без ответа, хотя ответ и был, конечно, не слишком лестным для их автора.

Уже на конверте можно прочесть: "Очень плохо и не советует впредь этим заниматься".

Письмо же еще определеннее:

"Иван Федорович!

Я прочел ваше сочинение и, судя по тому, что я прочел, советую вам совсем не заниматься этим делом; вы к нему совершенно не способны.

Не огорчайтесь этим, есть другие дела, гораздо более полезные и серьезные.

Ясная

1 фев. 1908 (78, 45)

Поляна

Прямота в высшей степени поучительная.

Но даже самые прямые ответы не всегда достигают своей цели сразу. Уже 13 февраля И.Ф. Белов пишет Толстому вновь: "Ваш приговор на смерть моего писательства, - сообщает он, - я спокойно прочел, но..." Этим

"но" были два новых рассказа: "Загадочная улыбка Сфинкса" и "Первый луч к сознанию"*63. Ничего ценного, как и предыдущие, они в себе не несли. В своем прежнем выводе Толстой не поколебался. На конверте есть его собственноручная пометка: "Ответить, что сожалею, но повторяю то же".

Такая же категоричность звучит и в ответе крестьянскому юноше из Оренбуржья Ивану Маминову, приславшему малограмотные стихи самого сумбурного характера. "Не нужны и не годны", - пишет о них Толстой здесь же, на конверте (80, 296).

Для Толстого неотъемлемы содержание, форма, владение словом. Но в письмах начинающим он особенно подчеркивает, что "писать можно только тогда, когда знаешь, что имеешь сказать что-нибудь новое, не известное людям, мне же совершенно ясное".

Не писать - вот его ответ тем, кто далек от понимания жизни, занимается пустым сочинительством.

Зато совсем иной совет дает он таким людям из народа, которые знают правду жизни и имеют что сказать другим.

2

В последний декабрь своей жизни, точнее - 14 декабря 1909 года, Лев Николаевич Толстой написал письмо Н.А. Почуеву.

Это одно из тех писем, которые дают возможность полнее представить, в какие острые противоречия вступали обличительная деятельность Толстого, сочувствие писателя народу с им же провозглашенными теориями "всеобщей любви" и "непротивления злу насилием".

Тем оно и привлекает внимание.

"Ничего не могу сказать вам такого, чего бы я не сказал в моих книгах, из которых некоторые посылаю вам", - обращался Лев Николаевич к своему корреспонденту.

Посылал он, как можно заключить из дальнейшего, свои сборники "На каждый день", выходившие, начиная с 1903 года, несколькими изданиями.

В то время, к которому относится письмо к Почуеву, работа над ними занимала Толстого больше всего. Нелишне обратить внимание на письмо его родственницы, написанное как раз 14 декабря 1909 года и приводимое в своей книге А.Б. Гольденвейзером. "Сегодня, - сообщала она, - Лев Николаевич с утра читал письма, "На каждый день..."*64.

К положению Почуева, по мнению Толстого, относилось, главным образом, то, что говорится в записях на "28 августа и июля и 27 июня".

Прочитаем эти высказывания, поскольку косвенно входят в рассматриваемое письмо и они. 28 августа... "Только в страдании мы начинаем жить душою"... "Несомненно важнее, как принимает человек судьбу, нежели какова она на самом деле"... "Как мрак ночи открывает небесные светила, так только страдания открывают все значение жизни" (44, 123-124).



28 июля... "Все то, что мы называем злом, всякое горе, если только мы принимаем его, как должно, улучшает нашу душу. А в этом улучшении все дело жизни"... "Чем хуже становится человеку телесно, тем лучше ему становится духовно"... "Болезнь нападает на всякого человека, и ему надо стараться не о том, чтобы вылечить себя от болезни, а как наилучшим образом прожить в том положении, в котором он находится..." (44, 61-63).

Но - достаточно. И без дальнейшего цитирования ясно, что именно хотел сказать Толстой корреспонденту, поведавшему ему свое горе, свои сомнения. "Думаю, - суммирует он все эти высказывания, - что если человек положит главную цель своей жизни в нравственном совершенствовании (не в служении людям, а в нравственном совершенствовании, последствием которого бывает служение людям), то никакие внешние условия не могут мешать ему в достижении поставленной цели".

Вслед за ответом на заданный ему вопрос - ответом, проникнутым идеей смирения, - идет в письме толстовский совет: "... описать, если это вам не тяжело, свою жизнь как можно правдивее".

"Рассказ о том, что приходится переживать молодым, освободившимся от суеверий людям, очень мог бы быть поучителен для многих", - подчеркивает Лев Николаевич, заявляя, что ему известны редакторы, которые "с радостью поместят в своих изданиях такого рода рассказ, само собой разумеется, если он будет хорошо написан, и хорошо заплатят за него" (80, 245).

"Как можно правдивее..." Проповедник религиозной морали отошел в тень, уступив место реалисту-обличителю. Он увидел:

Почуев знает правду жизни, ему есть что сказать другим, и выразил пожелание, чтобы эта правда стала достоянием многих. А ведь Толстой - гениальный художник слова и знаток человеческой души - безусловно понимал, что рассказы, подобные почуевским, зовут отнюдь не к смирению и непротивлению, что поучительность их может обернуться активным протестом...

Чем же заинтересовала Толстого жизнь Н.А. Почуева?

3

Обратимся к самому письму. Оно не публиковалось ни полностью, ни в извлечениях и хранится среди множества других в рукописном отделе Государственного музея Л.Н. Толстого.

На письме - дата: 9 декабря 1909 года. Послано оно из Оренбурга*65.

Вот это письмо с небольшими сокращениями:

"Простите, что отниму у Вас несколько минут - дорогих для Вас, конечно, своим письмом. Постараюсь изложить короче, а что неясно будет - сами поймете.

Я происхожу из мещан г. Ядрина, Казанской губернии. Ввиду бедности родителей, обремененных к тому же большим семейством, мне пришлось с грехом пополам окончить только уездное училище, которое, надо заметить, почти ничего не дало мне. Отец хотел тотчас же меня пристроить в какое-либо волостное правление, чтобы поскорее иметь помощника для семьи, но благодаря настоянию матери и моему протесту (мне не нравилась эта работа) он предложил поступить во второклассную церковно-приходскую школу, где я проучился два года. Преподавание одного добросовестного учителя и надежда по окончании быть самому учителем и надежда по окончании быть самому учителем заставили меня отнестись к учению более серьезно, и я постарался пополнить все пробелы уездного училища.

По окончании второклассной школы я действительно был определен учителем в школу грамоты в русской деревне. Дело учителя мне очень нравилось, и я был весьма доволен своим положением, даже счастлив, несмотря на то, что получал только 10 рублей, из которых половину еще отсылал отцу.

Спустя два года я сдал экзамен на сельского учителя, а потому и был переведен в церковно-приходскую школу с повышением оклада на 5 рублей. Деньги в то время не играли большой роли, хотя во всем была нехватка, зато самое дело меня утешало; ему я и отдался со всем юношеским жаром, не жалея ни молодых сил, ни здоровья. Наблюдатель школ был мной очень доволен и часто в глаза и за глаза упоминал о моих успехах и вообще ставил меня в число первых.

Но вот началась война, крестьяне стали одолевать меня вопросами, как и что в Манчжурии. Я предложил им сообща выпустить газету - отказались, вопросы же задавать не перестали. Тогда пришлось попросить городских знакомых, чтобы они старые номера присылали. Таким образом, интерес крестьян был удовлетворен.

Занятия с ребятами и правдивые ответы на вопросы крестьян сблизили меня с последними настолько, что когда начались беспорядки в России, они почти ежедневно стали собираться в общественной караулке по вечерам и просили меня рассказывать о всем, что творится не только в России, а и в других государствах. Я что знал - говорил, не скрывая, все как есть. Несколько человек изъявили желание учиться, что и было мной удовлетворено введением вечерних занятий со взрослыми. На занятиях, конечно, не только обучались грамоте, а также и обсуждали все то, что их интересует. На сходках по общественным делам часто спрашивали моего совета.

Деревенские так наз. "кулаки", лишившись главенства на сходках, сочли для себя лучшим убраться от меня с помощью доноса. Дело дошло до суда, и несмотря на хлопоты общества, кулаками и ихними свидетелями было доказано о моей будто бы противозаконной агитации. В результате - восемь месяцев тюрьмы. Выйдя из тюрьмы, был взят в солдаты, а через полтора месяца по болезни получил полугодовую отсрочку. Дисциплина, а главное зверское обращение начальствующих произвели на меня ужасное впечатление, так что по возвращении я чувствовал как будто у меня вышибли ту опору из-под ног, на которую раньше опирался. Но все-таки радовало, что еще не искалечили совсем. А ведь сколько людей, молодых людей, делается калеками - нравственными, конечно, - благодаря каких-нибудь унтеров и прапорщиков.

В надежде отдохнуть телесно и душевно я с удовольствием занялся дома крестьянской работой (у наших мещан имеется дарственная, общественная земля). Но и тут опять не повезло. Местная администрация устроила так, что меня скоро выслали административно в Оренбург.

И вот в Оренбурге я почти уже два месяца. За это время обошел все частные конторы, прося дать только работы, не справляясь о плате. И что же? Вместо работы говорят или просто "нет ничего", или очень вежливо: "к сожалению, не могу вам помочь". Даже черной работы не мог найти, потому что по мнению некоторых учителей не может быть чернорабочим.

Подобные ответы и отношение к ближнему, а также желание покушать постепенно убивали во мне веру в человечество, а также желание покушать постепенно убивали во мне веру в человечество, да и не только в человечество, а и в самого себя. Теперь вижу, что я нищий не только в материальном отношении, а и в духовном: у меня отняли веру в счастье, т.е. жить и быть полезным обществу и служить идеалу правды и любви. Ах, как жаль того прошедшего счастья и никакой надежды в будущем... Ваш девиз - "правда и любовь", перед которым не так давно и я преклонялся. Теперь же, смотря в себя и вокруг, невольно начинаешь думать, что все

самообман и всеобщая ложь. И в то же время ужасно жаль прежней веры. Эта раздвоенность и боязнь лишиться прежней веры заставили меня обратиться к Вам, как к отцу и апостолу, за ответом на запрос больной души. Надеюсь, не замедлите ответить, так как теперь я решил больше не обращаться ни к кому ни за советом, ни с просьбой, а ждать лишь Вашего честного, правдивого ответа..."

Таково письмо от Почуева. Каждая строка его исповеди полна неподдельных, искренних чувств. Стремясь, чтобы Толстой поверил описанному, он посылает в Ясную поляну, "как удостоверение в справедливости сказанного, единственный документ, который имел возможность отправить, - свидетельство об отсрочке от воинской повинности до окончания срока учрежденного над ним надзора полиции.

"Хотя Вы, думаю, поверили бы и так", - замечает Почуев в приписке относительно этого своеобразного документа, который поныне хранится вместе с письмом.

Да, и без официальной бумажки поверил ему Лев Николаевич. Оттого так взволновало писателя прочитанное письмо. Оттого не замедлил ответ на него (между датами отправки писем Почуева и Толстого интервал всего в пять дней). От полного доверия к рассказанному корреспондентом - и содержание ответа, в котором проповедь религиозной морали фактически сводится "на нет" призывом к возможно более правдивому описанию того, что выпадает на долю "молодым, освободившимся от суеверия людям из народа".

К таким людям принадлежал Николай Александрович Почуев.

4

Толстой не ошибся, предположив, что жизнь Почуева дает благодарный материал для поучительного рассказа.

В этом убеждают документы, найденные автором в Государственном архиве Оренбургской области. Они позволяют уточнить и углубить некоторые биографические моменты, о которых Почуев писал Толстому.

Вот "Список о состоящем под гласным полицейским надзором ядринском мещанине Николае Александровиче Почуеве", составленный 26 сентября 1909 года уездным исправником Лепаринским. Большинство граф заполнено со слов Почуева, "родившегося в г. Ядрине, православного вероисповедания, двадцати пяти лет от роду".

"Грамотность или место воспитания? - Окончил курс в Ядринском уездом училище и Чурашевской, Ядринского уезда, второклассной школе...

Был ли под судом или следствием? - Был под судом за противоправительственную агитацию и отбыл восьмимесячное тюремное заключение...

Чем до сего времени добывал себе средства существования? - Состоял на должности учителя начального училища...

По какому распоряжению и за что именно учрежден гласный полицейский надзор? - По распоряжению г. министра внутренних дел за принадлежность к революционной организации.

Срок надзора и с какого времени его надлежит считать? - Два года. Срок надлежит считать с 2 сентября 1909 года..."

Тот же "Список" дает представление о семье Почуевых. У отца и матери, которые жили в Ядрине, кроме Николая, четверо сыновей и две дочери. Никакого состояния ни родители, ни потомки не имели.

Чтобы не нарушать последовательности изложения, сразу дополним сведения из анкеты теми, которые несколько позднее удалось получить от близких и друзей Н.А. Почуева.

В своих воспоминаниях они рассказали, что Почуев-отец, происходивший, как и жена его, из очень бедной семьи, на протяжении двух десятков лет работал сторожем в земской управе. Его служба не обеспечивала даже скудного пропитания, и к труду были привлечены все. Старшие пахали землю и сеяли хлеб, которого обычно хватало только на половину зимы, младшие собирали кости, тряпье, лом. Каждому в этой семье довелось испытать батрацкую долю. Но как бы тяжело ни складывалась жизнь, здесь не было унынья. В ветхой избе, сквозь кровлю которой легко проникал дождь, не теряли бодрости духа. Почуевы любили народные песни - как чувашские, так и русские, и их хор знали по всей улице. Дружба помогала преодолевать трудности. Когда Николай решил продолжать образование, его работу взяли на себя другие. Но, учась, он старался не быть обузой для семьи, сам зарабатывал на одежду и на питание.

Тот день, когда ему предоставили право вести учительскую работу, стал для Почуевых праздником.

Учительствовать Николай Александрович начал в одном из сел, где была школа грамоты. Два года спустя, подготовившись и сдав экзамен на



Н.А.Почуев с женой

народного учителя, он получил место в церковно-приходской школе родного городка.

Здесь и состоялось первое знакомство Почуева с революционной литературой, с революционными идеями. В Ядрине тогда создавалась и начинала действовать социал-демократическая группа. Он познакомился, а затем сблизился с возвратившимися в уезд рабочими Василием Михайловым и Степаном Юхтановым, которые до этого трудились на предприятиях Нижнего Новгорода, с учителями Иваном Юхтановым, Михаилом Долбиловым и другими.

"У Почуевых в саду, - вспоминал друг детства Иван Иванович Абакумов, - была беседка, которая в летнее время служила Николаю спальней. В этой беседке вырыли подпол, попасть в который можно было из сада. Там хранились прокламации и другая нелегальная литература".

Эта работа не прерывалась и после того, как Почуев получил назначение в школу деревни Кольцовки.

Прославленная впоследствии на всю страну, известная своим богатым колхозом и высокой культурой, Кольцовка в ту пору представляла собой нищую деревню почти с поголовной неграмотностью. Дорога к учению была закрыта для большинства детей бедняков. Много сил довелось затратить Почуеву для того, чтобы привлечь к занятиям детей из бедняцких семей, а затем организовать и обучение взрослых.

Учитель стал другом-советчиком крестьян. Получая из Ядрина нелегальную литературу, день за днем прокладывал путь свободолобным идеям, он поднимал людей на борьбу за свои права, против помещичьих и кулацких притеснителей. Все более частыми и смелыми становились выступления крестьян, требовавших справедливого решения земельного вопроса и ликвидации произвола власти имущих.

Деятельность Почуева прервал донос. Весной 1907 года он был арестован за "противоправительственную агитацию" и приговорен к тюремному заключению.

Начался период гонений.

Едва вышел из тюрьмы, как оказалось, что "не досидел" - приговаривали, видите ли, к крепости, а отбывал в общей тюрьме. Пришлось испытать еще два месяца заключения. После вторичного возвращения принялся за крестьянскую работу (путь в школу "политическому" был закрыт), но взяли на военную службу. Она произвела на него не менее удручающее впечатление, чем тюрьма.

И все же дух не был сломлен. Приезд в Ядрин после службы в армии явился для него возвращением к революционной работе. Вместе с товарищами, которые оставались на свободе, Почуев организовал печатание на гектографе прокламаций на чувашском языке.

Одну из прокламаций составило изложение публицистических статей Льва Николаевича Толстого о земле и земельной собственности.

Еще в школьные годы Почуеву довелось прочесть художественные произведения Толстого. Знакомство с его публицистикой произошло позднее, накануне первой русской революции. Возвратившись из тюрьмы, Николай Александрович познакомился с сосланным в Ядрин врачом Константином Васильевичем Волковым, который знал писателя лично и состоял с ним в переписке. Его рассказы о встречах и беседах с Толстым произвели огромное впечатление. С еще большим интересом стал Почуев читать все, что выходило из-под пера писателя. Читать и распространять среди других.

Деятельность после выхода из тюрьмы в составе социал-демократической группы "Курмыш - Ядрин - Васильсурск" повлекла новую кару - административную ссылку. При обыске у Почуева жандармы обнаружили, в числе других, и запрещенные книги Л.Н. Толстого.

Ранее приведенный "Список" был препровожден оренбургскому губернатору вместе с рапортом о высылке Почуева "с первым отходящим этапом", который, как явствует из документов, вышел из Ядрина 6 октября 1909 года*66.

Начальник Казанского губернского жандармского управления информировал шефа жандармов Оренбургской губернии:

"Данными производившейся уездной полицией переписки установлено, что означенный Почуев в числе других подготовлял крестьянскую молодежь, ремесленников-мещан к революционной деятельности, устраивал сходки, распространял нелегальную литературу, не пропуская случая внушать местным жителям о сопротивлении требованиям правительственной власти и борьбы с ней с целью переворота государственного строя".

Из того же письма становится известным, что с 1907 года Почуев состоял "под негласным наблюдением полиции"*67.

В Оренбурге он находился около года. Бедствуя, Почуев вынужден был менять квартиры, но где бы ни оказался, всюду за ним следило "недреманное око" полицейских. Тщетно искал Николай Александрович работы и заработка - брать ему подобных хозяева предприятий и контроль опасались.

Материалы из архивов жандармского управления и канцелярии губернатора, воспоминания близких дополняют известное нам биографическое письмо Почуева, позволяют составить более полное представление о его деятельности в период, предшествовавший переписке с Л.Н. Толстым.

Перед нами встает молодой интеллигент из народа, ценой больших усилий получивший знания и стремящийся нести их людям, прозревший в политическом отношении и готовый на все, чтобы поскорее прозревали другие. Он сидел в тюрьме, он испытал, хотя и на короткое время, солдатчину, но ни то, ни другое не убило в нем веры в грядущее торжество справедливости. Однако это не революционер в полном, глубоком смысле слова. Его революционные убеждения шатки, нестойки. Административная высылка в Оренбург с

вызванными ею бесправием, безработицей, нищетой, отрыв от товарищей по совместной работе - и Почуев оказался в растерянности. Как жить дальше? Как поступить? С этим вопросом "больной души" и обращается он к Толстому - "отцу и апостолу".

Нам известен ответ Толстого.

Ответ, в котором призыв - к терпению, смирению, нравственному совершенствованию.

Ответ, зовущий и к протесту, потому что правдивое описание жизни Почуева должно было послужить ни чем иным, как протестом против гнусностей жизни, против всего того, что препятствует человеку на пути к свободе.

В комментариях к письму Л.Н. Толстого указывается, что Н.А. Почуев больше в Ясную Поляну не писал. Таким образом, нельзя было рассчитывать, что переписка дальнейшая ответит на вопрос, воспользовался ли корреспондент Толстого полученным советом и какой путь для себя избрал. Не удалось обнаружить и последующие материалы полицейского надзора. Из жандармской переписки было известно лишь то, что 6 сентября 1910 года Почуев обратился к губернатору с заявлением, в котором сообщал, что, отбыв половину срока полицейского надзора и не имея почти никакого заработка, вынужден уехать из Оренбурга и просил разрешить ему избрать новым место жительства г. Курган, Тобольской губернии. После наведения многочисленных справок о "поведении" и "благонадежности", после запроса в департамент полиции министерства внутренних дел и получения разрешения из Петербурга, "проходное свидетельство для следования в г. Курган" Почуев получил. Вслед ему было отправлено официальное уведомление на имя тобольского губернатора - власти передавали "эстафету" слежки.

5

Как и в других случаях, исследовательские тропы вели в родные места корреспондента Толстого.

Для Почуева это был Ядрин - небольшой городок на берегу Суры.

... Его самого в живых не оказалось: умер в 1943 году. Но отыскиались адреса близких, и каждый из них откликнулся на просьбу поделиться воспоминаниями. Часть сведений сообщена на предыдущих страницах. Теперь можно восполнить недостающее и в характеристике лет последующих.

"Из Оренбурга Николай приехал ко мне в Курган, - сообщал Константин Александрович Почуев, которого удалось разыскать в Шилке Читинской области. - Я пошел по его стопам - стал учителем и в то время уже работал в школе. На какое-то время мне удалось добиться назначения и его учителем двухклассной школы. Но работать Николаю привелось недолго: губернатор не утвердил назначения. Устроился брат письмоводителем к мировому судье. Однако не мог он быть равнодушным к обману простых людей, творимому тогда в судах, вмешался в какое-то дело и оказался не у дел снова. Чуть дольше задержался в Брослянском лесничестве, но и оттуда ушел не по собственному желанию. Хотя гласный надзор полиции был уже снят, за ним продолжали следить и уличили в "недозволенных" разговорах с рабочими на лесозаготовительных промыслах, в "подозрительной" связи с политическими ссыльными. На этот раз брату грозило больше чем увольнение. Но в те дни пришло письмо от отца: предчувствуя скорую смерть, он звал попрощаться. Николай отправился в наш родной городок".

Нет, Почуев не последовал совету Льва Толстого, не впал в смиренное выжидание. Служение людям, понимал он, требовало не смирения, а борьбы.

Не воспользовался и другим советом Толстого - описать свою жизнь. Не было у него уверенности в том, что сумеет рассказать о пережитом, передуманном достаточно убедительно. Правда, как свидетельствуют встречавшиеся с ним в Оренбурге, в первое время после получения письма его нередко видели с пером в руках. Но так, повторю, ничего законченного написано не было. Возможно, оттого, что жизнь все более и более разрушала те критерии, которые были преподнесены писателем - и в рекомендованных им высказываниях из "Мыслей мудрых людей на каждый день", и в самом письме.

А вскоре по прибытии в Сибирь узнал о смерти Льва Толстого.

Раздумывая о происходившем в мире, о жизни народа, его чаяниях и надеждах, наконец - о своей собственной жизни и своем месте в борьбе против несправедливости, этот беспокойный, ищущий человек избавлялся от толстовских иллюзий.

Распутье кончилось, он вновь обретал верный путь.

Из писем, полученных от брата, от сестер из Ядрина, от дочерей из Хабаровска и Москвы, мне известно, что Николай Александрович участвовал в гражданской войне, что в самые трудные годы (1917-1918) работал начальником милиции в Ядринском уезде, а затем всего себя посвятил делу организации новой, народной школы, развитию хозяйства и культуры своего края.

Но правдолюбы, правдоискатели не нужны были сталинскому тоталитарному режиму. Корреспондент великого Толстого стал, и надолго стал, узником Гулага. Там его беспокойная жизнь и закончилась.

Добавлю: как и многие жизни тех, кто прошел через толстовские "классы", кого учил бессмертный Лев кристальной честности и правдивости во всем.

СУДЬБА АФАНАСИИ СКУТИНОЙ

1

В один из январских вечеров (было это много лет тому назад) участковый уполномоченный Локшин был вызван начальником районного отдела Михайловым. Полчаса спустя шустрая милицейская лошадка, запряженная в легкие сани, везла его по снежной дороге в деревню Хайдук.

- Спецзадание, - коротко сказал Локшин товарищам, поинтересовавшимся, чем объясняется поздняя поездка.

Зная Локшина не первый год, работники милиции не стали допытываться. Но про себя каждый подумал: что же могло стрястись в обычно спокойном Хайдуке?

В выезде "на ночь глядя", если говорить откровенно, никакой необходимости не было. Ни пожара, ни кражи, ни драки там не произошло, как не случилось и ничего другого, входящего в обычный круг дел, которыми занимается милиция.

Но где-то далеко ждали ответа, и Локшин не считал себя вправе отложить выяснение обстоятельств, интересовавших неведомого гражданина.

Утром он уже писал ответ:

"Я побывал в Хайдуке... Скутиной и ее сына сейчас в живых нет... Прилагаю свидетельство старожила..."

Ответ был лаконичным, достаточно ясным и, как казалось, выдавал разочарование. Хотя, возможно, объективность здесь мне изменяет и разочарован был не Локшин, добросовестно выполнявший задание, а тот чье письмо заставило отправиться его в ночной рейс. Иными словами, я, автор этого повествования, живший тогда в Орске, надеялся все-таки на ответ иной.



А.С.Скутина с сыном

2

Задание, данное участковому, действительно было необычным.

Оно касалось события, которое произошло в конце 1906 года, когда в безвестную деревню Хайдук, Шогринской волости, Ирбитского уезда, Пермской губернии пришло письмо из Ясной Поляны.

Адресовалось письмо Афанасии Семеновне Скутиной (76, 232-233).

Как можно было судить по содержанию, оно являлось ответом на стихи Скутиной и в первых же строках содержало жесткий приговор - "бросить занятие сочинительством". "Все это давно сказано и пересказано, и более искусно", - писал Толстой. Второй его совет крестьянке звучал так: "... не презирать людей, окружающих вас, а постараться найти в них хорошее". Автор утверждал: "Хорошее есть во всех людях. И его всегда можно увидеть, если сам стараешься быть лучше, жить по-божьи". Наконец, еще один, третий совет касался сына Скутиной - Толстой уговаривал "не выводить из крестьянской среды" того, о ком так пеклась женщина. "Крестьянская среда гораздо лучше и почтеннее среды ученых", - заявил он.

В небольшом письме - его словах, а, еще больше, в том, что за ними таилось, - был весь Толстой: с глубоким сочувствием крестьянству, беспредельным желанием помочь трудовому земледельческому народу и в то же время непониманием путей избавления от нищеты, от бедствия. Вновь и вновь он повторял догмы своей религиозной философии, проповедовал нравственное самоусовершенствование и непротивление злу насилием.

Вместе с письмом Толстой посылал Скутиной несколько книг.

Это, повторяю, случилось в конце 1906 года; письмо Толстого имеет дату - 13 ноября.

Итак, прошло несколько десятилетий. Но не только во времени дело. Этот период вместил в себя величайшие исторические события, коренным образом изменившие весь облик страны. Пойти через огромный промежуток времени - да еще какого - по старому адресу... Не слишком ли самонадеянно?

Но все больше хотелось узнать о судьбе женщины, которая писала Толстому и получила от него письмо.

3

Запрос в районный отдел милиции был отправлен после того, как из Екатеринбургского, тогда

Свердловского, справочного бюро сообщили: Хайдук сохранил прежнее наименование, находится на территории области и относится к артемовскому району.

Работницы бюро Андреева и Замятина пошли дальше казенного ответа на заданный им вопрос и попытались оказать возможную помощь в поисках.

"В деревне Хайдук, - выяснили они, - проживает только одна женщина с фамилией Скутина, это Агафья Федоровна, а вообще в Артемовском районе эта фамилия очень распространенная. Советуем обратиться..."

Их совету я охотно последовал.

И вот - разочарование.

Конечно, трудно было ожидать, что Афанасия Семеновна жива. Но нет в живых и сына, ничего не известно о других потомках.

Главное же разочарование несло в себе приложенное письму Локшин свидетельство Петра Григорьевича Н-ова. По этому свидетельству выходило, что Скутина родилась и выросла в семье торгаша, общественно полезным трудом никогда не занималась, пользы народу ни в дореволюционные годы, ни потом не приносила и вообще не заслуживает ни малейшего внимания.

Выходит, переписка с Толстым была случайным эпизодом в жизни этой женщины? Увы, так тоже бывает. Значит, поиски не приведут ни к каким результатам и вообще предприняты напрасно. Стоит ли продолжать их? Тем более, что само письмо Льва Толстого опубликовано, от исследователей не ускользнуло, а это - главное.

4

И я, пожалуй, отказался бы от последующих разысканий, если бы не новое письмо.

Оно пришло из Москвы.

Скажите два слова - "стальная комната", и литературоведы без труда поймут, что речь идет об уже упоминавшемся рукописном отделе Государственного музея Л.Н. Толстого. Здесь сосредоточены рукописи всех произведений писателя - от "Войны и мира" до маленьких рассказов из "Азбуки". Тут же хранятся письма. Тысячи и тысячи писем - как самого Толстого, так и его многочисленных корреспондентов из различных уголков России, со всех частей света.

Долголетняя хранительница архива Екатерина Сергеевна Серебровская, неизменно внимательная к каждой просьбе исследователей творчества Толстого, по обыкновению своему откликнулась на мой вопрос быстро. Она внимательно проверила фонды и среди множества других отыскала то письмо Афанасии Скутиной, на которое отвечал Толстой.

Копия его и находилась в пакете.

С интересом и трудно сдерживаемым волнением читал я письмо Скутиной. Будто живая, вставала перед моими глазами женщина-крестьянка - обездоленная, но не сломленная, забитая, но ищущая правды, неученая, но полная жажды знаний. Знаний для себя и для других.

Хочу, чтобы то же непосредственное чувство первого знакомства с этим человеком ощутили и вы, а потому привожу письмо лишь с самыми незначительными сокращениями.

Вот оно:

"Ваше сиятельство Лев Николаевич!

Много я слышала и читала про вашу доброту и великодушие, и вот осмеливаюсь писать вам. Недавно я прочитала ваше сочинение "В чем счастье?" Много хорошего и полезного для меня дала эта книга, но много и неразгаданного осталось. Да и как я могу, малограмотная, понять вас, великий человек. Я самоучка-крестьянка, даже не имею правильно написать слова, незнакома с грамматикой, но, несмотря на все это, я очень много читаю, мне хочется знания, хочется просвещения, я не могу выносить окружающей меня среды, мне тесно здесь.

Я не могу выразить вам, до чего мне хочется учиться и хотя бы иметь маленькую надежду на то, что я не настолько ничтожна, как мы все, крестьяне. Подумайте, живем мы все темные, неученые, как скоты; никакого хорошего задатка в жизни, гибнем среди невежества.

Вот я вам скажу про себя. Мне 27 лет. По глупости своей, когда я была молоденькая, я вышла замуж. Имею сейчас сына четырех лет. Я мать. Как много значит это слово для женщины! Но что я могу сделать для своего ребенка, если сама нуждаюсь в помощи других? У меня душа болит за будущее моего ребенка. Он какой-то необыкновенный, очень понятлив для своих лет. Как бы я была счастлива, что хотя бы для своего ребенка могла сделать что-нибудь полезное. Но что же я могу поделать, непросвещенная самоучка?

У меня есть задатки писать, но я не могу выложить на бумаге мои мысли, потому что мало развита.

Прошу вас, ваше сиятельство, дайте мне свету. Как слепому человеку нужен дневной свет, так и мне нужен свет науки. Укажите мне правильный путь, бог наградит вас за это. Вот вам мои сочинения в стихах, а потом пошлю маленьких рассказ. Будьте милостивы: прочтите и скажите мне истину - есть у меня задатки писать или нет. Ведь вот Ломоносов был же сын рыбака! О, много гибнет сильных натур, но нет просвещения среди народа, поэтому бывает много несчастных жертв невежества!

Вы моя последняя надежда в жизни, будьте моим критиком... С истинным почтением и уважением к вам.

Покорнейшая ваша слуга А.С. Скутина".

Такие письма не оставляют равнодушными. Пусть человек, написавший это, совершенно незнаком - он сразу становится ближе.

Нет, письмо к Толстому не могло быть для Скутиной случайностью. Она выносила его в душе. Так дальше, дальше.

5

А дальше - стихи.

Стихи о том же - о безрадостной, беспросветной жизни женщины-труженицы.

*Эх ты, долюшка крестьянская,
Как Некрасов нам сказал.
Он крестьянки долю горькую
Во всей правде описал.*

Горечи, обиды полно сердце, и эта горечь - в каждой строке.

*Чем же хуже, что крестьянкою
Я на свете рождена?
Милovidней и дороднее
Любой барыни б была.
Плечи - сахар, руки - белые...
Да работушка томит!
От работушки тяжелой
Рано спинушка болит...*

Не плавно течет стихотворная исповедь. Строки бугристы, корявы. Но сколько в них неподдельного чувства!

*Лицо с жару загорелое,
А из рук сочится кровь,
Да меня же, горемычную,
Целый день журит свекровь...
Муж из поля возвращается:
"Дай поужинать, жена,
Да напой коня водицею,
А потом уж спи сама..."*

За первым - "Доля крестьянки" - три других стихотворения. Все - об одном. Но есть в них и новый мотив - ожидание перемен, надежда на то, что настанут времена иные. Крестьянка ждет...

*Ждет, когда взойдет светило,
Когда русская жена
Поимеет в жизни право,
Будет женщиной она.*

Днем и ночью, всегда и везде думает Скутина о горемычной судьбе таких, как сама, о том, что впереди.

*Заснула деревня.
Не слышно в ней шуму.
Сажу по окном я.
И думаю думу.
Думаю:
Бедно крестьянин живет!
Когда же пора золотая придет?*

Золотая пора... Пока она является уделом "всесильного барства". Совсем другое - "непосильное рабство" - остается единственным достоянием крестьян.

*Сегодня под вечер
Вот буря была.
Ко мне после бури соседка зашла.
"Матушка, дай мне чайку на заварку,
Вся перемокла, уж в поле не жарко.
Дождь проливной
Целый день нас мочил,
Устала работать,
А хлебушко крошится.
Муж мой больной, у меня нету сил".
Так причитала
Аксинья, соседка.
Семеро дома, все малые детки,
В лохмотьях, голодные ждали ее.
Хата не топлена,
Пол не метеный...
То голос нужды -
Богачам незнакомый.*

Укор, упрек, обвинение звучат в стихах крестьянки. Читая их, все глубже проникаешь в мир ее дум, забот и чаяний.

Под последним стихотворением - приписка: "Если найдете нужным отвечать, я пошлю вам свою биографию и карточку, чтобы вы правильнее могли судить обо мне".

Но разве такое письмо, такие стихи не говорят о человеке больше, чем самая подробная биография и самая лучшая фотокарточка?

6

Толстой ответил, притом сразу.

Он не мог не ответить, не отозваться на неподдельную исповедь женщины из глухой уральской деревни.

Однако полученный ответ вряд ли мог удовлетворить Афанасию Скутину.

... Не того ждала она, не того.

Конечно, стихи ее не искусны. Ео почему Толстой пишет, что они "нехороши... и по содержанию? В них же сама жизнь, сама правда! Разве может она писать про иное, когда вокруг так много горя и лжи?

"Советую вам не презирать людей, окружающих вас, а постараться найти в них хорошее. Хорошее есть во всех людях..." Да разве она не хочет добра той же многодетной соседке Аксинье, всему трудовому народу, среди которого живет? Разве не мечтает быть полезной людям? А если мудрый писатель советует искать хорошее в богатеях, так пустое это - немного пожила на свете, да убедилась, какова барская доброта и барская правда. Как ни старайся жить по-божьи - живоглотам не угодишь.

Неужто и сыночку ее суждена тяжкая доля? Хорошо пишет Лев Толстой о крестьянской среде, с почтением. Спасибо ему - подумал о будущем сына и не советует вывести его из крестьянства. Но будет ли счастлив ее первенец или доведется ему жить, как и ей, под гнетом?..

Толстой говорил вроде бы твердым голосом, но Скутиной то в одном, то в другом месте письма слышались сомнения. Зная жизнь народа, как может он, человек большой души, звать к примирению с несправедливостью?

Не одна Скутина удивлялась таким противоречиям во взглядах любимого писателя.

... Но не подменяю ли мысли Скутиной собственными? Так ли встретила письмо она? А, может, советы были приняты без всяких колебаний и сомнений? Может, она сразу смирилась, оставила поиски правды, рассталась с мечтами и превратилась в никчемную обывательницу? Ведь вот же пишет неведомый мне Н-ов из Хайдука, что Скутина была "бесполезным человеком".

Где найти ответ на эти вопросы?

В одном не было сомнения: ответ сам собой не придет, его можно добыть лишь в поисках.

Следовательно, поиски надо продолжать.

7

Продолжать... Как, по каким направлениям?

Музей Толстого в Москве. Возможно, отыщутся еще какие-то следы переписки?

Хайдук. Во что бы то ни стало нужно разыскать родственников Скутиной, а через них какие-либо достоверные, лучше документальные, сведения о ней.

Наверняка помогут и в районных организациях, в районном отделе милиции. Теперь можно обратиться прямо к Локшину - тем более, что он сам просил не стесняться и беспокоить.

Отправились новые письма-объяснения, письма-запросы.

Первая весточка пришла из Хайдука, вернее - из соседнего села Сарафаново. Заведующая школой Мария Андреевна Ковтунова и ее вездесущие помощники провели "глубокую разведку". Родственников и близких Скутиной найти им не удалось. Однако несколько адресов они все же записали. Не всегда точных, но приближающихся к тому, что искал.

Скутина Лидия Васильевна, сноха... Ее адрес был наиболее сомнительным. Между тем, казалось, именно она могла сообщить больше других.

Заглядывая вперед, сразу скажу, что письмо мое адресата нашло. И хотя ответа от Лидии Васильевны я не получил, она вручила мне ключ к искомому.

Но случилось так уже после того, как прибыл второй пакет из Москвы.

То, что пакет, а не просто тоненькое письмецо, обрадовало всего более. Значит, удручающего слова "нет" прочесть не придется.

И, действительно, - в архиве нашлось нечто новое: еще три письма Скутиной в Льву Николаевичу Толстому*69.

"Я получила от вас письмо и книги, за что душевно вас благодарю..." Это написано вскоре после того, как Толстой ей ответил.

Достиг ли ответ из Ясной Поляны своей цели? Успокоил? Примирил с действительностью?

Нет, нет и еще раз - нет.

Строй мыслей Скутиной я, пожалуй, предугадал. В письме ее, написанном почти через месяц после получения толстовского, все еще звучит растерянность. Она мучительно пытается отыскать выход из тупика, выход в свете советов писателя и... не находит. С радостью, пишет крестьянка, стала бы готовиться к экзамену на помощницу учительницы, а затем взялась бы за столь святое дело ("наша глухая провинция очень нуждается в просвещении"), но на пути к этому так много преград. "Прошу вас, помогите мне стать человеком!" - обращается Скутина к Толстому, и в словах ее слышится мольба.

На конверте письма помета Толстого: "Б.О."

Это значит - "без ответа".

Многие сотни людей - письменно и лично - обращались к нему с просьбами о помощи. Но что, кроме сочувствия, мог он им дать? Если бы его состояния хватило для того, чтобы высушить все слезы! Увы, не хватит. Слишком невелико оно, да и не ему принадлежит - наследники уже давно вошли в права хозяев... Будоражить же себя и других однообразными отказами было выше сил. Пусть извинят, поймут и довольствуются тем, что он щедро дает на пользу людям: мысль, слово, тепло души.

"Б.О." - такие пометы стоят и на двух последующих письмах Скутиной, присланных в новом, 1907 гоу. В них она уже открыто просила материальной помощи.

Эти письма содержат и некоторые детали ее жизни. Скутина, в частности, писала, что муж вот уже три года как уехал в Сибирь на заработки, но сколько наживает, столько и пропивает, а она с сыном из милости живет в семье крепостного отца, где слышит только брань и упреки...

... Нет, Толстой не помог своей корреспондентке выйти из тупика, в который ее загнала жизнь.

Но Скутина на милость судьбы сдаваться не намеревалась.

8

Вот теперь о "ключе", врученном мне Лидией Васильевной.

Со все большим нетерпением ждал я ответа со станции Кедровка. Неужели не дошло?

Снова написал Локшин. Он сообщал о той же Лидии Васильевне. По его данным, женщина жила на станции Кедровка лет десять тому назад, а теперь сменила место жительства. Адреса сообщить не мог. Но и возврата письма "за ненахождением адресата" не было.

Каждое утро, получая почту, я, прежде всего, бросал взгляд на обратный адрес, ожидая найти название уральской станции и фамилию Скутиной. Потому-то, думаю, не сразу мое внимание остановило письмо из Ленинграда, от В.И. Юрьева. А в нем и содержался тот самый долгожданный "ключ".

Уже из первых строк письма я узнал, что Юрьев это не кто иной, как младший сын Афанасии Семеновны Скутиной.

Сын, о котором и не подозревал.

Юрьев сообщал, что Лидия Васильевна, вдова старшего брата, переслала ему полученное от меня письмо, и заверял, что могу рассчитывать на любую помощь, которая окажется ему по силам.

Хотя автор письма предупреждал, что знает немного, ибо родился в 1924 году, от второго брака Скутиной, уже в этом письме содержались настолько важные сведения, что я окончательно убедился: с незаурядным человеком свело меня и в этот раз изучение переписки Льва Толстого.

Несомненно, судьба его уральской корреспондентки не стала совершенно ясной с первым письмом Юрьева. И со вторым, с третьим. Каждый новый факт, сообщенный им, как правило, вызывал дополнительный,

встречный вопрос, любой из отысканных в семейных архивах документов служил поводом к размышлениям, требовавшим подтверждения или возражения. С помощью питерца в разыскания были втянуты другие люди, которые могли сообщить хоть что-то важное. Очень кстати, например, оказалась исписанная ученическая тетрадка - заметки В.С. Скутина, внука Афанасии Семеновны, сына ее первенца, о судьбе которого некогда думал великий писатель... Виталий Семенов жил в одном из сел близ Нижнего Тагила.

Не остались без ответа запросы в архивы Урала, обращения к новым людям в местах, где протекала жизнь Скутиной. Все отвечали охотно. Только Н-ов, когда я попросил его обосновать свои обвинения, предпочел не откликаться. Что ж, как говорится, вольному воля. Хорошо, однако, что то его "свидетельство" не отбило у меня желания продолжать поиски. Поверь тогда навету, опусти руки и - не узнал бы много важного. А теперь передо мною была большая и яркая книга. Книга жизни Афанасии Скутиной...

Раскроем же эту книгу, прочтем страницу за страницей.

9

Страница первая - детство.

Оно было нелегким.

Отец слыл в округе мастером на все руки. Что в кузнечном, что в слесарном, что в столярном деле - в любом знал толк Семен Павлович. Но ничего не нажил он своими трудами. Ни дома, ни хозяйства.

- Прихлебалы вы у меня, хомуты на шее, - выговаривал ему дядя, Иван Яковлевич, хозяин деревенской лавки, именовавший себя купцом. - Давно без меня ноги бы протянули, голытьба!

- Вот вышвырну вас... - угрожал он племяннику, его жене и дочери, занимавшим убогий флигелек за лавкой.

Ради них, своих близких, и сносил все обиды Семен Скутин. Был он не из тех, которые умеют постоять за себя, и помыкали им сельские мироеды как вздумается. Только хвадив изрядно водки или самогону, становился Семен Павлович смелее и мог высказать этим людишкам все, что о них думал. Даже в драку бросался, чтобы доказать: человек он, а не бесчувственная тварь.

Однажды вечером, после особенно злой пьяной стычки, принесли его домой изрезанного, окровавленного. Раны оказались смертельными, Афанасия стала сиротой. Сиротой и... батрачкой.

"Сердобольный" торгаш, на людях называвший ее не иначе, как "крестница" или даже "дочка", мигом впряг малолетнюю девочку в большую и скрипучую телегу своего хозяйства.

Она работала, не разгибая спины, не зная отдыха, а Иван Яковлевич выискивал для нее все новые дела. Их, этих треклятых дел, ничуть не убавилось и тогда, когда девочка стала учиться.

Не добросердечием, как пытался представить лавочник свое отношение к ученью Афанасии, а опять же интересами своекорыстными, объяснялось то, что, заметив способности родственницы-батрачки, стал он поощрять ее в занятиях. Чуть подучится, надеялся хозяин, и будет дома даровой писарь, даровой счетовод, не понадобится нанимать человека со стороны, платить ему. Снова выгода!

... Мы переворачивает страницы в книге жизни. Детство ушло быстро, за работой незаметно пролетели отроческие годы, пришла юность.

Оставаясь батрачкой, Афанасия чувствовала себя богаче всех - так много раскрыли перед ней книги. Ее воображение заполнили люди светлых мечтаний и хороших дел. Все чаще - наяву и во сне - грезилась она о том, как будет жить, трудиться для народа, как разорвет домашние оковы и станет свободной, гордой гражданкой.

Разорвать оковы должен был помочь некто большой, сильный.

Герой девичьих грез обернулся Василием Скутиным из села Егоршино.

Не знала она, не могла и подумать, что и в этом обманул ее "богобоязненный" Иван Яковлевич, задумавший переманить себе бойкого, хотя часто и нетрезвого, приказчика у конкурента Черенкова. Дело он провернул таким образом, что Афанасия даже не успела толком узнать своего жениха.

Тем тяжелее было пробуждение.

Вскоре после свадьбы молодой муж в пьяном угаре поднял на нее руку. Она отвела ее. Это оказалось достаточным, чтобы избить Афанасию до кровавых синяков.

И вновь потянулись безрадостные дни.

Недолго прожили они вместе. Вскоре после рождения первенца, Семена, Скутин исчез. Окольными путями доходили вести: видели его в Сибири, работает у богатого купца, только ждать денег не стоит - что наживет, то и пропьет.

Ну и пусть не шлет ничего. Ну и пусть смеются на селе - "грамотейку мужик бросил". А она и без мужа добьется своего - сына в люди выведет и сама в темноте не погрязнет.

Как стать полезной людям?

Афанасия зачастила в маленькую волостную больничку, к фельдшерице. Однажды съездила в уезд и привезла книжек - про то, как раны перевязывать да болезни лечить. Не пожалела всех своих скудных сбережений - добилась приема на курсы, где обучали сестер милосердия.

Скоро это пригодилось. Началась война с японцами. Оставив сына под присмотр свекрови, она поступила в госпиталь. Потом стала ухаживать за ранеными в санитарных поездках, что направлялись с Дальнего Востока в Москву, в Петербург. Дело поглотило ее целиком.

... "Главное управление Российского общества Красного Креста удостоверяет, что согласно постановления своего от 18 мая 1906 года высочайше утвержденная в 19-й день января 1906 года Медаль Красного Креста в память участия в деятельности общества во время русско-японской войны 19047-1905 гг. выдана крестьянке Афанасии Семеновне Скутиной".

Это - документ. С ним вместе прибыла красивая медаль.

Но куда дороже медали (хотя ею и гордилась) было для Скутиной воспоминание о днях, когда могла она облегчить страдания людей и слышать душевные слова: "Спасибо, сестрица".

10

О многом наслушалась Афанасия у солдатских коек, многое повидала в поездках. Больше, чем писали в самых толстых книгах, знала она теперь о России, о войне, о бедствиях народа. Понятнее, ближе стало и отвлеченное дотоле слово: революция. Своими глазами видела Скутина площадь в Питере, навсегда вобравшую, впитавшую в себя выстрелы, кровь и стоны Кровавого воскресенья.

... А в Хайдуке все оставалось по-старому.

Встречи с сыном, о которой она мечтала долгие дни, для счастья оказалось мало. Напротив, эта встреча еще более разбредила душу. Мальчик показался матери по-особому смышленным, и тем больнее было думать, что впереди у него нет ничего отрадного.

Где же счастье? В чем оно?

"В чем счастье?" - так называлась книжка, попавшая ей как-то на глаза. Лев Толстой... Скутина читала "Войну и мир", "Анну Каренину", "Воскресение" и очень любила эти произведения. Но прочитанное сейчас было совершенно иным. С первых же строк ее увлекло знание писателем тяжелого положения крестьянства, сочувствие трудовому люду, страстное разоблачение церковной лжи. А все же, к чему зовет он, великий и мудрый человек? Терпеть? Не противиться злу? Стараться жить чище? Да будь она трижды святой - не жить ей и ее сыну по-человечески, если после одной оплеухи станет подставлять щеку для другой. Богатеи не упустят своего, не поделятся по доброй воле, не отдадут того, что награбили.

Еще раньше Афанасия пробовала писать стихи. Перед отъездом она сожгла никем не читанную тетрадку. Теперь захотелось передать на бумаге все наблевшее. Одно за другим были написаны "Доля крестьянки", "Работница", "Сентябрь", "Средь шумной столицы", в которых речь шла о тяжелой доле сельской женщины, о безрадостном детстве крестьянских ребят, о мраке невежества. Сквозь все проглядывала мечта о "золотой поре" избавления от гнета. Нет, само по себе избавление не наступит!

Редакции журналов, которым Скутина послала свои стихи, отвергли их. Тогда она решила обратиться к Толстому. Вот бы прочел... Вот бы дал свой совет...

Писатель откликнулся скорее, чем могла рассчитывать его далекая корреспондентка. Однако он повторял то же, о чем писал в книге "В чем счастье?". Письмо не рассеяло недоумений. Смириться с действительностью, не роптать, даже в стихах не сетовать на несправедливость? Не того ждала она, не того...

Присланные книги тоже не внесли спокойствия и умиротворения в мятущуюся душу крестьянки. На какое-то время "Мысли мудрых людей", "Мысли о воспитании и обучении, собранные В. Чертковым", "Сказка об Иване дураке" и другие книги, полученные от писателя, поглотили ее внимание, но и после прочтения осталась та же неопределенность.

Скутина остановилась на распутье. Все ее планы и мечты оказались погребенными в убожестве жизни. Пришла апатия, и в таком состоянии она простила вернувшегося после долгих странствий мужа, даже попыталась развернуть после смерти Ивана Яковлевича торговое дело, которое так не любила. Не все ли равно?

Без всякой пользы проходили годы, растрчивалась жизнь.

И наверняка нечего было бы рассказать о ней, если бы не революции.

11

Февраль, а затем Октябрь подняли Скутину к жизни, а жизнь означала для нее одно - действие. Она стала поборником всего нового.

Вот когдагодились крестьянской женщине знания, почерпнутые из множества прочитанных книг, равно как и опыт, добытый в суровых университетах жизни.

Скутина с увлечением взялась за трудную, беспокойную работу агитатора. Она стала первой в деревне красной делегаткой. Не было ни одного общественно-важного дела, в которое не был бы внесен ее боевой дух.

Враги грозили расправиться с ненавистной им "агитаторшей", угрожали всяческими бедами ее детям: подростку Семену и малышу Николаю. Но активистку не могли запугать. Сельские мироеды попытались использовать в своих гнусных целях морально неустойчивого Василия Скутина. Афанасия Семеновна решительно - и теперь уже бесповоротно - порвала со своим мужем, оказавшимся в чужом ей стане.

Обстановка осложнялась. Белогвардейские отряды давали о себе знать то в одном, то в другом селе.

Надо было готовиться к вооруженному отпору. И она действовала. Это едва не стоило ей жизни.

Белая дружина сразу после своего воцарения схватила Афанасию Семеновну. Приговор был predetermined: смерть. С тем и отправили ее в волостной центр. Каким-то чудом смертная казнь миновала активистку. Скутину подвергли порке и другим истязаниям. Она вышла из "холодной" инвалидом. Но - вышла. А коль так, то свою работу не прекратила.

"Когда мы вернулись, то она была искалечена и ходила на костылях", - вспоминает та же Никонова, на свидетельство которой мне уже довелось сослаться.

Да, Скутина знала, за что и как вести борьбу.

12

... Делегатский билет N 126 на Екатеринбургскую губернскую конференцию. Скутину направили сюда ее товарищи по Ирбитскому уезду. Это было в самом начале 1920 года.

... Удостоверение о назначении на должность организатора Шогринской волости - выдано летом того же, двадцатого.

... Мандат на проведение "собрания с гражданами, не имеющими семян в Хайдуковском обществе". Он предписывает "оказывать тов. Юрьевой помощь вплоть до предоставления подвод". Дата - май 1921 года.

Юрьевой? Ах да, эту фамилию носит сын от второго брака. Так вот в какое напряженное время нашла женщина свое личное счастье... Ее другом, ее мужем стал такой же, как она сама, рядовой партиец Илья Юрьев. Их свела совместная работа.

До чего волнуют эти скромные, истертые на сгибах, пожелтевшие от времени листки-документы! Каждый несет в себе свое, новое, позволяя ярче, полнее представить их владелицу в тревожное время.

Мандаты, удостоверения, справки...

Но что это?

"Юрьева Роза Семеновна..." Почему "Роза"? Снова - "Розе Семеновне Юрьевой поручается..." Как понять? Если ошибка, то почему она многократно повторяется?

13

"Никакой ошибки нет", - ответил на мой вопрос Юрьев из Ленинграда.

И я узнал "секрет" нового имени.

... Шел 1924-й. Юрьевы жили в другом месте - Илью Ивановича, в прошлом питерского пролетария, затем красногвардейца, направили на егоршинские угольные копи (ныне город Артемовск). Нашлось здесь дело и для Афанасии Семеновны - она развернула большую работу среди женщин.

В том году ей вновь довелось пережить радость материнства.

"Крестить" новорожденного решили по-новому, а назвать Владимиром.

Официальное свидетельство - на плохонькой бумаге, но сколько в нем революционной страсти!

"Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что в ряды трудящихся СССР вступил новый гражданин Юрьев Владимир Ильич. Мы, собравшиеся на крестинах, приветствуем в тебе нового борца за дело трудящихся, за достижение нашей великой цели..."

... Не поповским крестом и молитвой введен ты в гражданство СССР. Помни, что тебя не коснулось наследие темноты, невежества, рабства, дурманом которых утешали, сковывали умы угнетатели. Ты свободен от этих оков. Твои старшие товарищи наказывают тебе идти по единственному правильному пути.

Иди этим путем и будь постоянным сыном своего класса, достойным носить имя борца революции..."

В каждой строчке - высокий накал времени.

... Мать новорожденного на том торжественном вечере получила еще один документ.

Она сама решила отречься от старого, попом данного, имени и взять себе новое, революционное.

Героиней Афанасии Семеновны с давних пор была Роза Люксембург. В честь нее и приняла женщина имя: Роза.

14

История ее жизни могла бы послужить материалом для романа. Я же, насколько это возможно, стараюсь быть кратким. Факты, только факты...

Многое выпало на долю бывшей корреспондентки Льва Толстого. Но главным для Скутиной-Юрьевой стало созидание новой жизни на селе.

Илья Иванович был направлен для организации сельхозартели в дер. Семенчи. Переехав с мужем, она быстро заслужила добрую славу у еще совсем недавно незнакомых людей. "Председательша" стала инициатором радиофикации деревни; по ее предложению создали первую в районе столовую, первую

пошивочную мастерскую, первый коллектив художественной самодеятельности.

Если тогда, после получения письма из Ясной Поляны, женщина вняла совету "не писать", то теперь она вновь взялась за литературное творчество.

Сельские артисты буквально измучились без репертуара на злобу дня, и их руководительница попыталась восполнить этот пробел.

В Семенчи, в других селах, в самом районном центре поныне помнят поставленные ею пьесы "Леон-подкидыш", "Пасхальная свечка" и другие. Сама же она их и написала.

... Две тощие ученические тетрадки. На одной из них название: "Пасхальная свечка". Ниже стоит подзаголовок: "Пьеса в 4-х действиях". И пометка: "Сюжет пьесы взят с факта".

Борьба нового со старым - вот идея "Пасхальной свечки".

Борьба нового со старым - вот идея "Пасхальной свечки". досконально зная быт села, весь уклад его жизни, находясь в самой гуще крестьянства, автор сумел показать и тех, кто всеми силами цепляется за отжившее, прошлое, и тех, кто им противостоит. Характерна приписка в самом конце: "Здесь можно говорить-агитировать против темноты деревни". Против этого агитировала вся пьеса.

Нет, крестьянка не отказалась от литературного труда и, хотя высот в нем не достигла, смогла поставить его на службу людям. А ведь об этом, только об этом мечтала Афанасия из Хайдука, когда посылала свои стихи Толстому.

15

Это была деятельная, неугомонная натура. Новые и новые подробности, которые я черпал из писем, документов, рассказов, подтверждали правильность такого вывода.

Продолжить ее историю - значит вспомнить, как уже на шестом десятке лет организовала она из таких же, как сама, пожилых женщин специальную бригаду и на деле доказала возможность выращивать в довольно суровых условиях хорошие овощи.

Вести рассказ дальше - это припомнить ее заметки с критикой недостатков в уральских газетах, инициативу и расторопность в развертывании сельских бытовых мастерских, поведать о том, как в военную годину она стала одной из зачинательниц сбора теплых вещей для фронтовиков.

Среди них были ее сыновья, ее внуки. В первые дни войны, настоял на досрочном призыве семнадцатилетний Владимир. Ушли воевать средний сын - Николай, внук Виталий и другие члены семьи.

Она писала им. Писала душевные, бодрые письма, исполненные веры в разгром врага. Даже большое личное горе - гибель Николая - не лишило ее стойкости. До сих пор хранит Владимир Юрьев одно из писем, полученных им в промежутке между боями.

Всего несколько дней не дожидаясь она до светлого праздника победы. Но ей посчастливилось слышать по радио торжественные залпы столицы в честь доблестных воинов, которые вели бои уже на подступах к Берлину...

"ЧУВАШИН Н." ИЛИ РАЗГАДКА АНОНИМА

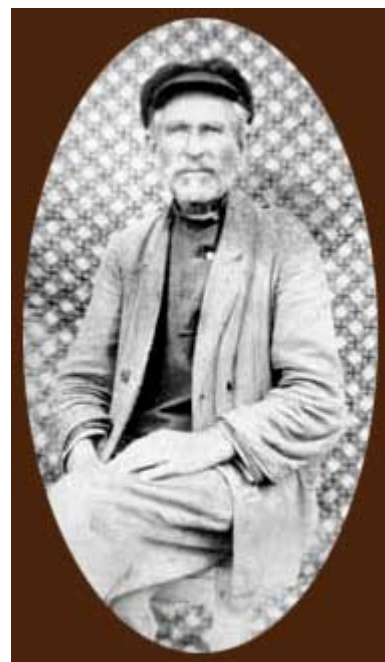
Книга вышла в канун незабываемого года. Однако ни составитель, ни представленные в ней многочисленные авторы, в том числе и здравствовавшие, не могли предвидеть, какие события несет с собой год грядущий, как круто повернет он историю. Но, может быть, "Календарь для каждого на 1917 год", составленный А.С. Зоновым и выпущенный издательством "Посредник", никогда не привлек бы мое внимание, если бы не одно обстоятельство.

Я продолжал поиск материалов о переписке Л.Н. Толстого, о его корреспондентах, а именно здесь оказалось дотоле неизвестное мне письмо.

На 123-й странице этой, редкой ныне, книги, которую удалось отыскать в фондах "Ленинки" и состоялось мое первое знакомство с "чувашином Н."

Ничего, кроме национальности, о корреспонденте Толстого тут не сообщалось. А письмо вызывало интерес. Его содержание не оставляло сомнений, что человек, которому оно предназначалось, был известен Льву Толстому по прежним письмам, а возможно, и лично, что писатель знал о взглядах своего корреспондента, и эти взгляды не противоречили его собственным.

Письмо Толстого (собственно, сделанная им приписка к письму Д.П. Маковицкого, который по поручению писателя нередко вел его переписку) содержало рассуждения о необходимости непрерывного нравственного самоусовершенствования, как единственно возможном средстве уничтожения всякого зла.



А.Ф.Никитин
1935 г.

... "Повторяю, что главное дело нашей жизни не состоит в распространении того, что мы считаем истиной, а в усвоении этой истины с такой полнотой, чтобы мы слились с нею, - писал Толстой и далее подчеркивал: - А когда это будет, то распространение ее совершится, хотя, может быть, и не теми путями, которые мы предполагаем".

Подобные рассуждения известны по многим его письмам, по страстным публицистическим статьям, и в этом отношении письмо безымянному адресату ничего нового не содержало. Но, читая его, перечитывая снова и снова, думалось: писатель продолжает некогда начатый разговор. Он не считает нужным подробнее останавливаться на своих взглядах, вдаваться в длинные рассуждения только потому, что знает: "чувашину Н." его мысли известны.

Кто же он, аноним?

Раскрыть возникшую загадку было необходимо для того, чтобы лучше, глубже понять приписку: "... письмо ваше (т.е. неизвестного корреспондента - Л.Б.) мне было интересно и приятно".

Чем интересно? Отчего приятно? Что несла с собой их переписка?

Прежде всего, конечно, потребовалось обратиться к полному собранию сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах. Это монументальное издание включает все написанное Толстым в течение его долгой и плодотворной жизни. Советские литературоведы, текстологи, архивисты посвятили много лет своего труда, чтобы объединить то, что было рассеяно по бесчисленному множеству сборников или лежало в безвестности в архивах, установить окончательные тексты и сопоставить их с предыдущими редакциями, дать, наконец, научный комментарий к каждому произведению - от эпопеи "война и мир" до однострочной записки. Ведь все, что касается Толстого, представляется важным: и время написания, и причина, побудившая к этому, и личность корреспондента, и то, о чем идет речь. Эта грандиозная научная задача с выходом в свет последнего тома в значительной степени оказалась решенной.

Эпистолярное наследие Толстого расположено в хронологическом порядке. Письма тех лет, к которым, судя по содержанию, относится и адресованное "чувашину Н.", занимают сдвоенный, 77-78-й том.

Именной указатель...

Сначала на букву "ч": "чувашин Н..."

Нет, такого псевдонима здесь не обозначено.

А может быть, на "Н"?

Уже первая строчка дала верную нить.

"Н. чувашин". См. Никитин А.Ф."

Значит, Никитин? Отыщем в указателе Никитина. Длинный ряд фамилий... И вот: "Никитин Александр Феофилактович (чувашин Н.) - т.77, стр. 265, 266, т.78, стр. 116" ... О, места ему здесь отведено немало!

В книге оказались два письма к Никитину. В 77-м - то, которое было напечатано в "Календаре" (оно датировано 16-м декабря 1907 года), а в 78-м - написанное в апреле 1907 г.

Это, второе, письмо еще сердечнее, еще теплее.

"Получил ваше письмо, милый брат Никитин, и очень рад был увидеть из него ваше хорошее, радостное, твердое настроение! Помогай вам бог удерживаться в нем. Я думаю, что это всегда во власти нашей".

Высказав далее готовность послать своему корреспонденту "Круг Чтения", в котором выражены важные

для Толстого взгляды на жизнь, писатель подчеркивает: "Письмо ваше во всех отношениях так интересно, что мы два раза перечли его..."

Он пишет, что ему "истинно жалко" неких "сожителей" Никитина, о которых тот рассказывал, - "этих хороших, честных большею частью людей, с самыми искренними стремлениями, так глубоко заблуждающихся". Толстой, несомненно, имеет в виду революционеров. Не случайно указание: "Посылаю вам еще брошюру - письмо мое давнишнее к одному из революционеров, которое отвечает на все те доводы, которые теперь продолжают делать люди-революционеры, не думая о том, что все эти вопросы давным-давно уже заданы и давным-давно на них отвечено, так что отвечать дальше нечего".

Последние строки письма лишний раз убеждают в искренней симпатии писателя к своему корреспонденту: "Пожалуйста, пишите о себе и, если могу чем-нибудь быть полезен вам, то вы мне сделаете именно радость, дав эту возможность. Прощайте, братски целую вас" (78, 115-116).

Письмо адресовано в оренбургскую тюрьму.

В комментариях есть и о самом Никитине. Родился в 1880 году, писарь, чувашин по происхождению... Разделял мировоззрение Толстого... Был в Ясной Поляне 28 сентября 1907 года... Первую половину 1908 года находился в оренбургской тюрьме за распространение нелегальных изданий...

Но ведь этого мало, очень мало. Каким образом можно узнать о Никитине и его переписке с Толстым больше, подробнее?

Знакомство с письмами Льва Толстого, те немногие сведения, которые были помещены в томе, вызвали желание раскрыть историю взаимоотношений всемирно известного писателя с безвестным представителем одного из наиболее угнетенных при царизме народов. Раскрыть, чтобы сделать достоянием всех.

2

Поиски разгадки в который уж раз привели меня в Государственный музей Л.Н. Толстого.

Работники рукописного отдела навели справку и вскоре порадовали доброй вестью: письма Никитина сохранились.

Значит, можно будет прочесть не только то, что писал Толстой, а и написанное его далеким корреспондентом. Это, надо полагать, прояснит многое.

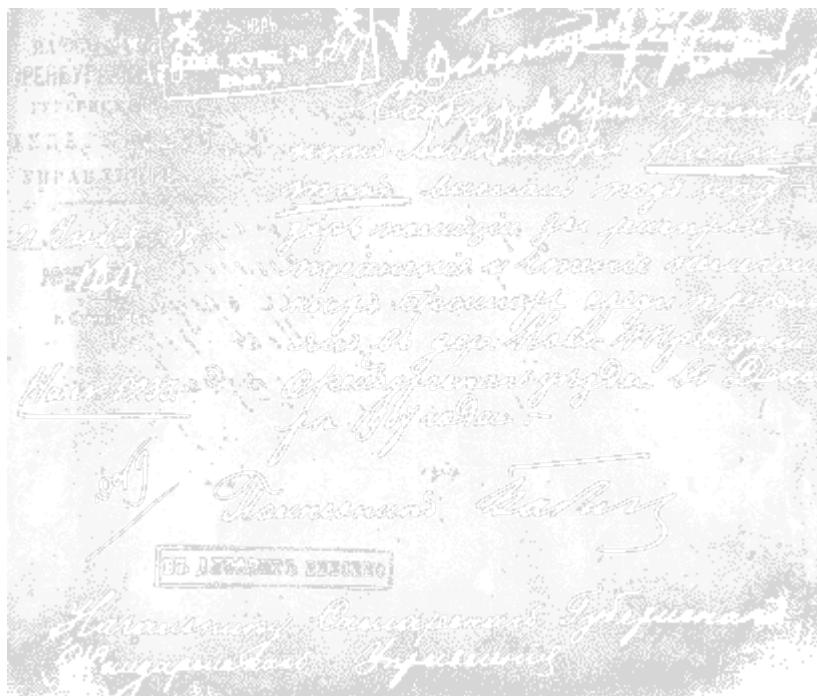
Предположение оправдалось. Письма А.Ф. Никитина, действительно, оказались интересными, искренними человеческими документами, дающими возможность узнать, понять настроения их автора.

Первое было датировано 27-м сентября 1907 года*61.

"Да здравствует на многие лета великий русский мыслитель Лев Николаевич, - начинал письмо Никитин, - Привет Вам из далеких степей Башкирии. Лев Николаевич, простите, что я такой ничтожный человек, решаюсь беспокоить Вас. Ваше человеколюбие ко всем побудило меня обратиться с вопросами жизни, которые всегда меня беспокоили с тех пор, как я стал прозревать... Родом я из Оренбургской губернии, воспитывался, или просто сказать жил, я до 16 лет в глухих степях Башкирии, между инородцами (чувашами и башкирами), но, выучившись немного грамоте, у меня всегда было влечение к книгам. Конечно, известно, какие могут быть книги в деревне, и мне приходилось читать что попало..."

Будучи взят на военную службу, сообщал далее автор письма, "здесь, через товарищей, доставал уже порядочные книги, а также перепознакомился с партийными людьми". В период службы к Никитину попали и издания Толстого (по всей вероятности - его публицистические произведения). Впечатление они произвели неизгладимое. "У меня явилось неугомонное желание как можно скорее и больше прочитать Ваши сочинения... Но, к сожалению, нигде я не мог достать более".

Только после увольнения из армии - оно было вызвано перенесенной Никитиным болезнью - перед ним открылась возможность удовлетворить свое стремление. Накупив и выписав книги Толстого, автор письма



Донесение из полицейского дела

вернулся в родные места, к матери, надеясь, что "в глуши и в тиши" сможет "спокойно заняться физическим трудом и духовным развитием".

"Но, к великому несчастью, мне не дали и половину прочитать, - говорится в письме. - Пронюхав, наши "правители" чуть не отняли все, и я благодаря моему ангелу-хранителю остался еще на свободе. Но зная, что там мне не миновать ихних цепей, я решился при жизни моей лично побывать у Вас... Хорошо знаю, Лев Николаевич, что Вам всякая минута дорога, но тем не менее покорнейше прошу не лишать меня такого счастья и принять в свободное время хоть на несколько секунд..."

Своего адреса Никитин не давал. Подпись под письмом - "благодарный крестьянин Оренбургского уезда" - не являлась, конечно, адресом для ответа. И конверта с почтовым штампом, указывающим место отправления, в архиве не оказалось, хотя обычно конверты здесь сохраняются. (Во многих случаях на них либо самим Толстым, либо близкими ему людьми отмечено, какой характер должен носить ответ тому или иному корреспонденту, что именно следует написать). Тут же, повторяю, конверта не было.

Но ведь в комментариях к одному из писем Толстого указывается, что 28 сентября Никитин был принят писателем. Письмо написано за день до этого. Значит, оно было вручено непосредственно в Ясной Поляне, то есть явилось не запросом о возможности приехать, а, так сказать, "визитной карточкой".

Никитин просил принять его "хоть на несколько секунд". Встреча была куда более продолжительной. Об этом позволяет судить второе из хранимых в рукописном отделе писем Александра Феофилактовича. Оно отправлено уже из Оренбурга. В верхнем углу стоит дата - 17 октября 1907 года*62. После встречи с Толстым прошло, следовательно, почти три недели.

"Милый старший брат Лев Николаевич! - обращается Никитин. - Простите за беспокойство, но не могу не передать те чувства радости, которые во мне остались по посещении Вас".

Письмо исполнено живого волнения, вызванного встречей в Ясной Поляне.

"Когда я пришел уже к выводу, что не нынче-завтра, а обязательно попаду в руки наших истязателей, - вспоминает он, - я решился собраться к Вам и получить некоторые наставления и видеть Вас лично. Хотя сборы эти были для меня очень тяжелы, но раз надумал - мои крылья уже не удерживались. Тяжелы были в том смысле, что думалось: что мне нужно, такому ничтожному человеку, от таких великих людей? Ну что я был должен говорить, зачем я пришел и зачем и отнимаю у людей время? Несмотря на это и зная хорошо, что при виде Вас я не сумею сказать ни слова (что и случилось), я написал и подал Вам... Если бы Вы, Лев Николаевич, не распечатали и не прочитали мое письмо и вернули бы его обратно мне, то, право, что бы было со мною - я не знаю. Я бы, по всей вероятности, остался разочарованным во всем и сказал бы себе: "Вот тебе правда, был лицом к лицу с правдой и не мог достигнуть". Да, я верю, Лев Николаевич, что мой бог счастливый, и он внушил Вам, что этому человеку нужно что-то особое. И вышло так: что я думал и мечтал, сразу мне далось в изобилии".

Эти строки, передавая волнение Никитина накануне встречи с Толстым 28 сентября, дают основание говорить и о предшествовавшей ей первой встрече в день, когда было написано уже известное нам письмо, - 27-го. Увидев писателя, он смог только протянуть ему письмо, заранее подготовленное.

Эта, первая, встреча состоялась, скорее всего, у "дерева бедных" - старого вяза, под которым по утрам обычно собирались крестьяне и прохожие, приходившие к Л.Н. Толстому с просьбами или за советом. Здесь же (по обыкновению своему, ничего не откладывая) Лев Николаевич распечатал и прочел письмо Никитина, с нетерпением ожидавшего решения. Толстой понял его чувства и назначил встречу на следующий день.

Так представляется мне двадцать седьмое сентября, проведенное Никитиным в Ясной Поляне, принесшее ему радость видеть Толстого и еще большую - говорить с ним.

"И вышло так: что я думал и мечтал, сразу мне далось в изобилии..." - пишет Никитин.

О каком "изобилии" идет речь?

Прежде всего, корреспондент говорит о книгах.

"Раньше я думал, - заявляет он, - хотя бы мне пришлось работать у того человека сколько угодно, только бы прочитать Ваши сочинения. У Вас же я не смел спросить письменно и лично, думая, что нет книг Ваших... А теперь уже, когда дело приняло такой оборот, нет границ моим радостям... Я буду стараться, пока возможно, не только сам читать, но и распространять между моих друзей и знакомых".

Никитин радуется тому, что получил книги Толстого. Они были получены, как явствует из письма, либо от такого писателя, либо от кого-то другого по его указанию - но уже там, в Ясной Поляне. Получены в большом количестве - ни чем иным вызвано обещание распространять их среди людей.

В письме из Оренбурга - отголоски разговора, происходившего в яснополянском саду. Оробев в момент передачи письма, Никитин ен молчал, получив возможность говорить с Толстым. Он рассказал о своей жизни, о преследованиях со стороны тех, которые душили все живое. Речь шла о толстовских взглядах, о проповедуемой писателем религиозно-нравственной морали "всеобщей любви". В беседе затрагивались и известные Никитину статьи проповедников "толстовства", в частности наиболее убежденного среди них и близкого самому Толстому В.Г. Черткова.

Не может не задержать внимания фраза, сказанная писателем и приведенная Никитиным: "Что, г-н Чертков не ошибается ли, придавая моим словам очень большое значение?" Она, правда, дана вне остального текста беседы, но в ней, этой фразе, слышится отзвук сомнений, которые все чаще посещали его в тот период.

Революция 1905-1907 годов обострила противоречия во взглядах писателя. Она нанесла удар по слабым сторонам философии Толстого. Пробудившиеся массы, взяв себе, как свое законное достояние, обличительный

гнев писателя, все решительнее отвергали его религиозные проповеди, являвшиеся помехой в борьбе. Вопреки уговорам приверженцев и организаторов "толстовства" - таких, как Чертков, - Толстой серьезно задумывался над своими взглядами и многое стал брать под сомнение.

"Верно или неверно определяют революционеры те цели, к которым стремятся, они стремятся в какому-то новому устройству жизни, - обращался Толстой к царю и его сатрапам, учинившим кровавую бойню 9 января 1905 года, - вы же желаете одного: удержаться в том выгодном положении, в котором вы находитесь. И потому вам не устоять против революции с вашим знаменем самодержавия, хотя бы и с конституционными поправками, и извращенного христианства, называемого православием, хотя бы и с патриархатом и всякого рода мистическими толкованиями. Все это отжило и не может быть восстановлено" (36, 304).

Понять сомнения и противоречия, которые мучили Толстого, Никитин тогда не мог. Словно продолжая разговор, проходивший тремя неделями раньше в яснополянском саду, он пытается уверить, что истины Толстого и позиция Черткова непогрешимы. Чертков особенно близок Никитину тем, что пропагандирует толстовские идеи, "не щадя себя" и не будучи "гарантирован от наших правителей, которые всякую минуту... могут взять и засадить".

Александр Никитин, как можно судить по его письму, знал, что распространение запрещенных цензурой произведения Л.Н. Толстого может повлечь суровые наказания. Тем не менее он изъявлял готовность посвятить себя этому "великому и святому делу".

"Лев Николаевич, - обращался он, - если Вы разрешите переводить Ваши сочинения на чувашский язык, то я начну в скором же времени; думаю, что, может быть, принесу хоть маленькую пользу этим..."

В заключение письма из Оренбурга автор сообщал, что по отъезде из Ясной Поляны никто его "не тревожил", и делал вывод, что "ангел-хранитель" продолжает сопутствовать и помогать ему. В чем? В данном случае (как можно заключить из сопоставления этих слов с написанным выше) в перевозке литературы для распространения в родных местах.

Таково письмо, написанное под неизгладимым впечатлением от встречи с Толстым.

Письмо Толстого от 16 декабря 1907 года (77, 265-266) - то самое, которое впервые было напечатано в "Календаре для каждого на 1917 год", - явилось ответом именно на это письмо А.Ф. Никитина. Одновременно "чувашин Н." получил и письмо от Маковичко. По поручению писателя, его друг и единомышленник сообщил Никитину, что Толстому было приятно с ним познакомиться и что ныне он "радуется мысли, что его сочинения будут переведены на чувашский язык".

Между прочим, письмо от Никитина заставило Толстого вернуться к воспоминаниям детства. Писатель воскресил в своей памяти и "ужасно бедные" чувашские деревни вдоль Волги, и ругательное "ты чуваш" во время ученья в Казанском университете. В связи с письмом от Александра Феофилактовича Маковичкии рассказал Толстому слышанное от Никитина, как "в их селе перекрестили и перевенчали язычников лет 10 тому назад". Насильственное крещение народа являлось для Толстого еще одним доказательством правоты его взглядов на "казенную церковь", которая вкупе с царской властью угнетала и одурманивала людей.

Есть и другие основания утверждать, что та встреча в Ясной Поляне была важной не только для Никитина, а и для самого Толстого. В этом убеждает знакомство с его дневниковыми записями за последние месяцы 1907 года.

Толстовские дневники, впервые полностью опубликованные в 90-томном издании, дают бесценный документальный материал о жизни и деятельности автора "Войны и мира", "Анны Карениной" и других произведений. "Они - я", - определял значение дневников Толстой и с возможной аккуратностью вел их с юношеских лет до последних дней жизни.

Это, конечно, не означает, что в ведении дневников не было перерывов. Были - и нередко весьма длительные. На такой пробел я натолкнулся в поисках записи от 28 сентября. Ее не оказалось: после 26 сентября сразу шли строки от 10 октября.

Но известно, что в последние годы Толстой сначала записывал свои мысли и наблюдения, а уж потом, некоторое время спустя, переписывал в дневник. По тем или иным причинам многое так и осталось в черновых записях. Вот и в данном случае искомое обнаружилось в Записной книжке N 1, известной под названием "Карманный ежедневник на 1907 год".

"28 сент.

Здоровье лучш(е). Чувашин писарь. Посла(л) к Гусеву. Собира(л) в К(руг) Чт(ения). Ездил с Репин(ым). Бесед(овал) с Гусевым оч(ень) хорошо. Читал о Буддизм(е)" (56, 215)*63.

Несколько лаконичных фраз, а за ними - полный многообразных дел и интересов большой день Льва Толстого.

Беседа с "чувашиним писарем" - А.Ф. Никитиным - здесь на первом плане. Из всех встреч с посетителями, которые пришли к писателю в тот день, выделена она одна. Между тем, как можно судить по воспоминаниям И.Е. Репина, гостившего у Толстого и упоминаемого в той же записи, ежедневно к "дереву бедных" являлось много самых разных людей, среди которых "мужчины, странники, босяки, прохожие и иногда даже монахины"*64.

О характере состоявшейся беседы можно судить по письму Никитина - свидетельств о ней в литературе о Толстом нет. Об интересе, проявленном к гостю издали, о внушенном им доверии говорит относящаяся к этой же встрече запись в книжке: "Послал к Гусеву".

Н.Н. Гусев за два дня до того стал секретарем писателя. Он жил в доме А.Л. Толстой в ее усадьбе в Телятинках, в трех километрах от Ясной Поляны. Значит, Толстой не только принял Никитина и долго беседовал с ним, но и направил к своему секретарю, который должен был выполнить какое-то конкретное его поручение. Не писал ли он записки? Нет, по крайней мере в собрании сочинений отыскать ее не удалось. С чем явился Никитин к Гусеву?

Встречи, подобные этой, вызвали в Толстом прилив сил. Трудно удержаться от того, чтобы не привести еще одно свидетельство И.Е. Репина, относящееся к 28 сентября. Знаменитый художник описывает прогулку на лошадях. "Мой лесной царь, - пишет он о толстом, - понесся быстро английской рысью. Транспарантным светом, под солнцем, особенно эффектно блестит золотом его борода по обе стороны головы. Царь все быстрее наддаёт, я за ним. А впереди, вижу, молодая береза перегнулась аркой через дорогу, в виде шлагбаума. Как же это? Он не видит? Надо остановить... У меня даже все внутри захолонуло... Ведь перекаладина ему по грудь. Лошадь летит... Но Лев Николаевич мгновенно пригнулся к седлу и пролетел под арку"*65. Как не напомнить, что незадолго перед тем Толстому исполнилось 79 лет и что за два дня до этого он записывал в дневнике о "тоске и борьбе". Впрочем, даже такое состояние не помешало ему начерно закончить "Новый Круг чтения". В день посещения его Никитиным Толстой начал ветвертую редакцию своего сборника изречений мудрых людей.

Но вернемся к письмам А.Ф. Никитина.

Осуществить свое намерение и взяться за переводы произведений Толстого на чувашский язык "в скором же времени" ему не удалось. Следующее письмо, датированное 20-м марта 1908 года, отправлено в Ясную Поляну из тюрьмы*66.

"Я думаю, - пишет он, - что Вы помните еще того инородца, который забрел к Вам, прошлую осень, ища счета и правды. трудно, оказывается, искать, - тем более у нас на матушке-Руси. Только начнет человек протирать глаза, как уже около него стоят к его услугам "няньки", которые шепчут: "Спи, милый, спи". Но "милому" надоело лежать, он начинает уже переворачиваться с боку на бок. Но "нянюшки" опять пристаю́т: "Может быть тебе, дорогой, мешает здесь шум уличный, тогда мы можем перенести в более спокойную комнату, где никто не будет мешать, а также, кстати, и ты не помешаешь уже никому". Когда "милый" решительно заявляет, что он выспался и хочет уже пойти погулять на свежем воздухе, то "нянюшки", боясь чтобы он не мог простудиться на свежем утреннем воздухе, берут "бережно" и переносят его в "убранную" и "спокойную" комнату. Тут уж протесты ничего не помогают... В настоящее время и я очутился в такой "богато убранной" комнате".

Обращает внимание сарказм, с которым Никитин характеризует нравы самодержавия. Его аллегории прозрачны и не требуют пояснений.

Сопоставляя это письмо с предыдущим, можно убедиться: на многое корреспондент Толстого стал смотреть более зрело.

"Хотя и спокойная "комната", но уже спать не хочется, - ведет он свой рассказ дальше. - Это еще от того, что здесь оказалось много интересных "безделушек".

Дойдя до этого - бесспорно главного места своего письма, Никитин меняет тон. Он отказывается от аллегорий, которые уже мешают ему в передаче впечатлений и выражении чувств.

"Мне теперь предстал случай более ознакомиться ближе с людьми, которых я, оказывается, знал 1/1000 долю, - заявляет Никитин. - Здесь оказались многих "сортов". Взгляды на жизнь у всех разные и ни одного подходящего с Вашими взглядами. По совести сказать, называют: "О, эти безделушки-толстовцы".

Никитин приводит высказывания, которые характеризуют отношение политических заключенных, в большинстве своем участников революции 1905-1907 годов, к слабым сторонам деятельности Л.Н. Толстого - особенно к его проповеди "непротивления злу".

Что и говорить, Никитину довелось услышать самые нелепые отзывы о тех взглядах, которым до этого слепо поклонялся.

"Бывают, - сообщает он Толстому, - иногда такие рассуждения: "Мы-то хоть пострадали за дело, а вот толстовцев за что сажают? Они же не желают сопротивляться, они же сами подставляют щеку". "Тут вот сопротивляешься, и то тугο поддается дело, а если не будешь сопротивляться, то вовсе много найдется охотников ездить верхом". Бывают иногда и такие вопросы, которые я и в книгах кое-где встречал, например: "Что будете делать, если опричники настоящего времени придут к вам в село и начнут разгуливать, развратничать и будут при ваших глазах позорить и бесчестить ваше семейство? Неужели вы будете стоять и хладнокровно смотреть на это?" Иногда, как умею, отвечаю, но больше предпочитаю молчать..."

Такие вопросы не могли не заставить Никитина задуматься.

Ему непонятные прямые, неллицеприятные идейные споры политических между собой. Он пытается втиснуть свои наблюдения в рамки "христового учения", рассуждает о "равенстве и братстве". Но, читая и перечитывая письмо, все явственнее ощущаешь колебания человека, которому многое приходится пересматривать. Вероятно и сомнения Толстого, которые в предыдущем письме Никитин пытался развеять, теперь стали ему понятнее.

Свое письмо из тюремной камеры Александр Феофилактович заканчивает просьбой: "Был бы бесконечно рад, если бы прислали кое-какие наставления и советы".

Толстой не замедлил с ответом - им является второе из цитированных писем к А.Ф. Никитину, датированное 7-м апреля 1908 года. Оно было продиктовано в фонограф, полученный незадолго перед тем в

подарок от Эдисона. Как вы помните, писатель выразил в нем удовлетворение по поводу "хорошего, радостного, твердого настроения" Никитина и пожелание "удерживаться в нем", с сожалением отозвался о "заблудившихся" революционерах, а в качестве главного наставления приложил "письмо... давнишнее к одному из революционеров". Это письмо можно прочесть в 64-м томе полного собрания сочинений. Оно адресовано М.М. Чернавскому - политическому ссыльному, бывшему "землевольцу", впоследствии члену партии эсеров. Написанное еще в 1888 году, письмо от начала и до конца посвящено утверждению "непротивления злу насилием" и "нравственного самоусовершенствования". Доводы письма к Чернавскому Толстой считал, наверное, достаточно вескими, убедительными и двадцать лет спустя. Очевидно поэтому в своем ответе Никитину он обошел многие вопросы, которые ставил - правда, косвенно - его корреспондент, когда приводил высказывания соседей по тюремной камере. Писатель был уверен, что "милый брат Никитин", который приезжал к нему в Ясную Поляну, сумеет "устоять" перед критиками толстовских взглядов.

Получил ли Никитин это письмо?

Дошло ли оно до тюремной камеры?

В комментариях к письму указывается, что "А.Ф. Никитин больше Толстому не писал". Между тем в рукописном отделе музея Л.Н. Толстого мне удалось обнаружить еще одно никитинское письмо. Оно было написано 27 августа 1908 года уже в Самаре*67.

Никитин не одним словом не упоминает о письме Льва Толстого в тюрьму, о посланной им брошюре, как и не отвечает на вопрос, имеет ли он "Круг Чтения".

Именно это, прежде всего, укрепляет в сомнении относительно вручения ему дорогого пакета.

Тюремное начальство, несомненно, не было заинтересовано в том, чтобы в камеру политических проникали "вредные веяния", к которым оно относилось и все, что писал "бунтовщик", "еретик" Толстой.

В ходе последующих поисков сомнения в получении Никитиным письма и брошюры от Толстого еще более возросли.

Но об этом - дальше. Пока же следует сказать о заключительном письме его к Толстому.

Оно было короче предыдущих и носило сугубо деловой характер: Никитин ставил практические вопросы организации перевода произведений писателя на чувашский язык. Тюрьма не угасила в нем желания всемерно способствовать культурному и политическому подъему своего народа - "зажатого, забитого и, конечно, очень темного".

"При первом еще посещении Вас, - писал Никитин, - у меня явилась мысль насчет перевода Ваших, хотя бы некоторых, произведений на чувашский язык. Но вскоре после посещения Вас я потерпел маленькое "крушение". В настоящее время уже меня выпустили и выслали из пределов губернии на два года. При садке, как и теперь, я не могу успокоиться и всегда меня преследует та мысль".

Однако всему помехой - "материальное положение". Не укажет ли писатель, кто мог бы помочь в налаживании издательской деятельности?

"... За переводом и людьми задержки нет, но... на издание нет средств и достать, при всем искреннем желании, нет никакой возможности".

Горькое признание!

3

Письма Александра Феофилактовича Никитина дают ценный материал для характеристики этого ищущего, пытливого и деятельного человека из народа.

Но, взявшись за изучение знакомства и переписки Толстого с "чувашиным Н.", я уже не мог довольствоваться тем, что удалось узнать из писем Никитина.

Поиски дополнительных сведений привели меня в Государственный архив Оренбургской области, где и мне, и нам с вами вместе бывать уже не приходилось.

Здесь, в фондах губернского жандармского управления, оказалось дело "Об исследовании политической неблагонадежности Александра Никитина и других". На сорока его листах освещена вся история ареста и тюремного заключения корреспондента Льва Толстого.

"7-го сего января, - доносил 11 января 1908 года в департамент полиции министерства внутренних дел жандармский полковник Леонтьев, - ко мне поступило от пристава 10-го стана Оренбургского уезда дознание о запасном младшем писаре из крестьян села Кривле-Илюшкино, Куюргазинской волости, Александре Феофилактовиче Никитине, из которого видно, что 20 ноября 1907 года при письме Никитин прислал из Оренбурга учителю школы в родном селе Ф.М. Ластухину, брату своему - учителю в дер. Николаевке, Репьевской волости, П. Никитину и крестьянам села Кривле-Илюшкино Герасиму Краснову и Петру Филиппову около 200 книг и брошюр сочинения Л.Н. Толстого и других вредного направления, а 20 декабря того года Никитин, прибыв в деревню Новотроицкую, Куюргазинской волости, начал распространять книги среди крестьян".

Во время обыска, произведенного у крестьян, книг уже "обнаружено не было". Что же касается обыска у самого Никитина, то тут жандармам повезло больше. Им удалось найти важные доказательства его "крамольной" деятельности.

Читаю перечень найденного.

"Записка от Л.Т. на имя Николая Николаевича, в которой говорится: "Пришел ко мне податель этого письма, он мне очень понравился (далее неразборчиво)".

Записка Льва Толстого?

Николай Николаевич - вероятно, Гусев, секретарь писателя?

Так вот с чем послал Толстой Никитина к своему секретарю в Телятинки - с собственноручной запиской, в которой отзывался о посетителе самым лестным образом.

Что он писал еще? Какое давал указание или какую высказывал просьбу?

"Далее неразборчиво..."

Действительно, почерк писателя не относится к числу каллиграфических, разобрать написанное бывает весьма трудно. Но, сдается, пристав 10-го стана, на чей протокол обыска ссылался жандармский полковник Леонтьев, просто не уяснил, что "Л.Т." это никто иной, как Лев Толстой. Он не мог и подумать, что "запасной младший писарь из крестьян" был в Ясной Поляне, что сам Толстой пишет о нем: "... он мне очень понравился".

Записка была включена в протокол как подозрительный, но рядовой документ, и даже до конца не разобрана. О чем в ней шла речь? Скорее всего, о книгах. Иначе, каким образом в распоряжении Никитина могло оказаться такое количество литературы?

Покойный ныне Н.Н. Гусев, к которому я обратился, подтвердил это предположение и поделился своими воспоминаниями.

"Приехал я в Льву Николаевичу 26 сентября 1907 года, - написал он мне, - а через два дня, 28 сентября, Лев Николаевич и прислал ко мне Никитина с запиской, которая была переписана жандармом в деле Никитина.

Очень жалею, что я не списал ее тогда...

Никитин произвел на меня очень благоприятное впечатление. Это был очень живой, симпатичный и серьезный человек. Время тогда было очень трудное, повсюду были аресты, арестовывались и единомышленники Толстого, и я сам ждал ареста. Я был тогда очень молод (25 лет) и горяч и ареста нисколько не боялся. Помнится, в таком духе я говорил и Никитину, дал ему запрещенных книжек Толстого и напутствовал его, чтобы он не боялся их распространять".

Производившим обыск попался в руки "дневник Никитина с частью вырванными листами". Я убежден, что вырванными были именно страницы о поездке в Ясную Поляну и встрече с Л.Н. Толстым. Александр Феофилактович тщательно соблюдал тайну своей поездки к Толстому, оберегая имя писателя от жандармского слуха и жандармского глаза. Почувствовав приближение ареста, он уничтожил записи о самых важных, дорогих для него событиях. Уничтожить записку, собственноручно написанную Львом Толстым, Никитин был не в силах. Но тайна "Л.Т." им так и не была открыта.

В дневнике Никитина подозрительными жандармам показались только три записи: "14 декабря получил печальную весть об аресте Н.Н.", "26-28 декабря на крестьянском сходе читал сочинения крестьянина Болдырева, слушали очень внимательно" и - "30 декабря собрано было мало народу".

"Арест Н.Н." - это арест того же Николая Николаевича Гусева, последовавший 22 октября и имевший причиной "противозаконные беседы" его с местной молодежью, распространение запрещенных произведений Толстого. Никитин, как явствует из записи, продолжал следить за всем, что было связано с любимым писателем.

"Сочинения крестьянина Болдырева" также имеют к Толстому прямое отношение.

Речь идет о книге Тимофея Михайловича Бондарева "Трудолюбие и туеядство, или Торжество земледельца". Автор ее утверждал, что земледельческий труд является первородным законом, данным человеку, и все бедствия происходят только от неисполнения этого закона; из сделанного им вывода вытекала проповедь спасительности земледельческого труда для всех людей.

Получив в 1885 году рукопись Бондарева, а затем вступив в переписку с этим крестьянином, Лев Толстой в своей статье "Так что же нам делать?" впоследствии признавал: "За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое мирозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, это были два, живущие теперь, замечательных человека, оба крестьяне, Сютаев и Бондарев".

Труд Бондарева был, без сомнения, также привезен Никитиным из Ясной Поляны. Известно, что Толстой принимал деятельное участие в распространении этого произведения. В 1906 году извлечения из сочинения Бондарева вместе с заметками Толстого о нем были напечатаны издательством "Посредник"; вскоре после посещения писателя Никитиным в 1908 году книжка была конфискована.

"Собрано было мало народу" 30 декабря, очевидно, не по вине Никитина и не по вине крестьян, которые до этого "слушали очень внимательно". Сходами заинтересовались власти, начались преследования.

Во время обыска у Никитина был обнаружен ряд книг Л.Н. Толстого - его произведений последних лет. Среди них - сборник "Земля и труд". В нем излагались взгляды писателя на земельную собственность и крестьянскую работу, содержалась резкая критика негодной, гнилой политики царских властей.

У учителя Ф.М. Ластухина, кроме того, изъяли принадлежавший Никитину каталог книг, причем некоторые из них были "с революционными оглавлениями".

Констатируя, что Никитин "агитировал против церкви, порицал правительство и царя", жандармский полковник Леонтьев заканчивал свое донесение в департамент полиции сообщением: "Александр Никитин 7 января заключен под стражу в Оренбургский губернский тюремный замок"*68.

Арестовали и препроводили в Оренбург также "бывшего учителя" Федора Ластухина - самого активного помощника Никитина в распространении литературы и проведении агитации среди крестьян. Его сопровождал волостной старшина. В рапорте на имя пристава 10-го стана Оренбургского уезда он доносил, что в пути следования им был "утерян и не разыскан" пакет с вещественными доказательствами. Находилось ли в пакете то, что нашли при обыске у Ластухина, или все, что удалось обнаружить в селе, в том числе изъятая у Никитина записка от "Л.Т.", из дела узнать невозможно.

Обыски были произведены всюду, где останавливался Никитин.

По возвращении из поездки в Ясную Поляну он некоторое время жил в Оренбурге у служащего Поземельного банка Васильева "в доме вдовы Бахмутской". Пристав пятого стана, получив санкцию на обыск, нашел здесь "Восстановление ада" Л.Н. Толстого, выпущенное издательством "Обновление", а также "ряд книг социалистического толка сочинения разных авторов". Васильев показал, что "Никитин приехал к нему на квартиру 23 октября и жил у него около месяца"*69. Из этих последних строк можно сделать вывод, что после встречи с Толстым Никитин выехал не сразу, какое-то время жил поблизости, ожидая получения большой партии книг, а возможно, и отправляя часть из них почтой - везти всю партию литературы при себе было рискованно.

Следствие тянулось долго. В том же деле N 310 имеется телеграмма из Петербурга: "Срок ареста Никитина продлен. За директора Харламов"*70. арестованный, как отмечается в материалах следствия, "при допросах не пожелал дать объяснения, касающиеся его дела". О поездке к Толстому, о беседе с ним, о том, что литература получена именно там, следователи жандармерии так и не дознались. Становится также известным, что Никитин обратился с "вызывающим и дерзким по тону" письмом к губернатору. самого письма здесь нет. Имеется заявление Никитина в губернское жандармское управление. "Вот уже пять месяцев, как я заключен в тюрьму, и между тем я все-таки не знаю, в каком положении находится мое дело, - писал он. - Заявляя об этом, прошу жандармское управление известить меня возможно скорее"*71.

Из материалов следствия мы видим, что Никитин не мирился с положением, в котором оказался, а всеми средствами боролся за свои права. Не обошлось тут без влияния соседей по тюремной камере, о которых он писал Л.Н. Толстому.

Кто мог быть среди его соседей?

В результате предательства провокатора в Оренбурге незадолго перед тем были арестованы почти все функционеры городского и районных комитетов РСДРП.

Подверглись аресту организаторы октябрьско-ноябрьской забастовки 1907 года в Оренбургских главных железнодорожных мастерских.

Находились в тюрьме активисты местной организации социалистов-революционеров.

Споры между эсерами и социал-демократами не всегда были понятны Никитину, но не могли не оказать на него влияния.

Только 4 июня 1908 года дело "Об исследовании политической неблагонадежности Александра Никитина и других" было препровождено губернатору. К тому времени он уже знал о Никитине - и по предварительным донесениям жандармов, и по "вызывающему", "дерзкому" письму, с которым к нему обращался сам заключенный.

В том же архиве, только в другом фонде - канцелярии губернатора - мною было обнаружено еще одно дело: "О высылке из пределов Оренбургской губернии крестьянина Александра Никитина". Оно потоньше жандармского; в нем подводится итог следствию.

На листе с грифом департамента полиции министерства внутренних дел значится:

"При рассмотрении особым совещанием, образованным согласно ст. 34 Положения о государственной охране, обстоятельств дела о содержании под стражей в Оренбургской губернской тюрьме крестьянина Александра Феофилактовича Никитина, изобличаемого во вредной агитационной деятельности среди крестьян, министр внутренних дел постановил:

подчинить Никитина гласному надзору полиции в избранном им месте жительства, за исключением столиц, столичных и Оренбургской губерний, на два года, считая срок с 5 июля 1908 г."*71.

Полицейская машина привела это предписание в исполнение.

"Полицейское управление, - значится в следующем документе, - имеет честь уведомить, что крестьянин Александр Никитин высылается этапом в г. Самару 7 июля для водворения под гласный надзор полиции на два года".

Тут же - извещение о прибытии Никитина в Самару...

В ходе изучения архивных дел мне все время не давала покоя мысль об изъятых жандармами записке Л.Н. Толстого, а также о посланных им в тюрьму письме и брошюре.

Никаких следов записки обнаружить не удалось. Она либо была утеряна в пути (такое предположение уже высказывалось и кажется наиболее вероятным), либо оказалась уничтоженной вместе с другими "вещественными доказательствами" по делу Никитина. Так или иначе, но автограф писателя утрачен. Утрата тем более велика, что в архиве Государственного музея Л.Н. Толстого не сохранилось даже копии его. Записка, врученная Александру Феофилактовичу, не вошла в полное собрание сочинений.

Но и те несколько слов, которые были приведены в донесении начальника губернского жандармского управления, достойны занять с соответствующим комментарием свое место в академических изданиях сочинений Льва Толстого. Для нас ценно все, что исходило от замечательного русского писателя.

Ни разу не фигурирует в материалах следствия пакет от Толстого, хотя он не мог остаться незамеченным.

Вспоминается, что приходилось читать о погоне за автографами Толстого в среде официальных лиц жандармских и полицейских управлений и даже тюремщиков.

В 80-м томе помещено письмо "Смотрителю Челябинской тюрьмы". Оно написано в ответ на сообщение некоего И.Л. Ананенко о том, что посланные ему Львом Николаевичем книги были задержаны в тюремной конторе, где и "затерялись". Посылая вторично, Толстой счел целесообразным обратиться непосредственно к тюремному смотрителю, направив книги в двух экземплярах (один Ананенко, другой - смотрителю).

Письмо и брошюра, адресованные Никитину, до адресата не дошли.

Не мог же иначе и не откликнуться на них Никитин, горячо воспринимавший все, что исходило от Толстого...

4



*А.Ф.Никитин с дочерью и внучкой.
г.Оренбург*

В Самаре надзор за Никитиным продолжался не менее рьяно. Об этом свидетельствуют документы Государственного архива Самарской области.

Вот один из них - донесение Самарского полицмейстера начальнику губернского жандармского управления от 14 июля 1908 года: "Уведомляю Ваше высокоблагородие, что, согласно отношения Оренбургского городского полицейского управления от 5-го сего июля за N 1523, за проживающим на Самарской улице в доме N 70 крестьянином Александром Феофилактовичем Никитиным учрежден гласный надзор полиции"*72.

В этом же деле есть и другие свидетельства о том, что "внимание" к Никитину со стороны полицейских властей оставалось самым пристальным.

Однако и в Самаре Александр Феофилактович не прекращал своей деятельности по пропаганде произведений Л.Н. Толстого. Письмо от 27 августа

1908 года, о котором речь шла ранее, подтверждает это.

В нем содержатся и некоторые подробности.

Никитин пишет, что после освобождения из тюрьмы он обратился к Н.Н. Гусеву. В своем ответе секретарь Толстого сообщил корреспонденту адрес еще одного человека, просившего у Льва Николаевича разрешения на перевод его произведений на чувашский язык. Это был Д. Петров из г. Симбирска. "Вы, - обращался Никитин к Толстому, - отвечали на его письмо, причем указали на меня".

Таким путем, при деятельной помощи писателя, нашли друг друга энтузиасты просвещения родного народа. Никитин установил связь с Петровым, а затем и с Г. Федоровым, о которых в своем августовском письме отозвался как о людях, имеющих "искреннее желание внести свет в нашу темную инородческую массу". Но, подчеркивалось здесь, в связи с материальными затруднениями теперь "нет выхода на начинание".

Написанное в канун того дня, когда Толстому исполнилось 80 лет, письмо заканчивалось "искренним и от всего сердца" приветом писателю и пожеланием жить "многие годы".

"Преданный и искренне любящий Вас Александр Никитин", - подписался автор.

Он готов был доказать свою преданность новыми делами.

В рукописном отделе Государственного музея Л.Н. Толстого мне посчастливилось найти письма и тех товарищей Никитина, на которых он указывал, а именно - Д. Петрова и Г. Федорова.

Первый из них не только писал толстому, но и получил ответ.

"Я бывший сельский учитель из чувашей - сообщал Петров в письме, написанном 4 июня 1908 года"*73. - Хочу познакомить родной мне народ с Вашими трудами по исканию смысла жизни.

Чуваши, как вам известно, народ вымирающий, больной, истощенный. Но лгут те, которые говорят, что они вследствие своего невежества не имеют человеческого образа. Искра божия в них горит так же сильно, как во всяком простом, мирном, трудолюбивом народе... Народ, проводящий всю свою жизнь в постоянном труде, стоит ближе к истинному смыслу жизни, чем "культурное общество", которое всегда предпочитает внешнюю земную обстановку жизни внутреннему ее содержанию.

Очень прошу Вас, Лев Николаевич, написать мне, какие из Ваших сочинений Вы считаете полезными для

простого земледельца..."

Ответ по указанному в письме симбирскому адресу прибыл без задержки. Это лишний раз подчеркивает то глубокое внимание, которое уделялось писателем переводам его произведений на языки народов России.

В письме от 10 июня Толстой рекомендует для перевода свои книги религиозного содержания, считая их "доступнее и полезнее других для деревенского жителя". Но тут же он добавляет: "Кроме того, на всякий случай посылаю вам несколько рассказов".

"Желаю вам успеха, - напутствует Лев Николаевич. - Очень рад служить вам".

И, уже закончив письмо, задает вопрос, вновь и вновь подтверждающий его раздумья над судьбами малых народов:

"Сколько жителей всех чувашей?" (78, 165-166).

С чувством горечи, с большой душевной болью отвечает на этот вопрос Д. Петров в своем письме, написанном 2 июля 1908 года*73.

"Мне доподлинно известно, - пишет он Толстому, - что в некоторых местах инородческое население не только не возрастает в количестве, но все более и более вымирает. Тут действует много причин, главное - нищета".

"... Чуваши, - сообщает Петров, - давно числятся православными христианами... Христианские воззрения православного чувашина соединяются с грубым суеверием и преданностью языческим обрядам. Так, мой отец и мать - люди очень набожные, исполняющие все православные обряды очень искренне, постоянно посещающие православный храм, часто путешествующие по святым местам - в то же время аккуратно в определенные дни и недели года приносят кровные жертвы богу Торе и духам, добрым и злым. Когда был маленький, принимал участие в жертвоприношениях и я".

Характеризуя состояние просвещения чувашей, корреспондент отмечает заслуги Симбирской чувашской учительской школы. Он называет ее "главным центром просвещения чувашей".

Пишет Петров и о религиозно-просветительской миссии Н.И. Ильминского.

Деятельность этого известного ученого и педагога (1822-1891) по составлению на основе русской графики алфавита чувашского, татарского и других языков национальных меньшинств России имела прогрессивное значение. Но "система Ильминского" рассматривала просвещение народов Поволжья лишь как средство их русификации и приведения в православие.

Автор письма к Толстому видит недостатки, пороки этой системы. "Он был очень большой церковник", - замечает Петров об Ильминском.

Толстой со всей внимательностью прочел обстоятельное письмо Д. Петрова. На конверте сохранились слова писателя, обращенные к Д.П. Маковицкому: "Душан, благодарить за письмо и сведения".

Вместе с благодарностью за присланные сведения Петров получил и адрес Александра Никитина.

Как здесь уже говорилось, писал Л.Н. Толстому и упомянутый в последнем письме Никитина Г. Федоров. Его письмо от 27 августа 1908 года*74, пересланное в Ясную Поляну Александром Феофилактовичем, ценно подробной характеристикой состояния переводов литературы на чувашский язык. "Ссылный студент из чуваш", как называет себя Федоров, пишет об этом со знанием вопроса и с полным пониманием его важности.

Отметив, что "переводческая комиссия при братстве св. Гурия" в Казани за тридцать с лишним лет своего существования перевела и издала около 50 названий книг, перечислив "Евангелия", "Псалтыри", "Великие каноны", "Поучения об истинной вере" и прочие подобные издания на чувашском языке, которые "существуют в продаже и распространяются бесплатно", Г. Федоров далее сообщал:

"Лучшею частью чувашской интеллигенции (сельскими учителями и учащейся молодежью) года два тому назад была сделана попытка дать чувашам пищу иного рода. Организовавшись в форме кружка деятелей по образованию чуваш, эта часть нашей интеллигенции издавала в 1906-1907 гг. еженедельную газету "Хыпар" ("Вести"); ею же были изданы за указанное время книжки "О налогах и акциях", "Переживаемый момент" и другие... Но деятельность кружка прекратилась: с одной стороны, иссякли все, собранные с большим трудом, средства, а с другой - одолели административные кары, наиболее деятельные члены были засажены в тюрьмы или сосланы..."

(Осведомленность Г. Федорова в деятельности созданной в 1906 и закрытой в 1907 г. первой чувашской газеты, в преследованиях, которым подвергались ее организаторы и сотрудники, показывает, что и сам он был среди них, близко стоял к передовым слоям своего народа. Жил Федоров в Симбирске, где оказался в качестве "ссылного студента").

Подтвердив высказанное Никитиным стремление к изданию на чувашском языке "хотя бы чего-нибудь" из написанного Толстым, Г. Федоров также вынужден был сказать, что "у нас, т.е. у части чувашской интеллигенции, желающей продолжить Вашим идеям путь в темную среду своих сородичей, нет никаких средств для осуществления этой мечты".

Вопрос, заданный им в конце письма, вытекал как бы сам по себе: "Не можете ли Вы указать нам лиц, к которым мы могли бы обратиться с просьбой о помощи?"

Толстой не мог ничем помочь. Средства, имевшиеся в его личном распоряжении, были крайне недостаточны. В добрых намерениях либералов он уже давно разуверился. Сочувствуя горестям и невзгодам

крестьянских масс, осуждая пренебрежительное отношение к малым народам и колониальный разбой во всех его проявлениях, писатель не видел реальных путей к осуществлению поставленного перед ним практического вопроса.

Об этой переписке Д.П. Петров, впоследствии взявший себе литературный псевдоним - Юман, - мы сильно увлекались Л.Н. Толстым, как публицистом. Мы, группа чувашских молодых энтузиастов, в 1903 году собирались даже совершить пешее паломничество в Ясную Поляну. Л.Н. Толстой, помимо своей народолюбивой, опрощенческой "мужицкой" проповеди, увлекал нас своими выступлениями против официальной церкви, которую мы, видевшие от нее в течение 150 лет много зла, может быть не меньше, чем от полицейщины, страстно ненавидели...

В 1908 году праздновался восьмидесятилетний юбилей Толстого... Я решил использовать этот момент и выпустить ряд книг Толстого на чувашском языке, но не имел никаких средств и не был уверен, что мне разрешат осуществить это намерение. Полагая, что и средства будут отпущены... легче, и будут преодолены цензурные и иные преграды, если одобрит это начинание сам юбиляр, я написал Толстому письмо с просьбой указать свои книги, которые с его точки зрения надлежит издать на чувашском языке. Л.Н. Толстой начинание одобрил и прислал по почте 15 своих брошюр, такие произведения, как "Евангелие для детей", "Много ли человеку земли нужно", "Бог правду видит, да не скоро скажет" и т.п. Мы, конечно, не могли заниматься изданием этих работ. правда, и комитет (имеется в виду юбилейный комитет в Петербурге - Л.Б.)... не только не отпустил средств, но и не ответил на мои письма, но и в случае отпуска средств мы издали бы, вероятно, другие произведения, а не рекомендуемые и присланные самим автором. Ведь религия, церковь, миссионеры являлись объектом нашей самой яростной борьбы. Ведь не анекдот, а факт: как раз в этом году (1908-м - Л.Б.) пишущий эти строки совместно с покойным ныне журналистом П.Н. Рзаем подали симбирскому архиерею прошение об отлучении от православия и присоединились к древнему чувашскому язычеству. Это теперь, конечно, звучит смешно, но в свое время это было выражением протеста, хотя и бессильного, против церковного режима".

Обращаться к чувашской буржуазии было бесполезно. Она знала только то, что Толстой не в чести у царя и в опале у церкви. Да и вообще, всеми силами проявляя "верноподданнические чувства", представители местной буржуазии рьяно отмежевывались от соплеменников и не считали возможным внести хоть грош на их просвещение.

До этого не было дела крупному подрядчику на лесных промыслах и оптовому торговцу Селиванову.

Это не интересовало купца Ефремова - еще одного чувашина, обладавшего капиталом. В республиканском музее в Чебоксарах стоит кресло Ефремова. Оно примечательно сделанной на нем надписью: "Тише едешь, дальше будешь". Комментарии к этому не нужны.

5

"Дальнейшая судьба его после высылки неизвестна", - сказано о Никитине в примечаниях 78-го тома.

Но все-таки, как сложилась его жизнь? Удалось ли ему дожить до той поры, когда родной чувашский народ, как и все другие народы России, стал свободным? Увидеть расцвет культуры, о котором долго мечтал и к которому стремился в мрачные годы реакции?

Письма А.Ф. Никитина к Толстому не сообщали адреса, по которому можно было бы вести поиски. Первое было написано в Ясной Поляне в ожидании личной встречи с великим писателем; над вторым стояло лишь название города: "Оренбург" (остальное, по-видимому, затерялось вместе с конвертом); следующее он направил Льву Толстому из Оренбургской тюрьмы; наконец, под последним указывалось: "г. Самара, контора торгового дома "Квиль и К°". Согласитесь, что по этим "адресам" искать было бесполезно.

Но в жандармском деле "Об исследовании политической неблагонадежности Александра Никитина и других" не раз указывалось, что Никитин происходит "из крестьян села Кривле-Илюшкино, Куюргазинской волости, Оренбургского уезда". Более точные и подробные сведения содержала личная карточка заключенного. Она сообщала, что Никитину 28 лет, что занятием его является "письмоводство", а средства к жизни дает "личный заработок", что у холостого Александра Феофилактовича есть братья Петр, Григорий, Николай и сестра Александра (последние трое в возрасте до двенадцати лет), а на вопрос об экономическом положении отвечала - "недвижимости не имеют"*74.

Начинать поиски следов Никитина следовало с его родного села. До революции оно входило в Оренбургскую губернию, а ныне находится на территории Башкортостана.

Впрочем, первые данные о судьбе "чувашина Н." удалось получить уже в Оренбургском архиве. Дело N



С. Кривле-Илюшкино. На пасеке
1933 г.

245 канцелярии губернатора, на которое мне приходилось ссылаться раньше, хранило не только донесения о высылке и прибытии Никитина в Самару, не только запрос самарского губернатора о сути предъявленных Никитину обвинений (очевидно это требовалось для более "гибкого" надзора), а и запись о том, что 27 апреля 1909 года А.Ф. Никитину "разрешили перейти на жительство в г. Кустанай, Тургайской области"*75.

Значит, уже через восемь месяцев после известного нам письма к Толстому из Самары Никитин "пожелал" (подразумевается - был вынужден) оставить товарищей, с которыми успел установить связи, отказаться от задуманной ими коллективной переводческой работы и искать себе новое место жительства.

Что и говорить, самарские шпики исправно несли свою службу.

Кривле-Илюшинский сельский Совет к моей просьбе сообщить а самом Александре Никитине или о его родных отнесся с живейшим участием. Там не только навели справки, но и проявили похвальную инициативу, передав полученное письмо тому, кто мог ответить полнее других.

Так и получилось, что уже вскоре, раскрыв конверт, я увидел фотографию человека, чья переписка с Толстым и чья мечта о приобщении своего народа к культуре вызвали к нему самую глубокую симпатию.

Снимок запечатлел Никитина на старости лет. Не только крестьянская одежда - все говорило о том, что и дальше он остался простым, скромным тружеником.

Фотографию прислал младший брат А.Ф. Никитина - Григорий Феофилакторович. От него же в ходе дальнейшей переписки был получен и другой снимок: на нем я увидел Александра Никитина таким, каким он приезжал к Толстому.

О многом рассказал в первом и последующих своих письмах Григорий Феофилакторович. Немало сведений собрал и сообщил директор сельской школы Гавриил Иванович Рогов. Они помогли проследить всю жизнь Никитина - кипучую, неугомонную.

Никитин был сыном русской женщины Анастасии Михайловны и чувашина Феофилакта Федоровича. Он родился в г. Оренбурге в 1880 году, когда его отец был на военной службе. Через два года после окончания срока службы Феофилакт Никитин с женой и сыном переехали в село Кривле-Илюшкино.

Именно родители, люди грамотные, привили Александру стремление к знаниям, любовь к книге. Брат свидетельствует, что отец был знаком с художественными произведениями Льва Николаевича Толстого и охотно рассказывал о них, как и о самом Толстом, своим детям.

Окончив церковно-приходскую школу в Кривле-Илюшкино, Александр Никитин сам стал учить грамоте - настоящих учителей было два-три на всю волость. Юного учителя узнали и полюбили в Ново-Знаменке, в Космарке, на хуторе Барсуково - всюду, где ему довелось работать.

В 1903-1904 годах он жил в Оренбурге. Привело сюда желание учиться. Но определиться на учение не позволили материальные возможности. Знакомые помогли ему устроиться библиотекарем, и чтение дало Александру то, к чему он так стремился, - знания. Никитин познакомился и сблизился с людьми, которые ставили своей целью распространение свободолобивых идей. Отдельные из них впоследствии вошли в "Оренбургскую революционную группу", занимавшуюся не только продвижением нелегальной литературы, но и печатанием собственных листовок, организацией стачек и забастовок. Приближалась первая русская революция.

Деятельность Никитина не была тогда сколько-нибудь активной, но и она привела его к "знакомству" с жандармами. Военная служба, срок которой подошел, избавила Александра Феофилакторовича от ареста.

Во время службы он тоже не терял времени зря. Помните, что писал Никитин Толстому об этом периоде своей жизни? Познакомился с "партийными людьми", читал запрещенные издания. Там узнал и публицистику Льва Толстого, полную гневного обличения пороков самодержавия...

Возвратившись в Оренбург, Никитин восстановил прежние связи, развернул работу агитатора. Особенно горячо ввязался он за распространение литературы, подрывавшей устои царской власти.

Ряд участников этой работы был схвачен. Ему удалось ускользнуть. Выехав на Кавказ, Никитин продолжал свою деятельность там. Только в 1907 году вернулся он к матери, в Кривле-Илюшкино. Была надежда, что здесь, в глуши, удастся "спокойно заняться физическим трудом и духовным развитием". Но не такой был человек Никитин, чтобы думать только о собственном покое. Тем более в такое время, когда еще все бурлило: на предприятиях проходили стачки и митинги, в селах крестьяне вели самовольные порубки помещичьего леса, требовали справедливости в распределении хлеба пострадавшим от недорода, выступали против произвола казаков. И вновь Никитин едва миновал "цепей".

Тогда-то и возникло в нем желание: прежде чем окажется в тюрьме, побывать в Ясной Поляне, повидать того, в ком ему виделся "апостол правды", поговорить с неутомимым искателем истины, чьими идеями он все более увлекался, получить "последнее наставление".

После встречи с Толстым, окрыленный ею, Александр Феофилакторович вернулся в родные края.

В Кюргазинском районе еще живы люди, которые помнят, как охотно сходились крестьяне, чтобы послушать в чтении Никитина страстные статьи Толстого. Многие плохо понимали русский язык или не знали его вовсе, и он переводил на башкирский, на чувашский. Темпераментно, с азартом растолковывал Никитин взгляды Толстого на жизнь, его отношение к земельной собственности, к помещикам и капиталистам, его мысли о путях ликвидации несправедливости. Тогда он еще не мог понять слабые стороны толстовского учения - это произошло позднее. Но значение бесед было огромным, тем более, что "Саша" (так называли его и старшие, и младшие) сам побывал у Толстого, сам разговаривал с ним. Об этом, правда, знали только наиболее близкие к

нему люди.

Но нашлись черные души и донесли о сходках, о распространении запрещенной литературы. Никитин оказался в Оренбургской тюрьме, а затем был выслан под надзор полиции.

Самара... Кустанай...

Об этом мы знаем по архивным материалам.

А вот и последующие страницы его жизни.

Отбыв срок ссылки, он из Кустаная вернулся в родные места. Учителем в Покровке, Оренбургского уезда, потом перебрался в Кривле-Илюшкино, но отсюда был сразу взят в солдаты - началась мировая война.

Никитина отправили на австро-германский фронт. Команда разведчиков 191-го Ларго-Кагульского пехотного полка, боевые награды - георгиевские кресты 3-й и 4-й степеней, австрийский плен, побег из лагеря, водворение в другой, с более строгим режимом, - так прошло несколько лет. В Россию ему удалось вернуться уже после Октябрьской революции.

Добрая память сохранилась у односельчан о своем земляке. В 1921 году Никитин был организатором столовых для голодающих. Позднее создал первую в районе избу-читальню. Особенно любил он детей. Собирая ребят, Александр Феофилактович рассказывал им много увлекательного, учил фотографировать, читал книги. Делу культурного подъема народа он остался верен до самой своей смерти в 1939-м.

Он дожил до того времени, когда в его селе не осталось неграмотных, когда среди его земляков, как и во всем чувашском народе, получили самое широкое распространение выдающиеся произведения русской и мировой литературы - в том числе до конца дней любимого им Льва Николаевича Толстого.

МИГУРСКИЕ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Строго документальная повесть о широко известном рассказе Л.Н. Толстого "За что?" и подлинных судьбах его непридуманных персонажей.

Повесть о рассказе?

Именно так. История знаменитого "За что?" Льва Толстого настолько увлекательна, что для воссоздания ее во всех подробностях нужна повесть: "просто комментарием" или "просто статьей" в этом случае не обойтись. Значит, толстовский рассказ и есть первый, есть главный герой нашего повествования.

Но еще богаче, чем история рассказа, оказывается, если взглядеться, история сюжета, который лег в его основу. Сюжета невыдуманного, рожденного жизнью. И мы хотим с документальной точностью развернуть перед вами строй подлинных событий, чьи отголоски вдохновили великого писателя. Значит, повесть и о живых, реально существовавших Мигурских - Альбине и Винцентии Мигурских, рядовых, но навсегда прославленных участниках героических дел польского народа.

Как это сложно - восстанавливать человеческие судьбы спустя полтора столетия! Тем более судьбы не вождей, не полководцев - людей именно рядовых... И все же мы попытаемся свою задачу осуществить, а для этого отправимся в архивы Москвы и Петербурга, Варшавы и Кракова. Некоторые материалы были найдены в них и до нас, но большинство внимание исследователей не привлекало. Далее, положим перед собою малоизвестные воспоминания Мигурского, эпистолярные и мемуарные памятники эпохи. Само собою разумеется, судьба героев не может быть раскрыта вне широкого исторического фона, вне бурных событий, которые потрясли Европу в XIX веке...

Однако начнем с рассказа. Почему? Да ведь всемирной своей известностью Мигурские обязаны Льву Толстому, так описавшему их судьбу, что чуть ли не целый век она волнует новые и новые поколения на разных континентах земного шара.

1. За что?
2. Глава первая, повествующая о том, как родился замысел рассказа и шла у Льва Толстого работа над ним
3. Глава вторая, которая в то же время является первой в изложении реальной судьбы героев рассказа и прежде всего Минцентия Мигурского
4. Глава третья, дающая представление о юных годах Альбины Висневской, рождении любви будущих супругов и событиях последующих
5. Глава четвертая, переносящая действие в края далекие
6. Глава пятая, об отчаянном решении Мигурских и перипетиях его осуществления
7. Глава шестая, о том, как произошла катастрофа
8. Глава седьмая, вводящая в ход следствия и завершающаяся приговором военного суда

9. Глава восьмая, содержащая рассказ о далеком и трудном пути наших героев в Забайкалье
10. Глава девятая, девизом которой являются слова: "Мы братья их"
11. Глава десятая, завершающая летопись жизни Мигурских
12. Глава одиннадцатая, возвращающая читателя к истокам литературной судьбы Мигурских

За что?

1

В 1830 году весною к пану Ячевскому в его родовое имение Рожанку приехал единственный сын его умершего друга молодой Иосиф Мигурский. Ячевский был 65-летний широколобый, широкоплечий, широкогрудый старик, с длинными белыми усами на кирпично-красном лице, патриот времен второго раздела Польши. Он юношей вместе с Мигурским отцом служил под знаменами Костюшки и всеми силами своей патриотической души ненавидел апокалипсическую, как он называл ее, блудницу Екатерину II и изменника, мерзкого ее любовника понятовского, а также верил в восстановление Речи Посполитой, как верил ночью, что к утру опять взойдет солнце. В 12-ом году он командовал полком в войсках Наполеона, которого он обожал. Погибель Наполеона огорчила его, но он не отчаивался в восстановлении, хотя и искалеченного, но все-таки царства Польского. Открытие сейма в Варшаве Александром I оживило его надежды, но священный союз, реакция по всей Европе, самодурство Константина отдаляло осуществление заветного желания. С 25 года Ячевский поселился в деревне и безвозмездно жил в своей Рожанке, занимая время хозяйством, охотой и чтением газет и писем, посредством которых он все-таки горячо следил за политическими событиями в своем отечестве. Он был женат вторым браком на бедной красивой шляхтенке, и брак этот был несчастлив. Он не любил и не уважал этой своей второй жены, тяготился ею, дурно, грубо обращался с нею, как будто вымещая на ней свою ошибку второго брака. Детей от второй жены не было. От первой же жены было две дочери: старшая, Ванда, величавая красавица, знавшая цену своей красоты и скучавшая в деревне, и меньшая, Альбина, любимица отца, живая, костлявая девочка, с выщипанными белокурыми волосами и широко, как у отца, расставленными большими блестящими голубыми глазами.

Альбине было 15 лет, когда приехал Иосиф Мигурский. Мигурский и прежде студентом бывал у Ячевских в Вильно, где они жили по зимам, и ухаживал за Вандой, теперь же в первый раз уже вполне взрослым, свободным человеком приехал к ним в деревню. Приезд молодого Мигурского был приятен всем жителям Рожанки. Старику Иозе Мигурский был приятен тем, что напоминал ему друга, его отца в то время, как они оба были молоды, и еще тем, что с жаром и самыми розовыми надеждами рассказывал о революционном брожении не только в Польше, но и за границей, откуда он только что приехал. Пани ячевской Мигурский был приятен тем, что при гостях старик Ячевский сдерживался и не бранил ее за все, как обыкновенно. Ванде он был приятен потому, что она была уверена, что Мигурский приехал для нее и намеревается ей сделать предложение; она готовилась дать ему согласие, но намеревалась, как она сама с собой говорила: *lui tenir la dragee haut**2. Альбина была рада тому, что все были рады. Не одна Ванда была уверена в том, что Мигурский приехал с намерением сделать ей предложение. Это думали все в доме - от старика Ячевского до няни Лудвики, хотя никто и не говорил этого.

И это была правда. Мигурский приехал с этим намерением, но, пробыв неделю, он, чем-то смущенный и расстроенный уехал, не сделав предложения. Все были удивлены этим неожиданным отъездом, и никто, кроме Альбины, не понимал его причины. Альбина знала, что причиной этого странного отъезда была она. Во все время пребывания его в Рожанке она замечала, что Мигурский был особенно возбужден и весел только с нею. Он обращался с ней, как с ребенком, шутил с ней, дразнил ее, но он женским чутьем учуяла, что в этом обращении его с нею было не отношение взрослого к ребенку, а мужчины к женщине. Она видела это в том любующемся взгляде и ласковой улыбке, с которыми он встречал ее, когда она входила в комнату, и провожал, когда она выходила. Она не отдавала себе ясного отчета о том, что такое это было, но это его отношение в ней веселило ее, и она невольно старалась делать то, что нравилось ему. Нравилось же ему все, что она бы ни делала. И потому она в его присутствии с особенным возбуждением делала все, что делала. Ему нравилось, как она наперегонки бегала с прекрасным хортым (борзая собака), прыгавшим на нее и лизавшим ее в раскрасневшееся сиящее лицо; нравилось, как она при малейшем поводе заливалась заразительно звонким смехом; нравилось, ака она, продолжая весело смеяться глазами, принимала серьезный вид при скучной проповеди ксендза; нравилось, как с необыкновенной верностью и комизмом представляла то старую няню, то пьяного соседа, то его самого, Мигурского, мгновенно переходя от изображения одного к изображению другого. Нравилось, главное, ее восторженная жизнерадостность, точно как будто она только сейчас узнала вполне всю прелесть жизни и спешила воспользоваться ею. Ему нравилась эта особенная ее жизнерадостность, а жизнерадостность эта возбуждалась именно тем, что она знала, что эта жизнерадостность восхищает его. И потому одна Альбина

знала, отчего Мигурский, приехавший, чтобы сделать предложение Ванде, уехал, не сделав его. Хотя она никому не решилась бы сказать этого, не говорила этого ясно и сама себе, она в глубине души знала, что он хотел полюбить сестру и полюбил ее, Альбину. Альбина очень удивлялась этому, считая себя вполне ничтожной в сравнении с умной, образованной, красавицей Вандой, но не могла не знать, что это так, и не могла не радоваться этому, потому что сама всеми силами своей души полюбила Мигурского, полюбила так, как любят только в первый раз и только один раз в жизни.

2

В конце лета газеты принесли известие о парижской революции. Вслед за эти стали приходить известия о готовящихся беспорядках в Варшаве. Ячевский с страхом и надеждой ожидал с каждой почтой известия об убийстве Константина и начале революции. Наконец в ноябре получились в Рожанке сначала весть о нападении на бельведер, о бегстве Константина Павловича, потом о том, что сейм объявил династию Романовых лишенной польского престола, что Хлопицкий объявлен диктатором и польский народ опять свободен. Восстание не дошло еще до Рожанки, но все обитатели ее следили за ходом его, ожидали его у себя и готовились в нему. Старик Ячевский переписывался с старым знакомым, одним из главарей восстания, принимал таинственных евреев факторов, не по хозяйственным, а по революционным делам, и готовился присоединиться к восстанию, когда настанет время. Пани Ячевская не только как всегда, но еще более, чем всегда, заботилась о материальных удобствах мужа и, как всегда, этим самым все больше и больше раздражала его. Ванда отослала свои брильянты в Варшаву с тем, чтобы вырученные деньги отдать в революционный комитет. Альбина интересовалась только тем, что делает Мигурский. Через отца она знала, что он поступил в отряд Дверницкого, и старалась узнать все то, что касалось этого отряда. Мигурский писал два раза: один раз извещал о том, что он поступил в войско, другой раз в половине февраля писал восторженное письмо о победе поляков при Сточке, где взяли 6 русских орудий и пленных: "Zwyciestwo Polakow i kleska Moskali! Wiwat!"*3 заканчивал он письмо. Альбина была в восторге. Она рассматривала карту, рассчитывала, где и когда должны быть окончательно побеждены москали, и бледнела и дрожала, когда отец медленно распечатывал привезенные с почты пакеты. Один раз мачеха, зайдя в ее комнату, застала ее перед зеркалом в панталонах и конфедератке. Альбина готовилась в мужском платье бежать из дома, чтобы присоединиться к польскому войску. Мачеха сказала отцу. Отец призвал дочь к себе и, скрывая свое сочувствие ей, даже восхищение перед ней, сделал ей строгий выговор, требуя, чтобы она выбросила из головы глупые мысли об участии в войне. "У женщины есть другое дело: любить и утешать тех, которые жертвуют собой за отчизну", - сказал он ей. Теперь она нужна ему, составляя его радость и утешение, а придет время, она также нужна будет мужу. Он знал, чем подействовать на нее. Он намекнул ей на то, что он одинок и несчастен, и поцеловал ее. Она прижалась к нему лицом, скрывая слезы, которые все-таки намочили рукав его халата, и обещала ему ничего не предпринимать без его согласия.

3

Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела Польши и подчинения одной части ее власти ненавистных немцев, другой - власти еще более ненавистных москалей, могут понять тот восторг, который испытывали поляки в 30 и 31 году, когда после прежних несчастных попыток освобождения новая надежда освобождения казалась осуществимою. Но надежда эта продолжалась недолго. Силы были слишком несоразмерны, и революция опыты была задавлена. Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего рапорядителя Николая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю кровью своей и своих братьев поляков, задавили их и отдали опять во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков, а только одного: удовлетворения своего корыстолюбия и ребяческого тщеславия.

Варшава была взята, отдельные отряды разбиты. Сотни, тысячи людей были расстреляны, забиты палками, сосланы. В числе сосланных был и молодой Мигурский. Имение его было конфисковано, а сам он определен солдатом в линейный батальон в Уральск.

Ячевские жили зиму 1832 года в Вильне для здоровья старика, после 31 года страдавшего болезнью сердца. Здесь пришло к ним письмо от Мигурского из крепости. Он писал, что как ни тяжело для него было то, что он перенес и что предстоит ему, он рад тому, что ему пришлось пострадать за отчизну, что он не отчаивается в том святом деле, за которое он отдал часть своей жизни и готов отдать остаток ее, и что если бы завтра явилась новая возможность, он поступил бы так же. Читая письмо вслух, старик зарыдал на этом месте и долго не мог продолжать. В остальной части письма, которую вслух прочла Ванда, Мигурский писал, что какие бы ни были его планы и мечты в тот последний его приезд, который останется вечно самой светлой точкой во всей его жизни, он теперь и не может и не хочет говорить про них.

Ванда и Альбина поняли каждая по-своему значение этих слов, но никому не объяснили того, как они поняли их. В конце письма Мигурский посылал приветствия всем и, между прочим, с тем же игривым тоном, с которым он обращался с Альбиной во время своего приезда, обращался к ней и в письме, спрашивая ее, так же

ли она быстро бегают, перегоняя хортых, и так ли хорошо передразнивает всех. Он желал здоровья старику, успеха в хозяйственных делах матери, достойного мужа Ванде и продолжения той же жизнерадостности Альбины.

4

Здоровье старика Ячевского шло все хуже и хуже, и в 1833 году вся семья переехала за границу. Ванда встретила в Бадене богатого польского эмигранта и вышла за него замуж. Болезнь старика быстро ухудшалась, и в начале 1833 года он умер за границей на руках Альбины. Желая не допускать, чтобы она ходила за собой и до последней минуты не мог простить ей той ошибки которую он сделал, женившись на ней. Пани Ячевская вернулась с Альбиной в деревню. Главный интерес жизни Альбины был Мигурский. В ее глазах это был величайший герой и мученик, служению которому она решила посвятить свою жизнь. Еще до отъезда за границу она начала переписываться с ним сначала по поручению отца, потом от себя. После смерти отца она, вернувшись в Россию, продолжала переписываться с ним и, когда ей минуло 18 лет, объявила мачехе, что она решила ехать в Уральск к Мигурскому с тем, чтобы выйти там за него замуж. Мачеха стала упрекать Мигурского за то, что он эгоистически хочет облегчить свое тяжелое положение тем, чтобы, увлекши богатую девушку, заставить ее разделить его несчастье. Альбина рассердилась и объявила мачехе, что только она одна может приписывать такие подлые мысли человеку, пожертвовавшему всем для своего народа, что Мигурский, напротив, отказывался от той помощи, которую она предлагала ему, и что она бесповоротно решила ехать к нему и выйти за него замуж, если только он захочет дать ей это счастье. Альбина была совершеннолетней, и деньги у нее были, - те 300000 злотых, которые покойник дядя оставил двум племянницам. Так что ничего не могло задержать ее.

В ноябре 1833 года Альбина простилась с домашними, как насмерть, со слезами провожавшими ее в дальний, неведомый край варварской Московии, села с старой преданной няней Лудвикой, которую она брала с собой, в отцовский, вновь исправленный для дальней дороги возок, и пустилась в дальнюю дорогу.

5

Единственная и большая радость его жизни после его ссылки была переписка с Альбиной, поэтическое, милое представление о которой со времени посещения его Рожанки осталось у него в душе и становилось теперь в изгнании все прекраснее и прекраснее. В одном из первых писем своих она, между прочим, спрашивала его, что значат слова его давнишнего письма: "какие бы ни были мои желания и мечты". Он отвечал ей, что теперь он может признаться ей, что мечты его были о том, чтобы назвать ее своей женой. Она ответила ему, что любит его. Он ответил, что лучше бы она не писала этого, потому что ему ужасно думать о том, что могло бы быть и теперь невозможно. Она ответила, что это не только возможно, но что это непременно будет. Он отвечал ей, что не может принять ее жертвы, что в теперешнем положении его это невозможно. Вскоре после этого своего письма он получил повестку на 2000 злотых. По штемпелю конверта и почерку он узнал, что это было прислано от Альбины, и вспомнил, что в одном из первых писем он в шуточном тоне описывал ей то удовольствие, в котором он просил ее не портить их святых отношений деньгами. У него всего было довольно, писал он, и он вполне счастлив, зная, что имеет такого друга, как она. На этом остановилась их переписка.

В ноябре Мигурский сидел у полковника, давая урок мальчикам, когда послышался звук приближающегося почтового колокольца и заскрипели по морозному снегу полозья саней и остановились у подъезда. Дети вскочили, чтобы узнать, кто приехал. Мигурский остался в комнате, глядя на дверь и ожидая возвращения детей, но в дверь вошла сама подполковница.

- А к вам, "пан", какие-то барыни приехали, вас спрашивают, - сказала она. - Должно, с вашей стороны, похоже поляки.

Если бы Мигурского спросили: считает ли он возможным приезд в нему Альбины, он бы сказал, что это немыслимо; в глубине же души он ждал ее. Кровь прилила ему к сердцу, и он, задыхаясь, выбежал в переднюю. В передней развязывала платок на голове толстая, рябая женщина. Другая женщина входила в дверь квартиры полковника. Услышав за собой шаги, она оглянулась. Из-под капора сияли жизнерадостные, широко расставленные, блестящие голубые глаза с заиндеветыми ресницами Альбины. Он остолбенел и не знал, как встретить ее, как здороваться. "Юзе!" - вскрикнула она, назвав его так, как называл его отец и как сама с собой она называла его, обхватила руками его шею, прильнула к его лицу своим затвердевшим холодным лицом и засмеялась и заплакала.

Узнав, кто такая Альбина и зачем она приехала, добрая полковница приняла ее и поместила до свадьбы у себя.

6

Добродушный полковник выхлопотал разрешение высшего начальства. Из Оренбурга выписали ксендза и обвенчали Мигурских: жена батальонного командира была посаженной матерью, один из учеников нес образ, а

Бржозовский, сосланный поляк, был шафером.

Альбина, как ни странно это может казаться, страстно любила своего мужа, но совсем не знала его. Она теперь только знакомилась с ним. Само собой разумеется, что она нашла в живом человеке с плотью и кровью много такого обыденного и непоэтического, чего не было в том образе, который она носила и растила в своем воображении; но зато, именно потому, что это был человек с плотью и кровью, она нашла в нем много такого простого, хорошего, чего не было в том отвлеченном образе. Она слышала от знакомых и друзей про его храбрость на войне и знала про его мужество при потере состояния и свободы и представляла себе его героем, всегда живущим возвышенной, героической жизнью; в действительности же с своей необыкновенной физической силой и храбростью он оказался кротким, смирным ягненком, самым простым человеком, с добродушными шутками, с той самой детской улыбкой чувственного рта, окруженного белокурой бородкой и усами, которая прельстила ее еще в Рожанке, и с неугасимой трубкой, которая была ей особенно тяжела во время беременности.

Мигурский тоже теперь узнал Альбину, и в альбине в первый раз узнал женщину. По тем женщинам, которых он знал до женитьбы, он не мог знать женщин. И то, что он узнал в Альбине, как в женщине вообще, удивило его и скорее могло бы разочаровать его в женщине вообще, если бы он не чувствовал к альбине, как к Альбине, особенно нежного и благодарного чувства. К Альбине, как к женщине вообще, он чувствовал ласковое, несколько ироническое снисхождение, к Альбине же, как к Альбине, не только нежную любовь, но и восхищение и сознание неоплатного долга за ее жертву, давшую ему незаслуженное счастье.

Мигурские были счастливы тем, что, направив всю силу своей любви друг на друга, они испытывали среди чужих людей чувство двух заблудившихся зимою замерзающих и отогревающих друг друга. Радостной жизни Мигурских содействовало и участие в их жизни рабски, самоотверженно преданной своей нанюсе добродушно ворчливой, комической, влюбляющейся во всех мужчин няни Лудвики. Мигурские были счастливы и детьми. Через год родился мальчик. Через полтора года девочка. Мальчик был повторением матери: те же глаза и та же резвость и грация. Девочка была здоровый, красивый зверок.

Несчастливы же Мигурские были удалением от родины, и главное, тяжестью своего непривычно униженного положения. Особенно страдала за это унижение Альбина. Он, ее Юзе, герой, идеал человека, должен был вытаскиваться перед всяким офицером, делать ружейные приемы, ходить в караул и безропотно повиноваться.

Кроме того, известия из Польши получались самые печальные. почти все близкие родные, друзья были или сосланы или, лишившись всего, бежали за границу. Для самих же Мигурских не предвиделось какого-либо конца этому положению. Все попытки ходатайствовать о прощении или хотя бы об улучшении положения, о производстве в офицеры, не достигали цели. Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил по маскарадам, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугуева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоняя лошадей, и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к отечеству, которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: "Пуская служат. Рано". Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время. И все приближенные: генералы, камергеры и их жены, кормившиеся около него, умилялись перед необыкновенной прозорливостью и мудростью этого великого человека.

В общем все-таки в жизни Мигурских было больше счастья чем несчастья.

Так прожили они пять лет. Но вдруг обрушилось на них неожиданное, страшное горе. Заболела сначала девочка, через два дня заболел мальчик: горел три дня и без помощи врачей (никого нельзя было найти) на четвертый день умер. Через два дня после него умерла и девочка.

Альбина не утопилась в урале только потому, что не могла без ужаса представить себе положения мужа при известии об ее самоубийстве. Но жить ей было трудно. Всегда прежде деятельная и заботливая, она теперь, предоставив все свои заботы Лудвике, сидела часами без дела, молча глядя на то, что попадалось под глаза, а то вдруг вскакивала и убегала в свою каморку и там, не отвечая на утешения мужа и Лудвики, тихо плакала, только качая головой, прося их уйти и оставить ее одну. Летом она уходила на могилу детей и там сидела, раздирая себе сердце воспоминания о том, что было и что могло бы быть. Особенно мучила ее мысль о том, что дети могли бы остаться живы, если бы они жили в городе, где могла бы быть подана медицинская помощь. "За что? за что?" - думала она. И Юзе и я - мы ничего ни от кого не хотим, кроме того, чтобы ему жить так, как он родился и жили его деды и прадеды, а мне только чтобы жить с ним, любить его, любить моих крошек, воспитывать их". "И вдруг его мучают, ссылают, а у меня отнимают то, что мне дороже света. Зачем? за что?" - задавала она этот вопрос людям и богу. И не могла представить себе возможности какого-нибудь ответа.

А без этого ответа не было жизни. И жизнь ее остановилась. Бедная жизнь в изгнании, которую она прежде умела украшать своим женским вкусом и изяществом, стала теперь невыносима не только ей, но и Мигурскому, страдавшему за нее и не знавшему, чем помочь ей.

В это самое тяжелое для Мигурских время прибыл в Уральск поляк Росоловский, замешанный в грандиозном плане возмущения и побега, устроенного в то время в Сибири сосланным ксендзом Сироцинским.

Росоловский, так же как и Мигурский, так же как и тысячи людей, наказанных ссылкой в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились - поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был Мигурский. Росоловский, бывший учитель математики, был длинный, сутуловатый, худой человек с впалыми щеками и нахмуренным лбом.

В первый же вечер своего пребывания Росоловский, сидя за чаем у Мигурских, стал, естественно, рассказывать своим медленным, спокойным басом про то дело, за которое он так жестоко пострадал. Дело состояло в том, что Сироцинский организовал по всей Сибири тайное общество, цель которого состояла в том, чтобы с помощью поляков, зачисленных в казацки и линейные полки, взбунтовать солдат и каторжных, поднять поселенцев, захватить в Омске артиллерию и всех освободить.

- Да разве это было возможно? - спросил Мигурский.

- Очень возможно, все было готово, - сказал Росоловский, мрачно хмурясь, и медленно, спокойно рассказал весь план освобождения и все принятые меры для успеха дела и в случае неуспеха для спасения заговорщиков. Успех был верный, если бы не изменили два злодея. сироцинский, по словам Росоловского, был человек гениальный и великой душевной силы. Он и умер героем и мучеником. И Росоловский ровным, спокойным басом стал рассказывать подробности казни, на которой он по приказанию начальства должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу.

- Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей, у каждого солдата в руке была гибкая палка, такой высочайше утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло ружья. Первым повели доктора Шакальского. Два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда он равнялся с ними. Я видел это только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но потом, когда становился слышен свист палок и звук ударов по телу, я знал, что он подходит. И я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: "Не бейте больно, пожалейте". Но они все били; когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его тащили. Страшно было смотреть на его спину. Я зажмурился. Он упал, и его унесли. Потом повели второго. Потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили, одних замертво, других еле живыми, и мы все должны были стоять и смотреть. Продолжалось это шесть часов - от раннего утра и до двух часов пополудни. Последнего повели самого Сироцинского. Я давно не видал его и не узнал бы, так он постарел. Все в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: *Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam**4.

- Я сам слышал, - быстро прохрипел Росоловский и, закрыв рот, засопел носом.

Лудвика, сидевшая у окна, рыдала, закрыв лицо платком.

- И охота вам расписывать! Звери - звери и есть! - вскрикнул Мигурский и, бросив трубку, вскочил со стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела как окаменевшая, уставив глаза в темный угол.

8

На другой день Мигурский, придя домой с ученья, был удивлен видом жены, которая, как в старину, легкими шагами, с сияющим лицом встретила его и повела в спальню.

- Ну, Юзе, слушай.

- Слушаю. Что?

- Я всю ночь думала о том, что рассказал Росоловский. И я решила: я не могу жить так, не могу жить тут. Не могу! Я умру, но не останусь здесь.

- Да что же делать?

- Бежать.

- Бежать? Как?

- Я все обдумала. Слушай.

И она рассказала ему тот план, который она придумала сегодня ночью. План был такой: он, Мигурский, уйдет из дома вечером и оставит на берегу Урала свою шинель и на шинели письмо, в котором напишет, что лишает себя жизни. Поймут, что он утопился. Будут искать тело, будут посылать бумаги. А он спрячется. Она так спрячет его, что никто не найдет. Можно будет прожить так хоть месяц. А когда все уляжется, они убегут.

Затея ее в первую минуту показалась Мигурскому неисполнимой, но к концу дня, когда она с такой страстью и уверенностью убеждала его, он стал соглашаться с нею. Кроме того, он был склонен согласиться еще и потому, что наказание за неудавшийся побег, такое же наказание, как то, про которое рассказывал росоловский, падало на него, Мигурского, успех же освобождал ее, а он видел, как после смерти детей тяжела ей была жизнь здесь.

Росоловский и Лудвика были посвящены в замысел, и после долгих совещаний, изменений, поправок план побега был выработан. Сначала хотели сделать так, чтобы Мигурский после того, как он будет признан утонувшим, бежал бы один, пешком. Альбина же выедет в экипаже и в условном месте встретит его. Твкой был первый план. Но потом, когда росоловский рассказывал про все неудавшиеся попытки побегов последних пяти лет в Сибири (за все время убежал и спасся только один счастливец), Альбина предложила другой план, тот,

чтобы Юзе, спрятанный в экипаже, ехал с нею и Лудвикой до Саратова. В Саратове же ему переодетому идти вниз по берегу Волги и в условленном месте сесть в лодку, которую она найдет в Саратове и в которой поплывет вместе с Альбиной и Лудвикой вниз по Волге до Астрахани и через Каспийское море в Персию. План был этот одобрен всеми и главным устройтелем Росоловским, но представлялась трудность устройства такого помещения в экипаже, которое не обратило бы на себя внимания начальства, а между тем могло бы вместить в себя человека. Когда же Альбина после поездки на могилу детей сказала Росоловскому, как ей больно оставлять прах детей на чужой стороне, он, подумав, сказал:

- Просите начальство о разрешении взять с собой гробы детей, вам разрешат.

- Нет, я не хочу, не хочу этого! - сказала Альбина.

- Просите. В этом все. Мы не возьмем гробов, а для них сделаем большой ящик и в ящик положим Юзефа.

В первую минуту Альбина отвергла это предложение, так ей неприятно было связывать обман с воспоминанием о детях, но когда Мигурский весело одобрил этот проект, она согласилась.

Так что окончательный план выработался такой: Мигурский сделает все то, что должно убедить начальство, что он утопился. Когда смерть его будет признана, Альбина подаст прошение о том, чтобы ей после смерти иужа разрешено было вернуться на родину и взять с собой и прах детей. Когда же ей дадут и это разрешение, будет сделано подобие того, что могилы раскопаны и гробы взяты, но гробы оставят на месте, а вместо детских гробов в приготовленном для этого ящике поместится Мигурский. Ящик поставят в тарантас и так доедут до Саратова. От Саратова они сядут на лодку. В лодке Юзе выйдет из ящика, и они поплывут до Каспийского моря. А там Персия или Турция и свобода.

9

Прежде всего Мигурские купили тарантас под предлогом отправления Лудвики на родину. Потом началось устройство в тарантасе такого ящика, в котором, не задохнувшись, можно бы было, хотя и скорчившись, лежать и из которого можно бы было скоро и незаметно выходить и опять влезать. Втроем, Альбина, Росоловский и сам Мигурский, придумывали и прилаживали ящик. В особенности важна была помощь Росоловского, который был хороший столяр. Ящик был сделан так, что, утвержденный на дрожины позади кузова, он плотно приходился к кузову, и стенка, приходившаяся к кузову, отваливалась так, что человек, вынув стенку, мог лежать частью в ящике, частью на дне тарантаса. Кроме того, в ящике были провернуты дыры для воздуха, и сверху и с боков ящик должен был быть покрыт рогожей и увязан веревками. Входить и выходить из него можно было через тарантас, в котором было сделано сиденье.

Когда тарантас и ящик были готовы, еще до исчезновения мужа, Альбина, чтобы приготовить начальство, пошла к полковнику и заявила, что муж ее впал в меланхолию и покушался на самоубийство и она боится за него и просит на время отпустить его. Способность ее к драматическому искусству пригодилась ей. Выражаемые ею беспокойство и страх за мужа были так естественны, что полковник был тронут и обещал сделать все, что может. После этого Мигурский сочинил письмо, которое должно было быть найдено за обшлагом его шинели на берегу Урала, и в условленный день, вечером, он пошел к Уралу, дождался темноты, положил на берегу одежду, шинель с письмом и тайно вернулся домой. На чердаке, запиравшемся замком, было приготовлено для него место. Ночью Альбина послала Лудвику к полковнику заявить о муже, что он, выйдя из дома 20 часов назад, не возвращался. Утром ей принесли письмо мужа, и она с выражением сильного отчаяния в слезах отнесла его полковнику. Через неделю Альбина подала прошение об отъезде на родину. Горе, выражаемое Мигурской, поражало всех видевших ее. Все жалели несчастную мать и жену. Когда отъезд ее был разрешен, она подала другое прошение о позволении откопать трупы детей и взять их с собою. Начальство удивилось на эту сентиментальность, но разрешило и это.

На другой день после получения и этого разрешения вечером Росоловский с Альбиной и Лудвикой в наемной телеге с ящиком, в который должны были быть вложены гробы детей, приехали на кладбище, к могиле детей. Альбина, опустившись на колени у могил детей, помолилась и скоро встала и нахмурившись, обращаясь к Росоловскому, сказала:

- Делайте то, что надо, а я не могу, - и отошла в сторону. Росоловский с Лудвикой сдвинули надгробный камень и вскопали лопатой верхние части могилы так, что могила имела вид раскопанный. Когда все было сделано, они кликнули Альбину и с ящиком, наполненным землей, вернулись домой.

Наступил назначенный день отъезда. Росоловский радовался успеху доведенного почти до конца предприятия. Лудвика напекла на дорогу печений и пирожков и, приговаривая свою любимую поговорку: "Iak mate Kocham", говорила, что у ней сердце разрывается от страха и радости. Мигурский радовался и своему освобождению с чердака, на котором он просидел больше месяца, и больше всего - оживлению и жизнерадостности Альбины. Она как будто забыла все прежнее горе и все опасности и как в девичье время, прибегая к нему на чердак, сияла восторженной радостью.

В три часа утра пришел казак провожать и привел казак ямщик тройку лошадей. Альбина с Лудвикой и собачкой сели в тарантас на подушки, покрытые ковром. Казак и ямщик сели на козлы. Мигурский, одетый в крестьянское платье, лежал в кузове тарантаса.

Выехали из города, и добрая тройка понесла тарантас по гладкой, как камень, убитой дороге между

бесконечной, непаханной, поросшей прошлогодним серебристым ковылем, степью.

10

Сердце замирало в груди Альбины от надежды и восторга. Желая поделиться своими чувствами, она изредка, чуть улыбаясь, указывала Лудвике головой то на широкую спину казака, сидевшего на козлах, то на дно тарантаса. Лудвика с значительным видом неподвижно смотрела перед собой и только чуть-чуть морщила губы. День был ясный. Со всех сторон расстилалась безграничная пустынная степь, блестящая серебристым ковылем на косых лучах утреннего солнца. Только то с той, то с другой стороны жесткой дороги, по которой, как по асфальту, гулко звучали некованные, быстрые ноги башкирских коней, виднелись бугорки насыпанной земли сусликов; на задку сидел сторожевой зверек и, предупреждая об опасности, пронзительно свистел и скрывался в нору. Редко встречались проезжие: обоз казаков с пшеницей или конные башкиры, с которыми казак бойко перекидывался татарскими словами. На всех станциях лошади были свежие, сытые, и полтинники на водку, которые давала Альбина, делали то, что ямщики гнали, как они говорили, по-фельдъегерски - вскачь всю дорогу.

На первой же станции, в то время как прежний ямщик увел, а новый не приводил еще лошадей, и казак вошел во двор, Альбина, перегнувшись, спросила мужа, как он себя чувствует, не нужно ли ему чего. - Превосходно, покойно. Ничего не нужно. Легко пролежу хоть двое суток.

К вечеру приехали в большое село Дергачи. Для того, чтобы муж мог расправить члены и освежиться, Альбина остановилась не на почтовом, а на постоялом дворе и тотчас же, дав деньги казаку, послала его купить ей яиц и молока. Тарантас стоял под навесом, на дворе было темно и, поставив Лудвику караулить казака, Альбина выпустила мужа, накормила его, и до возвращения казака он опять влез в свое потаенное место. Послали опять за лошадьми и поехали дальше. Альбина чувствовала все больший и больший подъем духа и не могла удержать своего восторга и веселости. говорить ей было больше не с кем, как с Лудвикой, казаком и Трезоркой, и она забавлялась ими.

Лудвика, несмотря на свою некрасивость, при всяком отношении с мужчиной тотчас же подозревавшая в этом мужчине любовные на нее виды, подозревала теперь это самое по отношению к здоровенному, добродушному казаку-уральцу, с необыкновенно ясными и добрыми голубыми глазами, который провожал их и который был особенно приятен обоим женщинам своей простотой и добродушной ласковостью. Кроме Трезорки, на которого Альбина грозилась, не позволяя ему нюхать под сидением, она теперь забавлялась Лудвикой и ее комическим кокетством с неподозревающим приписываемые ему намерения, добродушно улыбающимся на все, что ему говорили, казаком. Альбина, возбужденная и опасностью и начинающим осуществляться успехом дела, и чудной погодой, и степным воздухом, испытывала давно не испытанное ею чувство детского восторга и веселья. Мигурский слышал ее веселый говор и тоже, несмотря на скрываемую им физическую тяжесть своего положения (особенно жарко ему было и жажда его мучила), забывая о себе, радовался на ее радость.

К вечеру второго дня стало виднеться что-то в тумане. Это был Саратов и Волга. Казак своими степными глазами видел и Волгу и мачту и указывал их Лудвике. Лудвика говорила, что видела тоже. Но Альбина ничего не могла разобрать. И только нарочно громко - чтобы слышал муж, говорила:

- Саратов, Волга, - как будто разговаривая с Трезором, рассказывала мужу Альбина все то, что она видела.

11

Не въезжая в Саратов, Альбина остановилась на левой стороне Волги в слободе Покровской, против самого города. Здесь она надеялась в продолжение ночи успеть переговорить с мужем и даже вывести его из ящика. Но казак, во всю короткую, весеннюю ночь, не отходил от тарантаса и сидел подле него в стоявшей под навесом пустой телеге. Лудвика по распоряжению Альбин сидела в тарантасе и, будучи вполне уверена, что казак ради нее не отходит от тарантаса, мигала, смеялась и закрывала свое рябое лицо платком. Но Альбина не видела уж в этом ничего веселого и все больше и больше тревожилась, не понимая, для чего казак так неотлучно держался около тарантаса.

Несколько раз в короткую майскую ночь с зарей, Альбина выходила из горницы постоялого двора мимо вонючей галереи на заднее крыльцо. Казак все еще не спал и, спустив ноги, сидел на стоявшей подле тарантаса пустой телеге. Только перед рассветом, когда петухи уже проснулись и перекликались со двора на двор, Альбина, сойдя вниз, нашла время переговорить с мужем. Казак храпел, развалившись в телеге. Она осторожно подошла к тарантасу и толкнула ящик.

- Юзе! - ответа не было.

- Юзе, Юзе! - с испугом громче проговорила она.

- Что ты, милая, что! - сонным голосом проговорил Мигурский из ящика.

- Что ты не отвечал?

- Спал, проговорил он, и она по звуку голоса узнала, что он улыбался. - Что же, выходить? - спросил он.

- Нелзя, казак тут, - и, сказав это, она взглянула на казака, спящего в телеге.

И, удивительное дело, казак храпел, но глаза его, добрые, голубые глаза, были открыты. Он смотрел на

нее и, только встретившись с ней взглядом, закрыл глаза.

"Показалось это мне или точно он не спал? - спросила себя Альбина. - Верно, показалось", - подумала она и опять обратилась к мужу.

- Потерпи еще немного, - сказала она. - Поесть хочешь?

- Нет. Курить хочу.

Альбина опять взглянула на казака. Он спал. "Да, это показалось мне, - подумала она.

- Я теперь поеду к губернатору.

- Ну, час добрый...

И Альбина, достав из чемодана платье, пошла в горницу одеваться.

Переодевшись в свое лучшее вдовье платье, Альбина переехала Волгу. На набережной она взяла извозчика и поехала к губернатору. Губернатор принял ее. Хорошенькая, мило улыбающаяся вдова-полька, прекрасно говорящая по-французски, очень понравилась молодящемуся старику губернатору. Он все разрешил ей и просил ее приехать еще завтра к нему, чтобы получить от него приказ к городничесу в Царицын. Радуюсь и успеху своего ходатайства и тому действию ее привлекательности, которое она видела в манере губернатора, Альбина, счастливая и полная надежд, возвращалась под гору по немощеной улице на долгушке к пристани. Солнце взошло уже выше леса и косыми лучами играло на рябящей воде огромного разлива. Справа и слева по горе виднелись, как белые облака, облитые пахучим цветом яблони. Лес мачт виднелся у берега, и паруса белели по играющему на солнце рябящему от ветерка разливу. На пристани, разговорившись с извозчиком, Альбина спросила, можно ли нанять лодку до Астрахани, и десятки шумливых, веселых лодочников предложили ей свои услуги и лодки. Она сговорила с одним из лодочников, больше других понравившимся ей, и пошла смотреть его лодку косовушку, стоявшую в тесноте других лодок у пристани. На лодке была устанавливающаяся небольшая мачта с парусом, так что можно было идти ветром. В случае безветрия были весла и два здоровые, веселые бурлака-гребцы, сидевшие на солнце в лодке. Веселый, добродушный лоцман советовал не оставлять тарантас, а сняв с него колеса, поставить на лодку. Как раз установится, и вам покойней сидеть будет. Даст бог погоду, дней в пять до Астрахани добежим".

Альбина сторговалась с лодочником и велела ему прийти в Покровскую слободу, на Логинов постоянный двор, чтобы посмотреть тарантас и получить задаток. Все удавалось лучше, чем она ожидала. В самом восторженно-счастливом состоянии Альбина переехала Волгу и, разочтясь с извозчиком, направилась к постоялому двору.

12

Казак Данило Лифанов был из Стрелецкого Умета на Общем Сырту. Ему было 34 года, и он отслуживал последний месяц своего срока казацкой службы. У него в семье был старик 90-летний дед, помнящий еще Пугачева, два брата, сноха старшего брата, за старую веру сосланного в каторгу в Сибирь, жена, две дочери и два сына. Отец его был убит на войне с французами. Он был старшим в доме. У них во дворе было 16 коней, два цабана быков и было распахано и засеяно пшеницей своей вольной земли 15 сотенников. Он, Данило, служил в Оренбурге, в Казани и теперь кончал срок. Он твердо держался старой веры, не курил, не пил и не ел из одной посуды с мирскими и так же строго держался присяги. Во всех своих делах он был медлительно твердо обстоятелен, и на то, что ему поручено было делать от начальства, употреблял все свое внимание и не забывал ни на минуту, пока не исполнил всего, как он понимал, своего назначения. Теперь ему велено было проводить до Саратова двух полячек с гробами так, чтобы над ними дорогой ничего худого не сделали, чтобы они ехали смирно, никаких шалостей не делали и в Саратове честь-честью сдать их начальству. Так он и доставил их до Саратова и с собачонкой и со всеми с гробами ихними. Бабы были смирные, ласковые, хотя и полячки, а ничего худого не делали. Но тут, в Покровской слободе, ввечеру, он, проходя мимо тарантаса, увидал, что собачонка вспрыгнула в тарантас и там стала визжать и хвостом махать, и из-под сидения тарантаса ему показался чей-то голос. Одна из полячек, старая, увидав собачку в тарантасе, испугалась чего-то, схватила собачонку и унесла.

"Что-то тут есть", подумал казак, и стал примечать. Когда молодая полячка вышла ночью к тарантасу, он притворился, что спит, и явственно услышал мужской голос из ящика. Рано утром он пошел в полицию и заявил о том, что полячки, какие ему поручены, не добром едут, а вместо мертвых везут какого-то живого человека в ящике.

Когда Альбина в своем восторженно-веселом настроении, уверенная в том, что теперь все кончено и они через несколько дней будут свободны, подошла к постоялому двору, она с удивлением увидела у ворот щегольскую пару с пристяжкой на отлете и двух казаков. В воротах толпился народ, заглядывая во двор.

Она была так полна надежды и энергии, что ей и в голову не пришла мысль о том, что эта пара и толпившийся народ имеют отношение к ней. Она вошла во двор и в одно и то же время взглянув под тот навес, где стоял ее тарантас, увидела, что народ толпится именно около ее тарантаса, и в то же мгновение услышала отчаянный лай Трезорки. Случилось то самое ужасное, что только могло случиться. Перед тарантасом, блестя своим чистым мундиром, с сиящими на солнце пуговицами и полупогонами и лаковыми сапогами стоял осанистый с черными бакенбардами человек и говорил что-то громко хриплым, повелительным голосом. Перед ним между двумя солдатами в крестьянском наряде с сеном в спутанных волосах стоял ее Юзе и, как бы недоумевающая о том,

что вокруг него делалось, поднимал и опускал свои могучие плечи. Трезорка, не зная того что он был причиной всего несчастья, ошестившись, бесполезно озлобленно лаял на полицмейстера. Увидав Альбину, Мигурский вздрогнул, хотел подойти к ней, но солдаты удержали его.

- Ничего, Альбина, ничего! - проговорил Мигурский, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

- А вот и барынька сама! - проговорил полицмейстер. - Пожалуйте сюда. Гробы ваших младенцев? А? - сказал он, подмигивая на Мигурского.

Альбина не отвечала и только, схватившись за грудь, раскрыв рот, с ужасом смотрела на мужа.

Как это бывает в предсмертные и вообще решительные в жизни минуты, она в одно мгновение перечувствовала и передумала бездну чувств и мыслей и вместе с тем не понимала еще, не верила своему несчастью. Первое чувство было знакомо ей давно - чувство оскорбленной гордости при виде ее героя мужа, униженного перед теми грубыми, дикими людьми, которые держали его теперь в своей власти. "Как смеют они держать его, этого лучшего из всех людей, в своей власти?". Другое чувство, одновременно с этим охватившее ее, было сознание совершившегося несчастья. Сознание же несчастья вызвало в ней воспоминание о главном несчастье ее жизни, о смерти детей. И сейчас же возник вопрос: за что? за что отняты дети? Вопрос же, за что отняты дети? вызвал вопрос: за что теперь гибнет, мучается любимый, лучший из людей, ее муж? И тут же она вспомнила о том, какое ждет его позорное наказание, и то, что она, она одна виновата в этом.

- Кто он вам? Муж он вам? - повторил полицмейстер.

- За что, за что? - вскрикнула она и, закатившись истерическим хохотом, упала на снятый теперь с козел и стоявший у тарантаса ящик. Вся трясущаяся от рыданий, с залитым слезами лицом, Лудвика подошла к ней.

- Паненка, милая паненка! Як бога кохам, ничено не будет, ничего, - говорила она, бессмысленно водя по ней руками.

На Мигурского надели наручники и повели со двора. Увидав это, Альбина побежала за ним.

- Прости, прости меня, - говорила она. - Все я! Я одна виновата.

- Там разберут, кто виноват. И до вас дело дойдет, - сказал полицмейстер и рукою отстранил ее.

Мигурского повели к переправе, и альбина, сама не зная, зачем она делала это, шла за ним и не слушала уговаривающую ее Лудвику.

Казак Данило Лифанов во все это время стоял у колес тарантаса и мрачно взглядывал то на полицмейстера, то на Альбину, то себе на ноги.

Когда Мигурского увели, оставшийся один Трезорка, махая хвостиком, стал ласкаться к нему. Он привык к нему во время дороги. Казак вдруг отклонился от тарантаса, сорвал с себя шапку, швырнул ее изо всех сил наземь, откинул ногой от себя Трезорку и пошел в харчевню. В харчевне он потребовал водки и пил день и ночь, пропил все, что было у него и на нем, и только на другую ночь, проснувшись в канаве, перестал думать о мучившем его вопросе: хорошо ли он сделал, донеся начальству о полячкином муже в ящике?

Мигурского судили и приговорили за побег к прогнанию сквозь 1000. Его родные и Ванда, имевшая связи в Петербурге, выхлопотали ему смягчение наказания, и его сослали на вечное поселение в Сибирь. Альбина поехала за ним.

Николай же Павлович радовался тому, что задачил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренне верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы.

1909

Л.Н. Толстой

Глава первая, повествующая о том, как родился замысел рассказа и шла у Льва Толстого работа над ним

*Когда я пишу историческое, я люблю до малейших
подробностей быть верным действительности.
Лев Толстой. Письмо И.И. Карганову*

Над своим небольшим, в два десятка страниц, рассказом "За что?" Л.Н. Толстой думал не один месяц.

Для его создания он прочел целую гору литературы на русском, французском, немецком языках. Многие строки, абзацы, главы имеют несчетное количество вариантов. Произведение переделывалось, по крайней мере, пятнадцать раз.

На всей этой работе лежит печать живейшей симпатии к польскому народу, угнетаемому царским самодержавием.

Симпатией к свободолюбивым полякам объясняется уже сам выбор темы, сам сюжет.

С будущими главными героями рассказа Толстой познакомился при чтении книги С.В. Максимова "Сибирь и каторга".

Прочтем соответствующее место и мы.

Вот оно:

"Не только урочища и разные местности передают предания о неудачных попытках поляков, даже надгробные памятники на польских кладбищах в Сибири красноречиво и настойчиво говорят о том, что побегами испещрена история польских изгнанников, что на них потрачено понапрасну немало сил и времени не только в Сибири, но и в России. В Нерчинском Большом заводе один такой надгробный камень прикрывает могилу Альбины Мигурской - истинной героини во всей истории польской неволи. Эта молодая женщина презрела все общественные связи, бонатство родителей и не обратила внимания на советы родных и друзей, на невзгоды дальнего пути, на грустную будущность - и поехала в город Уральск к своему жениху, сосланному в тамошний линейный батальон солдатом. Здесь она вступила с ним в брак и сделалась для него действительно усадью и путеводною звездой в сумрачной ночи неволи. Она родила двух детей, но дети вскоре умерли, оставив матери старую тоску на сердце и усиленное желание освобождения себя и мужа от неволи. Однажды казаки принесли к ней с берега Урала платье мужа и письмо его, в котором он просит у нее прощения за то несчастье, которому подверг ее, бросившись в воду от тоски по отчизне и оставив ее на чужой стороне в неизвестности положения. Печаль и слезы несчастной женщины были столько искренни и сильны, что в Мигурской приняли самое сердечное участие все уральские дамы и начальство. Визиты были часты, долговременны и в конце начали уже мучить ее, потому что муж, спрятанный в соседней комнате, мог ежеминутно выдать ее чиханием, кашлем, каким-либо безвременным движением. Адские пытки переносила она во все время, пока ходила просьба о дозволении ей возвратиться на родину. Тайна была сохранена, даже служанка, привезенная из Польши, сумела свято соблюсти ее. Когда получено было разрешение на отъезд, Мигурская заявила желание вырыть из казачьей земли трупы детей и увезти их кости в польскую землю. Сложила она эти кости в один гроб и туда же спрятала мужа. На дорогу ей дали в проводники казака. Гроб с живым Мигурским поставлен был под козлы и, таким образом, благополучно выехал из пределов уральского войска. В Саратовской губернии казаку удалось подслушать разговор супругов и донести по начальству. В Саратов супруги явились уже пленными и там еще до сих пор помнят тот потрясающий момент, когда супруги Мигурские вошли в костел и пали на колени перед гробом своих детей: она - в трауре, он - в кандалах. Мигурская сделалась предметом разговоров; тамошние поляки смотрели на нее, как на святую, на коленях испрашивая у нее благословения. Манифест по поводу бракосочетания покойного императора Александра II освободил Мигурского от наказания; его отправили не в работу, а только в сибирские войска и поместили в Нерчинском заводе. Здесь Мигурская впала в чахотку и умерла".

Сюжет приведен дословно.

Да и можно ли привести, если перед нами экземпляр, который держал в руках сам Толстой?

В Яснополянской библиотеке хранятся первая и третья части труда Максимова в петербургском издании 1891 года. Загнутые писателем уголки страниц свидетельствуют о самом внимательном чтении. Подтверждает это и одна из помет на форзаце, сделанная рукою В.Ф. Булгакова - его секретаря: "уголки загнуты Л.Н. - чем. На основании страниц 63-65 и 73-75 3-й части написан Л.Н. - чем рассказ "За что?" В.Б."

В недавно выпущенном описании библиотеки Л.Н. Толстого издание значится под номером 1893-м. Составители ценнейшего каталога не преминули отметить, что именно от Максимова пришло к Толстому и было сохранено им действительное имя главной героини рассказа (Альбина Мигурская), оттуда же - наиболее существенные обстоятельства действий Мигурских и эпизод выдачи беглецов казаком, оттуда - места происшествия: Уральск и Саратовская губерния.

Книга Максимова дала писателю материал для описания восстания, поднятого в Сибири ссыльным поляком Сероцинским, из нее почерпнул он подробности казни Шокальского ... в общем многое и многое, вплоть до таких деталей, как размер тонких палок для истязания прогоняемых сквозь строй шпицрутенгов "чтобы три только входили в дуло ружья".

Каждый, кто знаком с рассказом Льва Толстого "За что?", прочтя выписку из книги Максимова, имеет возможность убедиться, что фабула из "Сибири и каторги" - подлинная, почерпнутая из самой жизни, - чуть ли не целиком перенесена в толстовское произведение.

Но как обогатилась, как засверкала она под пером замечательного художника слова!

Ему было тогда уже восемьдесят лет, а талант оставался по-прежнему молодым, по-прежнему щедрым.

И будто вырос, стал сильнее, нравственно богаче Мигурский: "... если бы завтра явилась новая возможность, он поступил бы так же". Еще ярче раскрылась душа Альбины, девизом которой являлось одно: "любить и утешать тех, которые жертвуют собой за отчизну". Наконец, сам побег, их несбывшийся и в то же время замечательный побег был показан с такой глубиной, с таким богатством красок, что раз прочитав, "За

что?" уже не забудешь никогда.

Это стало возможным в результате огромного, титанического труда Толстого, шедшего навстречу рассказу с таким же дерзновенным упорством, как и к самым крупным своим произведениям - "Войне и миру", "Анне Карениной", "Воскресению".

Творческую историю рассказа первым блистательно раскрыл Николай Николаевич Гусев, который, вместе с В.Д. Гусевой, составил обстоятельные, scrupulous комментарии к публикации его в Полном собрании сочинений. Над этим же материалом поработали многие другие исследователи жизни и творчества писателя. Среди них выделяется автор фундаментального исследования "Польские связи Льва Толстого" Базыли Бялокозович (Варшава, 1966). Творческая история, художественные особенности, проблематика и восприятие рассказа читателями составляют в его книге отдельную главу.

... Итак, главным источником рассказа послужил труд С.В. Максимова "Сибирь и каторга". На этот счет имеются вполне убедительные автопризнания самого писателя и достаточно авторитетные свидетельства мемуаристов.

В дневниковой записи, сделанной Толстым 18 января 1906 года, мы можем прочесть: "Читал вчера и нынче Максимова "Сибирь и каторга". Чудные сюжеты: 1) подносчика в кабаке, наказанного кнутом, чтоб скрыть стыд купеческой дочери, 2) чудный сюжет "Странник". До драматической истории Мигурского и его жены Лев Николаевич в тот день еще не добрался - о ней говорилось в третьей части, специально посвященной политическим ссылным. Когда же он до соответствующего места дошел, все другое отступило на второй план. Январские, февральские, мартовские записи в дневнике дают представление о том, как напряженно трудился писатель на этом, поразившем его, сюжетом.

22 января: "Вчера и третьего дня писал рассказ из Максимова. Начало недурно, конец скверно".

30 января: "Немного продолжал рассказ - лучше".

2 февраля: "Писал за что?". Один день порядочно, но все не могу кончить".

6 февраля: "Нынче немного поправил "За что?". Порядочно".

10 февраля: "Писал "За что?". Нехорошо".

18 февраля: "Все исправляю "За что?". Медленно, но становится сноснее".

2 марта: "Поправлял за это время "За что?" и отослал набирать".

Толстой в своих записях предельно лаконичен. Не более, чем в дневнике, сообщает он и в письмах к дочери, Александре Львовне, находившейся вдали от Ясной Поляны, за пределами России.

Скупость авторских признаний в известной степени восполняют свидетельства людей, находившихся рядом с Толстым и наблюдавших его в этой новой тогда писательской работе.

Душан Петрович Маковицкий - близкий друг и домашний врач Толстого, живший в 1904-1910 гг. в Ясной поляне и день за днем фиксировавший все, что было связано с глубоко почитаемым им человеком, - 22 января 1906 года записал:

"Лев Николаевич просил меня найти путь от Уральска до Саратова. Спрашивал, надо ли переезжать реку урал? Сколько верст будет?

- Около 400, - ответил я.

- Я думал, ближе, - сказал Лев Николаевич".

Десять дней спустя, 1 февраля, Маковицкий воспроизвел разговор Толстого с близким знакомым семьи Толстых Михаилом Александровичем Стаховичем: "Читали вы Максимова знаменитую книгу "Сибирь и каторга"? Историческое описание ссылки и каторги до нового времени. Прочтите. Какие люди ужасы делают! Животные не могут этого делать, что правительство деалет".

Из контекста записи видно, что высказывание навечно все теми же раздумьями над судьбами политических ссыльных разных национальностей, в том числе - и прежде всего - Мигурских.

Еще одна запись, 6 февраля, содержит новый вопрос, с которым Толстой столкнулся в процессе работы именно над этим рассказом.

"Сегодня Лев Николаевич сказал мне (т.е. Маковицкому - авт.): "У меня просьба к вам, - злоупотребляя вашей добротой, - и попросил меня справиться о пределах местности, в которой происходило польское восстание 1831 года: захватывало ли оно Гродненскую губернию"?

1 марта писатель поручил своему другу и помощнику написать Яну Игнатию Бодуэн де-Куртенэ - видному языковеду, профессору Петербургского университета - о том, чтобы тот "прислал историю польского восстания 1831 года, написанную с польской точки зрения". Книга Н.К. Шильдера "Император Николай I и Польша" его в полной мере не удовлетворила, вызвав, в частности, такие сомнения: "У Шильдера сказано, что русские были несколько раз разбиты поляками, поляков было 80000, русских войск 180000. Может быть, это и не так". Одновременно он пожелал получить и мемуары, сказав при этом: "мне нужны характеристические подробности".

Маковицкий снабдил это сообщение своим примечанием о том, что Лев Николаевич "знал немного польский язык" и "польские выражения", которые имеются в рассказе "За что?", включил в него без посторонних указаний", попросив, правда, впоследствии того же Бодуэна де-Куртенэ проверить их правильность.

Просьбе был дан ход, и книги Толстой получил. Это произошло 17 марта. А 16-го, пребывая в нетерпеливом ожидании нужного для работы, писатель обратился к молодому своему другу и единомышленнику Николаю Фельтену с пожеланием, чтобы тот в Петербурге зашел к Владимиру Васильевичу Стасову - опять же ради получения книг о восстании 1830 года.

- Надо прочесть много книг, чтобы написать пять строк, разбросанных по всему рассказу, - сказал он, объясняя

смысл просьбы.

Он читал присланное Бодуэном де-Куртенэ, но этого ему казалось мало. Новая просьба: найти том "Истории России" С.М. Соловьева - тот, где говорится о разделе Польши при Екатерине II. Прочел. И тут же появились другие вопросы-просьбы. Жадно прочитывалось все, что содержало нужные сведения. 20 апреля Маковицкий сделал в "Яснополянских записках" такую заметку: "К чаю Лев Николаевич вышел со статьей Мохнацкого о польском восстании 1830 г. (в "Русской старине" или "Историческом вестнике") и прочел из нее вслух польские цитаты, некоторые из которых, кажется, хочет поместить "За что?". Потом Лев Николаевич хотел узнать, присоединения каких областей требовали поляки в переговорах в Константином Павловичем во время восстания..."

Фельтен поручение выполнил: в Ясную поляну от Стасова пришло семнадцать томов французских, немецких и польских книг о восстании 1830 года. "Благодарствуйте, Владимир Васильевич, за книги о Польской революции", - откликнулся на посылки Толстой.

Однако большой необходимости в этих книгах уже не было: все, что нужно было для работы, он выяснил.

Между 15-м и 20-м апреля из типографии пришла корректура рассказа. Писатель снова углубился в него. "За это время поправил плохо "За что?" - читаем в дневниковой записи 25 апреля.

Работа продолжалась и далее, в процессе правки верстки. В уже упомянутой пятнадцатикратной переделке произведения никакого преувеличения нет - именно столько вариантов считали исследователи.

В самом первом автографе Толстой дал рассказу название "Непоправимо". Первая копия, сделанная рукой переписчицы Ю.И. Игумновой, имеет тот же заголовок - Лев Николаевич его не коснулся. А вот уже во второй копии, снова подвергнутой основательной правке, первоначальный вариант названия зачеркнут и вместо него появился другой - "За что?".

С каждой переработкой, с каждой правкой писатель достигал все большей глубины психологического анализа событий и лиц, все большей остроты в обличении деспотизма и художественной точности деталей.

Шаг за шагом проявлялась его идейная, политическая позиция - сочувствие угнетенным.

Тот же Душан Маковицкий в январе 1905 года записал такой характерный диалог:

"За обедом Лев Николаевич спросил, что нового? Ему ответили, что в Варшаве волнения, по русским газетам - 180 человек убитых. Замазали русские надписи на вывесках. Ждут волнений в Лодзи.

"Не могу не сочувствовать полякам, как их обижают", - сказал Лев Николаевич".

После того, как рассказ вышел в свет, уже в 1908 году, толстой признавался Н.Н. Гусеву: "Во мне с детства развивали ненависть к полякам, и теперь я отношусь к ним с особенною нежностью, оплачиваю за прежнюю ненависть". Он очень хотел, чтобы рассказ "За что?" был прочитан возможно более широким кругом польских читателей. В том же 1908 году Лев Николаевич писал журналисту Врублевскому: "Помещение... моих писаний в вашем и вообще польских изданиях мне особенно приятно. Может быть, некоторые из моих писаний, как рассказ "За что?", письмо к Сенкевичу, а также только что законченная мной статья "Закон насилия и закон любви", посвященная, между прочим, вопросу об угнетения мелких народностей, могли бы представлять интерес для польской публики. Все они к вашим услугам".

С особым интересом следил толстой за реакцией на рассказ в Польше. Единомышленник его Юрий Осипович Якубовский вспоминал, как после прочтения им писателю ряда статей в польских журналах - в частности, откликов на "За что?" - Лев Николаевич вновь и вновь с сожалением вспоминал о своем прежнем отношении к полякам, добавляя, что теперь у него "явился особый прилив нежности к польскому народу".

Таким образом, страницы "Сибири и каторги" дали Толстому лишь первоначальный толчок к рождению замысла, сообщили исторический факт, исторический сюжет, который заинтересовал писателя, вызвав в нем желание написать на фабулу Максимова (точнее - фабулу подлинную) вполне самостоятельное художественное произведение, выражающее его собственные сокровенные мысли и чувства.

Высокие достоинства рассказа были бы невозможны без углубленного постижения Толстым обширнейшего документального материала, без уяснения всего, что составляло суть жизни и деятельности польских патриотов, того, как мы уже убедились, важнейшую роль сыграло чтение множества книг - трудов историков и мемуаристов.

Наконец, нужно назвать еще один источник знаний и впечатлений, использованных в процессе работы над рассказом, а именно - посещение Л.Н. Толстым Уральска в 1862 году, встречи его с уральскими казаками в шестидесятые и семидесятые годы, во время частых поездок в завожские степи, а впоследствии и в Ясной поляне, куда посетители стекались отовсюду.

Надолго запомнилась писателю яснополянская встреча с уральскими казаками-старообрядцами отцом и сыном Логашкиными, которые зимой 1903 года пришли к нему исключительно ради того, чтобы узнать о маршруте, следуя которым можно достичь таинственной страны древнего благочестия и благополучия - Беловодии. Позднее, от В.Г. Короленко, Толстой получил книгу Г.Т. Хохлова "Путешествие уральских казаков в Беловодское царство"; она помогла ему еще глубже понять этих людей, существенные черты которых нашли свое воплощение в образе Данилы Лифанова - казака, сопровождавшего Альбину и сорвавшего осуществление так хорошо сопровождавшего Альбину и сорвавшего осуществление так хорошо задуманного Мигурскими плана побега.

Описание и Уральска, и атмосферы этого города, и колорита приуральской степи в рассказе Толстого скупы, но предельно точны. Все это он видел, почувствовал сам.

Подлинное архивное дело "О скрывшемся из Уральска рядовом 1-го оинейного Оренбургского батальона из поляков Винцентии Мигурском", обнаруженное в Государственном архиве Оренбургской области, как и другие документальные материалы, в которые мы введем читателя в последующих главах, Толстому известных не были.

Его пребывание в Оренбурге (1976 г.) явилось весьма кратковременным; к тому же находился он тогда во власти совсем других творческих интересов. Да и доступ к архиву канцелярии военного губернатора, причем не столь уже отдаленных лет, не мог быть тогда свободным. Никаких намеков нет и на то, что Толстой пытался заполучить материалы о Мигурских из каких-либо других архивов - столичных или периферийных.

Тем не менее, вчитываясь в архивные страницы, сопоставляя почерпнутое из них с тем, что знакомо нам по рассказу "За что?" (вы в этом убедитесь сами), нельзя отрешиться от мысли: писатель знал, чувствовал исторический материал во всех деталях. До чего же глубоко проникал он в события прошлого, в души человеческие, как точно восстанавливал, "угадывал" неведомое!

В книге Максимова ничего не сказано о том, где жил Мигурский в Уральске. "Имгурский жил не в казармах, а на своей отдельной квартире, - писал Толстой, - Николай Павлович (царь - авт.) требовал, чтобы разжалованные поляки не только несли всю тяжесть суровой солдатской жизни, но и терпели все те унижения, которым подвергались в это время рядовые солдаты; но большинство тех простых людей, которые должны были исполнять эти его распоряжения, понимали всю тяжесть положения этих разжалованных и, несмотря на опасность несиполнения его воли, где могли, не исполняли ее. Полуграмотный, выслужившийся из солдат командир того батальона, в который был зачислен Мигурский, понимал положение бывшего богатого, образованного молодого человека, лишившегося всего, жалел его и уважал, и делал ему всякого рода послабления". Заглянем в архивное дело - и оно подтвердит писательские догадки. Мигурские, значит, здесь, имели именно наемную квартиру.

Максимов сообщал о том, что тайна задуманного побега была известна только Альбине и ее служанке. Толстой вводит в рассказ поляка Россоловского, который принимает живейшее участие в организации бегства Мигурского. В этой фигуре как бы соединились воедино упоминающиеся в архивных делах поляки, которые помогали своему товарищу инсценировать самоубийство, дожидаться часа отъезда, проникнуть в тарантас и благополучно выехать из Уральска.

Едва обозначенный Максимовым казак-проводящий вырос под пером Толстого в яркий и многогранный образ. Как много в нем от его жизненного прототипа Еремина! Из одних и тех же мест, одного, примерно, возраста и срока службы, одинаково твердые в казачьих своих устоях, одинаково жадные до денег... Архивные документы как нельзя лучше подтверждают точность художественного образа. Можно усомниться в одном: пил ли Еремин после своего поступка "день и ночь" с горя, существовал ли для него вопрос - "хорошо ли он сделал, донесся начальству о полячкином муже в ящике?". Короче говоря - в раскаянии казака. Раскаянии, которому Толстой придавал очень важное значение.

Таких параллелей можно провести гораздо больше.

Знакомство с творческой историей рассказа, сопоставление его с документальными источниками, позволяет полнее увидеть, прочувствовать силу Льва Толстого в работе над прочтением и воссозданием взволновавших его событий, образов прошлого.

"За что?" стал одним из значительных литературных трудов писателя и сразу после публикации на русском языке привлек внимание многих переводчиков, которые позаботились о том, чтобы с ним мог познакомиться возможно более широкий круг читателей. На татарский язык его тотчас перевел Нажип Халфин, и уже в 1907 году в Казани он был издан отдельной книжкой, на румынском Толстой заговорил благодаря Ливии Ребряну...

Но продолжать этот перечень не станем. Подчеркнем только, что особое внимание рассказ вызвал у польской общественности. Вслед за первыми изданиями - 1906-1907 годов - в Варшаве, Кракове и других городах Польши последовали многие другие.

"За что?" продолжает оставаться в "алмазном фонде" мировой литературы.

Так будет всегда. И всегда, во все века останутся с людьми герои Толстого - Мигурские.

Вновь и вновь подчеркнем: это рядовые участники славных событий польской истории. Только потому, что в свое время стали объектом пристального писательского интереса Льва Толстого, ожили под его пером в ярких художественных образах, обрели они бессмертие.

Обрели не в силу идейной или творческой субъективности гения литературы. Нет, привела к этому объективная логика и правда истории. В главах, которые вы прочтете, не будет придуманных ситуаций, вымышленных обстоятельств, не существовавших лиц - каждая страница, каждый факт подтверждены документами, мемуарами либо эпистолярными источниками. Из архивов в России и Польше извлечено все наиболее значительное о Мигурских и тех, кто им сопутствовал, а равно о других, на их путях стоявших. Это позволяет, во-первых, лишний раз убедиться, каким гениальным исследователем человеческих судеб был Лев Толстой, и это же, во-вторых, дает возможность вернуть героям литературного произведения их собственные, реальные биографии, заслуживающие нашего сочувственного внимания.

Во время работы над повестью довелось побывать во многих местах, вошедших в жизнеописание Мигурских. С полным основанием свидетельствуем: эти люди не забыты, и забыты не будут.

... Мы вплотную подошли к повествованию об Альбине и винцентии.

Их любви. Их верности. Их подвиге.

Глава вторая, которая в то же время является первой в изложении реальной судьбы героев рассказа, и прежде всего Минценция Мигурского

*Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела Польши...
могут понять тот восторг, который испытывали поляки в 30-м и 31-м году,
когда после прежних несчастных попыток освобождения новая надежда
освобождения казалась осуществимой. Но надежда эта продолжалась надолго...*
Лев Толстой. "За что?"

В нашем представлении Альбина и Винцентий Мигурские существуют только вместе. На самом же деле прошло довольно много времени, прежде чем они встретились и полюбили друг друга, а их судьбы слились в одну судьбу, могущую служить образцом супружеского взаимопонимания, верности и самопожертвования.

Вот почему и в этом повествовании появятся они отдельно, причем первым предстанет перед читателем тот, кто был старше.

У Толстого он Юзеф.

Как звали Мигурского Максимов не сообщал, а потому не знал его настоящего имени и автор рассказа.

Родился Винцентий в 1810-м, в деревне Линево тогдашнего Сандомирского воеводства, в семье многодетного шляхтича Валентия Мигурского. В 1825 году он окончил курс наук в Келецком воеводском училище. Подробностей об этом периоде его жизни нет, но небезынтересно заметить, что одновременно с ним то же училище польского национально-освободительного движения.

Пройдя курс наук, Винцентий решил попробовать силы на чиновничьем поприще, но год или полтора спустя карьера его окончилась, причем самым неприятным образом: в кассе, которой ведал его старший брат, обнаружилась недостача и оба оказались в тюрьме.

"Тюремный университет" растянулся на три года.

И не прошел для него бесследно.

Тюрьма жила событиями политическими. Ее камеры и их обитатели хранили память о многом и многих.

Об арестованном в 1822-м руководителе "Национального масонства" Валериане Лукасинском...

О большом виленском процессе над филематами, где в числе репрессированных оказались Адам Мицкевич, Томаш Зан и другие известные в Польше люди...

О расправе царизма над декабристами и теми участниками Польского патриотического общества, которые с ними сотрудничали; их в 1828-1829 годах судил Сеймовый суд в Варшаве...

Кто знает, что Мигурский здесь передумал! Но факт остается фактом: вся жизнь Винцентия с того времени говорит о нем, как о решительном противнике существовавших порядков.

Сразу по освобождении он примкнул к восстанию, разгоревшемуся еще в 1830-м. В 4-м полку линейной пехоты оказались на службе все четыре брата. Мигурские участвовали в обороне Варшавы, а потом сражались далее - до конца. Когда же восстановление было разгромлено, перешли границу вместе с корпусом генерала Рыбинского, отказались воспользоваться царской амнистией тем, кто придет с повинной, и решили борьбу продолжать. Но взгляды братьев на пути этой борьбы, как выяснилось, были разными. Что касается Винцентия, то он горячо доказывал: повстанцы должны двигаться во Францию, где будут сформированы польские легионы, которые призваны сыграть важную роль в создании независимого Польского государства.

Февраль 1832 года... Нестерпимо тяжелым, но по своему радостным стало это время для Мигурского и его товарищей. С одной стороны, горечь поражения, острая, еще не привычная тоска по родине, житейские неурядицы, мучительная неуверенность в завтрашнем дне, а с другой - манящие дали неизведанных дорог, новые города и страны, свежеевыкрашенные каменные дома под красной черепицей, зеленые поля и аккуратно подстриженные деревья, приветливо улыбающиеся женщины, не уклоняющиеся и от приглашения к танцу... Много ли найдется молодых, здоровых парней, которых все это не выведет, хотя бы ненадолго, из состояния грусти и печали? Чем дальше уходили бывшие повстанцы, тем мельче казались им оставшиеся позади беды. Но тем яснее становилось, что кончилась одна полоса жизни и начинается другая, что необходимо до конца понять причины неудач, ибо без этого нельзя выиграть будущую битву. А каждый из них мечтал ринуться в бой, постоять за свое отечество, за его свободу и независимость.

... Около десяти тысяч бывших повстанцев нашли убежище на чужбине. Тысячи польских эмигрантов во

Франции были размещены в нескольких военных лагерях ("депо"), из которых самые крупные находились в Безансоне и Авиньоне. От французского правительства эмигранты получали небольшое денежное пособие. Материальную помощь им оказывали французы, сочувствовавшие польскому освободительному движению. Переправляли деньги и с польских земель: вопреки строжайшему запрету, сбор пожертвований в пользу покинувших родину соотечественников продолжался.

В Безансоне Мигурский вошел в выборный "Совет поляков". Функции в нем были разделены на внутренние и внешние. К первым относились меры по поддержанию порядка в самом лагере, ко вторым - сношения с комитетами в поддержку поляков, сбор средств для помощи эмигрантам и, как подчеркивается в авторитетном исследовании А. Краухара, "принятие всех возможных мер, направленных к восстановлению истинной Польши, а ней той, которую создал в 1815 году Венский конгресс".

Большинство эмигрантов чувствовало себя бойцами армии, которая после необходимой передышки снова - и скоро - начнет боевые действия. Разговоры о предстоящей борьбе можно было слышать повсюду, только представления о ней были разными. Одни придумывали в своем воображении внешнеполитические комбинации для оказания давления на державы, владевшие польскими землями. Другие уповали на возобновление заседаний повстанческого сейма в Париже - им казалось, что это привлечет к польскому вопросу внимание не только правительств, но и так называемого "образованного общества". Третьи справедливо считали революционную Польшу органической частью революционной Европы, устанавливали деловые контакты с революционерами Франции, Италии и других стран, создавали легальные и нелегальные организации для борьбы с тиранией на всем континенте.

"Большую эмиграцию" с первых дней ее существования раскалывали политические разногласия, особенно обострившиеся в связи со спорами об оценке уроков восстания и выработкой программы действий на будущее.

В рассказе "За что?" на сей счет обронена такая фраза:

"Мигурский... с жаром и самыми розовыми надеждами рассказывал о революционном брожении не только в Польше, но и за границей, откуда он только что приехал..."

Об этом брожении толстой был осведомлен неплохо.

А уж Мигурский...

Постепенно среди эмигрантов созрел план возобновления вооруженной борьбы. Он вылился в экспедицию под руководством полковника Юзефа Заливского.

Далеко разнеслись слова воззвания, подготовленного Иоахимом Лелевелем: "Смелая сила народа свяжет и уничтожит деспотизм. Уже созревает разум народа, и скоро он восстанет против угнетателя. Приближается момент совершения великого дела..."

Наступление желанного часа предвкушали все истинные патриоты. Прокатилась волна митингов, в которых, наряду с поляками, участвовали политические эмигранты из других стран, в том числе России.

Будучи человеком энергичным, Мигурский оказался в самой гуще событий.

С полным одобрением вспоминает он деятельность Лелевеля, который по его оценке в воспоминаниях, "поддерживал боевой дух изгнанников и связывался со всякими масонскими обществами и карбонарскими организациями, существовавшими во Франции, в немецких княжествах и других странах, имея намерение, как это легко можно было понять, поднять всеобщую революцию".

Этому подчиняла свои усилия и масонская ложа Безансона, носившая выразительное название: "Твердость - надежда". Винцентия приняли там с распростертыми объятиями.

Ввел его в ложу майор Ю. Свенцицкий. И тот же Свенцицкий в январе 1833 года позвал Мигурского к себе и под большим секретом сказал: "Знаю, Винцентий, что ты хороший поляк и потому не имею необходимости таить от тебя что-либо. Отчизна наша требует помощи, поэтому мы пойдем в Польшу для ведения партизанской войны, которую возглавил Заливский...". Помолчав, добавил: "Должен сообщить и то, что 19 марта 1833 года в Европе будет всеобщая революция, а потому мы должны поскорее выехать, чтобы заблаговременно прибыть в назначенное место".

На вопрос, согласен ли он участвовать в осуществлении замысла, Мигурский ответил полным согласием. Клятва, данная им, гласила: "... до последней капли крови буду сражаться за дело моей Отчизны и свободу моего народа, против деспотов, тиранов и их пособников".

8 февраля Мигурский выехал из Безансона, не попрощавшись ни с кем, даже с братьями. У него было 25 франков, данных ему Свенцицким; получил он также маршрут пути и список лиц, к которым мог обращаться, не опасаясь провала.

Что касается паспортов, то ни для него, ни для напарника его Петра Анкевича раздобыть их не удалось...

"Отобранные и двинувшиеся в путь эмиссары, - читаем в воспоминаниях нашего героя, - хорошо знали о том, как трудно будет нескольким десяткам людей сделать что-либо там, где несколько тысяч хорошо вооруженного войска должно было бы уступить значительно большим силам противника. Однако им было трудно хладнокровно взвешивать обстоятельства в тот момент, когда возникла, правда, слабая, но все-таки надежда, когда несчастная Родина требовала от них самоотверженного выполнения их сыновнего долга..."

Заливский, по его собственным уверениям, собирался завербовать во Франции до двух тысяч участников экспедиции. Фактическая численность людей, отправившихся в Польшу, оказалась несравненно меньшей: 70-100 человек.

Социально-политическая программа экспедиции не могла привлечь под знамена задуманного похода сколько-нибудь широкие слои шляхты и практически не затронула крестьянства. Сам Заливский и его единомышленники, оказавшись в Королевстве Польском, искали поддержки в помещичьих имениях, последователи Лелевеля пытались привлечь на свою сторону крестьян, но делали это неумело, не предлагая, прежде всего, удовлетворявшего крестьянство решения аграрного вопроса. И в результате партизанские группы оказались в изоляции. Сыграло роковую роль и то, что царские власти, заранее проведавшие о вторжении, усилили гарнизоны и создали подвижные отряды, предназначенные специальной для преследования мелких групп.

"... Силы были слишком несоразмерны, и революция была опять задавлена...". Это строки из рассказа "За что?".

Да, план сорвался и на сей раз, экспедиция Заливского провалилась.

Началась расправа царских властей над захваченными ее участниками. Пример мужества показал А. Завиша. Перед казнью он отверг напутствие ксендза и взойшел на эшафот со словами: "Когда бы у меня было сто жизней, все бы их я отдал Отчизне".

Ка ни горько, но многие эмигранты, проделавшие большой и трудный путь из Франции, просто не успели найти свое место в борьбе. Среди таких был и Мигурский. Он делал все, чтобы стать в строй действующих борцов за свободу. Новым актом его решимости бороться с оружием в руках явилось вступление в отряд К. Борковского - там собирались, несмотря на предшествующие неудачи вторгнуться во владения царской России. Но не осуществилось и это предприятие.

Анкевича вскоре арестовали. Оставшись один, Мигурский часто переезжал с места на место. Менялись дома, в которых он находил пристанище, менялись спутники по вынужденным путешествиям. Только мысли-заботы оставались прежними: что делать дальше? Как продолжать борьбу за свободу своего народа и всего человечества?

Весной 1834-го, когда в Галиции начались особенно рьяные преследователи "пришлого элемента" и местных подпольщиков, от каждого из участников потребовался выбор окончательный. Сложить оружие? Действовать? Был момент, когда Мигурский, по собственному признанию, решил было навсегда отойти от тайных комитетов и поселиться в Галиции под чужим именем. Однако состояние моральной депрессии продолжалось недолго. Вскоре состоялось важное конспиративное совещание, на которое был приглашен и он. На этом совещании М. Ходзько объявил о решении отложить партизанские приготовления до более подходящего времени, пока же всемерно распространять "Общество карбонариев" и вместе с ним "Общество друзей народа". В тот самый день Мигурский стал членом этой организации.

Процедура приема предусматривала, прежде всего, ознакомление вступающих с целями конспираторов. Цели были вполне определенными: "Каждого человека без различия сословной принадлежности и вероисповедания считать равным себе и видеть в нем брата. Поддерживать ближних и помогать им, а особенно членам Общества, не щадя своей жизни там, где речь идет об угнетении правительством или господами. Всех власть имущих считать за тиранов и деспотов и стремиться к их уничтожению".

После знакомства с программой каждый вновь принимаемый должен был принести клятву. Его вводили с завязанными глазами в затемненную комнату, тербовали положить руку на обнаженный клинок палаша, а затем повторить: "Клянусь и обещаю, что, вступая в Общество по собственной воле, я обязуюсь следовать объявленным мне принципам и выполнять вытекающие из них требования, что я товарищей своих не выдам, что знаков для взаимного опознания никому постороннему не покажу и пользоваться ими без необходимости не стану. Клянусь и обещаю, что угнетенному брату моему в помощи не откажу, даже если это будет угрожать моей жизни, оказавшись в руках врага, никого из принадлежащих к Обществу не назову и доверенных мне тайн не выдам, а в крайнем случае покончу жизнь самоубийством. Да поможет мне бог!".

Впереди у Мигурского и его товарищей был новый этап борьбы, требовавший не меньшей самоотверженности и, конечно, безграничной веры в окончательную победу их дела.

Глава третья, дающая представление о юных годах Альбины Висневской, рождении любви будущих супругов и событиях последующих

Альбина всеми силами своей души полюбила Мигурского, полюбила так, как любят только в первый раз и только один раз в жизни...

Хотя наше, если можно так выразиться, "сепаратное" знакомство с героем повествования несколько затянулось, расскажем о приключении Мигурского, случившемся с ним вскоре после того памятного конспиративного совещания. Рассказ этот передает атмосферу, в которой произошла первая встреча Альбины и Винцентия.

Ляшки Мурованы... В этом населенном пункте, расположенном неподалеку от Львова, находился большой помещичий дом, половина которого принадлежала активному деятелю конспирации Эугениушу Улятовскому.

Однажды ночью укрывавшиеся здесь патриоты, и в их числе Мигурский, проснувшись от непривычного шума, обнаружили, что дом окружен австрийскими солдатами и полицией. Тогда хозяйка, Текля Улятовская, решилась на отчаянный шаг. Она спрятала Мигурского и Тальву в... спальне под матрацами. Только после этого пани позволила открыть дверь и впустить полицейского комиссара. Волнений было много, но все обошлось благополучно. Мигурский и Тальва на глаза австрийцам не попались, ареста не произошло.

Много месяцев вел Мигурский жизнь, в которой подобное могло случаться чуть ли не каждый день. После обыска у Улятовских ему стало ясно, что держаться нужно подальше от Львова. "На одном из совещаний, - пишет он в воспоминаниях, - было решено, что в связи с возложенной на меня обязанностью распространять принципы "Общества друзей народа" среди молодежи в Черновцах и на Буковине, местом моего местопребывания станет галицийская часть Подолии".

Вот тут-то мы и подошли к очень важному моменту биографии наших героев - к их первой встрече друг с другом. Материал для этого рассказа имеется и в показаниях, и в мемуарах Мигурского. Сложность состоит в том, что источники дают не совсем одинаковые версии событий. У романистов в таких случаях больше возможностей - они могут выбрать одну из имеющихся, слепить сплав из нескольких или же, отбросив все, предложить свою собственную.

Мы не можем принять ни один из указанных способов, а потому и воспроизводим оба варианта. Оба они исходят от Винцентия.

Итак, версия первая - мемуарная. В воспоминаниях описанию встречи предпослано довольно пространное вступление. В нем сообщается о том, что Альбина была дочерью Мацея Прусс-Висневского - небогатого помещика в галицийской части Подолии, куда Мигурский приехал по делам конспирации. Мать Альбины умерла от чахотки, оставив на руках отца, кроме нее, старшей, еще одну девочку - Винценту и мальчика, Антония. Сестры учились в пансионе во Львове, брат посещал школу близ поместья.

Живописцы не запечатлели облика девушки - фотография делала тогда лишь первые шаги и еще не проникла в отдаленные уголки Галиции. Придется ограничиться портретом словесным, что вовсе не так уж и плохо, если исполнен он с любовью.

Молодая выпускница пансиона, по описанию Мигурского, не была такой прекрасной, какой у авторов повестей и романов бывают обычно их героини. Она не имела ни очарования Венеры, ни статности Дианы, зубы у нее не были жемчужными, а уста - подобными кораллу, не обладала она лебединой шеей и вьющимися локонами. Все она имела свое собственное и потому была уверена, что никто не лишит ее данных природой прелестей - ни Диана с лебедями, ни Венера, ни вороны, которые, как известно, очень падки на сверкающие безделушки. С детских лет Альбина отличалась необыкновенно добрым и чутким сердцем, и высшим ее счастьем было отыскивать бедных и помогать им во всем. Свои доходы она обращала на помощь нуждающимся, к нарядам и украшениям интереса не проявляла, словом, заботилась обо всех, но о себе не думала. Буквально с колыбели проявила она особую склонность к самостоятельности, к учению, и убедившись в том, что человеческие желания не ограничиваются земными благами, она решила жить по принципу: личное убеждение превыше всего, а потому не нужно обращать внимания на поспешные, часто ошибочные взгляды общества. Вот почему она, хотя и имела всего семнадцать лет от роду, уже давно обладала собственной волей, противиться которой ее близкие были не в состоянии. При обычных чертах лица и недостатке той внешней привлекательности, которая присуща иногда другим женщинам, Альбина с первого взгляда вызывала интерес и уважение у каждого.

Судя по воспоминаниям Винцентия, его встреча с альбиной произошла в доме любивших ее одиноких стариков Корытовских во время рождественских праздников 1834 года.

Накануне рождества у Альбины... разболелись зубы. Чувствуя себя у старых супругов как дома, она замотала чан-то теплым щеку и прилегла в одной из дальних комнат. Именно в это время, вместе с Эугениушем и Теклей Улятовскими, к помещицкому двору подкатил ее суженый. Он был представлен хозяевам и соседям; многие приехали поздравить Корытовский с праздником, а папа Адама еще и с семидесятилетием. Очень скоро, однако, разговор сосредоточился на уже известном нам ночном обыске в Ляшках Мурованых.

Альбина с завязанной щекой лежала в своей комнате, не принимая никакого участия ни в разговорах, ни во всем том, что полагается делать в сочельник.

"Ничего не зная, я вышел из соседней комнаты и, услышав болезненный стон, спросил:

- Кто тут?

"Еще один посетитель", - подумала девушка, но ничего не ответила.

- Кто тут стонет? - повторил я, - может быть я могу чем-либо помочь?
- Благодарю вас, нет, не можете, - ответила она сухо.

Я понял, что в моей помощи не нуждаются, и вышел".

На следующий день, после богослужения, все собрались в гостиной. Пришла и Альбина. Описывая появление девушки, Мигурский еще раз, причем более подробно, характеризует ее внешность. "Она появилась в черном - это был ее любимый цвет. Высокого роста, стройная, с плавной походкой, она выделялась очень бледным лицом, большими голубыми глазами и черными, свободно спадающими на белую шею локонами; выглядела она так необычно, что каждый невольно задерживал на ней свой взгляд".

Мигурский был в ударе - без умолку острил, рассказывал разные занимательные истории, главным образом из своих эмигрантских скитаний. Слушали его с интересом. Только Альбина, как ему показалось, не обращала на него никакого внимания. Потом она обескуражила рассказчика вовсе - поднялась и удалилась.

Гораздо позже стало ясно, что поведение девушки объяснялось отнюдь не равнодушием в новом знакомцу. "В ее молодой, восторженной головке вдруг появилась мысль не просто о симпатии, понимании и сочувствии, а о чем-то опасном, от чего у девушек ее возраста сильно бьются сердца; она поняла, что это любовь, которая пришла к ней впервые", - читаем у Мигурского, информированного на сей счет, конечно же, Альбиной.

Объяснение в любви состоялось довольно скоро, в том же гостеприимном доме Корытовских. Но еще до этого, заботясь о безопасности Винцентия, Альбина пригласила его в имение своего отца - Зеленые Паневцы.

"Через несколько дней, - рассказывал Мигурский, - я приехал в Паневцы. Знакомство мое с Антонием Висневским (братом Альбины - авт.) прошло без особых церемоний. Мы были молоды и оба участвовали в недавнем восстании. Достаточным оказались взаимное представление и крепкое рукопожатие, чтобы оба почувствовали себя как старые знакомые". Отец девушки - семидесятилетний старик - с добродушной иронией называл Мигурского Вильгельмом Теллем и ни во что особенно не вмешивался. Ему, да и остальным, скоро стал ясен смысл происходившего. Однако Винцентий вызывал симпатию и потому развитию событий не мешал. Тем более, что в эти годы в Галиции нашлось бы не много помещичьих домов, где хозяйские сыновья не дружили с заезжими эмигрантами, а дочери в них не влюблялись.

Любые поездки - особенно в Черновцы - были связаны с серьезным риском. Полиция ввела такие строгости, что все чаще приходилось возвращаться, не достигнув цели. Опасно становилось жить и в Паневцах. О его конспиративном положении знала прислуга, а, следовательно, и вся деревня. Скоро проведаль о подпольщике полицейский комиссар, резиденция которого находилась всего в молумиле. Каждый день надо было - на всякий случай - менять место ночлега.

"Можно себе легко представить положение несчастной Альбины, - писал Мигурский. - Она горячо любила меня - любила первой девичьей любовью. Вдобавок голова девушки была до краев наполнена патриотической экзальтацией, она смотрела на меня с обожанием и видела во мне какого-то давно созданного ее воображением героя с огромным мечом в руке, ангела-мстителя, посланного с неба. Поэтому она не имела ни минуты покоя".

Однажды Альбина, Винцентий и Антоний сидели после обеда в гостиной и спокойно беседовали. Вдруг вбежал кто-то из служащих: "Солдаты!" Антоний бросился навстречу отряду. Винцентий выпрыгнул в окно. Альбина потеряла сознание.

Злочевский полицейский комиссар оказался небольшим охотником до тщательных обысков и два часа просидел в гостиной за кофе. Пришедшая в себя Альбина участвовала в беседе, стараясь не выдать своего волнения. Как только непрошеные гости отбыли, все пустились искать Винцентия. Обыскивали сад, хозяйственные постройки, все укромные места в окрестностях - его не было. Альбина волновалась и без того, а тут еще один из крестьянских парней сказал, будто на повозке с солдатами видел молодого человека в цивильном одеянии. Отчаявшаяся девушка велела запрягать лошадей, чтобы ехать в Злочев, сама же, тем временем, вошла в спальню и упала на колени перед иконой. Но тут, совершенно неожиданно, послышался шорох в камине и появился Мигурский. Альбина прижалась к его груди и впервые поцеловала Винцентия...

Такова мемуарная версия событий, связанных с первой встречей Винцентия и Альбины, с началом их любви.

Версия вторая - в показаниях на следствии.

"Поскольку, - читаем в них, - в 1834 году галицийские власти предприняли строгие меры для поимки эмигрантов и в розыскных операциях стали использоваться даже войска, мне необходимо было искать безопасное убежище. От Козицкого я перебрался к Лесневичу, где, будучи некоторое время в деревне Кшивенка, имел возможность познакомиться с девицей Альбиной Висневской, дочерью помещика из деревни Паневцы в Чортковском циркуле. Она, зная о моих трудных обстоятельствах, предложила, чтобы я приехал в их дом, где наверняка смог бы найти убежище, так как ее отец Мацей Висневский пользуется настолько большим доверием у галицийских властей, что в их доме не делают обысков. Обстоятельства не позволяли мне отказаться от этого предложения и пани Висневская предупредила письмом брата своего Антония о моем появлении. При этом она поручилась мне в том, что брат сочувствует нашему делу, ибо сам был в революционном польском войске...".

О полученном приглашении Мигурский, по его словам, сообщил своему руководству и тут же получил от него разрешение скрываться в Паневцах. "Явившись туда, я представился Антонию Висневскому, как тот самый, о ком должна была написать сестра. Он принял меня охотно и обещал всяческую помощь. На следующий день я

представился старому Висневскому как эмигрант по фамилии Збарыский. Старик был уже предупрежден сыном и потому разговор оказался кратким и ничего не значащим; как я мог заметить, приезд мой ему не был приятен. Совсем иначе отнеслись ко мне Антоний и Альбина. Между нами не было тайн..."

Показания в главном близки к воспоминаниям Мигурского. Но в них есть существенное отличие: первая его встреча с Альбиной датирована не декабрем 1833-го, а мартом 1834 года и сказано, что произошла она не у Корицких, а у Козицкого.

... Так прошел 1834-й и начался 1835-й. Мигурский продолжал кочевую, полную опасностей жизнь. С точки зрения богини истории Клио, все шло как прежде. Но ни Вицентий, ни Альбина с этим, конечно, согласиться не могли. И как было соглашаться, если в их личной судьбе произошел решительный перелом - они встретили друг друга!

Взвешивая это событие со всей тщательностью, убеждаемся, что, в конце концов, оно небезразлично и для строгой, нелицеприятной Клио: отдельно друг от друга Мигурские не стали бы историческими персонажами, а без них наше представление о прошлом лишилось бы, хоть и не первостепенных, но очень ярких черт.

Само собою разумеется, не родился бы и рассказ Льва Толстого "За что?"

"... Он... так же верил в восстановление Речи Посполитой, как верил ночью, что к утру опять взойдет солнце..."

Это снова из рассказа, и это опять о Мигурском.

Многое Толстому известно не было, но чувства, мысли героев он представлял себе отчетливо.

Так как же нам не стремиться узнать о них больше?

... Конец марта 1835 года. Где-то между Зелеными Паневцами и границей Королевства Польского движется небольшая бричка, в которой сидит молодой шляхтич. На козлах - еще более юный, не старше 20 лет, крестьянский парень. Дорога такая, что колеса чуть не до ступиц уходят в песок. Тройка лошадей идет медленно, но седоки, глядя на их взмокшие бока, не подгоняют.

- Стефанку, - обращается шляхтич к кучеру, - как ты теперь будешь меня называть?

- Знаю, знаю, мой господин.

- А не забудешь?

- Нет, не забуду.

- Повтори.

- Зовут тебя, мой господин, Антоний Висневский, родом ты из Галиции - из деревни Зеленые Паневцы в Чертковском циркуле, в училище ходил в Тернополе, позже - во Львове; мать твоя умерла, отец - жив, есть две сестры, Альбина и Винцента, едешь - в Королевство к дяде...

Читателю вполне понятно, что седоком в бричке был наш герой и следовал он в Польшу нелегально, под видом брата Альбины - Антония Висневского. Кучером с ним ехал один из самых расторопных и сообразительных паневицких парней - Стефан Мялковский. Фамилию его Мигурский в воспоминаниях не назвал, но она устанавливается по другим источникам. Что касается обещаний Стефанека, то он их сдержал.

Пока наши путники добираются до пограничного контрольного пункта, познакомимся с обстоятельствами, которые заставили их в путешествие пуститься. Для этого нужно сделать небольшое отступление, чтобы рассказать о том, как шло развитие польского освободительного движения на протяжении года, проведенного Мигурским в галицийской Подолии.

В апреле 1834 года один из виднейших деятелей европейского революционного движения Джузеппе Мадзини создал тайный международный союз революционно-демократических организаций - "Молодая Европа". В него, на правах федеративной составной части, вошла возникшая тогда же "Молодая Польша". Активными деятелями ее стали Шимон Канарский, который после участия в экспедиции Заливского находился в Швейцарии, а также Валериан Петкевич, Валентий Зверковский и другие польские эмигранты. Деятельность организации усилилась после того, как в феврале 1835 года Иоахим Лелевель согласился стать ее постоянным председателем.

Через месяц был опубликован документ, явившийся и программой, и уставом "Молодой Польши".

Организация называлась в нем "содружеством тех поляков, которые, веря в будущее единой и независимой Польши, основанной на принципах свободы, равенства и всеобщего братства, хотят посвятить свои мысли и действия воплощению в жизнь этой своей веры". Первый программный пункт документа формулировался так: "Единый властелин - народ; единый правитель - закон; единый законодатель - воля народа". Программа сочетала стремление к широким демократическим преобразованиям общества с задачами борьбы за восстановление национальной независимости.

Мигурский получил задание ехать в Королевство Польское еще до появления в Галиции первых эмиссаров "Молодой Польши". Нет, однако, сомнения, что его выезд был связан с перестройкой подпольной деятельности. Думается, что речь шла о разведывательной поездке, в ходе которой посланец галицийский конспираторов мог бы установить контакты, необходимые для будущего внедрения этой быстро крепнущей организации из территории, подведомственной наместнику царя в Варшаве князю Паскевичу.

Судьба возлюбленного, пускавшего в опасный путь, беспокоила Альбину. Но патристически настроенной, самоотверженной девушке даже в голову не приходило, что Винцентий мог бы уклониться от такого задания.

Не исключено, что сама Альбина тоже была связана с подпольем. В Галиции еще со времен экспедиции

Заливского действовали, наряду с мужскими, женские патриотические организации, перед которыми ставились хотя и вспомогательные, но далеко не легкие задачи. Женский конспиративный союз 1833 года продолжал существовать и в 1834-м, и в 1835-м. В сохранившемся его статусе говорилось, что "целью этого общества является всеобщее благо, поддержка собратьев, сохранение свободы родины, воссоздание святилища свободы, разрушенного царями и королями". Специальный пункт требовал, чтобы участницы общества считали ближним каждого человека без различия сословия, вероисповедания и национальной принадлежности, чтобы отстаивали республиканскую форму правления, "свободу в рамках чистого разума, господство неурезанных прав человека, единовластие народа".

Специфика женского союза состояла в том, что упор им делался не на политику, а на более близкую женщинам сферу - нравственность, религиозные чувства. Участницы общества должны были презирать эгоизм и мелкое тщеславие, скромно одеваться, пренебрегать заграничной модой и драгоценностями, воздерживаться от сплетен и болтовни. Вспомните описания Альбины Висневской, сделанные Мигурским, и вы легко убедитесь, что ее внешность, ее поведение вполне соответствовали этим требованиям.

Однако пора вернуться к нашему путешественнику, который едет где-то в районе Сандомежа...

В воспоминаниях Мигурского описание поездки красочно, но не конкретно - особенно когда речь идет о существе дела. Показания, данные Мигурским после ареста, содержат в этом плане больше.

Строго говоря, в источниках есть две версии событий, связанных с поездкой Мигурского в Королевство Польское, и мы снова воспроизводим обе.

Анатолий Висневский, как явствует из показаний, имел в Пултуске родственника Миколая Шавловского и, собираясь поехать к нему по каким-то имущественным делам, выхлопотал себе полугодовой паспорт в Королевство. Однако обстоятельства изменились, поездка оказалась ненужной. Тем временем подросло оручение Винцентия с Альбиной, и жених выпросил паспорт для того, чтобы отправиться с ним к своим родителям - не только за благословением, но и за материальной помощью, необходимой для устройства семейной жизни.

Описание внешности, содержащееся в паспорте Антония, было почти таким же, какое сделала бы австрийская полиция в его документе, ибо по возрасту и внешнему виду они не очень-то отличались друг от друга.

18 марта 1835 года, говорится в показаниях далее, Мигурский выехал из Паневцев, держа путь на Сандомеж. Ехал через Тернополь, Злочев, Ольшанице - в объезд Львова, где мог быть опознан. По приезде в Ляшки Мурованы Винцентий узнал от пани Улятовской, что ее муж и другие конспираторы в тюрьме, а потому задерживаться здесь не стал. Продолжая путь, он достиг границы Галиции в Хваловицах. Только здесь Мигурский, по его словам, объявил кучеру, что едет с чужим паспортом и взял клятву именовать его не иначе как Антонием Висневским.

Так говорится в показаниях. Там же читаем, что по приезде в Сандомеж он остановился в заезжем доме, узнал адрес родителей и отправился к ним. "Дома застал я только отца. Он был обеспокоен моим прибытием и все выспрашивал, откуда я приехал и не имею ли каких-либо намерений. Я ему отвечал, что сначала выехал во Францию, а с 1833 года до последнего времени находился в Галиции, что приехал без каких-либо политических замыслов под именем Антония Висневского; тут же показал ему паспорт, чем его и успокоил. Вскоре вошла моя мать с сестрой Рафалиной. Когда естественное возбуждение от неожиданной встречи улеглось, я рассказал, не входя в подробности действий конспирации, о своем пребывании в Галиции, о намерении обвенчаться с Альбиной Висневской, о том, что приехал, чтобы просить благословения родителей и денег. Остаток вечера прошел в семейных разговорах, не имевших никакого отношения к политике. Я заночевал в родительском доме и провел здесь весь день 27 марта".

Денег у Мигурских не было, и в этом помочь сыну они не могли. Не советовали ему и оставаться в Королевстве Польском; более всего родители боялись ареста. Через хозяина заезжего двора Винцентий отменил паспорт в полиции, родным сказал, что возвращается в Галицию, а сам двинулся в противоположную сторону - в Радом. Там жил его дядя, Марчевский, о котором в семье издавна говорили как о человеке богатом.

До Радома, читаем в показаниях, Винцентий добрался благополучно. Но дядя встретил весьма прохладно: не только отказался помочь, а и пригрозил выдать, ежели племянник не уедет немедленно. Мигурскому не оставалось ничего другого, как этот ультиматум принять.

Дела складывались не лучшим образом, но, отъезжая, надежды он не терял.

Однако на окраине Радома у него потребовали паспорт и, ознакомившись с ним, вдруг задержали.

Роковую роль сыграло случайное обстоятельство, которого невозможно было предусмотреть: властями именно в это время был объявлен повсеместный розыск Антония Висневского - но не брата Альбины, а его однофамильца из Подолии, подлежавшего аресту за антиправительственные действия...

Мемуарная версия к изложенным в показаниях обстоятельствам ареста не добавляет ничего существенного. Если судить по воспоминаниям, задержанный на рогатках Мигурский через весь Радом прошел вслед за инвалидным солдатом, который препровождал его в губернское правление. В приемной конспиратор увидел толпу просителей, ожидавших губернатора. Вскоре появился небольшой, тучный мужчина в генеральском мундире.

С паспортом в руках он приблизился к нему, сравнил внешность Винцентия с описанием в паспорте и спросил:

- Антоний Висневский?
- Да.
- С Волыни?
- Нет, из Галиции.

Не возвращая паспорта, генерал ушел в свой кабинет. Посланный им куда-то майор через полчаса проследовал через приемную с пистолетами, бумагами и некоторыми другими вещами, извлеченными, как сразу распознал Мигурский, из его багажа.

Только теперь он понял, что дела плохи. А когда через несколько дней его под конвоем отправляли в Варшаву, сомневаться в этом было уже невозможно.

"... Я не мог бы иметь ни одной спокойной минуты, если бы выдал своих соотечественников..."

Так писал Мигурский много лет спустя.

Нет, не выдал он никого, хотя следствие продолжалось не один месяц и вели его искушенные в своем деле службисты.

Но сам Винцентий оказался разоблаченным - его узнал тайный агент, вернувшийся из Франции и Галиции. Версия с безобидным Антонием Висневским отпала; в руках следствия находился повстанец, эмигрант, участник экспедиции Заливского, активный деятель конспиративных организаций.

Ожидать "чуда" не приходилось.

Перочинным ножом, не замеченным при обыске, он нанес себе шесть ран.

Жить, по его убеждению, было незачем.

Однако раны оказались не смертельными. К тому же разъяренный Паскевич строго-настрого приказал: "Чтобы непременно был жив!" Старания врачей и молодой организм побороли опасность - через три недели Мигурский был признан способным вновь предстать перед Следственной комиссией...

Шли месяц за месяцем 1835-го, наступил 1836-й. Только в январе Винцентий в сопровождении жандармского офицера покинул Варшаву. Куда его везут, он не знал, ибо никакого приговора не зачитывали.

Везли в Оренбург.

"Что ж, в конце концов, я делал все, что мог, и принимаю страдания с удовольствием, ибо они - во имя Отчизны. Может быть я был бы даже спокоен, если бы не Альбина, дорогая моя и навсегда любимая Альбина... Снова и снова вставала она перед моими глазами, и каждый раз сердце мое обливалось кровью и кажется готово было разорваться от чувства жалости, которое его переполняло..."

Так написал он в воспоминаниях.

"... Как ни тяжело для него было то, что ему пришлось пострадать за Отчизну..."

Это вновь Толстой, рассказ "За что?"

Глава четвертая, переносящая действие в края далекие

*... Главный интерес жизни Альбины был Мигурский.
В ее глазах это был величайший герой и мученик,
служению которому она решила посвятить свою жизнь.
Лев Толстой. "За что?"*

У слияния реки Урал и его правого притока Чагана в 1614 году был основан казачий форпост. Казаки-воины, превратившись в землекопов, клотников и каменщиков, возводили крепостные валы, башни и избы. Яицкий городок рос как единственный крупный населенный пункт на длинном пограничье с безбрежными казахскими степями. Постепенно в нем все более концентрировалось управление обширной территорией, и здешние обитатели не без гордости называли его "столицей области яицкого казачьего войска".

Яицкие казаки были преданнейшими сподвижниками Пугачева. Они решительно стали по его знамена, выдвинув из своей среды многих бесстрашных людей, которые повели за собой других. Когда 30 декабря 1773 года пугачевские отряды вступили в Яицк, жители, по словам А.С. Пушкина, приняли Пугачева с восторгом и тут же, вооружась чем ни попало, с ним соединились". Сам Пугачев руководил осадой хорошо укрепленного Кремля - сердцевины городка. Здесь, по настоянию старых казаков, справил он свадьбу - женился на местной казачке Устинье Кузнецовой.

Само имя города вызывало лютую ненависть у самодержицы российской и ее приближенных. После подавления Крестьянской войны под руководством Пугачева Яицкого городка, или Яицка, на карте не стало: он был переименован в Уральск. Как говорилось в указе Екатерины II - "для предания всего случившегося полному забвению". Тогда же яицкое казачество стало именоваться уральским, лишилось всякой самостоятельности, в

том числе права выбора наказного атамана (его назначал царь). В город был введен постоянный солдатский гарнизон.

В этом-то гарнизоне несколько десятилетий спустя и оказался Винцентий Мигурский, облаченный в шинель рядового 1-го линейного батальона Отдельного Оренбургского корпуса.

К середине 30-х годов Уральск имел 10-12 тысяч жителей. Все большее значение в это время приобретал он как спорный пункт продвижения торгового капитала на восток. Выгодное географическое положение способствовало тому, что тут разворачивалась усиленная торговля между уральцами и казахами. В 1834 году в городе были основаны две постоянные ярмарки - Петровская и Воздвиженская. Сюда стекались караваны верблюдов, навьюченных шерстью, овчинами, войлоком, сгонялись табуны скота. Ярмарки становились центрами оптовой торговли рыбой.

Рыболовство отражалось на многих сторонах здешней жизни в любую пору года. Зимой, например, интересы концентрировались на багрении - подводном лове рыбы. На успех в нем могли рассчитывать только зажиточные люди. Большинство уральцев не имело даже небольших сумм для оплаты "ярлыка" на право багрения и вынуждено было за скромную мзду уступать его, это право, людям зажиточным.

Первые предприятия, появившиеся в Уральске, вели переработку рыбы и скота; на каждом из них работало от трех до семи человек. В 1834 году открыли войсковой конный завод - то было уже дело покрупнее, событие примечательное.

Уральск представлял собою город контрастов. В центре Уральска вольготно размещались местные богатеи и вообще люди знатные; на неблагоустроенных окраинах, в полуразвалившихся избышках, ютилась беднота. После опустошительного пожара 1821 года застройкой руководил итальянец Дальмедино, но его проекты осуществлялись медленно. Правда, в 1836 году город украсился Казанской церковью с интересно выполненными фресками, а год спустя был торжественно заложен православный собор Александра Невского (строился он затем тринадцать лет). Всю остальную застройку, особенно за пределами центральной части, велось так же бессистемно, как прежде.

В 30-х годах в Уральске появилось первое учебное заведение. То было трехклассное училище, в котором постигали азы наук дети верхушки казачьего войска. Медицинскую помощь населению оказывали тогда два-три частнопрактикующих врача. Первую аптеку открыл Франц Миллер.

Что касается первой больницы, первой библиотеки, то их появление здесь относится уже к концу пятидесятых - началу шестидесятых годов.

Таков был этот город на берегу Урала, или, как его упорно называли местные жители, - Яика. Реки, о которой слагались песни и легенды. В них нередко звучали имена Степана Разина и Емельяна Пугачева - боагтям ненавистные, а простому люду дорогие по-прежнему.

В годы, описываемые в книге, на улицах Уральска все чаще появлялись новые лица. Незнакомцы, как правило, были в солдатской форме. Один из них - бывший ротмистр Ахтырского гусарского полка Егор Ермолаевич Пфейлицер-Франк; после восстания на Сенатской площади в Петербурге он оказался в Петропавловской крепости, а оттуда был препровожден на службу в гарнизон Уральска.

Линейный батальон, составлявший основу гарнизона, пополнялся теми, кого отправляли в Оренбургский край за участие в крестьянских и солдатских бунтах, в студенческих и офицерских кружках - отправка в солдаты была излюбленной мерой наказания в эпоху Николая I.

Звучала в городе и польская речь. После подавления восстаний 1830-31 годов все новые и новые группы повстанцев прибывали в Отдельный Оренбургский корпус, части которого несли службу в удаленных и глухих местах на восточных окраинах Российской империи.

Муштра до изнеможения, слежка за каждым шагом, участие в походах и вылазках, сопряженных с опасностями для жизни, а, главное, оторванность от всего, что было дорого сердцу, от близких и друзей, от родных мест - все это больно било по изгнанникам, повергая их в уныние. тосковал, попав в Уральск, и рядовой Мигурский.

Тосковал по родной своей Польше... по делу, которое, как и раньше, будоражило его душу... по Альбине, оставшейся в далеких Паневцах.

Надежда на то, что они соединятся и будут счастливы, рухнула с его арестом, и, особенно, с отправкой сюда, в этот невесть где находящийся городок. После долгих и тяжелых раздумий, еще в пути, Винцентий решил расторгнуть обручение.

Из Уральска он написал об этом в Паневцы:

"Альбина! Единственный и постоянный предмет моих чувств! Законы и обычаи наши священны, и даже расстояние в 3 тысячи верст, которое нас разделяет, не может повлиять на них, и на меня тоже. Сомневаться в тебе, зная твой характер, я также не имею оснований. Но когда подумаешь о том, какое влияние оказывают в подобных случаях бег времени и другие препятствия, что может сделать, наконец, сама человеческая природа... Клянусь честью, я освобождаю тебя от данного слова, хотя мне в жизни не останется ничего, кроме страданий... Молю небо, чтобы оно дало тебе благоразумие".

... В списочный состав 1-го Оренбургского линейного батальона Мигурский был зачислен в феврале 1836 года. Тогда же начались занятия на плацу и в экзерцисгаузе, муштра и "словесность", наряды очередные и внеочередные, гнетущий ужас бесконечно долгих вечеров в мрачной казарме - все то, что так его пугало и отталкивало.

Но день за днем узнавал в своей роте и людей, с которыми можно было прошлое вспомнить, бедой-надеждой поделиться. Более других пришелся по сердцу Игнаций Прондзинский. Подолгу беседовали соотечественники о событиях, участниками которых были, о вестях, которые доходили из Польши, обо всем, что волновало. Игнацию Мигурский рассказывал и об Альбине, их любви, своих сомнениях. Все глубже, все острее сознавал: приезд сюда был бы для нее губительным.

В один из дней из Оренбурга прибыл приказ о передислокации в далекое Ново-Александровское укрепление на Мангышлаке. Большой вопрос решался сам собою: туда Альбина еи смогла бы добраться никак.

Укрепление было основано в 1834 году. Об этом событии военный губернатор Перовский сообщал в Петербург, Нессельроде, в весьма возвышенных тонах: "Милостивый государь, граф Карл Васильевич! 22-го числа июля происходило торжественное освящение Ново-Александровского укрепления. В 8 часов по полуночи произведен развод и церковный парад, по окончании коего выстроились команды в каре, посреди коего поставлен был налож. По совершении благодарственного с коленопреклонением молебствия, при возглашении многолетия всемилостивейшему монарху и всему императорскому дому, произведен с новых крепостных валов 101 пушечный выстрел. Засим освящено укрепление и первые его здания... Всему отряду выдана двойная мясная и винная порции. К сему торжеству собралось множество ордынцев в праздничных нарядах, которые привели лучших лошадей на скачку и приготовились к другим народным увеселениям... Вечер кончился множеством пущенных ракет, изумивших степных наших посетителей..."

Но то был, так сказать, праздник. А в праздник все представляется в розовом цвете. Мигурский, оказавшись в укреплении два года спустя, восторга по поводу увиденного не испытал.

Гарнизон состоял из двухсот солдат линейного батальона, такого же по численности отряда Уральского казачьего войска и артиллерийской батареи неполного комплекта. Служба была беспокойной. Частые набеги хивинцев, раздоры между племенами заставляли находиться в постоянной готовности, а - нередко - отправляться в степь, чтобы защитить мирных жителей и разогнать их обидчиков. Пушки расчехлялись то и дело, орудийные выстрелы раскатывались громким эхом.

За два года существования укрепления близ него образовалось довольно большое кладбище. Гарнизон косили, главным образом, болезни - скорбут, лихорадка, дизентерия. Тяжело переносили солдаты бесконечную, почти тропическую жару; мухи, доставляемые зноем, усиливались отсутствием питьевой воды. Потребляли воду тухлую, продукты порченные, и смерть свирепствовала беспощадно, унося одну жизнь за другой, очень скоро оставляя от прибывшей роты взвод. Тогда из Уральска подсылали пополнение - "нижних чинов", отправленных туда за провинности и, прежде всего, за выступления против "законной власти". Мангышлак был страшнее многих и многих тюрем. Попасть сюда часто означало расстаться с жизнью.

Николько не уклоняясь от отправки в Ново-Александровское укрепление, ни в коей мере не стараясь избежать этой участи, Мигурский, по его словам, надеялся, что скорая смерть прекратит страдания: в "лучший мир" отправится он сам, а коль так, то от выполнения обещания будет избавлена Альбина - ей уже не придется ехать на край света.

И все-таки, выступая в поход, оставил Игнацию свой новый адрес. Винцентий боялся встречи - и стремился к ней, не хотел верить в возможность ее и - не мог не верить.

Командир роты, относившийся к Мигурскому с участием, по прибытии в укрепление предложил было ему поселиться вместе. Но вмешался комендант, пригрозивший поручику ответственностью за "фамильярность" с "нижним чином". Офицер понимал: если комендант отправит рапорт, не миновать ему тяжелых последствий. Скрепя сердце, подчинился, и Мигурский перенес свой нехитрый скарб в казарму.

Однажды почта принесла ему пакет. В нем были письма, деньги и... обручальное кольцо.

Альбина давала знать: своему слову она верна.

Письма читались-перечитывались бесконечно. Он уходил в степь и там, уединяясь, вновь и вновь читал дорогие строки от любимой. Как-то увидел его за чтением комендант.

- Что тут делаешь? - спросил он Мигурского.

- Читаю письмо, - ответил тот, стоя, как велел устав.

- От возлюбленной?

- Так точно.

- Что же, сюда она хочет приехать?

- Обязательно приедет.

- В крепость?

- И будет жить в казарме! - уже не сдерживая чувств, отрезал Винцентий.

Дни шли своей чередой. Офицеры беспробудно пьянствовали: водка и карты были для них единственным развлечением. С наступлением долгой и суровой зимы разгул только усилился.

В середине зимы из Оренбурга прибыл полковник Мансуров с пятьюстами казаками - они принесли с собою свежие новости о жизни "на воле". Но разузнать удалось немного: отдохнув два дня, отряд двинулся дальше, в глубь необозримой пустыни. С ним отправился и Вольмер, плац-адъютант укрепления. Мигурский знал его как участника восстаний 30-х годов; ревностной службой он добился производства в офицеры, и вот теперь ушел в экспедицию, которая, в случае удачи, могла открыть ему путь в родные места.

Наверное по совету Вольмера, комендант возложил на Мигурского часть обязанностей, исполнявшихся плац-адъютантом. Обязанности не были слишком обременительными - тем более в столь небольшом военном

поселении, да еще зимой, когда оно оказалось отрезанным от всего мира.

Ни новых людей, ни переписки...

Что принесет ему 1837-й?

Как решит он их с Альбиной судьбу?

... Письмо, полученное командантом в начале навигации по Каспию, содержало приказ о возвращении Мигурского в Уральск.

Укрепление на Мангышлаке он покинул за три месяца до истечения назначенного срока.

По Каспийскому морю в Гурьев-городок на кусовой лодке, от Гурьева до уральска на лошадях - таким был этот его путь.

Путь надежды...

А вскоре по прибытии в Уральск Мигурский получил письмо от Альбины. Она отправила его из Москвы.

"Завтра, самое позднее - позлезавтра я должна отсюда выехать, за двенадцать дней, согласно договоренности с ямщиком, буду в Симбирске, а за двадцать с чем-то - у тебя... Дорогой! Будь уверен, что я никогда не перестану тебя любить. Твоя навеки..."

Каждый день отправлялся Винцентий в степь, и всегда вдоль оренбургского тракта. Пять-шесть верст - с единственной надеждой: авось появится на горизонте экипаж, в котором едет его суженая. Часами сидел у большой дороги, вглядываясь в даль и думая о своем, сокровенном.

Прошло две недели. И вот... "Приехала, жду в здешнем заезжем доме. Альбина". Незнакомая женщина постучалась в дверь и протянула записку как раз в то время, когда Мигурский собирался в ежедневный свой вояж навстречу любимой. В руках его было охотничье ружье - неперенный спутник в хождениях по степи. Прочтя записку, Винцентий обезумел от радости. Из ружья, брошенного им на кровать, раздался выстрел, который едва не стоил жизни его товарищу, находившемуся поблизости. Но Мигурский даже не заметил этого и стремительно выбежал на улицу...

... Путешествие Альбины было долгим и опасным.

На Днепре, где она оказалась во время бури, шквальный ветер оборвал тросы паромы. Несколько часов не могли совладать с ним паромщики; едва-едва сумели прибиться к берегу.

За Симбирском девушка сквозь сон услышала о задуманном возницей и его компаньонами ограблении "богатой польки". Выхватив пистолеты и взведя курки, она ошеломила разбойников, не ожидавших такого отпора. (Между прочим, пистолеты Альбина привезла в Уральск со взведенными курками, так как не знала, как вывести их из боевого положения).

Были и другие происшествия. В результате их она лишилась части денег и ценностей. Сокрушалась, однако, лишь по поводу утраты обручального кольца - "дурная примета". Впрочем, вопреки приметам, они чувствовали себя вполне счастливыми. Еще бы - наконец-то вместе!

В Уральске костела не было. Не было и ксендза. Огромный край, с сотнями католиков, разбросанных по всей его территории, находился на попечении "отца префекта" - Михаила Фаддеевича Зеленки, в монашестве Кандида. Он тоже оказался в этом краю не по собственному желанию - его выслали из родных мест за то, что, будучи инспектором Гродненской гимназии, вступился за своих учеников, которых в 1833 году обвинили в связях с эmissарами. Гимназию быстро закрыли, а ее префекта повелели "удалить в одну из отдаленных губерний империи под строгий надзор".

В Оренбурге Зеленке жилось трудно - долгое время он был - официально - не у дел. Только в 1839-м последовало "монаршее соизволение" на утверждение его ксендзом Отдельного Оренбургского корпуса. Но еще в 1837-м именно Зеленке довелось венчать Винcentия Мигурского и Альбину Висневскую.

Не обошлось без проволочек, оттяжек и - потому - новых волнений.

Ксендз в вопросах веры (и соблюдения религиозных обрядов) был совершеннейшим педантом. Получив письмо Мигурского, в котором тот просил о незамедлительном приезде в Уральск, он ен поехал, ответив, что не видит паспорта Альбины и письменного разрешения на брак от ее родителей. Паспорт и разрешение отослали. Но оказалось, что требуется еще и согласие парафиального ксендза.

Выведенный из себя, жених написал Зеленке письмо: "Моя невеста, живя в одиночестве, вынуждена выслушивать всякие двусмысленности от местных жителей, которые осуждают ее, перетолковывая в меру своей испорченности значение моих к ней визитов, естественных и неизбежных в сложившейся обстановке. Если после получения этого письма, которое будет последним, вы, досточтимый ксендз, не приедете, то я, чтобы вывести ее из такого неудобного положения, буду вынужден перейти в греко-российскую веру и принять благословение от попа, а потомки пусть рассудят, кто из нас в этом виновен!"

Угроза подействовала. Ксендз прибыл в Уральск, и 24 июня 1837 года венчание состоялось.

Торжественная церемония - из-за отсутствия костела - происходила в доме командира батальона подполковника Повало-Швейковского.

Первая в городе католическая свадьба привлекла общее внимание, но официальных гостей было не слишком много. Из соотечественников молодые пригласили Игнация Прондзинского, Тадеуша Жабицкого и Яна Злотковского - все трое попали в эти места за участие в восстании 1830-1831 гг. Из "именитых" за свадебных столом оказались хозяин дома, Повало-Швейковский, и приехавший в Уральск с инспекцией генерал-майор Циолковский. Не обошлось без обид: позвали далеко не всех, кто на приглашение рассчитывал. Впоследствии это дало себя знать - некоторые из "обойденных" не скрывали злобы и вымещали ее на Мигурских, используя

любой повод.

"... Как супруги, мы были бы самыми счастливыми, если бы... столкновения с жителями это счастье нам не портили", - вспоминал Винцентий. Особенно запомнился ему инцидент с казачьим офицером Чертороговым. Это был тот самый Черторогов, о котором Тарас Шевченко писал в повести "Близнецы" и в "Дневнике". Поэт вспоминал, как казаки-староверы во время экспедиции на Аральском море, увидев его с широкой бородой, решили, что встретили мученика за веру и коленопреклонно спрашивали у него благословения. По меткой характеристике Шевченко, Черторогов и сам был одним из этих "беспримерных дурней".

О сути сего инцидента мы знаем из жалобы Альбины военному губернатору В.А. Перовскому.

"В прошлом свободная и независимая дворянка, я решилась отказаться от всего, чтобы последовать сюда за несчастным женихом и нынешним моим мужем. При этом я никогда не предполагала, что, исполнив свое намерение с благосклонного разрешения властей, я буду окружена величайшей грубостью, примером которой может служить вчерашний случай.

В половине девятого вечера, возвращаясь с моим мужем после прогулки домой, мы встретили майора Черторогова, на одежде которого не было погон. Мой муж, узнав его и помня свое положение, приложил руку к головному убору, чем отдал честь его офицерскому званию. Между тем майор, неизвестно по каким причинам, задержав нас на улице, угрожал нам палкой и оскорблял мужа, доказывая, что он его не поприветствовал.

Если бы даже так было, господин генерал, неужели нет другого способа искать удовлетворения со стороны моего мужа, как пускаться в грубости, позорящие офицера?"

Черторогов, по распоряжению губернатора, был наказан домашним арестом. Это утихомирило ретивых, но не всех и не окончательно.

Было бы, однако, ошибочным делать вывод о негативном отношении уральцев к молодой чете. Да, недруги (или недоброжелатели) у нее были. Но все больше становилось друзей.

Особенно близко Мигурские сошлись с матерью и дочерью Сычуговыми. Незадолго перед тем они возвратились из Петербурга, где глава семейства нес офицерскую службу; уехали оттуда после того, как он умер.

Сычугова-младшая, Мария, привязалась к Альбине словно в родной сестре. Вместе совершали они прогулки по городу, привлекая внимание жительниц Урала непривычными нарядами, и особенно зонтиками, которые были здесь совершеннейшей диковинкой. Через три месяца после свадьбы Мигурских шестнадцатилетняя Мария тоже вышла замуж, но, живя по соседству, дни напролет проводила с Альбиной: женщины занимались рукоделием, обсуждали новости, болтали о "всякой всячине". Юная казачка совершенствовалась в знании французского, уроки которого еще раньше ей давал Мигурский. Вместе им было интересно, общение украшало жизнь...

Нехитрое хозяйство Мигурских старательно вела приехавшая с Альбиной Магдалена Закжевская, горничная и экономка одновременно. Магдуся (как ее называли Мигурские, несмотря на 38-летний возраст), приехала с Альбиной из Галиции. Девчонкой Закжевскую определили в дворовые. Альбине она прислуживала еще тогда, когда паненка была ребенком. Преданность ее своей хозяйке не имели предела. Маленькую горбунью отличали природный ум и здравый рассудок. О многом она судила в высшей степени метко. Слово, сказанное ею, часто несло заряд истинного остроумия. Магдалене было известно множество песен, поговорок, коленд, псалмов. Маленькая головка, запавшая между плечами, хранила безмерное богатство народной мудрости.

... В конце сентября 1839 года Альбина родила дочь.

Теперь Мигурских стало трое - трое невольников.

Как будет дальше?

Супруги все больше тосковали по родине, и тоска обжигала сердца.

Глава пятая, об отчаянном решении Мигурских и перипетиях его осуществления

План был такой: он, Мигурский, уйдет из дома вечером и оставит на берегу Урала свою шинель и на шинели письмо, в котором напишет, что лишает себя жизни.

Поймут, что он утопился. Будут искать тело, будут посылать бумаги. А он спрячется. Она так спрячет его, что никто не найдет. Можно будет прожить так хоть месяц. А когда все уляжется, они убегут...

Дочь Мигурских, которую они называли Михалиной, умерла, прожив всего восемь месяцев. Убитым горем родителям было отказано в разрешении похоронить малютку на кладбище: поляки принадлежали к "иноверцам", их причисляли к "некрещенным", а для таких места там не было. Друзья, принявшие близко к сердцу беду изгнанников, помогли набальзамировать тельце ребенка, и в специально сделанном гробике его предали земле близ кладбища, но за его оградой.

Альбина и Винцентий жили как во сне. Тяжелом, горячем сне, который, казалось, не закончится никогда. Чаша терпения, и без того переполненная, теперь переливалась через края.

Как быть далее? Что предпринять?

Молодая мать, утратившая своего первенца, написала письмо царице. Она умоляла, она заклинала ее помочь - освободить мужа от военной службы и переместить их обоих в одно из мест с более благоприятным для здоровья климатом. Альбина очень надеялась на участие и содействие. Ответ, однако, оказался не таким. "Ея величество ни в какое посредничество по делам такого рода не входит..." - прочла она по прошествии времени.

Не переставали отправлять ходатайства в столицу и родители. Помиловать Мигурского, вернуть ему свободу, дать возможность молодым вернуться в родные места, в лоно семьи - вот о чем просили самодержца.

Просьбы оставались без ответа и без последствий - одна за другой, одна за другой...

Альбина сказала Винцентию, что снова ждет ребенка. Мгновенная радость тут же погасла. Неужели и это их дитя - будущее, неродившееся - ждет та же участь, что и первое?

Они почувствовали, что дальше так жить невозможно. Значит, надо во что бы то ни стало сбросить с себя оковы неволи.

Выход виделся в одном - побеге.

Причем возможно более скором - медлить было нельзя.

Но как такой побег осуществить? Просто скрыться невозможно. Они постоянно на виду. На лошадях далеко не укачешь, на лодке - не уплывешь. Всюду настигнут, всюду схватят.

Инсценировать самоубийство?..

Мысль стала работать именно в этом направлении.

План складывался первоначально следующим образом. Умирает кто-то из жителей Уральска, по возрасту своему и прочим приметам близкий к Винцентию. Его хоронят на кладбище. Через несколько дней после похорон, с соблюдением всех мер предосторожности, тело извлекается из могилы. Выстрелы в голову делают труп неузнаваемым. Это служит основанием для того, чтобы заявить о самоубийстве Мигурского. А несколько дней спустя является возможность выехать - тайком, но без угрозы погони.

Замысел был продуман во всех деталях. Но... не оказалось умершего молодого уральца, который был бы, хоть в главном, похож на Винцентия.

Три месяца ожидания не привели ни к чему. Надежда на осуществление этого плана рухнула. Однако не исчезло желание бежать. И возник новый дерзкий план освобождения, за проведение которого в жизнь супруги взялись без промедления и с особой тщательностью.

В нашем распоряжении имеется два источника сведений об этом предприятии.

Первый источник - совершенно официальный: материалы переписки о мнимом "самоубийстве", о побеге Мигурских и их поимке.

Второй источник - те же события, но в изложении Мигурского, откровенный рассказ человека, не связанного, за давностью случившегося, необходимостью что-либо утаивать, хотя и не сохранившего в памяти некоторые важные детали.

Дальнейшее повествование мы построим таким образом, чтобы читатель услышал обе стороны и получил возможно более полное представление о том, как события развивались на самом деле.

Начнем с переписки официальной. Она хранится в Государственном архиве Оренбургской области - в деле "О скрывшемся из Уральска рядовом I-го линейного Оренбургского батальона из поляков Винцентии Мигурском, оставившем г. полковнику Кожевнику письмо, в котором объявил намерение утопиться, о поимке Мигурского и производстве по высочайшему повелению следствия". Начатое производством 16 ноября 1839 года и законченное 22 декабря 1841 года, дело состоит из 217 полулистов переписки канцелярии военного губернатора со всеми инстанциями - как вышестоящими, так и равными или подчиненными, а также с Мигурскими, истинными виновниками и героями "происшествия". Это наиболее крупный комплекс документальных материалов о том, как события развивались от первого дня и до самого конца.

Записка первая, посланная 16 ноября 1839 г. в корпусные дежурство

Канцелярия г. Оренбургского военного губернатора покорнейше просит корпусное дежурство доставить в оную сколь можно поспешнее формулярный список рядового, из польских мятежников, линейного Оренбургского

батальона N 1 Винцентия Мигурского, для доклада Его превосходительству Василию Алексеевичу.

**Письмо ответное,
с пометкой "О самонужнейшем", отправленное в тот же день.**

Дежурный штаб-офицер штаба Отдельного Оренбургского корпуса... имеет честь препроводить при сем полученный от командующего дивизией формулярный о рядовом Винцентии Мигурском список, прося покорнейше по миновании надобности обратить оный в корпусный штаб...

**Из формулярного списка:
вопросы и ответы**

- Имя, отчество, прозвание, какого вероисповедания?**
- Рядовой Винцентий Валенхович Мигурский, римско-католического вероисповедания.
- Сколько от роду лет?**
- 33.
- Мерою?**
- 2 аршина 6 вершков.
- Какие имеет приметы?**
- Лицом бел, волосы темнорусые, глаза голубые, нос средний.
- Из какого состояния поступил в службу?**
- Из дворян Царства Польского.
- Время вступления в службу?**
- 1836, февраль, 16-го.
- Во время службы своей в походах и делах против неприятеля где и когда находился?**
- Не бывал.
- российской грамоте читать и писать умеет ли?**
- По-польски и французски читать и писать умеет.
- В домовых отпусках бывал ли? Когда, на какое время и явился ли в срок?**
- Не бывал.
- В штрафах по суду или без суда не был ли? За что именно и когда?**
- Был осужден на принадлежность к злоумышленным обществам и покушение на жизнь свою, за что по резолюции его светлости главнокомандующего Дуйствующею армиею отдан в солдаты.
- Холост или женат, имеет ли детей, кого именно, каких лет и какого вероисповедания?**
- У него жена Альбина Висневская, римско-католического вероисповедания, живет при нем; детей нет.
- Состоит в комплекте или сверх комплекта при батальоне, или в отлучке?**
- Состоит в комплекте при батальоне налицо.
- Какого поведения?**

Такую черту - если ставят ее посередине - именуют прочерком. "Какого поведения?" Вопрос повис в воздухе. В ответ - молчание. Прочерк...

Под формулярным списком подпись: командующий дивизией генерал-майор... и мудреннейший начальственный завиток.

А дата... дата все та же: ноябрь, 16 дня, 1839 года.

Еще ничего не известно, но те, кому поручено властвовать над подневольными, времени зря не теряют.

В.А. Перовский - А.Х. Бенкендорфу

Милостивый государь граф Александр Христофорович!

Задержанный при проследовании г. Радома на возвратном пути в Галицию из Сандомира мятежнический польский эmissар Винцентий Мигурский, согласно конфирмации господина главнокомандующего Действующею армиею определенный в 1836-м году в I-й линейный Оренбургский батальон, расположенный в городе Уральске, 9-го сего ноября неизвестно куда скрылся, объяснив в оставленном им на имя исправляющего должность наказного атамана Уральского войска письме, что он решил утопиться; но как сделанные разыскания не подтверждают этого самоубийства, то и рождается подозрение, что он бежал.

В Уральске осталась после него беременная жена, о которой он в том же письме просил полковника Кожевникова отправить ее скорее, чтоб до наступления родов могла приехать домой.

С женою своею Мигурский жил согласно, вел себя вообще хорошо и по учрежденному над ним тайному

надзору ни в чем неблагонамеренном не замечен.

Сделав надлежащее распоряжение по отысканию Мигурского в здешней и соседних губерниях на случай, если бы он в самом деле не утопился, а бежал, и до удостоверения в действительности его самоубийства приказав задержать в Уральске жену Мигурскую, я имею честь довести об этом до сведения Вашего сиятельства с тем, что не изволите ли Вы, милостивый государь, признать нужным сделать распоряжение по наблюдению и в других местах Империи и Царства Польского, не окажется ли где - либо Мигурский, который, если действительно бежал, то будет стараться всемерно пробраться за границу, где он и прежде находился, будучи самым деятельным членом польских злоумышленных обществ.

Описание примет Мигурского при сем прилагаю.

С отличным почтением и совершенною преданностью...

Граф В.А. Перовский.

(К делу подшит черновик; где-то на полях он помечен семнадцатым.

17-м ноября 1839 года...

Автор письма - тот самый "Василий Алексеевич", который не раз упоминался в переписке дня предыдущего. Василий Алексеевич Перовский - властный правитель и... попечитель искусств, борец против инакомыслящих и... добрый знакомый Пушкина.

Адресат - тоже "тот самый": главный начальник III Отделения, печально известный шеф жандармов, палач героев-декабристов и злой недруг гениального поэта.

Но, на первый случай, комментария, пожалуй, достаточно?

Тогда - дальше. Семнадцатое пока не закончилось...)

Несколько выписок из рапорта военному министру

О прошлом: "Мигурский этот, как видно из сведений, сообщенных мне покойным генерал-адъютантом Пенкратовым, по произведенному в Варшаве следственною комиссиею делу оказался одним из самых деятельных членов злоумышленных обществ, собравшихся за границу из польских выходцев. Но сначала на допросах утверждал, что он австрийский подданный Антон висневский; будучи же принужден сознаться в истине, принял имевшийся при нем яд для сокрытия действий тайных обществ, а когда яд не подействовал, то нанес себе перочинным ножом шесть ран в брюхо и грудь".

О том, что было дальше: "По дооставлении Мигурского сюда он был определен в I-й линейный батальон, расположенный в г. уральске, куда чрез некоторое время прибыла к нему из Галиции помолвленная с ним во время своего там пребывания невеста, австрийская подданная Альбина Висневская, на которой он и женился. Со времени определения своего Мигурский вел себя хорошо... Сам он и жена его обращались по начальству с просьбами... о смягчении участи, но просьбы их не могли быть удовлетворены".

После исчезновения: "По содержанию самого письма... рождается сомнение, чтобы Мигурский в самом деле лишил себя жизни, тем более, что впоследствии не открылось ничего, что бы могло подтвердить действительность самоубийства, но вероятно бежал с намерением пробраться каким-нибудь путем за границу и там соединиться с женою".

И вот сейчас начальник края:

1) "счел нужным... учредить над Мигурскою строжайший тайный надзор и не дозволить ей отъезда из Уральска впредь до особого разрешения, полагая, что эта мера, если действительно Мигурский жив, может доставить случай иметь какие-нибудь об нем сведения, или и самого его вынудить явиться из привязанности к жене"; 2) "о разыскании его в здешнем крае... сделал надлежащее распоряжение; 3) "сообщил о том же, с описанием примет Мигурского, начальникам соседних губерний..."

"Всем, всем, всем..."

"... Прилагая при сем описание примет рядового Мигурского, покорнейше прошу Вас... не оставить распоряжением к наблюдению, не окажется ли он где-либо во вверенной Вам губернии, с тем, что если он будет пойман, то доставить его под надежную стражу в Оренбург..."

(Адреса уведомлений: Астрахань, Саратов, Симбирск, Казань, Пермь, Вятка - и так далее).

Для облегчения поисков:

"... Одежда, в которой он скрылся, состояла из форменной солдатской, серого сукна, шинели и белой фуражной шапки".

"... Еще приметы Мигурского: косоват, особенно когда смотрит в правую сторону".

Отвечают губернаторы

Из Симбирска: "Об отыскании Винцентия Мигурского предписал я градским и земским полициям и предложил губернскому правлению пропечатать о сем в "Губернских ведомостях".

Из Омска: "получено... к исполнению...".

Из перми: "всем по губернии...".

Из Вятки: "если будет пойман...".

И новое предписание - "циркулярно":

... Генерал-адъютант граф Бенкендорф... просит меня, в исполнение Высочайшего Его Императорского Величества Повеления, сделать распоряжение к общему по Империи наблюдению, не окажется ли где-либо Мигурский...

Прошу Вас донести мне о последующем.

**Управляющий Министерством внутренних дел
генерал-адъютант граф Строгонов**

Мигурского искали по всей Российской губернии.

Шел декабрь, год подходил к концу, а его продолжали искать.

Наступил 1840-й, но поиски не прекращались.

... Пока еще не время предоставить слово виновнику этой бумажной круговерти, всего того переполоха, который вызвал громкое эхо далеко за пределами края.

Винцентий Мигурский скажет, и многое скажет. Каждый из дней будет высвечен его памятью - цепкой и в главном, и в деталях. Мы терпеливо подождем, пока станет это совершенно своевременным и настоятельно необходимым.

Пока же позаимствуем из его воспоминаний один-единственный документ - то самое, так часто упоминаемое, письмо на имя исполнявшего обязанности наказного атамана Уральского казачьего войска полковника Кожевникова, в котором Мигурский сообщал о своем решении покончить счеты с жизнью.

Письмо, датированное 9 (21) ноября 1839 года и написанное на французском языке: по-польски атаман не понял бы, по-русски не мог писать автор.

Вот оно - "предсмертное письмо" человека, придумавшего смелый план избавления себя и любимой от оков неволи.

"Господин полковник!

Лишая себя жизни, я совершенно не забочусь относительно общественного мнения, а особенно о мнении тех, которые мой поступок сочтут проявлением легкомыслия. Знаю, что мало кто всерьез задумается над причиной, которая привела меня к такому отчаянному решению. Болезнь и сильнейшее душевное расстройство не позволяют мне больше быть опекуном жены, которая посвятила мне всю свою жизнь. Но умоляя Вас об оказании ей возможной протекции, я опишу все, как было.

Покидая свою родину, я покидал одновременно и невесту, с которой не имел уже надежды свидеться, а тем более назвать ее моей женой. Но истинная любовь и привязанность многое может сделать. Молодая женщина (ей едва исполнилось 18 лет) пренебрегла опасностями и тяготами столь дальней дороги, чтобы в изгнании разделить судьбу со мною. Но что же, что получила она взамен своего беспримерного самопожертвования?! Наградой ей оказались величайшие неприятности и огорчения, которые сделали жизнь ее несносной. Я нахожусь на службе уже 4 года, мне до сих пор не объявлено приговора, на основании которого оказался солдатом. Во время пребывания генерал-губернатора Перовского в уральске моя жена подала ему прошение, вверяя в его руки наше будущее. Через год она подала прошение ее величеству, а наши с ней родители делали все возможное: подали прошение царю, царице, наследнику-цесаревичу, прося только о той милости, чтобы меня освободили от солдатской службы и разрешили проживать в любом месте Российской империи, лишь бы климат там был приемлемым для моей жены и ребенка. Я знал, что каждый поляк с позволения и по приказу царя может поехать в отпуск к себе на родину для устройства своих дел. Несколько месяцев назад мы писали генерал-губернатору, прося его о таком отпуске, причем, приехав на родину, я собирался уговорить жену, чтобы она осталась дома, а сам, вернувшись, собирался ожидать лучшей судьбы. Но нет, этого мне не было позволено.

Как Вы видите, господин полковник, у меня не осталось никакой надежды, положение мое с каждым днем становилось все более неприятным, а мысль о том, что я делаю несчастной ту, которая меня так любит, убивала меня, разрывала связь с жизнью. Обдумав свое положение, я увидел, что только своей смертью могу освободить ее от всех огорчений... А чтобы она не увидела моего тела после смерти, решил броситься в волны Урала. Когда меня не будет в живых, умоляю Вас, господин полковник, не отказать несчастной женщине в своей

помощи, которую она полностью заслужила. Если здоровье ее позволит, уговорите ее, пожалуйста, чтобы она оставила этот край поскорее, ибо состояние ее требует ухода и помощи близких родственников.

Прошу прощения за беспокойство, но обратиться именно к Вам заставило меня всеобщее убеждение в Вашей доброте и моя бесконечная привязанность к жене.

Верю, что просьбу мою Вы исполните и это придает мне решимость в осуществлении моего намерения".

Этого письма в обширном деле N 11604, что хранится в губернаторском фонде Оренбургского архива, нет.

Нам, напомним, сообщает его сам автор.

Но пора снова вернуться к материалам, сбереженным архивистами - честь им и хвала, душевное человеческое спасибо.

Теперь на первый план в переписке выступает уже она, Альбина Мигурская.

Первое ее из писем, содержащихся в подшивке различных официальных бумаг, обращено к начальнику штаба Отдельного Оренбургского корпуса Рокоссовскому.

Оно исполнено достоинства.

Строки из письма Альбины

Господин генерал!

Вот уже почти три года, как я по разрешению губернатора приехала из Австрийской Галиции в Россию...

Сейчас, после смерти моего мужа, мне ничего не остается, как вернуться в лоно моей семьи, и поэтому я имею честь обратиться к Вашему превосходительству с просьбой о выдаче пропуска для меня и моей служанки Парасковии Закуевской.

Окадите мне, господин генерал, эту милость еще и потому, что состояние моего здоровья, требующее ухода со стороны моей семьи, заставляет меня спешить с отъездом.

... Имею честь быть Вашей покорной слугой.

Альбина
7 декабря 1839, Уральск.

Мигурская

Рокоссовский - полковнику Кожевникову

На доставленное ко мне Вашим высокоблагородием письмо жены служившего в I-м Оренбургском линейном батальоне рядовым винцентия Мигурского... прошу Вас, милостивый государь, объявить просительнице, что распоряжение об этом последует немедленно по получении от г. военного министра разрешения...

15
Оренбург.

декабря

1839.

Из военного министерства

Государь император по всеподданнейшему докладу... высочайше утвердить соизволил принятые генерал-адъютантом Перовским меры как в отношении отыскания Мигурского, так и задержания в Уральске жены его, впредь до удостоверения в действительности самоубийства его...

Отметка в получении:

22 декабря.

... До удостоверения!..

С признанием действительности факта самоубийства власти не спешили по-прежнему.

Не спешили, хотя отовсюду шли уведомления, которые, кажется, никаких надежд не внушали.

"... Имею честь уведомить, что бежавшего из I-го линейного Оренбургского батальона мятежника Мигурского по розыску в Симбирской губернии не оказалось..."

"... Из доставленных ныне сведений видно, что рядового Мигурского ни на жительство в вверенной мне Пермской губернии, ни проездом чрез оную не оказалось и не было..."

"... К отысканию... польского эмиссара Винцентия Мигурского были сделаны должные распоряжения, но его, как донесли градские и земские полиции, нигде не оказалось в Вятской губернии..."

Подписи губернаторов и вице-губернаторов скрепляли все эти "не было", "не оказалось", "нет".

А месяцы шли. Минуло еще три, четыре, пять месяцев. Никаких следов... Дело можно было бы сдавать в архив, но... оставалась нерешенной судьба Альбины, которая по-прежнему жила в Уральске - городе, где все случилось и из которого она никак не могла выехать.

Второе письмо Мигурской - губернатору Перовскому

Господин генерал!

Во время отсутствия Вашего превосходительства я имела честь написать господину генералу Рокоссовскому о выдаче пропуска, но он мне в этом отказал.

Около пяти месяцев тщетно ждала я разрешения из Петербурга. Теперь, будучи убежденной, что это в Вашей власти, обращаюсь к Вашему превосходительству и прошу Вас о разрешении на выезд, по крайней мере в Каменец-Подольск. Если хотите, то можете приказать отправить меня туда под стражей, с тем, чтобы решения господина военного министра я ждала там.

Не откажите мне, господин генерал, в этой последней просьбе, я прошу Вас об этом ради бога.

Иностранка, сирота, покинутая всеми, больная в течение пяти месяцев, я истратила все деньги на лекарства и на жизнь и пребываю без всяких средств к существованию.

Господин генерал, позвольте сказать Вам еще: как матери, мне необходимо беречь мою жизнь, и господин доктор Адоратский может быть самым лучшим свидетелем того, что в таком ужасном положении мое здоровье слабеет все больше и больше.

Опасения, что моя дочь, которая родилась три недели тому назад, может погибнуть в Уральске от весеннего нездорового климата так же, как наша первая, вынуждают меня обратиться к Вашему отцовскому чувству, которое тоже всем известно.

Молю Вас разрешить мне выезд для избавления от мук, которые, вероятно, езе ждут меня в России.

Не откажите, Ваше превосходительство, объявить мне Вашу волю и я с глубоким уважением остаюсь Вашей покорной служанкой.

Мигурская.

20 марта 1840, Уральск.

На письме - отметка канцеляриста: "Получено 29 апреля". Где оно находилось месяц с лишним, точнее - 39 дней? Ответа на такой - вполне уместный - вопрос нам не получить уже никогда.

Оренбург соглашается: "выезд возможен"

Впрочем, эти 39 дней впустую не прошли.

30 апреля из Оренбурга ушло письмо начальника штаба Отдельного Оренбургского корпуса. И не просто письмо - официальный рапорт: в Петербург, военному министру.

"... Жена без вести пропавшего Мигурского, задержанная в Уральске на основании высочайше утвержденного распоряжения г. корпусного командира, ходатайствует о дозволении ей отправиться к родственникам своим в Каменец-Подольскую губернию и об оказании ей денежного пособия на проезд туда из Уральска.

Принимая в соображение, что Мигурская по высочайшему повелению, объявленному мне в предписании Вашего сиятельства от 30 ноября 1839 года за N 861, задержана в Уральске до удостоверения в действительности самоубийства мужа ее, что доныне все разыскания о нем не подтвердили предположения о побеге его, что жена Мигурского равномерно может быть задержана под полицейским надзором и в Каменец-Подольской губернии, но где только от нее попечением родственников устранятся нужды и крайне стесненное положение, в котором она ныне находится, живучи в Уральске, и что, наконец, г. корпусной командир со своей стороны к удовлетворению просьбы ее не усматривает препятствий, я имею честь представить об этом на благоуважение Вашего сиятельства и осмеливаюсь покорнейше просить разрешения на дозволение Мигурской отправиться в Каменец-Подольскую губернию и об оказании ей денежного пособия, по снисхождению к тому, что без последнего она по бедности и слабости здоровья не была в состоянии воспользоваться и первым.

Генерал-майор Рокоссовский".

Подозрения, выходит, исчезли?

Действительно, от 9 ноября до 30 апреля - срок весьма внушительный: без малого полгода...

Но категоричность тут опасна, и в рапорте ее нет. Начальник штаба докладывает, по сути дела, лишь о том, что предположения о побеге "доныне" не подтвердились.

Доныне!

... И все же поиск пошел на убыль... затих...

По мере затухания его все энергичнее становились действия Альбины, хотя на нее и обрушивался удар за ударом.

Она могла только писать - просить, настаивать. И писала - в Оренбург, Петербург, по инстанциям самым различным. И убеждала, доказывала, умоляла.

Оставаться в Уральске уже не было никаких сил.

Альбина Мигурская: снова Перовскому

Господин генерал!

Месяц тому назад я имела честь писать Вашему превосходительству через господина полковника Кожевникова, испрашивая для себя разрешения уехать, по крайней мере, в Каменец-Подольск, где я могла бы ждать решения из Петербурга.

Не получив никакого ответа, я осмелилась еще раз обратиться к Вашему превосходительству по этому же поводу.

Господин генерал! То, что я предвидела в моем предыдущем письме, к несчастью, случилось: моего ребенка больше нет в живых. Мне ничего теперь не остается, как спокойно умереть на моей родине. Вот почему я и прошу Вас не отказать мне в разрешении уехать. В случае отказа прошу сообщить мне о Вашей воле, чтобы я, будучи очень больной, могла позвать кого-нибудь из моих близких для ухода за мною в течение болезни.

Тысяча извинений, господин генерал, если я Вас утомляю. Мои несчастья и мое печальное положение оправдывают меня перед Вами.

Господин генерал, остаюсь с глубоким уважением Вашей покорной служанкой.

Мигурская

2 мая 1840, Уральск.

Резолюция: "объявить г-же Мигурской, что о дозволении ей ехать в Каменец-Подольск испрашивается разрешение от господина военного министра".

... Снова ждать? Доколе?!

Австрийскому послу графу Фикельмон

Сиятельнейший граф!

Винцентий Мигурский, уроженец Царства Польского, возвратившись из Франции эмиссаром, обручен был со мною в Австрийской Галиции, откуда отправился он в Царство Польское для свидания со своими родными и там был задержан. Его разжаловали в рядовые с назначением в I-й батальон, квартирующий в Оренбургской губернии в городе Уральске.

Верная своему обещанию, я отправилась из собственной деревни Паневцы Зеленые, находящейся в Галиции, в Чартковском округе, с паспортом, выданным мне в 1837 году г. лембергским губернатором Кригом, с намерением соединиться с моим женихом. И в самом деле я обвенчалась с ним в Уральске.

Увы! В весьма скором после брака времени бедственное положение мужа моего сделалось для нас ощутительным. Мы употребили все усилия для облегчения нашей горестной участи. Я просила губернатора Перовского об оказании нам защиты, он обещал, и тем кончилось. Впоследствии умоляла я Его императорское величество исходатайствовать нам позволение возвратиться на родину, или по крайней мере избрать место жительства. Мои и мужа моего родные утруждали Его императорское величество по сему же предмету. Но все оказалось тщетным.

Так протекли три года. Бедствие наше достигло высшей степени. Будущее не предвещало нам ничего отрадного, ибо даже приговор был тайною для моего мужа.

Здоровье мое расстраивалось, и, видя это, муж мой долго с собою боролся, пока, наконец, сделался жертвою своих терзаний. 9(21) ноября 1839 года, вечером, сказав мне, что пойдет к полковнику, он ушел и уже больше не возвратился. На другой день я нашла его письмо ко мне, в котором он изъяснялся, что, для моего собственного счастья и для счастья покоившегося под моим сердцем младенца, он бросился в волны Урала; дальше он писал, что причины, побудившие его посягнуть на жизнь свою, подробно изложил в письме к Уральскому атаману полковнику Кожевникову, покровительству которого меня и препоручил. На следствии оказалось, что муж мой в одиннадцать часов вечера лично подал письмо в атаманскую канцелярию.

В три часа ночи, томясь беспокойством, я послала за ним в дом батальонного командира, и с тех пор началась разыскания.

Считаю нужным сказать, что Урал в то время покрыт был льдом и в скором времени должна была начаться рыбацкая ловля, называемая багрением. Местное начальство, боясь перепугать рыбу, вело поиск едва-едва на протяжении двух верст и, не найдя утопленника, заключило, что он убежал.

Представляю на усмотрение Вашего сиятельства вопрос: согласно ли со здравым смыслом, чтобы человек, решившийся бежать, предварял о том начальство, или чтобы жена его, через два часа после "побега", произошла о проведении розыска, тогда как, живя в городе на квартире, побег этот легко можно было бы скрывать от начальства несколько дней.

С тех пор минуло шесть месяцев. Несколько оправившись от тяжелого недуга, я много раз просила

губернские власти о позволении мне возвратиться на родину. Давно уже я решилась просить защиты у Вашего сиятельства, но все меня удерживали обещаниями - по-видимому, напрасными. Начальство, не объявив мне, почему я арестована, не дает мне средств к пропитанию, а между тем задерживает меня и не выдает мне паспорта.

Потеряв мужа и двоих детей, я нахожусь в самом жалком положении, в нужде и без защиты на чужбине. Поэтому обращаюсь к Вашему сиятельству, с покорнейшею просьбою об исходатайствовании паспорта мне и крепостной моей девке Парасковии Закжевской.

Сиятельнейший граф! Не откажите поспешить высылкою паспорта, ибо он мне крайне нужен, - семейные дела требуют моего присутствия.

Извините, Ваше сиятельство, что при Ваших важных занятиях я осмелилась утруждать Вас моею просьбою.

Имею честь и быть пр.

Альбина

Мигурская,

урожденная

Висневская.

8.20 мая 1840 года, Уральск.

Через несколько дней: опыт Перовскому

Ваше превосходительство господин губернатор!

С прискорбием получила я известие, что в просьбе моей, о дозволении мне выехать в Каменец-Подольск, отказано и я должна ожидать разрешения г. военного министра.

Только несколько дней тому назад я узнала, что начальство, не отыскав следов утопления моего мужа, подозревает его в побеге, а я через это терплю более шести месяцев разные недостатки. Я не знаю, какое донесение об этом происшествии сделано Вашему превосходительству здешним начальством, но почти целому городу известно, что муж мой в тот день, в 11 часу вечера, отдал в канцелярию здешнего атамана письмо, а я, будучи беспокойна в связи с долгим его невозвращением (от полковника Аничкова, как он мне говорил), первая послала мою служанку в дом г. полковника Аничкова во 2-ом часу ночи для отыскания моего мужа, и с этого времени начался розыск о нем с величайшею (как я слышала) осторожностью - для того, чтобы не помешать предстоящему багрению для презента*6.

представляю на суд Вашему превосходительству, можно ли допустить, чтобы человек, намеревавшийся бежать, сам осведомлял начальство о своем побеге, в то время, когда он, живя на наемной квартире и не имея по целым месяцам никакого сношения с казармами, мог бы долго, с моей помощью, скрывать свое отсутствие.

Уведомляя об этом Вас, милостивый государь, наипокорнейше прошу: если донесение Вам сделано не так, как я описала, и это служит препятствием для выдачи мне паспорта на проезд, прикажите произвести следствие еще раз.

После этого несчастного происшествия я имела достаточные средства для проезда домой. Но в продолжение шести месяцев беспрестанные издержки по несколько рублей в день на содержание жизни, топливо в продолжение зимы, наем квартиры и тому подобные расходы совершенно истощили мои запасы. К тому же затрудненное сообщение с родными, требующее нескольких месфцев, и срочное доставление мне денег из моего имения около Нового года, лишают меня надежды на скорую помощь из дому и возможность дальнейшего существования на месте. А потому наипокорнейше прошу Ваше превосходительство, если распоряжение о моем задержании уже не может быть отменено, не отказать мне в денежном пособии.

Зная доброту и сострадательность Вашу, надеюсь, что несчастная и покинутая чужеземка найдет покровительство в особе Вашей.

С высоким уважением имею честь быть Вашею покорнейшею слугою.

Альбина

16/28 мая 1840 года.

Мигурская.

В.А. Перовскому - от гр. Нессельроде

... Граф Фикельмон ходатайствует о удовлетворении просьбы означенной Мигурской. Вследствие чего покорнейше прошу Ваше превосходительство уведомить меня о распоряжении, какое угодно будет Вам приказать сделать по домогательству австрийского посла...

И вот наконец:

Господину командиру Отдельного Оренбургского корпуса.

Содержание рапорта начальника штаба вверенного Вашему превосходительству корпуса от 30-го минувшего апреля за N 53-м, по просьбе жены рядового Оренбургского линейного N 1-го батальона Мигурского

о дозволении ей возвратиться к родственникам, я доводил до высочайшего Государя Императора сведения.

Его величество, усматривая из всеподданнейшего доклада моего, что произведенные разыскания о Мигурском не подтвердили предположения о побеге его, и что Ваше превосходительство не находит препятствия к удовлетворению этой просьбы, всемилостивейше позволяет отправить Мигурскую в Каменец-Подольск, выдав ей на проезд прогоны и подвергнув ее там полицейскому надзору. Монаршую волю сию сообщив шефу жандармов и управляющему Министерством внутренних дел, честь имею объявить и Вам, милостивый государь, к исполнению.

Военный министр генерал-адъютант граф Чернышев.

Предписание военного министра помечено 24-м мая. Прибыло оно в Оренбург две недели спустя - 8 июня.

Заканчивался седьмой месяц жизни Мигурской после исчезновения ее Винcentия.

Дни неволи подходили к концу.

Теперь она могла оставить Уральск - выехать в места родные.

Она - служанкой - официально.

Винcentий - тайно.

Все эти семь месяцев Мигурский вел жизнь затворника, который должен был постоянно помнить об одном: не выдать, не обнаружить своего присутствия.

Когда первый план побега оказался несостоятельным, так как в Уральске не умер в течение трех месяцев ни один человек, которого можно было бы выдать за стрелявшего себе в гоову поляка-солдата, пришла мысль об инсценировке самоубийства посредством "утопления". Осуществление его, понимали Мигурские, требовало особой тщательности в подготовке, особой выдержки в поведении каждого участника.

Надежнее было бы осуществить этот план вдвоем. Но если в самоубийство не поверят сразу? Если потребуется более или менее длительное время?

В тайну решили посвятить двух самых близких людей - служанку Магдусю и молодую соседку Марию Сычугову.

Посвящение Магдуси провели с особой помпезностью.

В доме казака Попова, несшего службу на Кавказе и отдавшего свое жилище в наем Мигурским, был маленький, в одно окно, кабинетик. Обставленный с ритуальной торжественностью, он и стал тем местом, в котором принималась и подписывалась клятва.

Перед образами святых, перед лицом Мигурских первой клялась хранить доверенную ей тайну немногословная служанка. Под заранее приготовленным листком появилась ее подпись, и тут же листок был брошен в огонь.

С Марии подписки брать не стали. Посвящение в тайну провели в том же кабинетике, не преминув, правда, сообщить о присяге, подписанной Магдусей и, сразу, о том, что от нее подписи требовать не намерены - доверяют без того. Марии показали уже заготовленное письмо Мигурского на имя Кожевникова, рассказали обо всех деталях разработанного плана побега. Молодая женщина на коленях благодарила за доверие, обещала сохранить тайну, плакала на груди Альбины и Винcentия, умоляла их не оставить ее, взять с собою. Потом успокоилась и заявила о решимости помогать во всем. Не теряя времени попусту, совместно обсудили детали поведения каждого после "исчезновения" Мигурского, в том числе - сохранения тайны от мужа Марии. Женщины на какое-то мгновение даже расвесилились, представляя себе, как они будут водить за нос знакомых и незнакомых, внушая всем, что самоубийство назревало давно и осуществилось на самом деле.

Назначенный день подошел довольно быстро. Мигурские и посвященные тщательно контролировали каждый свой шаг. Нужно было решать - причем без заминок и, тем более, ошибок - задачу за задачей.

Левинский - тот самый старый солдат-поляк, которого Мигурский взял для услуг, платя за него военному ведомству, - под вечер попросил разрешения отправиться на свадьбу к знакомому русскому сослуживцу. Это оказалось весьма кстати - уходил человек, от которого прятаться было трудно, посвящать же и его не хотелось. Отпуская Левинского, Винcentий будто невзначай завел разговор о безысходности собственного положения, о том, что единственным выходом является самоубийство. Давно изверившийся в жизни Левинский молча кивал головою.

Примерно, в десять часов вечера Мигурский вышел из дома. На улицах встречались знакомые - все видели и отмечали подавленность его настроения. К кому-то из уральцев - тем, что жили по пути - зашел "на минуту", и они потом говорили о бросившейся в глаза необычности поведения Винcentия, который словно прощался со всем и всеми.

Находясь в районе резиденции атамана, он ждал, когда же погаснет свет в кабинете полковника Кожевникова, чтобы вручить письмо его подчиненным - у них оно должно было оставаться до следующего дня, когда наказной атаман вновь появится в своей канцелярии.

Но вот Мигурский убедился, что полковник лег почивать. войдя в помещение, он предварительно позаботился о том, чтобы выглядеть не "нижним чином", а, скажем, пехотным офицером, и таким образом запутать дело еще более.

Уловка удалась. Дежурный, перед этим уже спавший, спросонья принял пакет и пообещал передать его Кожевникову утром.

Все пути к отступлению теперь уже были отрезаны.

Возвратившись домой, Мигурский, не заходя в квартиру, переоделся в солдатскую форму, взял заранее приготовленный сверток с одеждой, инструментом и отправился к реке. Нашел на урале прорубь, пробил намерзший за день лед и разбросал вокруг предметы одежды. Они-то и должны были навести на след "самоубийцы".

А сам "утопленник" отправился домой, делая в пути все, чтобы не попасться на глаза никому. Уральск в этот ночной час спал, улицы были безлюдны и безмолвны, но без происшествия не обошлось. Неподалеку от дома он услышал конский топот и возглас "стой!", который заставил подумать, что все, решительно все сорвалось. Метнулся в сторону, затаил дыхание... Однако в следующее мгновение понял: казак разыскивал невесту где запропастившуюся корову и крик был обращен в ней, а вовсе не к Мигурскому.

Только в половине четвертого оказался Винцентий дома. Альбину он нашел в сильнейшем волнении. Прошли все сроки возвращения, а его не было... Значит, несчастье, крушение планов и надежд - действительно конец всеми... Посылала Магдусю искать - поиски оказались тщетными, безрезультатными...

Можно представить себе встречу Альбины с Винцентием после этих бесконечных часов!

Но дело едва началось. план требовал продолжения. Медлить было нельзя.

Служанку проинструктировали еще раз. Она чем свет должна была отправиться по домам знакомых - тех, у кого вечером побывал Мигурский, рассчитывая хоть как-то замести следы побега. Ей надлежало "искать" Винцентия у учителя Орлова, у начальника таможни Воронина, у аптекаря Миллера, а потом пойти к полковнику Кожевникову, чтобы выяснить, не задержал ли, не арестовал ее хозяина высший воинский начальник города.

Магдуся исполнила все самым естественным образом, не вызвав никаких подозрений.

Мигурский же спрятался в спальне - в шкафу, в котором заранее оборудовал себе убежище. Шкаф был узкий - места хватало лишь для того, чтобы сидеть. Верхняя, застекленная, его часть предназначалась для посуды. Никто не мог бы догадаться, что внизу скрывается взрослый человек.

Они ждали визитеров, которые не могли не явиться после получения Кожевниковым письма и тревожных визитов служанки.

Кстати, о письме к наказному атаману Альбине "не должно" было быть известно ничего - так диктовала логика событий. Это, конечно, усложняло ее положение и ее поведение, а потому заранее договорились: Винцентий напишет еще одно письмо, по-польски, ей, только "найдет" она письмо мужа не сразу, а как бы случайно, и притом - желательно - при людях.

Утром наступившего дня в дом, где квартировали Мигурские, явились Кожевников, командир батальона Аничков, полцмейстер подполковник Логинов, казачий офицер Матвеев. Они застали Альбину в неизбывном горе, бледной и осунувшейся после бессонной ночи. Скоро появилась Мария - соседка и подруга. Далее все было разыграно как по нотам - Альбина рыдала; рыдала, прижимая ее к себе, Мария; страдания молодой поляки терзали душу даже самых твердокаменных. Внезапно Мария остановила свой взгляд на конверте, которые ранее "не был замечен". Она попыталась читать письмо, но Альбина вырвала листок из рук подруги, пробежала по строкам польского текста и забилась в тяжелом истерическом припадке.

Все это происходило на глазах чиновных посетителей, которым трудно было определить - как же надлежит вести себя им, в происшествии совершенно необычном.

В тот самый момент в действие вмешался еще один, но уже совершенно непродуманный сценарием "персонаж". Это был пес Бекас. В суматохе он пробрался в комнату и, подвывая, стал скрестись в дверцу шкафа - учуял хозяина.

Увидев это, альбина и впрямь потеряла сознание. Мария и Магдуся засуетились, приводя ее в чувство. Аничков же весьма бесцеремонно вышвырнул Бекаса за дверь.

"Итак, начало этой драмы прошло даже счастливей, чем можно было ожидать..."

Так констатировал много лет спустя Мигурский, вновь и вновь вспоминая события того незабываемого дня.

В шкафу, как Винцентий убедился в первого раза, отсиживаться было невозможно. Едва официальные визитеры оставили дом, он выбрался оттуда бесконечно усталый и совершенно измученный. Нужно было немедленно искать и приспособлять другое, более подходящее укрытие.

Но не тут-то было. Едва ушли Кожевников, Аничков, Логинов и Матвеев, как пожаловали жены трех первых (четвертый был холостяком). Мигурский, слышав их шаги, с трудом успел юркнуть под кровать.

Уехали начальственные жены - явился присланный атаманом доктор Адоратский. Это, впрочем, было кстати, так как Альбина действительно нуждалась в медицинской помощи.

К вечеру пришел солдат Гаврила, приставленный начальством для "безопасности и услуг" Альбины.

Так получилось, что Мигурский почти весь день провел под кроватью. Альбина терпеливо выслушивала выражения сочувствия от знакомых и незнакомых ей людей. Двери дома почти не закрывались: уходили одни, являлись другие - и так до полуночи. Только ближе к двенадцати часам они смогли остаться наедине.

Утром же все началось сызнова. Винцентий прятался в темноте, Альбина выслушивала слова утешения; она и посвященные в тайну Мария и Магдуся настороженно следили за тем, чтобы ничто не вызывало подозрений. Левинскому и Гавриле хозяйка на всякий случай "призналась", что в самоубийство до конца

поверить не может, что ей все "кажется", будто он жив и вернется, а потому она "просит": если кто-то из них вдруг обнаружит следы ее мужа, то пусть скажет ей, и только ей, за что получит награду. Оба выразили готовность постараться.

"Тайник" под кроватью оказался довольно удобным. Оборудуя его для более длительного пребывания, Мигурский на передний план выставил чемодан и сундучки, с которыми Альбина приехала в Уральск. За ними соорудили постель. Ковер прикрывал промежуток между матрацем и дорожными принадлежностями. В изголовье кровати сделали лаз, чтобы быстро и тихо уходить в тайник при первой необходимости. Магдусе дали строгие наставления: если гости будут засиживаться, приходить в комнату с ключами и погромче возиться около сундучков, давая тем самым Винцентии возможность повернуться в бока на бок, или откашляться.

Мигурскому очень досаждали визиты уральских дам, которые, стараясь развеять печаль Альбины, пускались иногда в весьма нескромные, даже бесстыжие, рассказы о своих похождениях. Зная нелюбовь Винцентия к подобным разговорам, хозяйка старалась всячески переключать рассказчиц на другие темы, но удавалось ей это далеко не всегда.

Бекаса Альбина подарила кому-то из поляков, поставив условие: приводить пса к ним в дом он не имел права, так как это могло вызвать "горькие воспоминания". Однажды какая-то гостья приехала с комнатной собачкой, которая сразу же полезла под кровать. Альбина без особого труда разыграла панический страх, объяснив его, правда, боязнью быть укушенной. Посетительница ушла обиженная, даже проститься забыла.

Постепенно, вспоминал Мигурский, любопытство дам насытилось, визиты им надоели и сами собой прекратились. Постоянно посещала Мигурских и подолгу оставалась с ними только Мария. Это не тяготило. От нее супруги узнавали все городские новости (у служанки источники информации были слишком ограниченными). Сообщала Мария и обо всем, что удавалось узнать относительно следствия по делу о "самоубийстве". Стало ясно, что следствие целиком и полностью препоручено местному начальству; в Оренбурге власти были поглощены военным походом в Хиву и командировать в Уральск своих представителей не собирались. Поиски "утопшего" в Урале почти не велись - слишком энергичные действия могли распугать рыбу, а предстояло багрение (в том числе для отправки ко двору - это называлось "царским кусом").

В доме постепенно выработался достаточно вольготный для "беглеца" режим. Днем он читал, разговаривал с женой, Марией или Магдусей, писал. Ночью, убедившись в том, что солдат поблизости нет (их старались уснуть под всяким благовидным предлогом), выходил даже во двор подышать свежим воздухом.

Но вот из Петербурга пришло предписание не выпускать Альбину из города. Стало ясным: решили дожидаться, пока на реке сойдет лед и можно будет удостовериться в действительности самоубийства. Винцентия - и, конечно, Альбину - весть об этом привела в отчаяние: в феврале предстояли роды. Рушился расчет на то, что Альбина к этому времени окажется уже в Паневцах, под заботливым присмотром близких, а младенец будет избавлен от тяжелых климатических условий. Положение усложнялось присутствием "домашнего арестанта", которого могли обнаружить по любому его неосторожному движению. А если роды будут неблагополучными, тяжелыми - сможет ли Винцентий сдержаться, не выдать чувств, удержать себя от любых эмоций? Мария уговаривала подругу спрятать Мигурского вне дома, вывезти его в безопасное место, подальше от Уральска, но Альбина никак не соглашалась разлучиться с ним надолго.

Мария очень боялась за судьбу Винцентия. Рассуждая по этому поводу, мемуарист дает понять, что молодая женщина была равнодушна к нему и ради его спасения готова была на любые жертвы. Когда однажды он стал говорить о том, что в случае поимки, разоблачения легко можно сделать так, чтобы на нее вина не пала ни в какой мере, та прошептала ему на ухо: "Плохо меня знаешь, не во мне дело... Я бы даже умерла за тебя в тюрьме, это ничего, это даже хорошо. Но что с тобой будет и с бедной сиротой? Вот что меня убивает!"

На домашнем совете решили, что рожать Альбина будет без помощи со стороны, а потому дату родов стали называть весьма неточно, сбивая с толку тех, кто этим интересовался. Но по поручению наказного атамана за роженицей следили доктор и акушерка. 14 февраля они являлись дважды. Вечером пришли женщины-повитухи.

Роды прошли вполне благополучно, мать и ребенок чувствовали себя нормально.

Едва закрылись двери за чужими, как Винцентий выскочил из укрытия, стал целовать жену и дочурку; радости его, казалось, не будет предела. Мария и Магдуса, наблюдая это, плакали от умиления. Тут же решили: назвать и эту дочь Михалиной. Имя умершего ребенка было им бесконечно дорого.

Винцентий охотно возился с девочкой, следил за ее пеленками. Как-то, выговаривая служанке за небрежно выстринутой вещице, он даже вышел из себя и повысил голос. Тут же спохватился - неподалеку, на кухне возился Гаврила. Немедленно нырнул в укрытие. Альбина, поняв, что произошло, под каким-то предлогом зазвала солдата в комнату и при нем стала кричать на Магдусю грубым, мужским голосом. Инсценировка удалась как нельзя лучше, Гаврила и впрямь подумал, что слышал голос хозяйки.

... Малютка прожила очень недолго. Она умерла на четвертой неделе жизни. И снова Мигурскому пришлось заниматься балзамированием детского тельца. Оно было спрятано в подвале дома, в гроб же вместо него положили что-то тяжелое. Хоронили там же, где и первенца их, - у кладбищенской ограды...

Мария все более сближалась с Мигурскими. Их горе было горем и для нее. Заметно тяготило женщину то, что она вынуждена была таиться от матери. Альбина и Винцентий сами разрешили ей посвятить мать в их общую тайну.

Целуя Винцентия в первый день пасхи - и в первый же день новой их встречи, - мать, по обычаю, произнесла "Христос воскрес!" Привычные слова наполнились особым смыслом.

Сразу после пасхи Мигурские взялись за новую серию писем - к Перовскому, к Бенкендорфу, к Фикельмону. Все они были, конечно, переписаны, подписаны и разосланы Альбиной, но сочиняли вместе. Винцентий не сохранил их копий и в воспоминаниях своих ни одного из этих важных посланий не помещает. Но в архивном деле они имеются - частью в оригиналах, частью в последующих воспроизведениях. Мы их уже приводили, а вы - читали.

На Урале таял лед. Река очищалась. Выполняя циркулярное предписание начальства, из какой-то станицы в четырехстах верстах ниже города сообщили, что к берегу прибило утопленника. Увы, кто-то обнаружил, что был утонувший казахом...

И все-таки настал день, когда разрешение на выезд Альбины пришло. Правда, с оговоркой: в сопровождении и под наблюдением казачьего урядника.

Накануне отъезда, ночью, под проливным дождем и в сплошной темноте, Винцентий, переодетый в женское платье, а вместе с ним Магдуса, отправились к кладбищу за гробиком первой из умерших дочерей. Тела детей Мигурские решили увезти с собою.

Не обошлось без курьеза: на них натолкнулся пьяный солдат, по какой-то причине оказавшийся вблизи кладбища. Мигурский издал нечеловеческий крик, стал прыгать и скакать; сметливая служанка с уродливой фигурой сделала то же. Солдат мгновенно отрезвел и бросился наутек, сломя голову. Утром весь Уральск говорил о том, что на кладбище объявились привидения...

В тарантасе, загодя приобретенном взамен венской кареты, в которой Альбина прибыла в Уральск, были сделаны необходимые приспособления для того, чтобы удобно поместить там Винцентия, надежно скрыв его от глаз людских. Последнюю ночь, поскольку постель паковали, провел на чердаке - подальше от случайных взглядов.

спустился он для того только, чтобы проститься с Марией и ее матерью. Марию, писал впоследствии Магурский, "нельзя было от нас оторвать; рыдая, заходясь от плача, умоляла она взять ее с собою; уверенная, что теряет нас навсегда, не могла и не хотела допустить этого. Целуя меня, шепнула на ухо: "Ничего от тебя не желаю, только бы быть с вами..." Кончилось тем, что она без сознания свалилась на пол". Мать и Магдуса с трудом отвели ее домой. Вернувшись, служанка говорила, что Мария, рыдая, выражала сожаление лишь об одном - о том, что не может ехать со своими друзьями.

Выезжали перед рассветом, затемно, но Мария, услышав колокольчик, прибежала проститься еще раз.

"О, достоправные уральские женщины, вы едва ли не первые доказали, что и прекрасному полу можно доверять важные тайны...", - восклицал Винцентий, воссоздавая свои впечатления в "Воспоминаниях". ... Итак, Мигурские отправились в места родные.

Но, обгоняя их, уже шла туда секретная депеша. Начальник штаба Отдельного Оренбургского корпуса спешил предупредить Каменец-Подольск:

"Польский мятежнический эмиссар Винцентий Мигурский, определенный в 1836 году по конфирмации г. главнокомандующего Действующею армиею рядовым в Оренбургский линейный N 1 батальон, расположенный в г. Уральске, 9 ноября 1839 года скрылся из Уральска, оставив на имя исправляющего должность наказного атамана Уральского казачьего войска полковника Кожевникова письмо, в котором, объясняя о намерении своем утопиться, просил покровительства жене своей и отправления ее к родным..."

(Приводим это послание и как итог раздумий-действий властей в течение восьми с лишним месяцев, и как необходимый "мост" к событиям последующим; тут, надо полагать, повторение просто неизбежно).

"... Но как сделанные тогда разыскания не подтверждали этого самоубийства, то, на основании высочайше утвержденного распоряжения г. корпусного командира, жена Мигурского Альбина задержана была в Уральске, впредь до удостоверения в действительности самоубийства мужа ее, об отыскании коего тогда же по высочайшему повелению сделано было особое распоряжение".

(Сколько за ними - эпически спокойными, совершенно бесстрастными словами - мук и горя этой самой "жены Мигурского!")

"... Так как задержанная в Уральске жена Мигурского неоднократно обращалась с просьбами о дозволении ей отправиться с просьбами о дозволении ей отправиться к родственникам своим в Каменец-Подольскую губернию и об оказании ей по бедному состоянию денежного пособия на проезд; сведений же, которые подтверждали бы предположение о побеге Мигурского, доселе не получено, - то я представлял об этом на благоусмотрение г. военного министра, который от 24 минувшего мая за N 303 уведомил г. корпусного командира, что по всеподданнейшему окладу Государю Императору представления моего, Его величество всемилостивейше дозволил отправить Мигурскую в Каменец-Подольск, выдав ей на проезд прогоны и подвергнув ее там полицейскому надзору".

И, наконец, самое главное -

"В исполнение таковой высочайшей воли предписав исправляющему должность наказного атамана Уральского казачьего войска отправить Мигурскую в Каменец-Подольск в сопровождении благонадежного урядника или казака, с выдачею подорожной и прогонов в передний путь на три, а обратно, посланному, на две лошади, я за отсутствием г. корпусного командира имею честь уведомить об этом Ваше превосходительство, покорнейше прося Вас, милостивый государь, по доставлении Мигурской в Каменец-Подольск не оставить

зависящим распоряжение о принятии ее под полицейский надзор и возвращении в Уральск посланного с выдачею ему надлежащей квитанции..."

Власти оренбургские передавали эстафету каменец-подольским.

А вот и о самом отъезде - рапорт полковника Кожевникова:

"... Жена рядового Мигурского отправлена в Каменец-Подольск 13-го числа при уряднике Еремине, которому выдано на прогоны: туда на три, а обратно на две лошади двести десять рублей семьдесят пять коп. серебром и кормовых уряднику пять рублей семьдесят одна коп. и три седьмых серебром..."

13 июня 1840 года начался этот путь на запад.

... Мы снова обратились к делу N 11604 в Оренбургском государственном архиве.

Глава шестая, о том, как произошла катастрофа

*Как это бывает в предсмертные и вообще решительные минуты, она в одно мгновение почувствовала и передумала бездну чувств и мыслей и вместе с тем не понимала еще, не верила своему несчастью...
- За что, за что?! - скрикнула она и, закатившись истерическим хохотом, упала на снятый теперь с козел и стоявший у тарантаса ящик...*

Лев Толстой. "За что?"

С документа в том же архивном деле начинаем и главу следующую.

Итак, полные надежд Мигурские выехали из Уральска.

Прошло несколько дней - и вот...

"Рапорт. Урядник Еремин, который был послан для препровождения рядового Мигурского, поймал мужа ее, скрывавшегося у ней в экипаже, под ногами, не доезжая до города Петровска версты три и представил его тамошнему городничему; оттуда же возвращен в Саратов, а после господином военным губернатором отправлен в Уральск..."

Поимка произошла 17 июня, на четвертые сутки пути.

Данила Васильевич Еремин был исправным лужакой. В службе к тому времени он состоял уже четырнадцать лет, никаких замечаний, а тем более взысканий, не имел, получил чин урядника и готов был, не задумываясь, отдать жизнь за "веру, царя и отечество". Это и составляло смысл существования 32-летнего казака Уральского казачьего войска.

Полковник Кожевников, командуя его для сопровождения Мигурской в Каменец-Подольск, приказал - письменно и устно - ехать возможно быстрее, остановки делать лишь для ночлега, с полькой обходиться вежливо.

Прямо от полковника Еремин отправился к Мигурской. Оказалось, что и она готова к выезду, но предпочитает отправиться в путь на рассвете следующего дня. Почтовые лошади были уже запряжены; Мигурская сидела в экипаже ("вроде тарантаса, на рессорах с откидным верхом и фартуками, довольно поместительном", как описывал его еремин впоследствии); справа разметилась служанка, отправлявшаяся в дорогу вместе со своей госпожой. Их провожали два солдата-поляка, по фамилиям уряднику не знакомые. Они держали наготове бутылку с вином, коим хотели попотчевать и казака, но тот, по его словам, отказался.

Несколько минут заняла укладка дорожных вещей самого Еремина. Тут случилась небольшая заминка: свою саблю он хотел положить в повозку, однако Мигурская решительно воспротивилась такому вторжению, и ему пришлось укладывать саблю на козлы. Там же, на козлах, разместился он сам.

Лошади тронулись, оставив провожатых у ворот.

Еремин рассказывал, что Мигурская пожелала ехать не почтовой, а проселочной дорогой, которая значительно сокращала путь, но усложняла условия передвижения. Урядник согласился. На протяжении всего пути женщина не покидала экипаж ни на минуту. Тарантас был наглухо закрыт фартуками; небольшое отверстие для воздуха прикрывалось платком. Еду на остановках носила служанка.

Сначала, по словам Еремина, он ничего подозрительного не замечал. Но вот к вечеру четвертого дня, когда экипаж приближался к городу Петровску, примерно в трех верстах от этого города, урядник вдруг услышал негромкий мужской голос. "Слышишь?" - тихо спросил урядник у ямщика. Тот кивнул головой. Зарядив пистолет, Еремин дал ямщику знак остановиться и спросил Мигурскую: кто в экипаже? с кем только то вела беседу? Женщина пришла в замешательство. "Никого нет", - ответила она. Но под днищем тарантаса урядник легко обнаружил неизвестного ему мужчину.

"Я спросил: что он за человек и не он ли Мигурский? - давал показания казак. - На что он сказал: "Молчи,

урядник, я тебе 6 тысяч рублей дам". - Я сказал, что не хочу от него и 6 миллионов, что я доволен царскими милостями и велел ямщику подавать веревку, чтобы связать, но Мигурский с бешенством закричал: "Не смей, или сам погибнешь! Ты сам положил меня в повозку и везешь с собою четвертый день!" Потом схватил меня за грудь, прихватив и бороду, разорвал на мне шнуры. Видя такое сопротивление, я ударил его стволом пистолета по голове..."

Так описывал "происшествие" урядник еремин. А вот как излагали дело чины покрупнее.

Саратовский губернатор генерал-майор Власов - министру внутренних дел:

"Городничий города Петровска Саратовской губернии препроводил ко мне, под надзором квартального надзирателя, задержанного в г. Петровске по подозрению, одетого в женское платье неизвестного мужчину, ехавшего на почтовых из уральска в экипаже жены рядового Мигурского, которая препровождалась Уральского казачьего войска урядником Ереминым с девкою..."

Задержание неизвестного и снятые допросы: с него, Мигурской, служанки, казака и ямщика - открыли следующее:

Не доезжая трех верст до г. Петровска, казак Еремин, сидя на козлах с ямщиком, услышал разговаривающих в закрытом тарантасе; хотя негромко, но ему казалось, слышит голос мужской; на это казак обратил внимание ямщика и когда сей последний подтвердил, что и ему послышался голос мужской, то казак отстегнул фартук тарантаса и увидел мужчину, сидевшего у ног Мигурской под ее платьем, - жтому мужчине приказал казак выйти и спросил: кто он таков? - но мужчина вместо ответа просил казака молчать, обещал дать ему денег до 6 т. рублей и даже более; как казак на это предложение не согласился, то мужчина ухватил было казака за бороду и воротник и намеревался, выскоча из повозки, бежать, но подъехавшие крестьяне помогли казаку усадить неизвестного в тарантас и проводили всех их до г. Петровска; здесь казак представил конвоированных им арестантов городничему и изъясил вышеизложенное.

По разысканиям городничего обще с уездным стряпчим и снятым допросам; с неизвестного, Мигурской, служанки, казака и мящика - оказалось следующее:

1. Неизвестный мужчина есть Винцентий Мигурский, рядовой 1-го Оренбургского батальона, действительно эmissар польских мятежников, тот самый, который поименован в циркулярных Вашего сиятельства предписаниях N 388 и N 470 от 9 и 21 декабря прошлого 1839 года.

2. Мигурский сознался, что 9 ноября прошлого 1839 года действительно оставил он в канцелярии войска Уральского письмо на имя полковника Кожевникова и, будучи терзаем стеснительным положением своим и жены, точно решался тогда броситься в реку и утопиться, но, идя к уралу, пожелал в последний раз видеть жену свою и для того возвратился на квартиру, что в самую эту минуту возродилась мысль бежать с женою, полагая, что его считать будут усопшим; зная, что неминуемо о нем последует розыск, он, скрытно пробравшись в чулан квартиры его, пробыл в нем следующие ночь и день; с наступлением же другой ночи вошел в комнату и уговорил жену свою к побегу с тем, чтобы она наперед испросила у начальства дозволения отправиться на родину; что по письмам жены его к г. Кожевникову, Оренбургскому военному губернатору и его сиятельству графу Бенкендорфу началась переписка и продолжалась более семи месяцев, и до получения 13 числа сего месяца разрешения он скрывался в комнатах своих так, что кроме жены его и служанки никем не был видим; что 14-го сего месяца рано поутру, по уложении всего имущества в тарантас, он, никем не замеченный, забрался под козлы и прикрылся фартуком; потом приведены были почтовые лошади, и он с женой, служанкою и конвоировавшим их казаком отправились в путь, доехали до г. Петровска, где и были задержаны. Мигурский присовокупил, что проехали они более шестисот верст в продолжении четырех суток; никто его не заметил потому, что тарантас всегда был закрыт; под городом же Петровском усмотрел он, что доска от козел начала ломаться; опасаясь вреда, он во время сильного дождя начал советоваться о починке козел с женой, в это время урядник услышал голос его, поднял фартук и открыл его в тарантасе.

3. Показание Мигурского подтвердили жена его и служанка.

Цель побега, по показанию Мигурского, была та, чтобы, отвезя жену свою в Галицию на родину, - самому отправиться в С. Петербург, явиться к Его императорскому величеству и открыть важную тайну, содержание коей он здесь никому не объявит.

При Мигурских найдено несколько писем на французском и польском диалектах, которые езе не рассмотрены.

Сверх того оказалось при них два заклеенных ящика, в которых, по показанию Мигурских, находились тела двух умерших в Уральске младенцев - детей их; по осмотре ящиков тела преданы земле по обряду римско-католической церкви.

По доставлении ко мне вчерашний день Мигурского, я призвал его в особую комнату, где ласковым обхождением хотел ободрить его и тем заставить открыть ту тайну, о которой он в допросе показал; видя же его намерение молчать, которое, впрочем, приписываю болезненному состоянию и всему с ним случившемуся, я призвал к убеждению его местного римско-католического священника и надеюсь, с помощью его, убедить Имгурского объясниться чистосердечно.

Как Мигурский болен, жена же его совершенно расслаблена, то я и принужден оставить их здесь до выздоровления. Они содержатся под строжайшим караулом, сам же Мигурский в железзах.

О задержании Мигурского я уведомил господина Оренбургского военного губернатора.

О чем Вашему сиятельству честь имею донести с присовокуплением, что предполагаю отправить Мигурского, жену его и служанку к господину Оренбургскому военному губернатору, ежели до выздоровления их не получу предписания Вашего сиятельства о другом для них назначении".

**Генерал-майор
21 июня 1840 г."**

Власов.

... Замысел оказался разрушенным.

План спасения потерпел крах.

... Но пусть снова заговорит Винцентий Мигурский, пусть он сам воскресит обстоятельства своего бегства и своей поимки.

Все было и так, и не так, как излагал Еремин, которому во что бы то ни стало нужно было снять с себя подозрения в халатном отношении к исполнению прямых обязанностей.

По словам Мигурского, он скрывался в тарантасе под козлами: углубление оказалось достаточным для того, чтобы спрятаться. Впрочем, в пути можно было расположиться более удобно: лечь вдоль тарантаса, головой на подушку рядом с Альбиной. В дороге Винцентий питался сыром, колбасой, хлебом - иными словами, всухомятку. От этого и от жары его мучила жажда. Большого чайника, который служанка наполняла водою на стоянках, едва хватало. Альбина из тарантаса не выходила, чтобы туда не могли заглянуть: так ей было спокойнее и за мужа, и за успех предприятия.

Никто, пишет Мигурский, не мог предугадать то, что случилось перед Петровским.

А произошло вот что.

Колесо тарантаса наскочило на дорожный камень, доски козел резко сдвинулись и Мигурский оказался придавленным тяжестью двух человек, сидевших наверху.

От боли и неожиданности Винцентий закричал. "Кажется все человеческие страсти: злость, ненависть, возбуждение, чувство мести, бешенство, все это сразу мною овладело и страшный крик из души моей вырвался", - вспоминал он впоследствии то роковое мгновение.

С разбитой головой, весь в крови - таким предстал Мигурский перед услышавшим крик Ереминым. Альбина лежала без сознания. Магдуся рвала на себе волосы и заламывала руки. Винцентий стонал от боли и пытался зажать рукою раны. Урядник выражал свои чувства, не выбирая слов "поизысканнее". Он тревожился только о себе, а потому стал тише, когда Мигурский, чтобы остановить поток казачьего красноречия, проговорил: уряднику, мол, беспокоиться не о чем, еще нагрядет за него получит. Еремин притих и, вероятно, стал обдумывать, как представить эту историю начальству. Нафантазировал он, как мы уже имели возможность убедиться, немало.

Отставной капитан Попов - городничий в Петровске - оказался человеком участливым. Узнав, в чем дело, он принял Мигурских "с непритворным сочувствием, выражал свои соболезнования, непрестанно кланялся" и, обращаясь к Винцентию, "просил не сердиться на него за то, что он прикажет заковать... в кандалы". Немало зевак с любопытством следило за ходом осмотра вещей. Когда обнаружили гробики с телами умерших детей, в толпе разнесся слух: схвачены трупоеды. Это вызвало шум и даже ярость. Попов, однако, сразу же поверил объяснениям задержанных и согласился гробы не вскрывать - отправить их, вместе с Мигурскими, в Саратов, где предстояло более доскональное разбирательство.

В Петровске супруги пробыли три дня - пока не пришел ответ на донесение, посланное городничим. На четвертый день их повезли в Саратов, где уже было приготовлено жилище. Мигурского немедленно доставили к Бартеневу, полицеймейстеру; тот повез арестованного к губернатору.

Строки из воспоминаний:

"В большом зале меня очень приветливо принял плотный, высокий господин; это был сам губернатор генерал-майор Власов, который, как я узнал, прослужив лет десять в Варшаве, довольно бегло говорил на нашем языке. Затем он провел меня к себе в кабинет, усадил рядом и попросил рассказать все подробности. Подали нам чай и трубки, губернатор весь превратился в слух, а я, откашлявшись, начал рассказывать. Когда дело дошло до умерших детей, он прервал меня и сказал, что уже дал распоряжение похоронить их по католическому обряду, ждет только ксендза Снарского, который этим займется. Ксендз появился, и губернатор дал ему инструкции, учитывая при этом мои пожелания. Далее губернатор сказал, что обо всем случившемся донести в Петербург. Он просил, чтобы Альбина не присутствовала на похоронах детей, а мне на то разрешение дал. Успокаивая меня в моем несчастье, губернатор заверил, что в его лице мы с женой нашли не сурового судью, а понимающего и сочувствующего человека. Подумавши немного, он спросил, почему я скрывался семь месяцев, когда все были уверены в моей смерти, и не воспользовался этим для побега. Я ответил ему так, как было в действительности: мы с Альбиной так боялись разлуки, что могли бежать только вместе, а не порознь..."

Губернатор выразил сожаление по поводу того, что должен держать арестованного в кандалах, но тут же пообещал заменить их более легкими, а к тому же - не отправлять в тюрьму. Пойманный беглец дал слово, что

не воспользуется этим для нового побега. На прощанье генерал попросил разрешения познакомиться с Альбиной.

На следующий день, в присутствии отца, тела младенцев переложили в один гроб. Карету с двумя парадно одетыми лакеями прислал местный помещик Бер. На похороны Мигурский ехал в ней вместе с полицмейстером. "... Волосы мои, не стриженные целый год, были так длинны, что спадали на плечи; лицо, семь месяцев не видевшее солнца и свежего воздуха, было настолько бледным, что когда женщины увидели меня входящим в костел и услышали звон кандалов, то почти все начали в голос рыдать. Признаюсь, что это обстоятельство отозвалось в моей душе. Сочувствие, столь очевидно выраженное, взволновало меня и воскресило надежду на лучшее будущее... На катафалке стоял гроб с моими детьми. Присутствующие часто, очень часто на меня оглядывались... Когда в этих взглядах я увидел не злобу, не ненависть или презрение, а, напротив, заметил сочувствие, скажу правду, что за все мои прежние мученья был вознагражден, ибо нашел людей, которые поняли смысл моих "преступлений".

За гробом шла огромная толпа. Урядника, который пытался мешать желающим участвовать в процессии, чуть не забросали камнями. Мигурский хотел идти вместе со всеми, пешком, но полицейский офицер, боясь новых эксцессов, попросил его не делать этого, а вернуться в карету. "После похорон ко мне подошло несколько мужчин и женщин; представившись, они просили взять их адреса, искреннейшим образом упрасивая, чтобы мы с женой ни о чем не беспокоились, так как все необходимое, в том числе для пропитания, будет нам доставлено. Поведением саратовцев я так был расстроен, что всем подряд пожимал руки и всех благодарил, не помня, кого именно и не зная, за что".

Вскоре после возвращения Винцентия с похорон, с визитом к Мигурским пожаловал губернатор. Перед Альбиной он рассыпался в извинениях за то, что вынужден поступать с супругами не так, как ему хотелось бы, а так, как повелевает долг службы. Затем между ними завязалась светская беседа, в которой оба они (так вспоминает мемуарист) "в равной мере проявили хорошее воспитание и высокое умственное развитие".

От момента губернаторского визита и до самого отъезда из Саратова дом, в котором поселили Мигурских, стал местом паломничества горожан. Они всячески старались развлечь супругов, делали им подарки, оказывали другие знаки внимания. "И разве можно было не растрогаться от того сочувствия, которое мы встретили у саратовцев?!"

Одной из наиболее частых посетительниц Мигурских стала госпожа Горохова. Винцентий называет ее милой и хорошо воспитанной женщиной. Она не предавалась, как многие другие, обычному светскому пустословию, а вполне серьезно уговаривала Мигурского бежать, обещая при этом всяческую помощь. При расставании Горохова упала на колени перед Альбиной и возволнованно просила ее благословения. "Кто знает, - говорила она, - может быть потомство оценит все страдания, перенесенные этой слабой женщиной, и признает ее святой".

В течение двух месяцев оставались Мигурские в Саратове. Окруженные сочувственным вниманием его жителей, они и сами стали надеяться на то, что царь простит их, освободит от наказания, позволит вернуться на родину.

Надежды были напрасными. Потом, в Оренбурге, Мигурский узнал, что донесение саратовского губернатора Николаю I читали в присутствии придворных. Статс-дамы прослезились, волнение охватило всех, сам же царь пришел в ярость. Он кричал о преступной мягкотелости, о телах детей, которых Мигурские "не пожелали" оставить в русской земле, о том, что власти на местах способны проглядеть все, и требовал наказания, наказания, наказания - в устрашение любого, кто впредь позволит или задумает себе такое.

На рассвете 6 августа Мигурские отправлялись в обратный путь. Их сопровождали два жандарма, но ехали они в отдельной повозке. Несмотря на очень ранний час, в окнах было много людей, знакомых и незнакомых - они посылали прощальные приветы отъезжающим. Под ноги лошадей летели цветы.

Рассказывая об этом, Винцентий впоследствии писал: "О, благодарю тебя, достославный город, воспоминание об этих днях не покинет меня никогда! Жители твои примирили нас с человечеством, ибо до того времени нам, недостаточно опытным, казалось, что вся Россия одинаково бежжалостна..."

Дорога снова вела их в Уральск.

А в Оренбурге, не теряя времени, начали новое следствие. Что произошло - это уже знали. Как произошло? Каким образом? Что повинен?

Из штаба корпуса - полковнику Кожевникову

Усматривая из показания урядника Еремина, что при отъезде его с Мигурской из Уральска он видел в квартире ее двух поляков, покорнейше прошу Ваше высокоблагородие приказать, по указанию Еремина, удостовериться, кто именно были эти поляки и потом, рассадив их по разным местам, допросить их: не было ли им известно пребывание Мигурского, зачем они приходили к Мигурской и проч. Если же ничего подозрительного, по показаниям их, за ними не окажется, то, не заключая их под стражу, учредить за ними тайный полицейский надзор; в последующем же, с приложением показаний, не оставьте меня уведомить.

Начальник

штаба

генерал-майор

Рокоссовский.

18 июня 1940 года.

Из военного министерства - командиру корпуса

Шеф жандармов доводит до высочайшего сведения сообщенные ему управляющим министерством внутренних дел обстоятельства, сопровождавшие задержание беглого рядового Оренбургского линейного N 1 батальона Винцентия Мигурского...

... Его величество высочайше повелеть соизволил: уряднику Еремину выдать в награду пятьсот рублей ассигнациями и вместе с тем произвести по распоряжению Вашего превосходительства строжайшее исследование, каким образом Мигурский, скрываясь столь долгое время в Уральске в квартире жены своей, не был открыт местною полицией, обратив при том внимание на двух рядовых из поляков, провожавших Мигурскую при выезде ее из уральска, и как при сем исследовании необходимо присутствие Мигурских, то доставить их вместе со служанкою под надежным конвоем в уральск, а самого Мигурского сверх того скованным...

Военный министр генерал-адъютант граф Чернышев.
29 июня 1840 года.

В деле N 11604 сохранилось нечто вроде "плана действий", которым должно было руководствоваться следствие. В нем значилось:

"К открытию укрывательства рядового Мигурского необходимо нужно дополнить дело, произведенное по этому предмету, следующими обстоятельствами:

1-е. Отобрать подробные показания от рядового Мигурского, его жены и находящейся у них в услужении девки Закжевской относительно места, где укрывался Мигурский, без каковых показаний нельзя сделать заключения о лицах, надзору коих подвергнута была жена Мигурского.

2-е. Спросить частных приставов Кирилова и Буренина и квартальных надзирателей, находились ли они, по неперменной своей обязанности, во время выпровождения Мигурской из города уральска и осматривали ли экипаж, в котором она следовала, если же нет, то по каким причинам.

3-е. Отобрать объяснения от полковниц Аничковой, Логиновой, войсковой старшины Темниковой, есаули Сычуговой с матерью и сестрой в том, что не заметили ли они в квартире Мигурской укрывавшимся мужа ее.

4-е. Допросить урядника Еремина, каким образом открыт им Мигурский укрывающимся в экипаже жены своей.

5-е. Перевести имеющееся в деле с польского на российский диалект письмо от унтер-офицера Бетлейчика к жене Мигурского, спросить противу оного Бетлейчика, равно и о том, не известны ли ему были укрывательство Мигурского и выезд его с женою из Уральска.

6-е. Истребовать от полковника Аничкова сведения, о которых упоминается в рапорте войскового старшины Матвеева за N 45, а от командующего 22-й пехотной дивизиею следствие, произведенное о небезызвестной потере Мигурского, для присоединения к настоящему и должного по оному соображения".

Рапорт... другой... третий...

Что произошло - понятно.

А вот как?

Глава седьмая, вводящая в ход следствия и завершающаяся приговором военного суда

*Мигурского судили и приговорили за побег
к прогнанию сквозь тысячу палок. Его родные
и Ванда, имевшая связи в Петербурге, выхлопотали ему
смягчение наказания, и его сослали на вечное поселение
в Сибирь. Альбина поехала за ним.
Лев Толстой. "За что?"*

Жандармы, препровождавшие Мигурских из Саратова в Уральск, доставили супругов прямо в полицию.

Полицмейстер Логинов, принимая Мигурских, обрушился на беглеца каскадом брани. Но тот сразу же осадил полицейского начальника и заставил его прекратить оскорбления.

Терять винцентию было нечего, и он всем своим видом, всем поведением подчеркивал непреклонную решимость уберечь от посягательств то последнее, то единственное, что не могли у него отнять, - честь личную

и честь жены.

Альбину со служанкой отправили в тот же дом, в котором они жили до отъезда. Мигурского отвели под конвоем на гауптвахту - заточение, как понял сразу, должно быть долгим и строгим.

Всякими правдами и неправдами узник ухитрялся узнавать, что происходит за стенами каземата, как, в каком направлении подвигается следствие. Более всего, казалось, тревожила его судьба тех, кто способствовал побегу. Привлекли к ответу старого, больного Левинского. Под угрозой наказания был Михал Сенкевич - повстанец 1831 года, хороший, верный товарищ. На первом же допросе в Уральске Мигурский заверил, что ни Левинский, ни

Сенкевич о его намерении бежать не знали и не подозревали; твердо стоял он на своем и во время очной ставки. В результате того и другого из-под ареста освободили.

Как мог, Винцентий старался облегчить положение Альбины и Магдуси. Твердил одно и то же - действительно шел к Уралу, чтобы утопиться, но прорубь замерзла, нужен был инструмент, отправился за ним домой. Но тут, увидев жену, отказался от своего намерения и решил предпринять попытку побега. Решил сам, никакого предварительного сговора с женой и прислугой не было.

В допросах проходили день за днем. Альбина, вместе с Марией, которая во всем ей помогала, нашли лазейки, через которые поддерживали с Мигурским связь - связь постоянную и надежную. Винцентий исправно получал от них еду, белье, бумагу и все другое, ему необходимое. Туда и обратно шли записки, письма. Так продолжалось на день и не два - довольно долго. Пока не сообщил куда следует какой-то соглядатай. Внезапный обыск подтвердил его донос. Заслон стал гораздо строже. Мигурскому пришлось довольствоваться и арестантской пищей, и арестантским бельем. Что касается записок, то их все-таки умудрялись передавать - не так часто, как прежде, но все же достаточно исправно.

В один из дней под дверь камеры Мигурского был подсунут листок, исписанный почерком Марии.

Он прочел:

"Утром тебя вывозят в Оренбург, чтобы предать военному суду. Альбина остается здесь. Все средства употреблены, чтобы тебе позволено было с ней попрощаться, но все оказалось тщетным. Попробуй сам, проси, добивайся, может быть ты окажешься счастливее. А я уверена только в том, что та, которая это пишет, была, есть и будет самой несчастной из живущих. М".

То была записка и доброго друга, и любящей женщины. "Читая эти слова, - вспоминал много лет спустя Винцентий, - я впервые понял, какие чувства ко мне были скрыты под ее дружбой..."

Свидания с женой, несмотря на самые настойчивые его просьбы, Мигурского не разрешили. Но предприимчивая Мария, точно узнав о времени отправки арестанта, ушла с Альбиной на окраину города и там, украдкой, они смогли увидеть близкого их сердцам узника, смогли хотя бы издали, знаками попрощаться с ним.

Мигурского везли дорогой, которая была, можно сказать, исторической. По ней следовали в ссылку многочисленные представители различных общественных, национально-освободительных движений - русские и поляки, украинцы и греки, крестьяне восстания 1773-1775 гг. "Проезжая через Озерную, - писал потом Мигурский, - я ночевал в доме, в котором известным Пугачевым был убит комендант этой крепости Крылов; жена его только мольбами спасла себя и четырехлетнего сына, а из него позже вырос знаменитый русский баснописец, на памятник которому была объявлена подписка". В записи многое от легенды (хотя действительно, отец Крылова участвовал в боях против Пугачева, а будущий коассик русской литературы помнил дни пугачевской осады Оренбурга и даже рассказывал о них Пушкину). Но и впрямь станица Озерная была связана с Пугачевщиной, а приведенные мумиеарные строки убеждают в том, что Мигурский интересовался всем этим довольно живо.

И вот - центр края, Оренбург. А в нем - комендантское управление, или ордонансгауз. Плац-адъютант Лукин, а затем и плац-комендант Халецкий расписались в принятии доставленного арестанта. Его судьба отныне была вручена им.

Снова обратимся к документам из архивного дела N 11604.

Господину коменданту Отдельного Оренбургского корпуса

Рапорт Начальника штаба

Исправляющий должность наказного атамана Уральского войска полковник Кожевников представил ко мне следствие, произведенное над рядовым линейного Оренбургского батальона N 1-го Винцентием Мигурским. ... Сделав распоряжение о предании Мигурского суду при Оренбургском ордонансгаузе, ... имею честь донести об оном, присовокупляя, что как по этому следствию обвиняется и жена Мигурского Альбина, в укрывательстве его и в тайной с ним переписке, а из донесения полковника Кожевникова видно, что она беспокойного характера, а из донесения полковника Кожевникова видно, что она беспокойного характера, то для пресечения ей сношений с мужем, которые может иметь при предании ее в Оренбурге суду, я полагаю бы поступок Мигурской вместе с нею передать в экстракте на законное постановление в Бузулукский уездный суд...

Генерал-майор

Рокоссовский.

29 октября 1840 года.

Ограничимся здесь, однако, лишь этой официальной бумагой - в переписке властей по поводу Мигурских и совершенного ими "преступления" одной из многих.

Об Альбине речь пойдет далее. Пока на первом плане у нас винцентий - над ним суд уже совсем близок. ... В ордонансгаузе судили многих.

Старожилам города, основанного сто лет тому назад, особенно памятен был процесс над молодыми офицерами - членами тайного общества, дерзнувшими в двадцатых годах записать в Уставе своего содружества:

"I. Оренбургское тайное общество составлено с целью политической.

II. Цель его есть изменение монархического правления России и применение лучшего рода правления к выгодам и свойствам народа для составления истинного его благополучия..."

В организацию проник провокатор и она оказалась разгромленной. В 1827 году офицеров судили и расправились с ними так же безжалостно, как за год до того с участниками восстаний в Петербурге и Василькове - членами тайных обществ декабристов, встретившиеся с ними в Сибири, на каторге.

Есть книга - "Записки Несчастливого, содержащие Путешествие в Сибирь по канату". Ее автор - один из организаторов Оренбургского тайного общества Василий Павлович Колесников (рассказы Колесникова записал и литературно обработал видный деятель движения декабристов В.И. Штейнгель). На страницах книги мы находим яркие описания и суда в ордонансгаузе, и приведения приговора в исполнение.

В книге, между прочим, упомянут Халецкий - тогда адъютант батальона, а теперь плац-комендант. Отчим Колесникова, он глубоко переживал то, что случилось с Мигурским.

Перед судом Винцентий был тверд. Присутствие духа его не покидало. Он решительно отвергал все наносное. Например, утверждения Еремина о том, что при поимке пытался подкупить урядника, обещая ему шесть тысяч рублей (казак, желая представить себя в лучшем свете, всячески подчеркивал и героизм свое, и бескорыстие). Снова и снова отводил подсудимый всякого рода подозрения в том, что в осуществлении задуманного супругам помогали ссыльные поляки и некоторые другие жители Уральска. Нет и нет, заявлял он, беря на себя все.

Судьи никак не могли поверить, что в течение многих месяцев Мигурский скрывался в доме, где постоянно бывали люди, и ничем, никак себя не выдал.

В некоторых из допрашивавших подсудимый обнаружил очевидное сочувствие к нему; их поведение, писал он впоследствии, "отличалось подлинным пониманием, деликатностью и ощущением, что если бы зависело от них, то они велели бы меня освободить".

Когда был задан вопрос о его претензиях, его просьбах, Мигурский выразил одно-единственное желание: получить разрешение написать письмо жене, томившейся неведением в Уральске. Он просил об этом очень взволнованно и просьба его дошла до судей. На следующий день презус военного суда полковник Кизерицкий, проконсультировавшись с кем следовало, испросив соответствующие распоряжения свыше, заявил Мигурскому, что ему следует обратиться с личным письмом к генералу Рокоссовскому, вершившему в отсутствие Перовского все дела в корпусе и в губернии.

Советом Винцентий воспользовался. Письмо на имя Рокоссовского было отослано без промедления.

Генерал ответил на этот раз согласием.

После продолжительного перерыва Мигурский получил, наконец, возможность обратиться к той, о которой думал, тревожился на протяжении всего этого времени, всегда и везде, каждый день и каждую минуту.

Строки письма дышали нежностью и беспокойством. С нетерпением ждал он ответа.

Его не было. Альбина тоже продолжала молчать.

Почему? Что случилось? Жива ли?..

Она была жива, квартировала в том же доме казака попова и непрестанно думала о Винцентии, его и их судьбе, его и их будущем.

Альбина писала сестре Винценте и брату Антонию - убеждала выехать в Петербург, добиться аудиенции у царя, просить, хлопотать, умолять о возвращении Мигурским свободы и права вернуться на родину. Не ей самой, а именно им - ни на мгновение не могла она и подумать о разлуке с тем, кого любила и кому была предана более всего на свете.

Снова и снова возвращалась Альбина к начатому ею письму к шефу жандармов Бенкендорфу, вкладывая в него слова особой убедительности, формулируя доводы, которые должны были растопить даже самое черствое сердце.

Письма до адресатов не дошли. Как это случилось, сказать трудно. Альбина надеялась на помощь Марии и ее матери - самых близких к ней людей в Уральске, но... оказались эти бумаги в следственном деле. Скорее всего, были перехвачены при отправке.

Она этого не знала. Она ждала и надеялась.

Чувствовала себя Альбина плохо. Здоровье, и без того не крепкое, очень пошатнулось в результате житейских передряг последних месяцев.

Однажды у нее случилось кровохарканье. Неужели подходит роковой час? Неужто суждено умереть на

чужбине, вдали от близких, от Винцентия?

Снова письма - в разные адреса. Что еще могла она предпринять, живя, без права выезда, в Уральске, не имея никакой связи с мужем, постоянно ощущая на себе настороженные взгляды уже промахнувшихся однажды надсмотрщиков?

Вот еще несколько листов из архивного дела N 11604 - ее письмо и переписка о ней.

Альбина Мигурская - губернатору Перовскому

... Долгое время не имея сношений с отечеством и родными, давно лишилась я последнего состояния... Два месяца я кое-как содержала себя распродажей имущества и небольшими займами, ожидая всякую порчу пособия из дому. Но когда последний скудный запас истощился, то, не имея более других средств к содержанию себя и, находясь в болезненном состоянии, я вынуждена была в отсутствии г. атамана Кожевникова обратиться к исправляющему его должность полковнику Бизянову, прося из казны денежного займа на свое содержание и лекарства, с обязательством уплатить долг при получении отправленных мне денег.

На сие через две недели поступил ответ, что об этом писано было в Оренбург, но в просимом денежном пособии мне отказано.

Начальству (чрез которое посылаю письма на родину) известно, что неоднократно я писала о присылке мне денег, как равно известно из писем с моей родины, здесь задержанных, что в Каменецкой почтовой экспедиции год уже как лежат адресованные нам деньги и что почтмейстер для высылки сих денег ожидает верного известия о моем местопребывании.

Но сообщение прекращено, и я, не имея власти распоряжаться собой и своими письмами, не имея ни помощи от правительства, ни даже средств к получению собственных денег, принуждена терпеть крайнюю нужду.

Повергая себя попечительству Вашего превосходительства, осмеливаюсь утрудить Вас всепокорнейшею просьбою - приказать выдать на содержание моего несчастного мужа сто рублей с тем, чтобы эти деньги, как и мне самой разрешенное денежное пособие, были бы удержаны из присланных нам денег.

... Горестное мое положение не может быть чуждо Вашим чувствам, чтобы я сочла нужным распространяться о важности этой милости...

На письме - вернее, переводе письма с французского - дата получения его губернаторской канцелярией: 18 апреля.

И тут же собственноручная резолюция начальника края:

"Выдать сто рублей из суммы для бедных, а касательно просьбы ее о соединении с мужем, то объявить, что после происшедшего она потеряла всякое право на подобное снисхождение".

Эта категорическая резолюция, без всякого смягчения, была передана в Уральск, где ее и объявили Альбине Мигурской. Что касается ста рублей, то их записали в расход "на благоугодное и полезное"...

Губернатору Перовскому - от Винценты Висневской

... Сестра моя Альбина... проживает в г. Уральске, и ей не позволен выезд на родину... Не получая ответа на свои письма, я сомневаюсь, действительно ли она находится в живых и дошли ли мои письма с деньгами и посылки в ее руки... Не получая от нее писем более года, я оплакиваю ежедневно ее участь и не знаю, куда и к кому обратиться. В связи с этим я и осмелилась всепокорнейше просить Ваше высокопревосходительство сделать распоряжение об уведомлении меня: жива ли она и где именно находится ныне, а также позволить ей написать мне хоть несколько строк. Сжальтесь над нашей участью, прикажите чрез кого следует истребовать надлежащие сведения и меня, прямо на имя мое, уведомить...

Винцента - Альбине

Дражайшая моя сестрица! Не имея более года никакого о тебе известия и не получая ответов на неоднократные мои письма, не только к тебе, но и ко многим лицам, живущим в Уральске, о которых только слышала, ... я вынуждена обратиться с просьбою к Его превосходительству г. Оренбургскому военному губернатору, чтобы он благоволил тебе написать к нам хоть несколько слов...

... Три месяца тому назад я писала к тебе и послала 25 рублей серебром, но не знаю, получила ли ты их; теперь снова посылаю при письме такое же количество денег и надеюсь, что по получении их ответишь мне, что с тобой делается, и что является причиною твоего молчания.

Я кроме всех просьб, какие принесла уже Русскому правительству для получения верных о тебе сведений, подала еще прошение и к нашему губернатору, чтобы он сделал о тебе, как об австрийской подданной, формальное сношение с объяснением, что возвращение твое в Галицию, для окончания семейных дел касательно имения, непременно нужно.

Я уверена, что правительство наше не откажет в своем ходатайстве, а ты тем временем, со своей

стороны, проси дозволения написать в нам хоть несколько слов.
Целую тебя - твоя преданная сестра

Винцента Висневская

Оба письма помечены маем 1841-го, точнее - концом этого месяца.

Перовский ответил в конце июня: "Деньги препровождены". "Мигурской, - писал он, - никогда не воспрещалось иметь письменные сношения" и вообще все ее беды происходят "по собственной вине".

В общем та же резолюция, только выраженная другими словами.

Ни облегчения, ни даже просвета не наступало. Но главное, что терзало Альбину, - терзало более, чем нездоровье, - было отсутствие связи с Винцентием.

Сведения о нем доходили редко и случайно. Она давно не видела, не читала строк, написанных его рукою.

Сведения о нем доходили редко и случайно. Она давно не видела, не читала строк, написанных его рукою.

И снова склонялась Альбина над чистым листом бумаги. На этот раз ее послание обращалось к наследнику престола, великому князю Александру Николаевичу, который, как явствовало из газет, только что обручился с принцессой гессен-дармштадтской Максимилианой, будущей царицей.

"Ваше императорское высочество!

Дело наше слишком хорошо известно трону, чтобы я стала его подробно описывать. Исстрадавшаяся до предела, охраняемая вооруженными людьми, несчастная жена, разлученная с мужем, который заперт в темнице и над головой которого занесен карающий меч Вашего венценосного отца, я умоляю Вас о милости и поддержке!

Ваше императорское высочество, для Вашего юного и, без сомнения, чуткого сердца сегодня чувство любви не может быть чуждым! Счастливый, Вы не знаете еще сложных коллизий, которые заставляют особенно беспокоиться о предмете любви, когда, окруженный несчастьями, он становится во сто крат дороже..."

Много еще было в этом письме горячих слов, равнявшихся из самого сердца Альбины и обращенных не только к наследнику-цесаревичу, но и к его невесте, к сестрам, которые, как ей казалось, могут понять несчастных женщин, хотя и не родившихся в царствующей семье, но любящих своих супругов.

Письмо сыграло свою роль, только гораздо позже. В ближайшие же месяцы все оставалось по-старому. Надежда то угасала, то вспыхивала вновь.

В начале февраля 1841 года Мигурского доставили в суд. Ему было объявлено, что дело производством закончено и пункты обвинения суть следующие...

Их оказалось четыре: 1) уклонение от воинской службы, 2) укрывательство в продолжение семи месяцев в доме жены, 3) вывоз тел умерших детей, 4) тайная переписка в период нахождения под арестом.

Приговор гласил: лишение дворянства и шесть месяцев заключения.

"Желает ли подсудимый высказать какие-либо просьбы? Согласен ли он со всеми предъявленными обвинениями?" - спросил председательствующий, когда чтение приговора закончилось. Мигурский был так взволнован, что ничего на этот вопрос не ответил.

Только в камере он понял: его лишают свободы и чести, а, главное, по-прежнему обрекают на разлуку с Альбиной. Винцентий попросил бумагу и долго, взволнованно писал: прошение царю, письмо к Перовскому, обращение к высшей судебной инстанции в Петербурге.

"О, если бы те, от которых зависит окончание этого дела, а следовательно и соединение нас двоих, захотели бы вспомнить, какими горькими слезами будет оплакиваться каждая потерянная ими минута, отказались бы они от всяких светских удовольствий, оставили бы сыю и игрища, прогулки, охоту, театр, маскарады, биллиард, карты, балы, клубы, словом все, а поспешили бы окончить это несчастное судебное разбирательство, которое, - иного я не допускаю, - должно кончиться нашим с женой соединением..."

Так писал он петербургским судьям, в руки которых отныне переходило его дело.

Несколько дней спустя в тюремную камеру к Мигурскому пришли кузнецы - они явились для того, чтобы снять с него кандалы. Арестант связал это с действием своих просьб, высказанных в письмах, и стал с надеждой ожидать удовлетворения всех ходатайств.

Проходили дни, недели, месяцы, а ничего не менялось. По-прежнему не было писем от Альбины. И ему тоже не давали бумаги, чтобы он мог написать жене.

Как-то узнику стало известно, что Перовский, длительное время пробывший в Петербурге, возвратился. Чтобы добиться встречи со всемогущим начальником края, Винцентий придумал нечто оригинальное. Просидев много часов над гребнем из слоновой кости, он аккуратно нацарапал мголкой текст: "Господин генерал! Преследуемый человек имеет такие права, которыми другие не обладают; потому прошу прощения за обращение подобным способом и еще осмеливаюсь умолять Вас выслушать меня там, где Вам будет угодно". Гребень был запечатан в ранее подобранную и припрятанную обертку от табака. "Пакет", адресованный Перовскому, Мигурский вручил для передачи плац-майору, уловив момент, когда тот оказался в камере вместе с дежурными офицерами. "Что это?" - спросил плац-майор. "Не могу знать!" - по уставу ответил заключенный. "Они поняли, что я действую их же оружием и, забрав "пакет", удалились".

На следующий день к Винцентию пришел комендант Оренбурга генерал-майор Лифлянд. "Добрый этот старичок во время моего заключения был у меня несколько раз, просиживал часами и, разговаривая о разных вещах, выказывал мне знаки уважения и сочувствия..." В конце разговора, он, будто невзначай, спросил, что в пакете. Мигурский заверил, что ничего опасного, и вообще нарушающего предписания в нем, нет, но от дальнейших объяснений попросил извинить.

Перовский приехал. Войдя в камеру, он сел на кровать и пригласил Мигурского сесть рядом. Слушал внимательно.

"Довольно долго разговаривал я с губернатором по-польски, - читаем мы в воспоминаниях. - От него узнал, что саратовский губернатор написал Перовскому частное письмо, лестно отзываясь о характере моем и моей жены; рассказал мне также и о его (Власова) рапорте, который произвел впечатление на присутствовавших во время царского обеда, перед которым он читался; говорил также, что мое дело можно будет подвести под ожидаемую вскоре амнистию по случаю свадьбы тогдашнего наследника престола, а нынешнего императора Александра II. Уходя, губернатор сказал плац-майору, чтобы мне не запрещали писать жене, чтобы все мои желания, если они не противоречат тюремному уставу, выполнялись".

Как только принесли бумагу и перья, Винцентий стал писать Альбине. "Легко поймешь меня, дорогая и любимая жена, сколько адских мук я перенес, прежде чем добился, чтобы мне было дозволено написать тебе несколько слов... О, если бы ты знала, моя дорогая, насколько я счастлив сейчас тем, что могу писать тебе, ибо любовь моя к тебе совсем не обычна... Для тебя я всю кровь свою выцедил бы по каплям, не задумываясь отдал бы разрезать себя на кусочки, не поколебался бы пожертвовать вечностью... Не сомневаясь, что ты промедлишь ни минуты с ответом и сообщишь себе, об уже прошедших, как я надеюсь, родах, и о Магдусе, чтобы успокоить несчастного мужа и отца, которого неизвестность, ты видишь, угнетает немилосердно".

Ответ пришел через две недели. Как только плац-майор вошел в камеру с нераспечатанным конвертом, "бросился я на него, как тигр, вырвал из рук письмо. Когда вскрывал конверт, руки у меня тряслись, а слезы из глаз струились так обильно, что читать не давали. Видя это, плац-майор тоже расчувствовался, достал платок и стал вытирать глаза..."

"Нетрудно тебе будет представить, мой дорогой муж, как утешило меня твое письмо. Тем более, что перед его получением чаша мучений моих наполнилась до предела и я уже перестала верить, что еще существуют людская честь и божье милосердие! Тем более, что все это время я о тебе ничего не знала, даже не знала жив ли ты, мой любимый!.. Спрашиваешь меня о Магдусе; она со мной и здорова. Роды были в конце апреля, но Мечислав, родившийся у матери, перенесшей столько страданий, не мог жить долго. Прожив только три дня, он соединился со своими сестрами. Взяли его от меня, похоронили и около могилки поставили стражу, которая стоит, кажется, и до сегодняшнего дня, чтобы никто не мог выкопать его гробика и не отослал бы в Польшу (по воздуху, что ли?)..."

О, если бы ты знал, как переполняют и как мучают меня иногда тяжкие раздумья!.. Суди же по всему этому сам, насколько я несчастливая, но всегда любящая тебя жена!"

Манифест об амнистии, о котором Мигурский узнал от Перовского, был обнародован 16 апреля 1841 года. Он, бесспорно, касался и Мигурских.

Однако от наказания Винцентия не освобождали и вообще ни о чем арестанта не уведомляли.

Только 7 ноября узнику объявили высочайшую волю. Записанный в приговоре пункт о лишении дворянства был сохранен в силе. Остальное "всемилоостивейше" аннулировалось, и Винцентий... возвращался на военную службу, но с переводом в еще более отдаленные гарнизоны.

Местом службы был определен 13-й Восточносибирский батальон в Нерчинске.

О Нерчинских рудниках знали тогда все - там отбывали каторгу самые "опасные" для царя и царского строя "государственные преступники".

Мигурского отсылали туда "только" в солдаты.

... Встретиться перед отправкой в Сибирь с женой опальному "нижнему чину" не позволили.

Он знал: Альбина намерена следовать за ним. Но можно ли было допустить, чтобы она пустилась в такой далекий путь?

Сердце его рвалось к жене, в письме же он всячески отговаривал следовать за ним.

"Спаси, по крайней мере, душу, если уж тело спасти не возможно, моя дражайшая Альбина! Возвращайся на родину и там молись за наших врагов, ибо они, говоря словами Христа, действительно не ведают, что творят. К твоим незаслуженным страданиям до полного благословения тебе недостает только тернового венца, которого ты не удостоишься здесь, имея столько поводов для гнева сильных... Не беспокойся обо мне, моя дорогая, я смирюсь со своей судьбой и волей бога, буду жить мирно и, посвятив ему и тебе последний свой вздох, умру в убеждении, что бог нас не оставит, простит нас и соединит на том свете".

Уговоры не помогли.

Не было в природе таких слов, которые бы убедили Альбину отказаться от ее намерения - всегда, везде, при любых обстоятельствах находиться рядом и вместе с мужем, делить с ним все радости и все беды.

Но впереди еще был суд над нею.

С ним явно не спешили.

Без приговора же тронуться с места она не имела права.

Глава восьмая, содержащая рассказ о далеком и трудном пути наших героев в Забайкалье

Если бы Мигурского спросили: считает ли он возможным приезд к нему Альбины, он бы сказал, что это невымыслимо; в глубине же души он ждал ее...
Лев Толстой. "За что?"

В деле N 11604, на которое мы так часто ссылаемся, ближе к концу этой архивной подшивки, есть еще два письма, записанные рукою Альбины Мигурской и адресованные В.А. Перовскому.

Она писала уже не раз из Уральска - судебные дела привели ее в Оренбург. Мигурского успели отправить и, соединившись - решили власти - ее можно было судить не в Бузулукском уездном, а в Оренбургском суде.

Приводим выдержки.

"Около десяти дней гражданский суд проводил процесс по моему делу. Прошу Вас приказать вернуть мне необходимые свидетельства, чтобы дело было закончено и я могла получить свободу последовать за моим мужем. ... Мне очень дорого время. Только богу известно, что отказ в покровительстве может стоить мне последних сил, а, возможно, и жизни..."

Строки из письма следующего, отправленного чуть ли не вдогонку:

"... Мне сказали, что моя просьба была не совсем хорошо составлена и Ваше превосходительство не знает, какие свидетельства необходимы для моего дела. Вот почему я еще раз вынуждена Вас побеспокоить... Для решения моего дела необходимы: доклад, сделанный господином губернатором господину министру для получения мною законным путем разрешения вернуться в Австрийскую Галицию, паспорта из Петербурга... По этому поводу было послано письмо из уездного суда, но ожидание ответа оказалось тщетным, и судьи посоветовали мне искать покровительства в лице Вашего превосходительства. ... Приговор зависит от этих свидетельств. По получении их я смогла бы через два дня быть свободной и следовать за моим мужем..."

Первое из писем датировано 21-м января, второе - 22-м.

1842 года вступил в свои права - новый трудный год в жизни Мигурских.

События разворачивались чрезвычайно медленно - словно все царские чиновники сговорились не выпускать строптивую пленницу из своих лап.

Только 11 февраля Оренбургский уездный судья Туманов послал губернатору рапорт:

"Состоявшие... под судом жена рядового Винцентия Мигурского Альбина Матвеева и находящаяся у ней в услужении австрийского владения девица Магдалина-Парасковия Винцентиева-Закжевская, первая - за сокрытие беглого мужа своего и от погребения - тел умерших двух ее малолетних дочерей, а последняя - в содействовании ей в том, по решительному определению, составленному в 6-е число сего месяца,... учинены от дела свободными, и из них последняя, Закжевская, изъявила желание проживать в России и находиться при Мигурской.

О чем Вашему превосходительству уездный суд имея честь донести, покорнейше просит на свободное проживание Закжевской в России и нахождение при Мигурской снабдить ее письменным видом как иностранку, со включением в оный вышеизъясненную подсудность, которая приметями: 36 лет, росту малого, лицо рябовато и овальное, волосы темные, глаза бурые, особые приметы: горбатая..."

О тридцати рублях серебром, которые Мигурская обязывалась уплатить в качестве "судебных издержек", судья умолчал, хотя для Альбины перед долгой и трудной дорогой это была трата обременительная.

Но что могло сравниться с полученным ею, наконец, правом следовать за мужем и быть с ним вместе?

Винцентий, много лет спустя, сравнит Альбину с женою Сенеки, "которая добровольно лишила себя жизни, узнав, что ее муж должен погибнуть по приказу Нерона".

... Следуя в направлении Уфы, Мигурский вспоминал тех, кто в разные годы проходил и проезжал по этому тракту, препровождаемый дорогой неволи к местам своей изнурительной службы или долгой ссылки.

Познали ее многие: участники различных общественных движений последних десятилетий, крестьянских и солдатских бунтов, офицерских и студенческих кружков. Среди них были польские повстанцы разных лет: "филоматы", "черные братья" и другие. Винцентий знал об их делах; сами люди были известны ему не только поименно, но - некоторые - и лично.

Следовали Уфимским трактом и "оренбургские декабристы", о которых мы уже писали.

Названный раньше В.П. Колесников, описывая путь осужденных, посвятил взволнованные строки прощанию с Оренбургом. "Отойдя с версту от селения (Татарской Каргалы - авт.), мы поднялись на гору, и вдруг Оренбург с окрестностями своими представился нашему взору. Сквозь редяющий воздух виднелся город, а за ним расстилалась необозримая киргиз-кайсацкая степь. С неописанным чувством взглянули мы в последний раз на это вместилище всего, что нас привязывало еще к жизни. Несколько минут мы стояли неподвижно и не могли

оторвать своих взоров, отуманенных слезами. Внезапно пламенный энтузиазм любви к родине овладел нами, мы все вдруг схватили по горсти земли и клялись хранить ее при себе до конца нашей жизни вместе с благодарным воспоминанием о добрых наших согражданах. Взглянули еще раз, перекрестились и, сказав "прости!", пошли далее..."

Для Колесникова и его товарищей Оренбург был отчим домом, из которого они уходили в неведомое. Мигурский покидал город, с которым были связаны только беды, только страдания.

А впереди ждали новые тяготы и новые испытания - одно мрачнее другого...

До Уфы добраться удалось без особых происшествий и сравнительно быстро.

Адъютантом тамошнего линейного батальона (он тоже входил в Отдельный Оренбургский корпус) оказался соотечественник - поручик Важинский. История неудачного побега была ему известна. Мигурского он встретил радушно. Долго продолжались их беседы. Винцентия более всего тревожила судьба Альбины. Что решит уездный суд? Каким будет последнее слово Перовского? Как сможет она - без него, зимой, в состоянии, вызывавшем тревогу, - преодолеть такие огромные расстояния? Хорошо понимая чувства своего нового знакомого, Важинский дал ему, по здравому размышлению, совет: сказаться больным. Это могло оттянуть отъезд из Уфы и на месяц, и на два. Тем временем Альбина завершит все дела в Оренбурге, выедет за Винцентием, в Уфе они соединятся и далее отправятся вместе.

Надо ли говорить, что Мигурский ухватился за эту идею, как спасительную соломинку?

В Уфе "больной" Мигурский получил весть о жены.

"Пока не принесли твое письмо, ничего не знала, мой дорогой, о твоём отъезде из Оренбурга. Трудно описать, насколько болезненной была для меня весть о крушении столь существенной для меня надежды на то, что поедем мы вместе... Неужели не было способа задержаться хотя бы на две недели?... Я до сих пор не получила еще официального решения и числюсь арестованной. По освобождении не потеряю и минуты, но в связи с новыми формальностями в оформлении бумаг на прислугу, которые приведут к задержке, я мало надеюсь, что догоню тебя в пути... Если небо моей смертью уничтожит мое самое горячее желание и не позволит увидеть тебя, то из-за гробовой доски прими, мой дорогой муж, это малое доказательство любви со стороны твоей несчастной жены. Но слишком не расстраивайся, старайся быть спокойным - бог добр, он нас не оставит, и я надеюсь, что мы еще увидимся!"

В своем намерении следовать за Винцентием Альбина была непоколебима. "Во что бы то ни стало дожидаться ее приезда в Уфе", - это стало для него теперь самой главной задачей. В выполнении ее Мигурскому помогали и офицеры, и медики - многие люди, принявшие близко к сердцу судьбу супругов. Цель казалась осуществимой. Альбина, пользуясь очередной оказией, дала знать, что окончание дела в Оренбурге приближается, остаются последние приготовления к отъезду, просила его со своей стороны похлопотать о паспорте для Магдуси и непременно дожидаться их в Уфе.

Паспорта ради и отправился Мигурский к гражданскому губернатору Талызину. Губернатор пригласил его к столу, угостил кофе и трубкой. Винцентий охотно отвечал на вопросы и на свое здоровье не жаловался. Он не знал, и знать не мог, что до губернатора дошел пущенный кем-то слух о послаблениях по отношению к "преступному поляку".

Как только Мигурский вышел из кабинета, Талызин вызвал командира батальона Стаховича и, сделав ему строгое внушение, потребовал немедленной отправки опального солдата по маршруту.

Однако доброжелатели смогли перехитрить губернатора. Батальонный врач Горденко уложил Винцентия в госпиталь.

Талызин был разгневан. Однажды поздно вечером в госпиталь неожиданно-негаданно нагрянул по его приказу чиновник для особых поручений Маслов. Внезапная ревизия не удалась: Мигурский, за минуту перед тем непринужденно беседовавший со своими знакомыми в квартире смотрителя госпиталя, успел облачиться в лазаретную одежду и улечься в свою кровать. Тогда губернатор прислал гражданских врачей - "для консилиума". Потеряв самообладание, Мигурский заявил, что хотя он и болен, но если угодно Талызину, может выехать немедленно. Однако батальонный врач воспротивился этому и "больного" продержали в палате еще некоторое время.

Потом "второй" обнаружилось, что "нижний чин" не обмундирован. Снова задержка, еще несколько дней в Уфе, уже по другой причине...

И все-таки настал день, когда все уловки были исчерпаны, а Альбина не появлялась.

Мигурскому пришлось отправляться в дальнейший путь без нее. Его сопровождал унтер-офицер.

"... Несколько особо из высшего общества, желая, видимо, показать губернатору, что они не согласны с его образом действий, проводили меня до первой деревни. О, спасибо вам, достойные и честные люди!"

Таковыми словами заканчивается "уфимская" часть его воспоминаний.

На протяжении всего пути по дорогам Урала и Сибири Мигурскому сопутствовали не только тяготы и лишения, но и тепло доброжелательных взглядов, улыбок, встреч, участие дотоле незнакомых, но вдруг ставших дорогими сердцу людей из разных кругов русского общества.

В Екатеринбурге его обласкал коллежский советник горного департамента Штейнфельд - у него он прожил три дня, отдыхая после трудных гористых перегонов.

Екатеринбургские знакомые сообщили адреса своих знакомых по сибирскому тракту, и это открыло двери многих домов в селах и городах, через которые довелось проезжать. Здесь Мигурский мог узнать важнейшие

новости, отвести душу беседой, отогреться и отдохнуть - чтобы следовать дальше, к Нерчинску.

Тревожные мысли о том, как сложится его жизнь в местах каторжных, отступали перед постоянным, ни на мгновение не покидавшим его беспокойством о судьбе Альбины. Выехала ли из Оренбурга? Как переносит трудности дороги? Не обострилась ли болезнь? Доедет? Встретятся?

Никто на эти вопросы дать ему ответ не мог.

Начальником штаба корпуса в Омске был генерал Жемчужников. Тот самый Аполлон Степанович Жемчужников, который некогда начальствовал дивизией в Оренбурге и не раз приезжал по делам службы в Уральск. Сын Жемчужникова - Антон был причастен к делу декабристов, за что его отдали под строгий надзор полиции.

Винцентий давно знал о новом месте службы добродушного, уже немолодого генерала, и очень рассчитывал на его помощь. Потому-то по прибытии в Омск он сразу направился к нему.

Мигурский просил Жемчужникова оставить его на службе в Омске. Генерал беспомощно развел руками. Он и впрямь не имел права вторгаться в букву царского повеления.

Но если невозможно это, то, быть может, генерал позволит ему пробить в Омске дольше и здесь дожидаться Альбины? Отрицательного ответа не последовало. Жемчужников пригласил к себе корпусного врача Юлиана Штубендорфа, представил их друг другу, и Мигурский понял: решение этого вопроса зависит от доктора. С тех пор Винцентий жил у врача, числился в госпитальных списках, но в стенах лазарета не появлялся.

Первые дни по приезде были для Мигурского днями встреч. Штубендорф, с которым он подружился, свел его с людьми интеллигентными. Но, пожалуй, наиболее взволновала Винcentия встреча с соотечественниками - Адольфом Янушкевичем и Павлом Цеплинским.

Янушкевич родился и вырос в Несвиже, в семье, активно участвовавшей в восстании под руководством Тадеуша Костюшко - близкого родственника матери Адольфа.

В Виленском университете юноша сблизился с наиболее прогрессивной свободолюбивой молодежью, стал участником одного из тайных кружков и пропагандистом бунтарской поэзии Мицкевича. По возвращении из университета он включился в общественную жизнь и даже был избран депутатом сейма.

В 1830 году, возвращаясь из путешествия по Европе, Янушкевич воочию убедился в назревании революции. Сразу по приезде домой он узнал о восстании в Варшаве и, не раздумывая долго, отправился туда, взял в руки оружие, стал одним из деятельнейших участников вооруженной борьбы.

В одном из боев Адольф получил семь ран и был взят в плен. 4 марта 1832 года состоялся приговор: его лишили дворянского звания и сослали на поселение в Сибирь. Год спустя он был доставлен в Тобольск в качестве "политического преступника", лишённого всех гражданских прав, в том числе права служить или работать, передвигаться с места на место, предпринимать какой бы то ни было шаг, не ставя в известность полицейские власти. Но и из Тобольска Янушкевича вскоре выслали - жить ему, на сей раз, "дозволялось" в Ишимском уезде, в деревне Желяково.

Шли годы, Янушкевич лишился своей невесты Стефании, жертвы которой принять не смог, и единственное, чего добился, - права проживать в самом Ишиме. Его ближайшими друзьями здесь стали ссыльный польский поэт Густав Зелинский и поэт-декабрист Александр Одоевский. В колонии изгнанников Адольфу принадлежала галвенствующая роль - вокруг него сплывались люди смелой мысли и душевного богатства. В своем доме он создал своеобразную общественную библиотеку - ею пользовались все, кто приходил к нему "на огонек".

Один за другим ехали из Сибири его старые и новые товарищи, Янушкевич же по-прежнему оставался в ссылке. Надежда на возвращение в родные места угасала. Только в 1841 году забрезжил свет надежды, но... он оказался перед сложным выбором: стать солдатом или поступить в чиновники. Адольф избрал второе и перебрался в Омск, где его зачислили сначала в штат окружного суда, а затем в канцелярию Пограничного управления.

Ко времени знакомства с Мигурским Янушкевич служил в Омске немногим более полугода. Он увлеченно изучал казахский язык, готовился к командировкам в степи. Все, что происходило в Сибири, все, чем жил мир, его не только живо интересовало, но и по-настоящему волновало. Адольф снова воспрял духом, надеясь на возвращение к деятельности на пользу родного польского народа.

И он, и Цеплинский, с которым Янушкевич вместе служил и вместе жил, проявили горячий интерес и сугубое внимание к Винцентию, который рассказывал об эмигрантской жизни, в том числе о встречах с братом Янушкевича - Эустахием, об экспедиции Заливского, о галицийской конспирации.

Янушкевич, в свою очередь, много говорил о Мицкевиче и Лелевеле, с которыми был знаком лично, об "омском деле" - неудавшемся заговоре польских ссыльных под руководством Яна Сероцинского. Предательство привело к срыву смелого плана. Семеро заговорщиков, в том числе Сероцинский, были приговорены к страшному наказанию - 7000 ударов шпицрутенами. Остался в живых только один из семи - врач Францишек Ксаверы Шокальский.

Было о чем поведать и Цеплинскому, который оказался в Сибири за то, что в 1831 году, находясь на военной службе в Москве, собирался присоединиться к повстанцам, а кроме того, вместе со своими товарищами, поддерживал контакты с русским офицерско-студенческим революционным кружком под руководством Николая Сунгурова.

Они встречались не раз, главным образом в доме Штубендорфа. Во избежание повторения уфимского инцидента доктор советовал Мигурскому постоянно помнить об исполняемой им роли "больного" и из квартиры стараться не выходить, чтобы не попасться на глаза какому-либо неблагожелателю-доносчику.

Винцентий так мечтал о встрече с Альбиной в Омске, что уговаривать его не требовалось.

Он дождался ее.

Встреча состоялась в начале марта 1842 года.

В тот день в дверях комнаты Винцентия неожиданно-негаданно появилась Магдуса и, не дав ему опомниться, торопливо проговорила, что Альбина здесь, в заезжем доме.

Винцентий бросился за ней в санки и они помчались в конец города.

"После 18-месячной разлуки, взволнованный, я обнимал ее, целовал и плакал, плакал... Бедная и несчастная Альбина страшно изменилась! Она была так бледна, истощена, что, увидевши ее на улице, я бы ее не узнал. О, боже, - подумал я, глядя на нее, не должен ли я ненавидеть все человечество и гореть жаждой мести?! Что они с ней сделали?... И за что? Слышите, за что?! А, чудовища, - молчите?!..."

Две недели пробыли они в Омске вместе. Янушкевич и Цеплинский потеснились, уступив супругам две комнаты в своей квартире. Мигурские оказались в центре внимания - все старались выказать им свое участие.

Винцентий сокрушался - Альбина была очень слаба, малейшая простуда могла свалить ее с ног и причинить вред непоправимый. Между тем, злоупотреблять сочувствием и откладывать выезд казалось уже невозможным.

Сани для дальнейшего пути не годились. После усердных поисков приобрели подходящий тарантас - он обеспечивал относительные удобства поездки.

Жемчужников при последней встрече велел отдать все бумаги на руки Мигурскому. Конвойный солдат должен был находиться на козлах и не досаждать супругам чрезмерным за ними наблюдением.

Тот истолковал свою задачу еще проще: принял роль денщика и исправно выполнял ее всю дорогу.

Омский фрагмент воспоминаний Мигурского, как и уфимский, заканчивается выражением признательности местному населению. Из тогдашней столицы Западной Сибири Мигурские, по словам Винцентия, выезжали "с чувством благодарности и полные милых воспоминаний о жителях Омска".

Альбина старалась быть в пути бодрой и ничем не проявлять свое нездоровье. Но Винцентию не нужны были слова - он и без них понимал, как ей тяжело.

Останавливались они возможно чаще, ночевали почти в каждом крупном селе. Спешить не приходилось.

"Мы были несчастными и ехали к несчастью..."

А потому и не гнали лошадей, не поторапливали время.

"... По отношению в нас сибиряки были исключительно внимательны, человечны и гостеприимны..."

Это тоже из воспоминаний Мигурского.

Признание достаточно убедительное.

Длительной оказалась остановка в Александровском заводе в нескольких десятках верст от Иркутска. Предлогом для нее явилось надвинувшееся весеннее бездорожье. На самом же деле хотелось подольше побыть среди соотечественников, образовавших здесь довольно значительную по своей численности колонию ссыльных.

Яцек Голынский был женат на родственнице Альбины - Каролине Кросновской; она встречалась с ним еще на родине, в кругу семьи. В 1839 году 35-летний Голынский, как один из близких соратников Ш. Конарского, предстал перед судом и отправился в Сибирь, куда вел его суровый приговор: двадцать лет каторги.

Совсем уже старый, 60-летний, фридрих Михальский был уроженцем и жителем той же подольской губернии: только Голынский - Каменецкого, а Михальский - Могилевского уезда. Их свели общая цель, общее дело. И приговор оказался одинаковым: каторжные работы без всякой надежды на освобождение.

Тут де Мигурские встретили Юлиана Сабиньского, Иохами Лесневича, двух Олизаров, Коссаковского, Подгородинского и еще нескольких своих земляков.

Можно искренне пожалеть, что мы уже никогда не прочтем воспоминания Сабиньского, находившиеся в Рапперсвильском собрании, потом перевезенные в Польшу и здесь погибшие, вместе с другими рукописными материалами, в пожаре второй мировой войны. Рукопись Ю. Сабиньского называлась: "Девятнадцать лет, вырванных из моей жизни, или Дневник моей неволи и изгнания с 1838 по 1857 год включительно". Теперь этот труд нам известен только по описанию, сделанному М. Яником, который некогда внимательно ознакомился с ним. Яник ценил его особенно высоко, подчеркивая, что воспоминания Сабиньского "выдвигаются на одно из первых мест среди всех наших сибирских мемуаров", и что они представляют собою "наилучший и самый обильный источник по истории польской ссылки в Восточную Сибирь того периода, когда сам Сабиньский там находился".

Это был человек широкого кругозора и глубоких научных знаний. Он владел языками - французским, немецким, итальянским, английским, латинским, греческим, преуспел во многих науках, продолжал образовывать себя в различных отраслях, вел исследования сам и при всем том постоянно помнил о главной своей задаче - всемерно способствовать национальному и социальному раскрепощению родной Польши.

Перед ноябрьским восстанием 1830 года он состоял в массонской ложе "Свободные братья Подолии" и был в рядах повстанцев. Царская амнистия освободила его, захваченного в плен, от длительного наказания. Но в 1838-м Сабиньский оказался среди активных сотрудников Ш. Конарского и, арестованного вторично, попал в

Сибирь.

Тут он прошел настоящую академию политического возмущения - тем более, что судьба свела его с декабристами. М. Яник свидетельствует: "Разные мемуаристы того периода пишут доброжелательно о декабристах, но делают это случайно и как бы мимоходом. Сабинский вошел вскоре в постоянные отношения с декабристами и дает в своем дневнике наиболее полную картину этого интересного польско-русского общежития".

С декабристами были близки и другие поляки, встреченные Мигурскими в Александровском заводе. Тот же иошам Лесневич - повстанец 1830-1831 годов, а затем участник организации Ш. Конарского - в течение некоторого времени жил в доме А.И. Одоевского и сошелся с ним весьма дружески.

Нелишне заметить, что Александровский завод был одним из тех сибирских поселений, через которые прошли бойцы 1825 года.

Многое, очень многое хранило здесь память о них.

Дни, проведенные Мигурскими среди друзей, навсегда остались в их сердцах. В далекой, суровой, непознанной Сибири они почувствовали себя словно дома, в кругу близких людей, единомышленников. Расставаться было тяжело и горько. Но и без того переезд затянулся. Как бы это не обернулось еще большим осложнением и без того незавидной их судьбы...

Последние рукопожатия и объятия... Теплые слова на прощанье... Тарантас тронулся с места, проовжаемый долгим молчанием остающихся, бесконечными взмахами рук...

Молчали и они, Альбина и Винцентий.

Им предстояло ехать и ехать.

Но ближайшая остановка была совсем скоро.

"Они, - вспоминал Мигурский о друзьях-соотечественниках из александровского завода, - ... посоветовали нам, чтобы мы по пути заехали в урик, где в то время было главное гнездо русских дворян, сосланных за 14 декабря 1825 года".

В Урик и вела их дорога...

Глава девятая, девизом которой являются слова: "Мы братья их"

*... Николай Павлович делал смотры, парады, учения,
ходил на маскарады, заигрывал с масками, скакал без надобности по России...,
и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных
декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к отечеству,
которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал
на чем попало свои оловянные глаза и говорил: "Пускай служат. Рано..."
Лев Толстой. "За что?"*

Мы рассказывали уже о манифестации в честь декабристов, состоявшейся 25 января 1831 года в Варшаве.

*Вы слышите: на висле брань кипит!
Там с Русью лях воюет за свободу
И в шуме битв поет за упокой
Несчастных жертв, проливших луч святой
В спасенье русскому народу.
Мы братья их...*

Так отозвался на весть об этой манифестации, докатившуюся до Петровского завода, один из героев 14 декабря - поэт Александр Одоевский.

В тюрьмах, в ссылке продолжался процесс сближения, единения деятелей русского и польского революционного движения.

Вместе со своими товарищами по борьбе в Сибирь отправились Юльян Люблинский, Михал Рукевич, Людвик Вроньский, Ян Высоцкий, братья Феликс и Кароль Ордыньские и другие участники декабристских обществ - сыновья Польши.

В места отдаленные были сосланы - за связи с тайными организациями декабристов - Северин Кшижановский, Миколай Ворцель, Петр Мошинский, Анзельм Ивашкевич и еще многие члены Патриотического

общества.

Но особенно увеличилось число польских ссыльных после восстания начала 30-х годов и с развитием последующих событий национально-освободительного движения.

Ссылка приобретала все более массовый характер, и все более широкими становились связи декабристов со своими единомышленниками и последователями. "Здесь (в Сибири - авт.) встретились как бы дыв поколения революционеров: одно - двадцатых годов, уже закаленное в условиях тюрем и поселения, и другое - новое, тридцатых годов, только что "прибывшие", - так совершенно справедливо пишет польский историк Владислав Евсевицкий. Его слова приводит - и подкрепляет фактами весомыми, неоспоримыми - советский исследователь вопроса Б.С. Шостакович в своей статье "Политические ссыльные поляки и декабристы в Сибири".

Товарищи в борьбе стали товарищами изгнания.

Во множестве мемуарных, эпистолярных и иных источников находим мы подтверждения этому.

"Постоянно грустный, задумчивый ходил он ежедневно в один и тот же час, по одному и тому же направлению, за город по большой дороге, которая вела в Россию, в милую Польшу его, где он оставил жену и девятерых детей..."

Это строки из "Записок декабриста" Н.И. Лоррера. Сколько уважения в его словах о поляках, оказавшихся среди курганских поселенцев в те же годы, что и декабристы! Бывший адвокат Савицкий, тоске которого так искренне посочувствовал член Северного и Южного обществ Николай Иванович Лорер, насколько нам известно, мемуаров не оставил. Будь они в нашем распоряжении, наверняка прочли бы мы там добрые, душевной теплотой согретые слова о его русских друзьях.

Но вот заметки другого польского изгнанника - Руфина Петровского; воссозданный им эпизод относится к той же Тобольской губернии. "Как только почтовый колокольчик дал знать, что кто-то едет (а при звуке его часто провозили тем путем политических узников), тотчас все эти поселенцы, благородные Россияне, собрались перед почтовой станцией. Один из них имел возможность приблизиться ко мне и поговорить со мною. Я рассказал ему некоторые подробности о Польше и России, он дал мне представление о Сибири... Судьба сближает людей, тем более уже связанных общими целями. Глядя на тех благородных Россиян, страдальцев за свободу и апостолов грядущего счастья их Отчизны, России, исчезла в моей душе преграда, отделяющая поляков от русских: казалось мне, что вижу в них моих соотечественников, моих братьев и верных друзей моей Родины - Польши. Едва только увиделись, а уже мне было жаль их покидать..."

Они, по сути, и не покидали друг друга - бок о бок жили, рука об руку шли долгие годы ссылки.

У члена Северного общества А.Е. Розена мы также находим целый ряд польских фамилий: Важиńskiego, Раевского, Клечковского... Тут же - о молодых повстанцах, назначенных в солдаты дальних линейных батальонов, Розен вспоминал: "3-го мая собирались они у себя торжественно и праздновали память Костюшки". Врезалось в его память как "часто слышны были пение или насвистывание национальной польской песни".

То были люди высоких волевых, моральных качеств - бойцы за справедливость, за свободу. Эразм Клечковский, имя которого нередко встречается в обширной переписке Нарышкиных со своими близкими, как видно из архивного дела, принадлежал к участникам национально-освободительного восстания 1830-1831 годов и тогда же был сослан в Сибирь на поселение. Каждый шаг его сопровождало недреманное полицейское око; он тяжело болел, но не падал духом, надеясь на скорое освобождение. Поддерживали в нем такую надежду друзья-декабристы.

Вместе они были повсюду.

Иван Иванович Пущин подружился с Юстинианом Руциньским, арестованным по делу Конарского, приговоренный к смертной казни, но потом отосланным на каторгу и - позднее - на поселение. Когда заболела жена Руциньского, незадолго перед тем приехавшая к мужу, Пущин ночами дежурил у ее постели, и самоотверженными усилиями друзей женщину выводили. Паулина долго вспоминала это поистине благородное участие, а Юстиниан писал декабристу до самой его смерти.

Винцентий и альбина, конечно, многое слышали о тех, кого они хотели встретить в Урике. Теперь предстояло личное знакомство с едва ли не самыми заслуженными, прославленными в этой каторге.

Но раньше предоставим слово сибирскому уроженцу, с детства знакомому с декабристами, а впоследствии видному врачу-терапевту, публицисту, поэту и общественному деятелю Николаю Андреевичу Белоголовому. "В описываемое время, т.е. в 40-х годах, - вспоминал он, - иркутские декабристы пользовались уже значительной свободой; большинство из них жило в окрестных деревнях с правом время от времени приезжать в город, а вскоре многие из них и совсем перебрались в Иркутск, по крайней мере, на зимние месяцы, и первый пример тому подали, помнится, Волконские..."

В 1842 году волконские жили в деревне Урик, расположенной в 17-18 верстах от губернского города, по Ангарскому тракту, и ее, эту сибирскую деревню, иногда именовали "декабристской столичкой" - сюда отовсюду стекались новости и устремлялись люди, которых забрасывала в Сибирь судьба.

Вместе с Сергеем Григорьевичем Волконским в Урике были поселены братья Муравьевы - Никита Михайлович и Александр Михайлович, Михаил Сергеевич Лунин, Фердинанд Богданович Вольф. В восьми верстах оттуда, в Усть-Куде, находившейся при впадении Куды в Ангару, проживали братья Поджио - Осип и Александр Викторовичи - и Петр Александрович Муханов. По Якутскому тракту, в слободе Хомутовой, что в девяти верстах от Урика, обосновался Александр Николаевич Сутгоф. Подальше было место жительства Сергея

Петровича Трубецкого, Федора Федоровича Вадковского и других. В том же "гнезде" протекала жизнь Артамона Захаровича Муравьева, Александра Ивановича Якубовича, братьев Андрея и Петра Борисовых, Владимира Александровича Бечаснова, Николая Алексеевича Панова, Алексея Петровича Юшневского.

"Двумя главными центрами, около которых группировались иркутские декабристы, были семьи Трубецких и Волконских, так как они имели и средства жить шире и обе хозяйки - Трубецкая и Волконская своим умом и образованием, а Трубецкая - и своею необыкновенною сердечностью, были как бы созданы, чтобы сплотить всех товарищей в одну дружескую колонию, а присутствие детей в обеих семьях вносило еще больше оживления и теплоты в отношения..."

Это свидетельство того же Н.А. Белоголового.

Мигурских в Урике встретили радушно.

"Когда мы попали туда, нам впервые довелось оказаться в большом кругу знатных русских дворян, - вспоминал эту встречу Винцентий. Князья, графы, генералы, полковники и вообще много известных особ, с женами и без них, жили в Урике, другие приехали туда из окрестных сел специально, чтобы познакомиться с нами. Все они приняли нас с распростертыми объятиями, потому что все, как утверждали, наше дело считали своим. Моей Альбине они выказывали высшую степень уважения и любви, удивляясь, что в таком слабом и тщедушном теле нашли столько выдержки и духовной силы..."

Нет, не зря с таким восхищением рассказывал Юльян Сабиньский об этих людях... Он полюбил их, потому что узнал близко. Еще и еще раз приходится пожалеть, что рукопись его мемуаров сгорела в огне военных пожаров. Еще и еще раз хочется поблагодарить доктора Яника за сведения об этих мемуарах. "В доме Волконской Сабиньский познакомился со всеми декабристами из Восточной Сибири, с некоторыми из Западной и почти обо всех отозвался с сочувствием, с симпатией", - такой вывод сделал М. Яник, внимательно читая рукописные страницы. Любовь, уважение оказались взаимными. М.Н. Волконская назвала Сабиньского среди дорогих ее сердцу людей: "Между прочим, в доме был господин Сабиньский, сосланный поляк, отлично владевший французским языком и отдававший Мише (сыну Волконских - авт.) все свое время без малейшего вознаграждения". У Волконских польский повстанец, по его же призванию, чувствовал себя как в своем доме и в своей семье.

Так почувствовали себя здесь и Мигурские.

Они не собирались оставаться в урике надолго, но Волконский воспротивился скорому отъезду - "не хотел нас отпустить из своего дома, пока он не предупредит гражданского губернатора в Иркутске о нашем приезде". Туда бы послан гонец с письмом. Ожидая его возвращения с губернаторским ответом, Винцентий и альбина в доме Волконских "прожили целью неделю".

Это была удивительная неделя! Они жили среди тех, кто мог служить образцом высочайшей стойкости, самоотверженности, человечности, чья жизнь являла собою истинный нравственный идеал.

Их восхищал Сергей Григорьевич Волконский. В Оренбурге о нем говорили особенно часто, так как отец декабриста в течение длительного времени являлся тамошним губернатором и многое в городе было связано с его именем.

Сергей Волконский прошел многотрудный путь от блистательного генерала, активного участника Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 годов до одного из руководителей Южного общества - революционной организации, которая поставила своей целью разорвать оковы самодержавия. Осужденный по первому разряду, он был приговорен к двадцати годам каторги, которую отбывал в тяжелейших условиях Нерчинских рудников. Немало лет после этого прошло в Читинском остроге, в Петровском заводе, пока не вышло "послабление" в виде дозволения жить в седе Урик, поближе к губернскому городу.

Все эти годы - на каторге, в ссылке - он высоко держал свое человеческое достоинство, ни разу не опустил голову и не издал стога. И много, много лет спустя продолжал Волконский оставаться при своем убеждении о том, что злейшим врагом русского народа - а равно народов других - является деспотизм, что с тиранией и тиранами надо бороться, не жалея себя.

Однако, пожалуй, особое восхищение вызывала у Мигурских Мария Николаевна, хозяйка дома. Ею увлекался Пушкин, называя "женщиной необыкновенной". Ее нежно любил граф Густав Олизар - член Патриотического общества, человек необычайно талантливый, поэт. Но потом в жизнь юной Раевской вошел Волконский, по годам годившийся ей в отцы, и, вступив в брак только по настоянию семьи, она год спустя проявила такие качества щедрой своей души, что сделалась личностью поистине легендарной. Оставив незадолго перед тем родившегося сына, преступив волю отца и других членов семьи, совсем слабая после потрясения, вызванного арестом мужа, после болезни, едва не опрокинувшей ее в могилу, она отправилась вслед за Волконским и разделила с ним все тяготы жизни на каторге, в неволе.

"Сергей бросился ко мне; лязг его цепей меня поразил: я не знала, что он был закован в кандалы. Суровость этого наказания дала мне понятие о силе его страданий. Вид его кандалов так взволновал и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала сначала его кандалы, а потом и его самого..." Трудно рассказать о первой их встрече после ареста - встрече, которая произошла в Благодатском руднике, - более просто и ярко, чем сделала это сама Волконская в своих "Записках". Столько таких испытаний довелось ей выдержать за уже истекшие к тому времени полтора десятилетия пребывания в Сибири!

Могла ли Альбина смотреть на нее без восторга? Собственные невзгоды и страдания отступали на второй план...

Мог ли Винцентий, глядя на Волконскую, не сравнивать с ней свою любимую, Альбину?

Обе женщины были удивительно близки в главном...

... В Государственном архиве Иркутской области хранится совсем маленькая полшивка: "Дело по отношению управляющего Министерством внутренних дел об отыскании мятежника Мигурского". В нем всего пять листов - переписка о необходимости розыска беглеца в Восточной Сибири.

"В дополнение к предписанию моему от 9 сего декабря за N 388 уведомляю Ваше превосходительство для зависящего распоряжения, что по полученным сведениям скрывшийся из г. Уральска рядовой Винцентий Мигурский сверх показанных в приложенном к помянутому предписанию описании примет его, может быть еще узнан по тому, что он несколько косоват, особенно когда смотрит в правую сторону, и должен иметь знаки от нанесенных им себе, за несколько лет пред сим, шести ран перочинным ножом в брюхо и грудь с намерением лишить себя жизни".

Тогда, в конце 1839-го - начале 1840-го, Мигурского в Восточной Сибири не нашли - пожалуй, и не искали даже. В эту сторону он следовать не собирался: наяву и во сне представлялась одна дорога - на родину.

Теперь он и впрямь въезжал в Иркутск, и был этот город отнюдь не конечным пунктом его с Альбиной многотрудного переезда.

Письмо от Волконского избавило Мигурского от унижительных хождений по "инстанциям". Все формальности были выполнены без особых затруднений и проволочек. И если задержка все же призошла, то потому только, что хотелось побыть у Трубецких - Сергея Петровича и Екатерины Ивановны. Их судьбы были схожи с уже известными судьбами Волконских. Те же нечеловеческие испытания, та же величайшая человеческая стойкость.

В Иркутске произошло и совсем непредвиденное: тяжело заболела Магдуся. Преданная служанка не выдержала перипетий сурового пути. Жизнь ее была в опасности. Мигурские оказались в растерянности: что предпринять? как поступить? Выход из действительно сложного положения подсказала искренне участливая Трубецкая. Она предложила оставить больную на ее попечение. Иного выхода не было.

Более они не встретились. Магдуся так и прижилась в семье Трубецких. Много лет прожила в Оеке и Иркутске. Горько оплакивала в 1854-м смерть Екатерины Ивановны. Когда же Сергей Петрович получил, наконец, амнистию, вместе с семьей декабриста отправилась и она - на запад, в Киев...

... Мигурским предстоял последний большой перегон - через Байкал, Верхнеудинск, в Нерчинский завод.

Они следовали туда, где когда-то начинали свои каторжные дни и Волконский, и Трубецкой, и еще многие, многие декабристы.

Глава десятая, завершающая летопись жизни Мигурских

... Свет, сиявший в ней и радовавший людей, входивших с ней в сношения, потух навсегда. Она не могла понять : зачем? за что эта жестокость? и медленно умирала и радовалась, что она уходит из этого бессмысленного, жестокого мира.

Лев Толстой. "За что?" (из вариантов)

В общем все-таки в жизни Мигурских было больше счастья, чем несчастья.

Лев Толстой. "За что?"

В Нерчинск Мигурские приехали 2 октября 1842 года.

Не понадобилось длительного времени для того, чтобы убедиться: слышанное ими о здешних местах ни в какой мере не преувеличено.

Винцентию не нужно было спускаться в рудники, "прославившиеся" как самое страшное место каторги на просторах России.

Альбина могла поселиться не в жилище полутюремного типа, как некогда Волконская и Трубецкая, - в любом доме, который окажется "по средствам".

Но все это являлось утешением слабым.

Декабристы уезжали отсюда едва живыми. Как доносил лекарь Владимир, "Трубецкой страдает болью горла и кровохарканьем; Волконский слаб грудью; Давыдов слаб грудью и у него открываются раны; у Оболенского цинготная болезнь с болью зубов; Якубович от увечья страдает головой и слаб грудью; Борисов Петр здоров, Андрей страдает помешательством в уме; Артамон Муравьев душевно страдает". Из восьми

покидавших Нерчинские рудники только об одном управляющий медицинской частью мог сказать: здоров.

Перенесут ли новые испытания они?

Выдержит ли так сдавшая во всех передрыгах последнего года Альбина?

Не успели Мигурские по-настоящему устроиться в Нерчинске как Альбина родила сына, которого назвали Конрадом. В сердцах родителей ребенка, родившегося очень слабым, поселилась тревога за жизнь мальчика.

Тревога снедала и без того слабые силы матери. Быстро брал свое туберкулез. Если зиму - морозную, бурную - она выдержала, то неустойчивая, коварная весна оказалась для ее здоровья губительной. Никакой надежды уже не оставалось...

Мы умолкаем, чтобы услышать и привести печальный рассказ Винцентия о последних днях ее жизни.

"... Однажды, позвав меня к себе, она сказала мне такие слова: "Не для того хочу тебя видеть, мой дорогой и любимый муж, чтобы испытывать твою привязанность, ибо знаю, что и для самого любящего мужа видеть жену на смертном ложе не очень приятное зрелище... Я была твоей возлюбленной, потом - женой, а сейчас приближается минута, когда ты останешься вдовцом. Мне очень горько и больно, что я оставляю тебя среди людей, которых мы должны называть врагами - не питай к ним чувства вражды, мой милый!" Тут она захотела воды и, выпив несколько капель, собралась с мыслями и продолжала: "Прости их так же, как я прощаю, умирая... Ты сам убедился, что русский народ несчастен подобно нашему (хотя и не всегда это чувствует), что есть среди русских люди, достойные уважения... Если сын наш будет жить (в чем я сильно сомневаюсь, так как он родился от очень больной матери), то почаще напоминай ему обо мне - больше я тебе о нем ничего не скажу. Ты был хорошим мужем и будешь таким же отцом. Винцента! О, как бы я хотела прижать тебя к любящему сердцу, моя дорогая сестренка! Благослови ее от моего имени, напиши ей, а также брату Антонию и отцу, если он жив. Помни о Магдусе, и если когда-либо обратится к тебе, не оставляй ее без помощи. Ты еще молод, дорогой и любимый муж; поэтому не беру с тебя никаких обещаний. И если найдешь достойную себя женщину, то женись! Ибо хотя и люблю тебя больше жизни, достойной порицания вещь было бы, если бы я тебя еще ревновала и пыталась бы осуждать твоё желание и волю!.. Завещание, которое холодеющей рукой подписала, отошли моей семье. Я не сомневаюсь, что последняя воля сестры будет священной для Винцентии и Антония!"

Обливаясь слезами, я слушал последние слова моей любимой Альбины и видел, что она усаждает с каждой минутой... Я чувствовал, что, теряя ее, теряю все на земле, но всеми силами ума и души старался не показывать ей своего горя и появляться около нее только с лицом спокойным и веселым".

Она умерла 15 июня 1843 года двадцати пяти лет от роду.

В последний путь Альбину провожало множество людей - и соизгнанников, и местных жителей.

Забайкальский ксендз Филиппович в это время объезжал огромную свою парафию. По этому случаю, без капланского наряда, но по всем правилам римско-католической церкви службу правил ксендз Богунский, находившийся у ее смертного одра вместе с Винцентием и доктором Бопре.

Неизвестно, что говорилось у гроба Альбины. Думается, однако, что Ян Богунский не особенно стеснялся в выражениях. В Сибири он оказался именно за произнесением во время экспедиции Заливского "Возмутительной" с точки зрения властей проповеди, в которой призывал бороться за национальное освобождение и всеми силами отстаивать свои права. Будучи лишен сана и отправлен на каторгу, Богунский не изменил своим идеалам и не смирился. В 1835 году, находясь в Александровском заводе, он вместе с Петром Высоцким пытался осуществить групповой побег ссыльных. военный суд приговорил экс-ксендза к 500 ударам шпицрутенами. Но и это не сделало его покорным, тихим.

Гроб с телом Альбины был опущен в суровую сибирскую землю, обильно политую слезами.

Польскиз могил в Сибири было немало, но среди женских эта стала одной из самых ранних и наиболее памятных для соотечественников.

Через три года после описания похорон, в 1846 году, жена одного из участников организации Шимона Конарского - Адольфа Рошковского упомянула о Мигурских в своем письме.

Антонеля Рошковская писала о мужественных польских женщинах, приехавших в далекие края за своими родными и близкими.

"Первой была альбина Мигурская, женщина необыкновенной души, как говорят все, кто ее знал. Два года назад умерла она от чахотки. Муж ее до сих пор еще здесь живет. Похоронена Альбина на одной из возвышенностей, господствующих над Нерчинским заводом; усилиями мужа и соотечественников сооружен памятник; муж и его товарищи часто проводят могилу".

О том, как выглядела могила Альбины лет 60-70 тому назад, можно судить по фотографии, воспроизведенной в одном из вполне доступных изданий более позднего времени. Нам не удалось быть на Нерчинском кладбище, но жительница Читы - краевед Марианна Юльевна Тимофеева, побывавшая там, написала, что надгробье сохранилось и до сих пор привлекает внимание.

Как и могилы умерших в изгнании жен декабристов, могила Альбины служит символом женской верности и истинного самопожертвования.

"Такова, - писал о ней Винцентий, - жизнь женщины, которая, не выходя за рамки домашнего круга, наиболее соответствующего возможностям ее пола, смогла вписать свое имя в пантеон самых достойных полек..."

Вскоре после смерти матери не стало и маленького Конрада. "Немногим более, чем через год после ее кончины, отправился по следам матери и осиротивший Конрад. Надгробье над ними я соорудил своими руками и

в течение многих лет каждую весну сажал на могиле цветы нашей Родины. Это было место, где покоились мать и сын, это была могила первой польской женщины, которую любовь и святые обязанности, с ней связанные, заставили добровольно отправиться в изгнание, и куда - на Нерчинские заводы! Это была, наконец, и могила, которую я сам для себя приготовил!.."

Мы узнали о Мигурских достаточно много, чтобы поверить в искренность приведенных слов: после стольких несчастий жизнь действительно стала Винцентию в тягость. Но время шло, душевные раны затягивались, повседневные заботы (а их было немало) отвлекали от тяжелых раздумий...

Лев Толстой, не располагавший сколько-нибудь полными сведениями о последующей судьбе Винcentия, не мог достаточно правильно воспроизвести атмосферу последнего этапа его биографии. "... Мигурский, - читаем в одном из вариантов рассказа "За что?", - без нее... поддерживаемый товарищами, прожил еще лет 10 бессмысленной, бесцельной, старательской жизнью".

Но нет - Мигурский не стал запойным пьяницей, как предполагал писатель, и прожил после смерти жены не десять, а двадцать лет.

Однако жизнь его действительно была безрадостна и скрашивало ее лишь общение с товарищами.

Ссылные пользовались любыми возможностями для контактов друг с другом. Во второй половине 40-х годов одним из мест, где они часто собирались, был дом Владислава*10 Рабцевича, который обвенчался с приехавшей к нему невестой Катажиной Непокойчицкой. "Семья Рабчевичей, - говорится в одном из писем, - имеет сейчас фортепьяно, и это доставляет немало приятных минут нашим нерчинским панам".

Не избегали ссылные и местных жителей. Население Сибири было весьма пестрым и, естественно, не все сибиряки одинаково нравились польским изгнанникам. Тем не менее общее впечатление о них не было отрицательным. Ежи Брынк писал родителям А. Белинского: "Народ здесь свободный, ибо помещиков в Сибири нет; земли каждый может иметь сколько хочет, без всякой оплаты. В целом жизнь у сибирских крестьян лучше, чем у наших хлопов, больше среди них грамотных, ибо стремятся к образованию. Народ быстрый, способный... Вообще, плохо отзываться о Сибири - нельзя".

С начала 40-х годов признанным центром общественной жизни польских ссыльных в Забайкалье стал так называемый "польский дом", организованный двумя соратниками Шимона Конарского, - Антонием Бопре и Ежи Брынком.

Это было нечто вроде Коммуны.

Удивительное стечение обстоятельств сохранило нам целых три тома приходо-расходных документов "польского дома" за 1840-1854 годы. Предельно сухие, казалось бы, колонки цифр способны поведать о многом.

Обязательным для каждого участника кооператива был минимальный "кормовой взнос" - около 5-10 рублей в месяц. Располагающие значительными финансовыми возможностями имели право вносить (и вносили) более крупные суммы. В приход зачислялись время от времени поступающие пожертвования земляков и родственников, а позднее - доходы от сельского хозяйства и разного рода промысловых подрядов (на поставку дров для выжигания угля, перевозку золотоносного песка и т.д.). В некоторые годы "приход" достигал двух-двух с половиной тысяч рублей, что на 20-30 участников было суммой порядочной.

Что касается расходов, то первой их статьей являлись продукты питания и оплата общих расходов ("за услуги приходящей уборщицы", "на штоф водки" и т.д.). Предусматривались расходы на культурные нужды: выпуск газет и журналов, приобретение книг.

Состав участников менялся, но костяк его составляли члены Содружества польского народа. Кроме уже названных, в приходно-расходных книгах фигурируют фамилии таких соратников Конарского, как Юстин Руциньский, Гаспер Мошковский Наполеон Новицкий, Петр Боровский. Упоминаются и руководители организации "свентокшижцев" Густав Эренберг, Александр Венжик, а также ближайшие их сподвижники Кароль Подлевский, Александр Краевский и другие.

Прямым членом "кооператива" Винцентий Мигурский числился недолго. Впервые это было в 1844 году - сразу после смерти Альбины, когда он особенно нуждался в поддержке и помощи товарищей. Вторично Винцентий столовался в "польском доме" на протяжении августа, сентября и октября 1848 года. В это время довольно значительный удельный вес там начали приобретать участники разгромленной в 1843 году варшавской конспиративной организации.

Постоянно жить здесь Мигурский не мог, так как, в отличие от других соотечественников, уже вышедших "на поселение", его связывала военная служба. Но при малейшей возможности появлялся там, да и в остальное время связи с обитателями дома поддерживал.

Батальон, в котором служил Мигурский, до 1852 года находился в Нерчинске, а затем был переведен в Шилкинский завод, к расположенным там казенным серебряным рудникам и золотым приискам.

Когда основная масса сослуживцев отправилась в организованную графом Муравьевым Амурскую экспедицию, он добился, чтобы его оставили на месте.

Все эти годы через Винcentия шла значительная корреспонденция польских ссыльных.

"... Многие из моих коллег, сосланных на каторгу за патриотические поступки, были лишены права переписки с семьями, - читаем в воспоминаниях Мигурского. - У меня же, как у солдата, такая возможность была. Поэтому все письма моих коллег к родственникам отсылать приходилось мне и через меня же они получали ответы".

Корреспонденция Винcentия оказалась столь обширной, что начальство не могло оставить ее без

внимания. Строжайшую цензуру переписки взял на себя командир батальона, потребовавший, чтобы письма писались по-русски.

Окончание Крымской войны и смерть Николая I повлекли существенные перемены в положении ссыльных, находившихся в Сибири. В 1856 году из Петербурга пришел приказ: сделать представления насчет облегчения участи как русских, так и польских революционеров. Результатом стало то, что в октябре следующего года Мигурский получил обнадеживающий чин унтер-офицера.

Однако ни этот чин, ни две "авсочайше установленные" нашивки "за беспорочную службу" еще не делали его свободным.

Дальнейшее течение событий вырисовывается перед нами из материалов, хранящихся в Иркутском архиве.

Они начинаются с отношения управляющего Третьим отделением генерал-майора Тимашева в Главное управление восточной Сибири от 1(13) сентября 1858 года; "Господин военный министр в октябре месяце прошедшего года уведомил III Отделение собственной Его императорского величества канцелярии, что по докладу Государю Императору ... высочайше повелено было, между прочим, рядового Сибирского батальона Винцентия Мигурского перевести в унтер-офицеры в отставку, если пожелает, с предоставлением ему права поступать на гражданскую службу в Восточной или Западной Сибири канцелярским служителем, без возвращения на родину. Ныне проживающая в Варшаве сестра его девица Рафалина Мигурская вошла с всеподданнейшею просьбою, в которой, представляя, что помянутый брат ее находится в Сибири уже 24 года и сама она в преклонных летах и болезненном положении, ходатайствует о возвращении его на родину". Заканчивалось отношение вопросом о том, уволился ли уже Мигурский и где он находится.

Иркутские власти сообщили, что Винцентий стал "цивильным" и живет в столице Восточной Сибири. Однако, по словам генерал-губернатора Венцеля, здоровье у него неважное и для гражданской службы в сибирских условиях он не годится, а посему он, Венцель, ходатайствует об отправке отставного унтер-офицера на родину.

Иркутск и его окрестности в те годы были полны ссыльными, в том числе ожидавшими окончательного решения своей судьбы. Немногие из них имели доступ в "высшие круги", кое-кто был связан с торгово-промышленными слоями, остальные же довольствовались общением друг с другом и с немногочисленной местной интеллигенцией.

Но предоставим слово самому Мигурскому.

"Приехал, наконец, в Иркутск, - говорится в его воспоминаниях, - и здесь полтора года жил, не имея никакой службы. Добрые иркутяне принимали меня с искренним участием. Как я узнал позднее, почти вся Сибирь поняла тогда, какой потерей является для них массовый выезд на родину амнистированных польских ссыльных. Кроме той явной пользы, которую приносили поляки в воспитании детей, в Иркутске немного можно было найти таких домов, где изгнанники не были желанными гостями. Почти каждый из нас имел по несколько семейных домов, в которых нас считали настолько близкими, что без нашего совета молодой человек не женился, невеста не выходила замуж, отец не пускался в путь и не принимался за осуществление нового предприятия, а мать не давала имени новорожденному".

Свой взволнованный панегирик в честь сибиряков Мигурский заканчивает следующими словами: "Самые лучшие воспоминания сохраняю я о вас, добрые, внимательные и гостеприимные жители Восточной Сибири".

Полтора года не прошли зря. Именно в это время Винцентий написал свои воспоминания, задуманные еще перед смертью Альбины.

"В то время, когда на моих руках умирала в Нерчинске моя дорогая жена, я поклялся рассказать всему свету о ее жизни и спешу выполнить эту клятву, ибо продемонстрированная ею любовь и самоотверженность, до сих пор известная только в идеальных романах, может послужить образцом для полек", - так начинал мемуарист свое обращение к будущему читателю.

"Заранее предупреждаю уважаемого читателя, - продолжал автор, - что он не найдет в тексте ни географического описания Сибири, ни торговых, статистических и геологических сведений, а лишь рассказ о жизни женщины, которая сумела прославить себя, не выходя из рамок своих домашних обязанностей... Если мое сочинение будет прочитано мужчиной с любопытством, а женщиной со слезами, то я отношу это не на счет каких-то особых моих талантов, а лишь на счет правдивости моего безыскусного повествования".

Но вернемся к иркутским документам о последних месяцах, проведенных Винцентием в Сибири. На одном из них сверху - начальственная резолюция: "Выдать что следует. А ниже автограф нашего героя - текст, написанный по-русски.

"Политического преступника Викентия Валентинова сына Мигурского докладная записка 22 июля 1859 года. Иркутск. Его превосходительству господину председательствующему в Совете Главного управления Восточной Сибири генерал-лейтенанту и кавалеру фон Венцелю.

Имею честь почтительнейше просить Ваше превосходительство о выдаче мне установленного пособия на паек и одежду с 16 октября по настоящее время.

Викентий Мигурский".

Перед докладной запиской Винcentия в деле подшиты две важные бумаги из Петербурга - без них приведенная резолюция была бы невозможной. Одно письмо - из Военного министерства, второе - из III отделения. Оба о том, что Мигурскому разрешено возвращение на родину.

Разрешение поступило, но для выезда были необходимы деньги, а их не выделяли. Вдобавок бюрократическая машина, как всегда, что-то напутала. Возвратиться право дали, только родиной назвали почему-то не Радомскую, а Киевскую губернию, куда Винcentий ехать не думал.

Чтобы преодолеть новые препятствия, понадобились еще два месяца. Ожидание было томительно долгим, зато сборы - короткими. "В 6 дней я собрался и выехал, а через 40 дней, после 24 лет пребывания в Сибири да еще 5 лет за границей, проделав от Иркутска путь в 8128 верст, 13 сентября 1859 года прибыл в Варшаву. Не буду вам описывать тех чувств и впечатлений, которые вызвал у меня вид родной земли. Слишком это волнующая и деликатная материя описывать то, что нужно видеть собственными глазами. Скажу только, что моя милая Рафаелина (сестра четырех изгнанников) осталась в бедности с несколькими сиротами. Ни отца, ни матери, ни кого-то из знакомых я после стольких лет уже не нашел; не получил я и помощи ниоткуда. Что же мне оставалось? Обратил свой взор к небу, глубоко вздохнуть и на том кончить".

Последние годы жизни Мигурского совсем не освещены источниками. Известно лишь, что в сентябре 1859 года он приехал в Варшаву, а в 1863 году умер в Вильно. Мы не можем сказать, где его могила. Зато твердо знаем, что памятником Мигурскому стали "Воспоминания из Сибири", изданные в год смерти их автора.

Как всякое литературное произведение, "Воспоминания" жили своей собственной жизнью.

К сожалению, до сих пор не установлено, каким образом экземпляр рукописи, привезенный Мигурским из Иркутска, попал в Краков, кто и как готовил его к печати.

Мы ничего не можем сказать и о том, видел ли автор свое произведение в печатном виде, знал ли вообще о выходе его в свет.

Вот о другом варианте рукописи, оставшемся первое время в Иркутске, можно рассказать чуть больше.

Лет двадцать тому назад один из польских литературоведов, изучающих творчество Льва Толстого, обнаружил этот вариант в московском музее писателя.

Рукопись имеет некоторые отличия от опубликованного текста, причем не только стилистические, но и по содержанию.

Отличается, в частности, заглавие.

На титульном листе написано: "Путешествие государственного преступника или воспоминание о моей жене, мной написанное, в знак уважения и дружбы посвящаю госпоже Анне Пфаффиус, урожденной Боборыкиной. Винcentий Мигурский. В Иркутске 1 июля 1859 года".

В рукописи, состоящей из 79 листов большого формата, нет обращения к читателю, с которого начинается печатный текст, нет и целого фрагмента из саратовской главки. Зато почти все фамилии названы полностью, тогда как в книге они обозначены инициалами или опущены совсем.

Для специалистов это существенно. В нашем же повествовании гораздо важнее, пожалуй, будут некоторые подробности о госпоже Пфаффиус и о дальнейшей судьбе рукописи, которую ей подарил Мигурский.

В Музее мы нашли следующее пояснение о прежней владелице рукописи:

"Мать моя Анна Андреевна Пфаффиус (урожд. Боборыкина) родилась в 1830 г. и 26-ти лет уехала из Москвы в Иркутск, получив там место классной дамы в Институте. В Иркутске она познакомилась с автором этой рукописи Мигурским и, насколько я слышала от моей покойной матери, отношения у них были очень дружественные. Знаю, что специально для нее он написал свои воспоминания и подарил ей их в собственноручной рукописи. От матери моей я слышала, что отец ее, мой дед, был в родстве с гр. Л.Н. Толстым, но какая это была степень родства, я не помню. Познакомилась она с Мигурским, вероятно, потому, что вращалась в обществе политических ссыльных поляков и декабристов.

Е. Суходольская".

К пояснениям Е. Суходольской можно сделать только одно небольшое дополнение. Боборыкины действительно были родственниками Льва Толстого, хотя и очень дальними. Двоюродным братом бабушки писателя Пелагеи Николаевны Горчаковой (1762-1838) являлся Дмитрий Петрович Горчаков, женатый на Наталии Федоровне Боборыкиной, умершей в 1833 году.

Рукопись попала в дом Толстых после опубликования рассказа "За что?" и незадолго до смерти писателя. Так что он не только мог ею воспользоваться, но, вероятно, и не знал о том, что в ней содержится. В Музее она оказалась в 1946 году.

О самой Анне Пфаффиус ничего более обнаружить пока не удалось. Ясно только, что ее семья была в числе тех, связанных со ссыльными, иркутских семей, о которых с такой теплотой писал Мигурский.

... На этом, читатель, мы и заканчиваем наше повествование о действительной жизни людей, ставших прототипами героев рассказа Л.Н. "За что?".

И не только рассказа Толстого, но и других произведений.

Что это за произведения?

Как отразилась в них историческая действительность?

На эти вопросы мы частично ответили, обращаясь к рассказу "За что?" О том же пойдет речь и в заключительных главах.

Глава одиннадцатая, возвращающая читателя к истокам литературной судьбы Мигурских

О приключениях наших было что-то напечатано по-русски, я сам читал...
Винцентий Мигурский. "Воспоминания"

Драматическая история Альбины и Винцентия Мигурских стала достоянием литературы еще при их жизни.

Начиная с середины сороковых годов прошлого столетия, судьба этих людей занимает, волнует художников слова, которые снова и снова возвращаются к обстоятельствам несостоявшегося побега и тем, кто в сложнейших жизненных перипетиях проявил лучшие качества человеческой личности, показал мужество, самоотверженность, выдержку.

Первым, кто ввел этот сюжет, этих персонажей в художественную прозу, был Владимир Иванович Даль.

Имя В.И. Даля (1801-1872) известно во всем мире. Его слава зиждется на главном труде, осуществляющемся им в течение десятков лет жизни, - "Толковом словаре живого великорусского языка". Даль знает и как крупнейшего фольклориста, этнографа. 30 тысяч пословиц, поговорок, местных выражений и слов составили фундаментальный том "Пословицы русского языка", который не утратил своего значения поныне.

Гораздо менее известен он как прозаик. Между тем, его перу принадлежат многие очерки и рассказы из русской народной жизни, несколько повестей и циклов сказок, опубликованных им под псевдонимом "Казак Луганский".

По словам В.Г. Белинского, Даль "создал себе особенный род поэзии, в котором у него нет соперников. Этот род можно назвать физиологическим. Повесть с завязкою и развязкою - не в таланте В.И. Луганского..., в физиологических же очерках лиц разных сословий он - истинный поэт, потому что умеет лицо типическое сделать представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом и глупом значении этого слова, т.е. не в смысле украшения действительности, а в истинном его смысле - воспроизведения действительности во всей ее истине".

Таков этот "истинный поэт" и в небольшом своем рассказе "Ссылный", который неотъемлемой составной частью вошел в своеобразную повесть "Небывалое в былом или Былое в небывалом". Впервые она увидела свет в журнале "Отечественные записки" в 1846-м. Написана же, конечно, была раньше. Мы отмечаем этот факт для того, чтобы подчеркнуть, как мало времени отделяло художественное воспроизведение описанного события от происшествия действительного, подлинного.

Владимир Иванович узнал о нем еще в Оренбурге, где с 1833 года служил чиновником особых поручений при военном губернаторе В.А. Перовском. Будучи одним из ближайших его сотрудников, Даль находился в курсе всего, что происходило на территории этого обширнейшего края Российской империи. Тем более, что он все более приобщался к литературе, а это требовало пытливого взглядывания в жизнь, поиска оригинальных сюжетов и ярких персонажей-образов.

Мигурские не могли не привлечь его внимания. Оставив Оренбург до того, как дело было решено полностью и окончательно, Даль имел возможность узнать его "концовку" в Министерстве внутренних дел, где занял должность чиновника по особым поручениям.

Но обратимся к самому рассказу.

Он возникает в подтверждение слов конного егеря о том, что "каждый... может попасться в плен" и "надо готовиться на все". Эта тема его занимает, и молодой человек говорит, как много "придумывали люди, чтоб избавиться от плена или заключения", а далее, порассуждав на сей счет, подходит непосредственно к сюжету: "Вот подобный случай, которого я был свидетелем".

Свидетелем мог с полным основанием назвать себя и Даль

"В весьма отдаленном от средоточия государства городке, или в пограничной крепости, на тех границах, где побеги почти невозможны, особенно для семейного человека - состоял в гарнизоне рядовой, разжалованной и сосланный туда за политический проступок..."

Ни названия "городка", ни местоположения "границ" автор не дает, как не приводит имен-фамилий. Слишком мало времени прошло со времени событий, ничто не стало историей, все действующие лица были живы - и это требовало от автора особой осторожности в обращении с фактами.

"... Невеста последовала за ним; они обвенчались, но одного этого не было достаточно для их счастья; плен, неволя, ранец да перевязь - вот что сокрушало бедняка. Со дня на день тоска по отчизне усиливалась и наконец обратилась, можно сказать, в неистовство: как он, так и она, готовы были посягнуть на всякую

крайность, лишь бы избавиться от этого положения. Ребенок, умерший вскоре по рождении, усиливал еще грусть родителей, которые все бедствия свои, даже и смерть младенца, приписывали нынешнему положению своему и которых день и ночь занимала изуверная мысль вывезти, во что бы то ни стало, даже и самый прах младенца из этой несчастной для них земли".

О Мигурских он пишет с явным сочувствием, и это ощущается в каждой строке. Но уже тут проступает нечто, идущее от того, что автор во многом смотрел на "случай" с позиций своих информаторов - лиц официальных, должностных. "Все бедствия свои... приписывали нынешнему положению своему..." А чему же еще? "Изуверная мысль..." Такая ли изуверная?"

"... Но что тут делать и как быть? бежать просто - поймают, и будет хуже прежнего; одному можно бы еще решиться, но с молодой женой?"

Наконец, вечером, - это было летом, - внезапно разнесся слух, что бедняк утонул или утопился. Начальство кинулось к нему в дом и нашли жену его в отчаянных слезах, едва ли не без чувств. На берегу реки найдена была одежда его; он, по словам жены, пошел купаться и не возвращался. Труп не могли отыскать; река быстра, полагали, что его унесло водой..."

"Летом" - вместо ноября - понадобилось Далю для подкрепления слов героини о том, что муж "пошел купаться". А вот то, что "начальство кинулось" на квартиру польской четы, идет от того же начальства, которому выгодно было выставить себя в свете более выгодном.

Отсюда же и последующее:

"Местное начальство приняло самое живое, родственное участие в положении молодой вдовы. Ей не только оказывали всякого рода помощь и пособие, не только старались утешить искренним соболезнованием, но исходатайствовали для нее даже денежное пособие, для отправления на родину - в Галицию, снабдили дорожным экипажем и назначили, по отдаленности края, надежного провожатого, хорошего казака..."

Ни о месяцах томительного ожидания, ни о том, чего стоило получение пособия, ни о подозрении, которое не снималось ни с "утопленника", ни с "вдовы", в рассказе нет ничего. Искренность "доброжелателей" под сомнение не берется; на фоне "притворства" женщины она выглядит еще внушительнее.

И вот - сам побег.

"... Казаку, которому было приказано угождать во всем вдове (при ней была, впрочем, еще и девка, также из Галиции), наперед всего показалось несколько странным, что юарыня во всю дорогу закрывает и застегивает кругом весьма тщательно тарантас, между тем как на дворе стояла невыносимая жара и путницу парило в закрытом экипаже, как в бане. Казак также заметил, что, прибыв на станцию, барыня всегда с особенным старанием отгоняла его от приступка, если услужливый провожатый подходил, тоб спросить, не угодно ли выдти; а через несколько времени казака обыкновенно опыть подзывала и приказывала открыть тарантас. Далее, обращая на все это про себя внимание, он стал поглядывать с какой-то недоверчивостью на рундук, подделанный изнутри тарантаса под козлами и по-видимому закрытый наглухо, кругом.

По временам, когда тарантас внезапно останавливался, казак прислушивался, и ему казалось, что он слышит какой-то шопот и замечает в тарантасе необыкновенное движение и суету. Все это рождало в провожатом только неопределенные подозрения; но судьба решила вывести его из этого недоумения - показать дело налицо..."

Не противореча в главном документам, не пренебрегая показаниями, Даль - устами рассказчика-егеря - использует право художника на домысел, на подчеркивание и обыгрывание деталей, на собственное видение каких-то моментов. И мы замечаем рундук - в материалах следствия не выделенный, вместе с провожатым обращаем внимание на "необыкновенное движение"; судя по показаниям казака Еремина, его насторожил только однажды услышанный за спиной мужской голос.

"... В одно утро, когда путница отъехала уже от места на несколько сот верст, тарантас мчался по весьма неровной дороге; от сильного толчка доска под козлами, на которых сидели и ямщик, и казак, с одного конца провалилась и встретила такое сильное противодействие, что не только внезапно поднялась на свое место, но даже и выше, едва не сбросив с козел и ямщика, и казака; а вслед за тем доска опять провалилась. Стой! - закричал казак, соскочил с козел, силою сорвал запон и встретился с бедным утопленником номос к носу..."

В показаниях едва упомянутая, здесь эта злополучная доска оказывается в поле пристального внимания и непосредственно подготавливает событие решающее - обнаружение и поимку беглеца.

Далее как в документах из дела:

"... Неутешная вдова сулила казаку все, что деньгами при ней было; а когда это не помогло, то отчаянный беглец хотел прибегнуть к последнему средству, данному природой каждому живому существу в крайних случаях - обороне. И это не удалось: удар прикладом пистолета в голову обезоружил несчастного, а встретившиеся в эту минуту извозчики с обозом помогли его связать..."

В заключение автор бросает несколько выразительных штрихов. Одни соответствуют официальным данным, другие в чем-то расходятся, но... доверие к рассказу полное. Писатель мог пользоваться и не документальными источниками, а, скажем, информацией очевидцев или даже участников событий. Ведь пишет же Даль: "случай, которого я был свидетелем". правда, напомним, эти слова вложены в уста некоему молодому конному егерю, однако свидетелем мог быть и сам повествователь - обстоятельство рассказа тому подтверждение.

А вот и заключительные строки.

"... В ближайшем городке бедняка сдали местному начальству, а когда осмотрели в подробности тарантас и все пожитки их, то нашли, между прочим, какой-то загадочный ларчик, в котором оказались останки умершего младенца. Предполагая уже в тоя время побег свой, они схоронили порожний гроб, а труп спрятали в погреб, чтобы не оставить на чужбине и драгоценных косточек. В этом же погребке сидел мнимый утопленник во все время до отъезда; затем для него под козлами тарантаса был устроен особый рундук; а как ему было лежать там тесно и душно, то запон тарантаса в продолжение пути тщательно застегивался и узник выползал оттуда подышать воздухом. Проломившаяся доска обнаружила все и передала несчастного в руки правосудия".

Рассказ Даля интересен во многих отношениях. Во-первых, это рассказ современника. Во-вторых, первый рассказ о Мигурских в художественной литературе, написанный по горячим следам событий.

"... - Вы говорите, что были свидетелем этого происшествия? - спросил другой собеседник.

- Да, - отвечал тот, - и случай этот был в свое время очень известен; я не был при том, как казак поймал бедного утопленника, но, между прочим, даже сам видел впоследствии подсудимого..."

Даль Мигурского видеть мог.

Скажем, в том же Оренбурге, где служил в канцелярии военного губернатора и куда беглеца доставили вскоре после поимки.

И это тоже важно. Рассказ писал человек, взволнованный встречей - личной встречей - с тем, кто становился одним из его героев...

Повесть "Небывалое в былом или Былое в небывалом", а в ней рассказ "Ссылный", публиковалась не только в "Отечественных записках", но и в собраниях произведений В.И. Даля. Мы пользовались здесь текстом, помещенным в первом "посмертном полном издании, дополненном, сверенном и вновь просмотренном по рукописям".

Алексей Максимович Горький отзывался о Дале так:

"Его очерки - простые описания природы, такую, какова она есть. Эти очерки имеют огромную ценность правдивых исторических документов... Даль не художник, он не пытается заглянуть в душу изображенных им людей, зато их внешнюю жизнь он знает, как никто не знал ее в то время".

Именно Далю выпала честь ввести Мигурских в русскую литературу.

Вслед за ним весьма заметная и почетная роль в русской "мигуриане" принадлежит С.В. Максиму - автору книги "Сибирь и каторга", получившей широкую известность в России и за ее пределами.

Сергей Васильевич Максимов (1831-1901) был в свое время известным этнографом и писателем. Отмечая его заслуги, Академия наук избрала ученого-литератора своим почетным членом. Наиболее полным изданием произведений Максимова является посмертное собрание сочинений в двадцати томах, осуществленное в 1908-1913 годах. Оно включает все наиболее значительные труды автора, в том числе двухтомный "Год на Севере" (1859), "Крылатые слова. Не спроста и не спуста слово молвится и до веку не сломится" (1890) и ряд других.

Первые четыре тома собрания сочинений отдано произведению, которому Максимов посвятил многие годы жизни, и названному им "Сибирь и каторга".

Этот капитальный труд, отличающийся глубоким исследованием явлений, эмоциональной насыщенностью и публицистической яркостью, основан на доскональном знании автором огромного количества источников - печатных, изустных, архивных.

Одна из глав третьей части труда С.В. Максимова имеет авторское название "Ссылные поляки" и посвящена истории польской политической ссылки в Сибири. Впрочем, материал об этом содержится и в ряде других разделов произведения - писатель возвращается к нему на протяжении всей книги.

С искренней теплотой пишет Максимов о Мигурских. И хотя он ссылается на рассказ В.И. Даля, рекомендуя читателям "Отечественные записки" 1846 года, его изложение исторического материала самостоятельно, самобытно.

Максимов не просто констатирует, но и подчеркивает причастность своих героев к национально-освободительному движению польского народа. Он видит в них не столько жертв производа, сколько активных борцов за свою свободу и освобождение Родины от угнетения самодержавной властью. На передний план в этом повествовании выступает Альбина, причем именно ее подвиг - подвиг жены и патриотки - занимает воображение писателя всего более.

Сопоставляя тексты В.И. Даля и С.В. Максимова (этот, последний, полностью воспроизведен в начальной главе книги), мы видим не просто различие стилей, но и углубление темы, усиление образов, заострение политического звучания материала.

На долю автора "Сибири и каторги" выпала завидная доля - в работе над интереснейшим историческим сюжетом проложить путь гению русской литературы, творцу "Войны и мира", "Анны Карениной", "Воскресения" Льву Николаевичу Толстому.

Без прочитанной им страницы в книге Максимова не было бы его замечательного рассказа "За что?"

ЗАГАДКА СТАРОЙ КНИГИ

Это не древняя инкунабула XV века, не случайно уцелевший экземпляр сожженного по царскому приказу первопечатного радищевского "Путешествия из Петербурга в Москву", не томик с автографом Пушкина и не басни Крылова в сборнике размером с почтовую марку.

Героиня моего рассказа куда скромнее. Он тоже редка - после выхода в свет прошло уже много десятилетий. Но библиографическим уникалом не является.

Книга называется: "Мысли мудрых людей на каждый день. Собраны гр. Л.Н. Толстым". Она выпущена в 1903 году в издательстве "Посредник".

Обнаружил я ее на книжном развале в Орске, среди тысяч томов, вывезенных во время войны из Ленинграда. Томик в протертом черном переплете привлек мое внимание не только тем, что это был Толстой и притом в прижизненном издании. Титульный лист оказался "украшенным" штампом-треугольником: "СПБ тюрьма. Проверено".

Санкт-Петербургская тюрьма? Значит, книга побывала в застенке... Когда? С кем?

Дата на одной из страниц - 31 марта - была отчеркнута карандашом. Следующая - тоже. Случайностью это быть не могло. Скорее - своеобразные "зарубки". Книга, по-видимому, служила своему владельцу календарем в полном смысле этого слова. Ну, конечно же, это так! Под датой "19 мая" тем же карандашом написано: "50-й день моего заключения". "Зарубки" продолжались в июне...

Арестант отмечал и наиболее интересные, с его точки зрения, мысли. Тонкие змейки на полях обращали внимание на изречения, посвященные свободе, равенству, служению людям.

Карандашные пометки, во многих местах едва заметные, как бы вводили меня в мир раздумий неизвестного человека. Кто он?

Прежде, чем я ответил на этот вопрос, прошло пятнадцать лет. Другие дела, другие интересы отвлекли меня от загадки старой книги. Но однажды я вновь взял ее в руки, посмотрел на штамп Петербургской тюрьмы, вновь полистал страницы с пометками. И теперь уже твердо решил довести дело до конца.

Я не сказал, что на титульном листе была чернильная строка: "Из книг Ник. Фельтена".

Фельтен... Но, может быть, это вовсе не тот заключенный, а более поздний обладатель книги, и не его руками сделаны подчеркивания, не им отмечались дни томительной арестантской жизни?

Фельтен... Поищу-ка удачи в городе, где некогда сидел в тюрьме владелец томика.

Из Государственного исторического архива Ленинградской области вскоре прибыл ответ. В нем сообщалось, что Фельтен Николай Евгеньевич в 1904 году "находился под следствием как коллекционер нелегальных изданий Л.Н. Толстого".

Таким образом, полностью - или почти полностью - устранялись сомнения в том, что человек, пометивший книгу своим именем, и заключенный, чьим спутником была эта книга в тюрьме, лицо одно и то же.

Но "зарубки" не совпадали с датами, указанными в архивной справке. Фельтен, значилось в ней, был освобожден "за недоказуемостью обвинения" 30 марта, между тем пометки в книге-календаре начинались с 31 марта.

В том же письме содержался совет: обратиться в Институт русской литературы Академии наук, известный под названием Пушкинского дома.

В Ленинград ушло второе письмо. Ответ из Пушкинского дома расширил знания о человеке, который меня интересовал. Я узнал, что Фельтен в 1901 году вступил в переписку с Толстым, а в 1903-м ездил к нему в Ясную Поляну, что позднее он принимал участие в издании некоторых статей писателя, направленных против официальной религии и самодержавия, что в 1909 году был приговорен за это к шести месяцам заключения в крепости, что его перу принадлежит ряд статей и воспоминаний о Л.Н. Толстом.

Вехи были намечены. Верилось, что они приведут к цели.

Обратился к полному собранию сочинений Льва Толстого. Тысячи страниц отведены в этом 90-томном издании письмам Толстого к многочисленным корреспондентам в России и за ее рубежами. Среди них - Николай Фельтен. Ему адресовано несколько писем. Первое он получил еще шестнадцатилетним юношей, а последнее - восемь лет спустя, незадолго до смерти своего великого друга.

Другом называл Фельтена сам Толстой. Дружеская симпатия пришла тогда, когда Лев Николаевич смог убедиться, что тот готов всемерно способствовать распространению дорогих писателю идей.

Фельтен переписывал, перечитывал, переснимал книги и брошюры Толстого, издававшиеся ближайшим помощником писателя В.Г. Чертковым в Англии и им же пересылавшиеся в Россию. Эти произведения находились под запретом цензуры и тем не менее становились достоянием широких слоев русских читателей.

Еще деятельнее взялся Фельтен за распространение нелегальных изданий любимого писателя после того, как съездил в Ясную Поляну.

Но вскоре он нарвался на засаду.

При обыске полицией был обнаружен целый склад нелегальной литературы. Не только запрещенных изданий Толстого, но и крамольных листовок. Из охранного отделения задержанного перевели в дом предварительного заключения, где тот провел не одну неделю и откуда был выпущен под строгий надзор полиции.

В своих воспоминаниях Фельтен писал, что его лучшими друзьями в одиночной камере были произведения Л.Н. Толстого. "Мысли мудрых людей" он не упоминал, хотя к тому времени книга уже была издана. Но даты, даты...

Это был первый, но не последний арест Фельтена. Он стал осмотрительнее, находчивее, и все же пережить жандармов удавалось не всегда.

Трудным делом была перевозка запрещенной литературы из Финляндии. С удовольствием рассказывал впоследствии Толстому, как однажды ему буквально "под носом" у важного жандарма удалось пронести целый тюк книг весом в два-три пуда. Фельтен перевозил книги по льду на буере, по воде - на лодке. Для брошюр были приспособлены потайные карманы. Сколько таким путем было переправлено! Счет надо вести не десятками и сотнями - тысячами экземпляров. Когда его задержали, то больше всего он горевал не о своей свободе, а об утраченной литературе. Долго переживал, например, Фельтен, когда лишился "Воскресения" со многими страницами сделанных им рукописных вставок - это были места, вымаренные цензурой.

Важной главой его жизни стало участие в создании и работе петербургского издательства "Обновление". Оно сумело выпустить 25 книг Толстого, содержащих самые сильные из его статей антицерковного, антиправительственного духа.

Знаменитый писатель выступил по поводу ареста Фельтена с обличительной статьей "Не убий никого". Тогда же получило распространение заявление Толстого судебному следователю: "Все те меры, которые принимаются против Фельтена, по здравому рассуждению и справедливости должны быть обращены на меня..."

Когда суд начался, адвокат имел полное основание заявить:

- Сегодня судебная палата судит великого писателя земли русской...

Фельтену грозили годы тюремного заключения, но сказалось влияние общественного мнения. Приговор гласил: шесть месяцев крепости. Восьмидесятилетний писатель горько переживал несправедливость. "Крепись, милый друг", - писал Фельтену Толстой.

Возможно, книга, история которой меня заинтересовала, сопровождала Фельтена в этот раз. Надо проверить. Каким числом датирован приговор? Не то... Приговор был вынесен 12 мая 1909 года. Тут же значилось, что до этого подсудимый находился в тюрьме десять дней (его отпустили под залог, внесенный Л.Н. Толстым),

... Быть может, от дальнейших поисков отказаться? В конце концов, главное известно. Передо мною прошли годы жизни владельца этой книги, мне удалось узнать немало интересного о его дружбе с Толстым. Так ли важны последние детали?

Но надо, думалось, отыскать и другие документальные материалы. Фельтен, как сообщалось в комментариях к его воспоминаниям, умер в 1940 году. По всей вероятности, живы близкие ему люди.

Не буду задерживать внимание на том, как разворачивались поиски. Скажу одно: удалось выяснить, что в Ленинграде живет Елена Александровна - вдова Фельтена. При ее любезном содействии разыскания были доведены до конца.

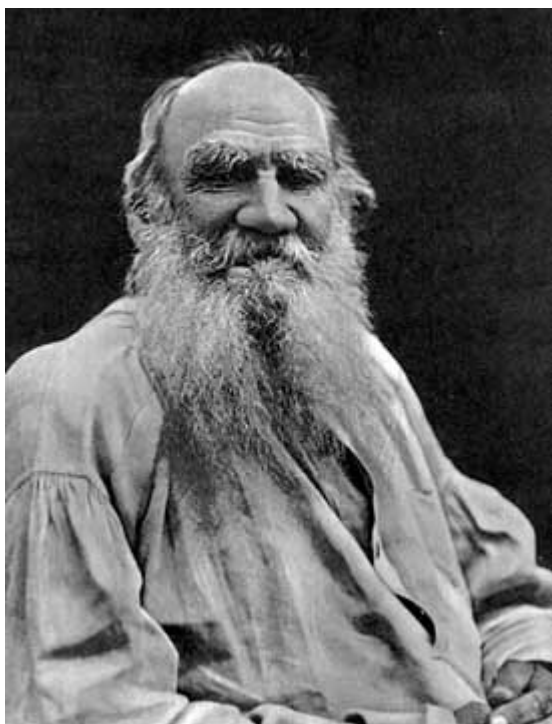
Ясность внес хранящийся в семейном архиве трудовой список Н.Е. Фельтена. Оказалось, что даты того, первого ареста, в 1904 году, в архивной справке были указаны неточно. На самом деле арестовали в последних числах марта, а освободили в июне, что полностью совпадает с пометками на страницах книги. Выходит, что она была с Фельтеном во время постигших его первых же суровых испытаний...

Как сложилась жизнь Николая Евгеньевича Фельтена?

До самой революции он находился под надзором полиции, подвергался преследованиям. А с первых дней Советской власти корреспондент и друг Толстого взялся за подготовку изданий произведений Л.Н. Толстого, организацию выставок о творчестве писателя. Фельтен составил книгу "Толстой, царизм и церковь". В то же время он работал библиотекарем на строительстве Свирской ГЭС, выезжал в экспедицию по подъему затонувшего судна "Садко", редактировал журнал торгового флота.

Письма Льва Николаевича Толстого, фотоснимки, на которых он запечатлен, посмертную маску, снятую в трагический день на станции Астапово, Фельтен хранил до самой смерти. Ныне они в музее. Так и должно быть. Все, что связано с именем Толстого, - достояние национальное.

"ВСЕ ВАС ПОМНЯТ И ЛЮБЯТ"



Первая встреча, первое их знакомство произошло в сентябре 1901 года. Было это в Крыму. Толстого привела туда тяжелая болезнь. По совету врачей он был спешно вывезен на благодатное крымское побережье. Владелица имения в Гаспре графиня Панина предоставила в распоряжение Льва Николаевича и его близких свой дом.

В этот дом и пришел несколько дней спустя земский врач из соседнего Кореиза Константин Васильевич Волков.

За ним послал Толстой.

В тот памятный день Волков - большой любитель театрального искусства - режиссировал в Народном доме любительский спектакль, в котором играл и сам...

Но лучше привести его собственный рассказ.

"Знакомство мое с Львом Николаевичем состоялось довольно оригинально, - вспоминал он впоследствии. - Незадолго до приезда Льва Николаевича мы решили поставить пьесу Островского "Не так живи, как хочется", в которой я играл роль Петра. Роли мы учили всегда образцово и репетировали усердно и старательно - в костюмах и по возможности в обстановке. И вот вечером, часов в десять, во время одной из таких репетиций, ко мне является посланный с приглашением посетить сейчас же Льва Николаевича. Я, разумеется, тотчас же прерываю репетицию, и как был: в красной рубахе, плисовых шароварах и высоких смазных сапогах - отправляюсь чуть не бегом в Гаспру. Через пять минут я

был уже там и с бьющимся сердцем, волнуясь, ожидал встречи с великим человеком. Меня пригласили в небольшую комнату, влево от входа, и там я увидел Льва Николаевича, одного, лежащего на кушетке. Пришлось прежде всего извиниться и объяснить свой костюм... Замечательно, что после первых же нескольких слов Льва Николаевича все мое волнение и страх исчезли без остатка: я видел перед собой простого, милого, доброго старика, которого можно только любить. Никаких внешних изъявлений того величия, которым увенчал его мир. Как-то странно было сознавать, что этот простой, милый старец и есть сам Лев Толстой..."*1

В Гаспре писатель прожил более восьми месяцев.

Надеясь на скорую его смерть, враги развили усиленную деятельность. Дом, в котором он жил, находился под постоянным наблюдением полицейских шпионов. Вокруг него вертелись духовные лица, имевшие поручение уговорить Толстого примириться с церковью. На их обязанности лежало также: независимо от результатов своей миссии, сразу после кончины "еретика" во всеуслышание объявить о его "раскаянии во всех грехах". Эти непрощенные гости отравляли существование.

Тем радостнее встречал он милых ему людей, среди которых все эти месяцы неизменно оставался Волков. Оказалось, что он учился в том же городе и том же университете, что и Толстой. До поступления на медицинский факультет Московского университета, который был им окончен в 1897 году, Константин Васильевич прошел курс естественного отделения физико-математического факультета Казанского университета. Знающий специалист, человек широкого образования и разносторонних интересов стал одним из постоянных врачей и частым собеседником писателя.

Его имя много раз упоминается в дневниковых записях тех месяцев. "Вечером был Волков..." "Вечером Волков..." "Волков слушал..." Эти и подобные заметки можно встретить не на одной странице дневниковых записей, собранных в 54-м томе полного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Врач Волков был свидетелем работы Льва толстого над повестью "Хаджи-Мурат". Вместе они оказались на репетиции комедии Островского. Лев Николаевич одобрил выбор пьесы и остался доволен исполнением, хотя и высказал замечания - они касались деталей деревенской одежды. "Сегодня ночью плохо спалось, и я обдумывал сюжет пьесы для народа", - делился Толстой с Волковым только что возникшим замыслом.

Ему привелось видеть и слышать Толстого в философском споре и разговорах о поэзии, за чтением многочисленных писем от простых людей и на любительском концерте оркестра народных инструментов. При нем проходили беседы с Горьким и Короленко. Он составлял Толстому компанию в играх и принимал его у себя дома, знавал в спокойствии и гнев.

Запомнился такой случай, описанный им в тех же "Набросках к воспоминаниям":

"... Получает Лев Николаевич письмо от какого-то корреспондента из тюрьмы. Письмо было крест-накрест перечеркнуто яркими желтыми полосами полутораклористого железа (проявителя для симпатических чернил или слюней, которыми пользуются заключенные в целях тайной переписки). Льва Николаевича удивили эти желтые полосы, и он спросил, что это значит. Когда я объяснил ему, что это дело рук жандармов, то надо было видеть Льва Николаевича. Он даже покраснел от негодования и воскликнул:

- Ах, мерзавцы... С каким бы наслаждением я вымазал им рожу этой гадостью..."*2.

Заметки К.В. Волкова - живые свидетельства об этом периоде жизни Толстого. Волков запомнил и донес до нас драгоценные высказывания писателя о классиках литературы и декадентах, о песнях русского народа и природе, подметил и передал его неповторимые черты.

Сам он всюду в тени. О своей работе почти не упоминает. Меж тем известно, что нередко ему доводилось проводить у постели больного и дни, и ночи. Волков явился одним из тех, кто помог Толстому побороть болезнь, вернуться к жизни.

Когда в первый день нового, 1902 года К.В. Волков выезжал в Петербург, на VIII съезд русских врачей, посвященный памяти Н.И. Пирогова, писатель снабдил его письмом к близкому знакомому А.Н. Дунаеву.

"Письмо это вам передаст мой очень милый знакомый и земский Кареизский доктор, - писал Толстой. - Он очень живой и умный человек, и ему, вероятно, будет приятно, будучи на съезде, познакомиться с вами, и вам и вашей семье, которой передайте мой привет и поздравление с Новым годом, будет, вероятно, приятно узнавать его. Он меня лечил и расскажет вам про меня" (73, 181).

О доверии, которое питал писатель к Волкову, о том, что врач был в курсе не только здоровья, но и литературных дел Толстого, свидетельствует уже тот факт, что в эту поездку ему было поручено передать Дунаеву для пересылки В.Г. Черткову рукопись статьи "О веротерпимости".

В последних числах 1901 года Толстой начал письмо Николаю II, в котором обращался к царю с призывом уничтожить "тот гнет, который мешает народу высказать свои желания и нужды", отменить "исключительные законы, которые ставят рабочий класс в положение пария" и положить конец частному землевладению (73, 184). Волков об этом письме знал, о нем было не раз говорено во время прогулок. Петербургские друзья Толстого узнали о начатом им письме именно от Константина Васильевича.

Когда 25 января 1902 года писатель заболел воспалением легких, Волков был вызван в Петербург телеграммой. Месяцы, проведенные близ Толстого, остались в памяти Волкова как самые яркие, самые волнующие.

"Мы все живем приблизительно по-прежнему, - писал Волков Софье Андреевне в конце 1902 года. - Я много работаю по больнице, устраиваю спектакли, читаю. Жена много времени тратит на ребят. Мы часто вспоминаем то время, когда вы были у нас, и часто рассказываем новым людям о Льве Николаевиче. Все мы горячо любим его и шлем ему свой привет и пожелания быть бодрым, сильным и крепким"*3.

Дружеское расположение Толстого Волков чувствовал постоянно.

Первое из писем к нему явилось ответом на сообщение Волкова об отъезде на русско-японскую войну.

"Очень благодарен вам за ваши добрые чувства, - писал он 10 июня 1904 года. - Это, как вы знаете, совершенно взаимно. Если же бы я мог чем-нибудь послужить вам, то был бы очень рад..."

В этом письме писатель высказал свое отношение к начавшейся в январе 1904 года войне между Россией и Японией. С самого начала он осуждал ее захватнический характер. Глубокое возмущение Толстого вызвала бессмысленность гибели тысяч русских крестьян и рабочих, страданий простого народа ради грабительских интересов царского правительства.

"Война захватила вашу семью своим материальным колесом, меня же она давит духовно, - делился он с Волковым. - Ужасаешься на то, что с таким усилием и напряжением совершается то, чего не должно, не может быть, если только человек разумное существо" (75, 120-121).

Осуждая войну, писатель предчувствовал важнейшие последствия, которые она может иметь (и имела) в жизни русского общества.

Когда в ноябре того же года Волков написал Толстому о возвращении с фронта (земские врачи, заведующие больницами, были освобождены от военной службы), тот откликнулся небольшим дружеским письмом:

"Спасибо, милый Константин Васильевич, что написали мне.

Очень порадовался я, как и все домашние, за вас, вашу милую жену и детей.

Я живу что дальше, то лучше. Работы много, времени мало. Вы это знаете, потому что всегда так живете.

Дела совершаются на Дальнем Востоке знаменательные, последствия их не могут не быть огромные.

Дружески жму вашу руку и кланяюсь вашей жене.

Л. Толстой.

22 ноября 1904 г." (75, 188).

В письме надежда на то, что русско-японская война раскроет массам глаза на преступность правительства, убедит их в необходимости освобождения от политического насилия. Именно это, как можно судить по его статьям, по другим письмам, имел в виду Толстой, говоря о "знаменательности" происходящих событий.

... Опасаясь за сохранность своих крымских владений, царь распорядился ввести в Ялте и прилегающих к ней населенных пунктах положение о "чрезвычайной охране", согласно которому полиция получала право арестовывать, а затем высылать без суда и следствия любого человека. Реакция душила любое проявление свободной мысли. Под запретом оказалось даже громкое чтение газет - "чтобы не возбуждать интереса к военным и политическим событиям".

Пользуясь служебным положением, Константин Васильевич прятал в своей больнице бежавших от расстрела матросов-севастопольцев (они скрывались им под видом больных рожистым воспалением). Здесь же, в больнице, хранилась нелегальная литература, распространявшаяся затем по всему побережью. Волков имел

прямое отношение к стачкам рабочих и митингам на море, к агитации среди солдат и печатанию листовок ялтинской социал-демократической группы.

За все это он был арестован и отправлен в ссылку. Местом ее оказался Заволжский городок Ядрин. Впрочем, и этой глухомани, о которой много рассказывал Толстой, коснулось революционное движение. Вскоре по приезду ссыльный врач познакомился с некоторыми из тех, кто активно в нем участвовал. Состоялось первое знакомство и с Почуевым - будущим корреспондентом Толстого. В этот раз, однако, оно было недолгим. Почуева отправили под надзор полиции в Оренбургскую губернию, а Волков, получив разрешение властей, выехал в Браилово на Подольщине.

Там, в Браилове, будучи врачом сахарного завода, он с острой душевной болью узнал о смерти Толстого.

В рукописном отделе Государственного музея Л.Н. Толстого сохранилось письмо, написанное Волковым сразу после получения скорбного известия:

"Дорогая Софья Андреевна!

Позвольте разделить с Вами и Вашей семьей постигшее всех нас горе. Так больно, так тяжело сознавать, что дорогого Льва Николаевича нет с нами. Как мне хотелось быть в Астапове, чтобы быть полезным Льву Николаевичу, но не пришлось, так как в это время я был болен той же катаральной пневмонией, которая унесла от нас дорогого "дедушку Толстого".

Жена и дети выражают Вам самое искреннее и горячее участие.

Искренне уважающий Вас

К. Волков"⁴.

А вскоре Константин Васильевич вновь появился в Ядрине. Он приехал с женой - фельдшерницей Клавдией Владимировной, о которой в семье Толстых отзывались с неизменным уважением, с детьми, также знавшими писателя (он называл их "белыми грабками" и "петушками"), и совсем небольшим багажом. Самым ценным в нем были хирургический инструмент, книги и письма.

Многие книги хранили теплые дарственные надписи их авторов: Волков знал Толстого, Чехова, Горького, Короленко. Письма тоже были от них, известных русских писателей. На самом почетном месте квартиры, которую сняла семья, Волков повесил портрет Льва Николаевича с его теплой, сердечной надписью. Памятную фотографию, на которой он был снят вместе с Толстым, Волков хранил как реликвию.

Двадцать семь лет, до самой кончины, трудился он в участковой больнице⁵. Эта больница, названная впоследствии именем ее основателя, стала одним из опорных пунктов развития отечественной хирургии. Свыше 30 тысяч хирургических, гинекологических, глазных операций, 80 с лишним научных работ выполнено здесь Волковым. Долгими часами не покидал он операционной, не оставлял больных, а вечерами готовил доклады к научным съездам и лекции для врачей, участвовал в редактировании столичных медицинских журналов. Его научные заслуги были отмечены присуждением ученой степени доктора медицинских наук. Одним из первых в стране, еще в 1923 году, Волков удостоился почетного звания Героя Труда.

До конца своего пути (Волков умер в 1938-м) он хранил в сердце встречи с Львом Николаевичем Толстым. Огромна была его радость от сознания того, что творчество Толстого становится все более близким людям в его крае, в России.

ПИСЬМА БЫЛИ АДРЕСОВАНЫ В ОРСК...

В 82-м томе полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, помещено его письмо Льву Викентьевичу Томилову, датированное 1 сентября 1910 года.

Письмо адресовано в Орскую тюрьму. Оно представляет собою ответ на письмо Томилова от 20 августа 1910 года, который писал, что находится в следственной камере Орской тюрьмы и следовательно читал ему на допросе статью, по которой он "заслуживает 4 года роты и водворения на Сахалин".

Кто такой Томилов? Секретарь Толстого В.Ф. Булгаков в своих воспоминаниях пишет, что это "один из крайних опрошенцев, бывший у Л.Н., ходит всегда босой, с палкой. Голова с чудной рыжей шевелюрой, непокрытая. Уже пожилой человек".

Знаменитому писателю посылали свои опыты начинающие авторы. Толстой очень чутко относился к подлинным талантам, но прямо и даже резко отговаривал заниматься литературой тех, которые не имели для этого сколько-нибудь достаточных данных. В феврале 1910 года Толстой получил письмо из Орска от некоего И.И. Титова. Письмо хранится в рукописном отделе Государственного музея Л.Н. Толстого. "Желаю найти себе счастья с помощью Вашей, а потому обращаюсь к Вас с искренней просьбой, - писал Титов. - Лев Николаевич, помогите мне продать написанную мной пиесу под названием "По родному" в 4-х действиях. Если Вы возьметесь помочь своему труду, то прошу пишите, чтоб я выслал ее. Писано грамотеем сельского училища; составлена из купеческого сословия; как я участвовал на военной службе в ролях разных сочинений и тогда дал себе написать своего изобретения пиесу; конечно, может быть и ошибки, тогда увидите".

Автор письма Илья Титов жил, как он указывает по адресу: "9-я улица, дом Пирожкова".

Толстой написал, чтобы Титов "не присылал" и что он "этим не занимается". Ответ, безусловно

продиктован тем, что писатель очень требовательно относился к литературному творчеству. Безграмотность письма убеждала его в том, что "пьеса" не может быть лучше. К тому же Лев Николаевич, как он заявил в другом письме того же года, не терпел сочинительства, в основе которого лежат "очень дурные чувства тщеславия и корысти".

Письма, адресованные в Орск, представляют значительный краеведческий интерес.

"ВЛАСТЬ ТЬМЫ" В СТЕПНОМ ЗАХОЛУСТЬЕ

"Я раньше объявил, что буду писать для народа, и "Власть тьмы" я писал для народа".

Это - слова Льва Николаевича Толстого.

Пьеса, о которой идет речь, много лет была под запретом, да и позднее, когда официальный запрет с нее сняли, среди "рекомендованных" к постановке не значилась.

Тем не менее замечательное произведение Толстого становилось известным все более широкому кругу читателей и зрителей.

В 1908 году "Власть тьмы" была поставлена в Орске.

Местом ссылки лучших людей из народа являлся город долгие годы. Известно, что здесь отбывал солдатскую каторгу великий украинский поэт Тарас Шевченко. О том, каким был город в 1908 году, свидетельствует официальный документ - отчет чиновника особых поручений Сидорова Оренбургскому генерал-губернатору. "Расход на содержание тюрем по величине своей резко отличался от всех прочих расходов и обращает на себя внимание", - писал он, и тут же приводил цифры: на тюремное "хозяйство" в течение года расходовалось 465 рублей, в то время как на все благоустройство только 10.

И вот в захолустном, затеряншемся среди безбрежных степей и оторванном от железной дороги Орске решили отметить 80-летие со дня рождения Льва Толстого постановкой замечательной пьесы. В "Оренбургской газете" 13 марта 1908 года появилась заметка, которая сообщала: "20 февраля любителями и любительницами драматического искусства под распорядительством Е.В. Отвиновского была поставлена драма Льва Николаевича Толстого "Власть тьмы". Как благодаря распорядительности и энергии Е.В. Отвиновского, так и особенно богатому ансамблю спектакль прошел с успехом более чем полным. Доказательством этого служит желание публики повторить спектакль 22-го числа в пользу голодающих".

Автор, подписавшийся псевдонимом "Здесьний", отметил "отличную игру" всех исполнителей, но особо выделил А.А. Логинову в роли Акулины, Е.А. Умрихину - Анисьи и В.И. Смирнова - Никиты. "Особенно удачно прошла 22-го числа сцена в четвертом акте между Анюткой (любительница Л.Н. Нелидова) и работником Митричем (любитель Д.П. Малеев)".

Это, собственно говоря, и все сообщение о постановке пьесы Л.Н. Толстого. Далее в заметке идет речь о состоявшемся после спектакля дивертисменте. "Особенно хороша была декламация Л.Н. Сейфуллиной в стихотворении Скитальца "Колокольчики-бубенчики звенят", - отметил корреспондент газеты. - Публика долго не смолкающими аплодисментами награждала приобретающую репутацию таланта исполнительницу".

Значит в том вечере участвовала и Лидия Сейфуллина, которая тогда жила и работала в Орске. Но, как оказалось, она принимала участие не только в дивертисменте, а и в самом спектакле. Л.Н. Нелидова и Л.Н. Сейфуллина - одно и то же лицо. Первая фамилия - ее театральный псевдоним. Во "Власти тьмы" молодая артистка-любительница была Анюткой.

- Уже на первой читке пьесы Толстого, - рассказывала участница кружка любителей Л.М. Людомирская, - каждый почувствовал: на сцену должен прийти настоящий живой человек со всем его горем, со всеми страданиями. Не всем это пришлось по душе. Некоторые кружковцы выступили против постановки, мотивируя тем, что, мол, язык в ней "грубый", со сцены будет "пахнуть портянками" и вообще эта пьеса "безнравственна". Но энтузиасты не уступили. Спектакль готовился дольше обычного. С особой тщательностью писали декорации, отработывали каждую роль, отшлифовывали язык. играли с особым воодушевлением.

- Наибольший успех выпал на долю Сейфуллиной, - вспоминала Людомирская, - Лидия Николаевна так глубоко проникла в психологию десятилетней крестьянской девочки, забитой горем и наученной жизнью, что я поняла: таких Анюток она наблюдала, и не раз, живя в селах. В сцене с Митричем Сейфуллина потрясла всех...

Кто другие участники спектакля? В основном специалисты водочного завода, являвшегося тогда "крупнейшим" предприятием города, учителя, служащие городской управы. Роль Никиты исполнял В.И. Смирнов. В кружке было шестеро Смирновых: отец, четверо сыновей и дочь. Между прочим, она тоже играла Анютку, но только в последующие годы.

Зоя Ивановна Смирнова-Малахова сообщила, что спектакль "Власть тьмы" сохранялся в репертуаре любительского кружка несколько лет и выдержал, по меньшей мере, десять постановок. По тому времени, тем более для маленького захолустного городка, это было совершенно исключительным явлением. Она сама играла Анютку в те дни, когда пришла весть о смерти Льва Николаевича. Дореволюционная постановка пьесы Л.Н.

Толстого "Власть тьмы" - примечательное явление в жизни города.

В СКОРБНЫЕ ДНИ



*Похоронная процессия по дороге
из станции Засека в Ясную Поляну
1910 г.*

В Оренбургском городском театре вот-вот должен был раздвинуться занавес утреннего спектакля, когда сверху, с галерки, раздался взволнованный голос:

- Сегодня в шесть часов утра скончался Лев Николаевич Толстой. Предлагаю почтить его память вставанием.

Сотни людей застыли в скорбно молчании...

В Оренбурге, как и по всей России, знали об уходе Толстого из Ясной Поляны, о его болезни. "Оренбургская газета" из номера в номер помещала заметки "Здоровье графа Л.Н. Толстого". Но в роковой исход верить не хотелось. И вот - горестная весть: Льва Николаевича не стало.

7(20) ноября 1910 года было воскресным днем. Стекавшиеся к центру горожане останавливались у окна редакции, в котором был установлен щит со словами тяжкого известия. Новость быстро распространилась, и к вечеру о ней узнали на самых

дальних окраинах. Всюду только и разговоров было, что о смерти великого писателя.

"Оренбургская газета" излагала отклики оренбуржцев, приводила их высказывания на вечернем спектакле.

"Более откровенно и свободно высказывалась публика галерки", - сообщал репортер. В то время, как представители "верхушки" говорили с опаской, памятуя, что Толстой находился в опале у царя и церкви, передовая интеллигенция, трудовой люд выражали свои чувства без оглядки. Они искренне скорбили об утрате гениального художника.

Очередной номер "Оренбургской газеты" - за 9(22) ноября - открылся, как обычно, всевозможными объявлениями коммерческого характера, зато вторая страница целиком была посвящена Толстому. Взятая в траурную рамку, она содержала портрет писателя, многочисленные телеграммы Санкт-Петербургского телеграфного агентства о последних днях и часах покойного, а также статьи и письма оренбуржцев.

На протяжении всего ноября статьи, заметки, стихи о толстом не сходили со страниц оренбургской печати.

"Мы его никогда не видели, - писал некий В.Т. - Но, не видя его, мы всегда жили в нем и он жил в нас. И теперь с нами осталась его духовная сила, разлитая в бессмертных произведениях..."

Маленькая заметка сообщала: "Вследствие кончины Л.Н. Толстого публика вновь начала пересчитывать его сочинения, так что их оказалось недостаточно в обеих городских библиотеках. Особенно большой спрос на них в библиотеке Народного дома".

Однако сразу же стали появляться заметки и другого содержания. В номере, где был помещен отчет о похоронах Толстого, проскользнуло такое сообщение: "Мы чествовали память Пушкина, Кольцова, Жуковского, устраивались по этому поводу в школах литературные вечера, рефераты, собеседования, но у нас в школе не обмолвились пока не единым словом о смерти великого писателя и учителя". К этому же вопросу газета вернулась еще раз, приведя слова директора одного из училищ относительно того, что по поводу ознаменования памяти Толстого в учебных заведениях "нет никаких указаний". 14(27) ноября в Народном доме состоялся вечер, посвященный памяти Льва Николаевича Толстого. Он был отмечен... арестом. Некий Л.Б. Чудинский предложил в честь Толстого "вечную память", а затем стал говорить о его заслугах. Речь, по всей вероятности, отличалась от тех, которые произносили в эти дни либералы различных мастей. Полицейские чины тут же арестовали Чудинского и отправили его в участок. В тот же день в мужской гимназии должен был, наконец, состояться вечер, на котором предполагалось почтить память Толстого, но он был отменен без объяснения причин.